

# HORROR

КНИГА, ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ



МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

Олег Чувакин

23+ ADULTS ONLY

Первый роман эпопеи «Новый белый мир», рассказывающей о столкновении двух человеческих цивилизаций: «старой» и «новой».

Близкое будущее. Сибирский учёный, директор секретного института, сделавший открытие, умалчивает о нём, хотя обязан доложить московскому начальству, и задумывает использовать открытие во благо человечества. Означенное «благо» учёный понимает весьма своеобразно...

Открытие доктора наук В. А. Таволги, к которому он шёл много лет, первые удачные опыты, в результате которых ему становится ясно, что судьба человеческой цивилизации может быть изменена искусственным путём, личное желание учёного «обновить» людей, раскол «старого» мира на сторонников и противников преобразования и отстранение местных и федеральных властей от управления приводят к неожиданному драматическому повороту в истории человечества.

---

# **Олег Анатольевич Чувакин**

## **Мёртвый хватает живого**

*Все персонажи романа вымышлены.  
Все совпадения случайны.*

*Автор.*

*«Сам я... считаю бесполезным и нехорошим учтиво просить о том, чтобы люди не ели других людей».*

*Лев Толстой, из письма к А. Ф. Кони, 2 января 1894 г.*



27 октября, воскресенье, четыре часа дня<sup>Ш</sup>. Софья, коммерческий директор ООО «Камелия»

Она погладила Шурку по затылку, по темени. Там погладила, куда дотянулась. «Лысеет».

Он повернулся к ней, улыбнулся. Потом отвернулся к приглушённому телевизору, снова подпёр кулаком подбородок. Думал о чём-то.

«Смешной будет, лысый. С торчащими ушами и этим огромным подбородком. Ему надо бороду отрастить. Почему бороды сейчас не в моде? Они могут ввести в офисе новую моду. Нет, шеф ему запретит. Скажет: у нас половина поставщиков — женщины. А женщины бород у мужчин не любят. Шеф категоричен. И он не женщина. Я же вот не против бород. А шеф как Пётр Первый. Самодур. Все торгаши самодуры. Шурка прав: когда живёшь среди денег, добытых не трудом, дуреешь. И вот мы тоже — торгаши, и тоже живём среди денег. И хотим и дальше жить среди денег. И все люди на планете хотят быть торгашами и жить среди денег. И ради денег».

Диван под нею скрипнул.

Она подумала: «Быстро диваны и кровати у нас начинают скрипеть».

Телевизор забубнил громче.

«Члены антимонопольного комитета пришли к выводу, что в сфере производства и торговли подсолнечным и кукурузным маслом признаки экономического сговора тридцати трёх промышленно-торговых компаний отсутствуют. Восьмикратное повышение цен на масло в течение октября объясняется изменившимися условиями производства и торговли, повышением некоторых цен на факторы производства и плановым увеличением в отрасли фонда оплаты труда.

На правительственном уровне принято решение выплачивать компенсации на подсолнечное масло пенсионерам, получающим пенсии меньше пяти с половиной тысяч рублей в месяц. Также до конца года предполагается провести очередную индексацию пенсионного обеспечения всех российских пенсионеров, чей возраст перешёл черту в семьдесят пять лет. Председатель Пенсионного Фонда Российской Федерации Константин Магомедов считает, что в настоящее время Фонд в полной мере располагает запасом финансовых средств, необходимых для проведения запланированной индексации.

Другие новости. Партия «Единая Россия» провела...»

— Всё плохое у нас умеют назвать хорошим. — Он выключил телевизор.

«И из этого плохого складывается наша хорошая жизнь».

— Нет, плохая. Плохая счастливая жизнь.

«Плохая, плохая, — ей хотелось засмеяться, — пусть будет плохая, только бы счастливая».

Впервые увидев Шурку, она поняла: он несчастен.

И ещё кое-что поняла, но даже себе побоялась в том признаться. С собой говорить она раньше, до Шурки, не умела. Стеснялась этого. Спросить о чём-то у себя — не шутка. Особенно если спрашиваешь о любви. О счастье. О своём будущем. О том, не испортишь ли

его или не упустишь ли счастливый шанс. Так страшно об этом думать и говорить с собой. С подругами или мамой — нет. Лучше бы говорить об этом с мужем, но мужа у неё не было. Пока не появился в их «Камелии» Шурка. Тут-то она и поняла кое-что. И молила Бога — стояла на коленках в этой самой комнате, где спала одна, — и молила. Молила, чтобы и Шурка понял кое-что. Вернее, почувствовал кое-что.

Она стала *попадаться* ему на глаза. У неё не было дел в торговом зале той «Камелии», где Шурка работал на выкладке — кажется, сначала он стоял на молочке, — но она стала навещать туда. Приезжала в гипермаркет и ходила по залу с открытым блокнотом и ручкой, будто записывала что-то. Кассирши и охранники шушукались. Она видела это, но её не интересовало это.

Мама сказала ей в какой-то день: «Любовалась на твоего избранника. Нечего сказать, красавчик. Уши как лопухи, подбородок выступает как утёс, глаза круглые, как у какого-то дикого зверя, и выглядит то удивлённым, то несчастным. Словно ему сказали то, чего он не заслуживает. Обидели. Что-то детское есть в нём. И, знаешь, есть и другое: какая-то непонятная взрослая сила. Нераскрытая сила дремлет в твоём ушастом красавчике. Наверное, ему нужен кто-то, кто эту силы бы раскрыл. Дал бы ей выход. Ты видишь себя в этой роли, Соня?» — «Я ничего не вижу, мама. Я вижу только его. Я хочу быть с ним, и всё. Неужели это так много? Неужели я не гожусь для него? Его не встречает другая. Он не женат, я выяснила в кадрах. Он всё время один. Почему он не замечает меня?» — «Не хочет стать ещё несчастнее, чем есть», — ответила мама.

В *кадрах* же, затребовав данные по торговому персоналу, она выяснила, что у её ушастого красавчика высшее менеджерское образование, но работает он на выкладке. Выкладывал кошачьи корма, потом алкогольную продукцию, теперь вот молочку. А начал в «Камелии» с должности грузчика. Хороша карьера, ничего не скажешь. Станешь тут несчастным. И живёт, наверное, с родителями. Или снимает комнатку у вредной старухи. А у неё есть квартира. Однокомнатная, зато своя. Им места хватит. А не хватит — тут она боялась додумать, — так они доплатят за двухкомнатную. Вдвоём они горы своротят. Почему он не смотрит на неё? Не смотрит? Так она сама на него посмотрит. Тургеневская девушка? Нет. Она сделает так, что ему придётся на неё посмотреть. Она бросит ему вызов. Ты хмурый, несчастный, редко улыбаешься? Ты одинок? Ты спишь один? Возьми своё счастье. Непусти его, пока оно само идёт к тебе в руки.

И она нарочно столкнулась с ним. Так, что он уронил упаковку с молоком. Она быстро подняла упаковку. «Извините меня», — сказала она. — «Никаких проблем», — ответил он, глядя ей в глаза. — Только ведь в этом широком проходе невозможно столкнуться. Если только кто-то один не задумался о чём-то. Что вы пишете в блокнот?» — «Да ничего. Это для виду». — «Директор задание дал?» — «Нет. По собственной инициативе. Напрашиваюсь на премию». — «Хотите кого-то сократить?» — «Не бойтесь». — «Вот уж не боюсь, — хмуро ответил он. — Был бы начальником отдела — вот тогда боялся бы». — «То есть бояться надо мне?» — «А вы — начальник отдела?» — «Пока — да». — «Ну вот и бойтесь». — «Ну спасибо». — «Всегда пожалуйста». — «А вас как зовут?» — «Записать хотите? Как отлынивающего от выкладки и проводящего рабочее время в разговорах с красивой девушкой?» — «А вы догадайтесь, чего я хочу». — «Шурка», — сказал он. И улыбнулся. — «До свидания, Шурка».

Прежде Софья его улыбки не видела. Она даже забыла представиться. Собиралась сказать: «Софья», но пролепетала «до свидания». Он, пожалуй, заметил, что она как бы

растерялась. Но ведь она не растерялась. Её поразила его улыбка. Улыбка переменила его лицо. Так, словно она поговорила с одним человеком, а простилась уже с другим.

Софья сказала потом маме, что ему надо чаще улыбаться. Если бы он чаще улыбался, он был бы менеджером. Для улыбки нужен повод, ответила мама. Некоторые люди улыбаются только *по-настоящему*. Понимаю, сказала Софья. Не так, как мы, гнусные торгаши. Да сказала мама, не так, как вы, гнусные торгаши, губами улыбающиеся, а мозгами проклинаяющие. Я бы сходила, развеселила твоего Шурку, но мне надо тоже проклясть кое-кого. Несчастные мы торгаши, мама. Ты ещё молода, чтобы судить о несчастье. И ты слишком красива, чтобы в тебя нельзя было влюбиться. Ты говоришь, столкнулась с ним? И подняла его молоко? Это был верный ход. Считай, что ты заразила его. Чем, мама? Любовью, Соня. *Собою*. Но смотри, не стань и вправду несчастной. Не то я приду и надеру уши твоему красавчику.

Говорят, мама, сказала Софья, что есть типы женщин и типы мужчин... в общем, несовместимые. До того несовместимые, что у них даже детей не бывает. Ты мне это брось, сказала мама, типы-прототипы. Если ты в него влюбилась — значит, совместимые. Поверь мне: он сделает свой ход. Ты ещё удивишься. Мужчина, к которому подошла женщина, обязательно в неё влюбляется. Это закон. И в первую очередь он распространяется на так называемых несчастных, которые ходят с хмурыми лицами. Ты уже снилась своему красавчику, поверь.

И он мне, сказала Софья.

Ах ты, несчастная моя. Съезди в «Камелию» в его смену — и он твой. Только не говори ему, что ты ради него с блокнотом. Не порть себе праздник. Дождись, когда он скажет тебе то, что хочет сказать. Потом выдавай про блокнот и всю историю своей временно неразделённой страсти.

Завтра суббота, и я поеду.

И она поехала. Без блокнота и ручки, а как обыкновенная покупательница. Взяла тележку и стала класть туда с полок то и это, думая: а что бы купил он? И видя его у молочки. Ждал ли он её? Поворачивался ли ко входу в зал? Думал ли что-то о ней? Хорошо думал — или не хорошо? Наконец, влюбился ли он в неё? Не ошиблась ли мама? Но мама так редко ошибается. Да нет, мама вовсе не ошибается. Значит, он влюбился. Она заразила его. *Собою*. Нет, это постельное слово — *собою*. Она хотела бы так сказать: любовью.

Вот она подкатит сейчас к нему тележку, потянется наверх за бутылкой «Простоквашина», и он обнимет её. Возьмёт у неё бутылку, поставит в её тележку, и они двое, свободные от бутылок и тележек, молча обнимутся. А потом станут целоваться. У всех на глазах. Нет уж. Вот чего-чего, а публичного развлечения тут не будет. И он не обнимет её, а пожмёт ей руку. Так, по-мужски. Как другу. И скажет: «Хочешь, погуляем сегодня вечером?», — а она согласится. Молча. Одними глазами. И покатит тележку к кассе, а Шурка, оставшись у витрины, будет класть творог туда, куда надо ставить кефир.

Это она представляла, пока катила к Шурке тележку. Ей было страшно, и она хотела быть грузчицей или кассиршей. Тоже с высшим образованием. И такой же хмурой, как Шурка. Поздним вечером они выходили бы из гипермаркета вместе, и он вёл бы её домой. Квартиры бы у неё не было, и они жили бы в комнатке у вредной старухи. В частном секторе, в бревенчатом домишке. С печкой и удобствами на улице. Но зато он бы знал, как её зовут, и улыбался бы. И она не злилась бы на себя за то, что положила в тележку четыре килограмма сахара. И за то, что она — начальник, а он — не начальник.

*Не порть себе праздник. Дождись, когда он скажет тебе то, что хочет сказать.*

Не скажет, шептала Софья, подруливая к Шурке, — так я испорчу себе праздник. Лишь бы не испортить жизнь!

«Не берите оттуда, — сказал он. — Я дам вам свежее».

«Спасибо».

«Два с половиной или три с половиной?»

«Два».

И почему люди говорят всегда не о том, о чём хотят говорить? Она-то точно не собиралась говорить о молочной жирности. А он? О молоке? О творожных батончиках? Он очень уж долго разглядывал даты на бутылочных крышках — на синих, красных, потом снова на синих. Никто не разглядывает эти крышки так долго.

«Красное свежее», — сказал Шурка.

«Я не пью красное», — сказала она.

«Как тебя зовут?»

«Софья».

«Я люблю тебя. Я очень хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты выйдешь за меня? Пожалуйста, выйди».

«Ты просишь так, будто приготовился к отказу. Но я не собиралась тебе отказывать».

Она не помнила, как ушла из магазина, не помнила, как поздним вечером Шурка пришёл к ней домой; почему-то помнила только, как выключила все телефоны. И его заставила выключить свой телефон. И погасила свет в квартире. А потом помнила уже утро: они решили, что опоздали на работу, но по календарю было воскресенье.

И ещё помнила: они были голые, сидели рядом на кровати, и ночи словно и не было, и они впервые видели друг друга голыми.

Потом они мылись в тесной ванне — в той квартире у неё была ванна метр пятьдесят, — и он говорил ей, что её кожа мыльная, скользкая и очень гладкая, и всё намыливал и намыливал её, будто она не мылась несколько лет. Он сказал, что ему нравится, как она проступает из-под пены.

К вечеру того воскресенья ей уже казалось, что он живёт в её квартире очень давно. И что он знаком с её мамой. И что четыре килограмма сахара и красные и синие молочные крышки — история их молодости, а они уже седые муж и жена, и свадьба их запечатлена на фотокамеру, и снимки вставлены в нарядный фотоальбом. И они могут взять альбом с полки и посмотреть.

И блокнот, в котором ничего не записано, могут достать с той же полки.

Спустя тридцать один день они поженились. На свадьбе она узнала, что Шурка — детдомовский. Что имя и отчество ему дали в честь старичка, который подобрал его у роддома. И если бы не этот старичок, Шурка бы простудился и умер. И не было бы у Софьи счастья. У Шурки была Нина Алексеевна (он называл её бабушкой), которая, когда ему было десять, забрала его из детдома. А Шурка узнал, что у Софьи из родных только мама. Отец ушёл от них, когда ей, Софье, было три годика, и она его мало помнит. Какое-то вытянутое, пахнущее почему-то селёдкой лицо. И она не хотела, чтобы мама показывала ей отцовские фотографии. «Ты у меня одна», — так она говорила. И делала взрослое лицо. О взрослом лице говорила мама.

«Пообещай, что сделаешь мою дочь счастливой», — сказала мама Шурке на свадьбе. — «Обещаю», — ответил Шурка. — «Мама, он ведь уже сделал», — говорила Софья. — «Этс

сегодня, а я говорю о завтра. Счастья должно хватить на завтра. На все те завтра, из которых состоит жизнь. И вот за это мы и выпьем».

К концу того года Софье предложили должность коммерческого директора. Агнесса Викторовна засобиравалась в США, в сотый раз повторив, что Россия катится в пропасть, но на сей раз у неё кто-то умер в Денвере, завещав ей апартаменты и банковский счёт, и шеф вызвал Софью и сказал: «Вы, Софья Андреевна, не собираетесь эмигрировать в Штаты или Германию? Если не собираетесь и связываете будущее с фирмой, вам светит повышение. Агнесса Викторовна была хорошим коммерческим директором, а вы будете отличным. И смотрите у меня: не будете отличным, отправляйтесь вслед за Агнессой Викторовной». — «У меня есть предложение», — сказала она. — «Хотите продвинуть своего мужа?» — «Не отказывайте, Павел Леонидович. Я настаиваю на собеседовании. Никто не знает, какой он». — «Никто? Почему?» — «Потому что никто не хочет знать». — «Ладно, я дам ему шанс. Но под твою, Софья, ответственность». — «Под мой Денвер». — «Так у тебя тоже родственники за границей?» — «Нет. И я Россию люблю». — «Что-то не верится, — сказал шеф. — Никто не любит, а она любит. Ладно, веди своего мужа».

«Я пойду с тобой к шефу», — сказала она в тот день Шурке. — «Нет, — отказался он. — Не надо. При тебе я буду чувствовать себя мальчишкой на экзамене. Мальчишкой, который вот-вот экзамен провалит. А без тебя я сдам экзамен. Мне будет помогать ощущение того, что это собеседование устроила ты. Что нельзя провалить его. А всё мои торчащие уши и детские глаза. Директора обычно и не говорят со мной. Что-то пробормочут формальное, мол, ждите, уважаемый Как Там Вас, звонка, — и точка. И взглянут на меня как на циркового уродца. Любокой менеджер — лицо фирмы, а тут такое чудо... Как вышло, что ты влюбилась в меня, Софья?» — «Любовь зла...» — смеялась она. Шурку эта шутка вроде бы задевала неприятно. «Ну прости». — «Ты не при чём», — быстро отвечал он, и вдруг так круглил глаза, что она валилась на пол от хохота.

Генеральный сказал ей на следующий день — после собеседования: «Я не хотел брать твоего... твоего... Шурку. То есть Александра Игнатъевича. Но он всё испортил. Мы поговорили немного, и я улыбнулся. Так, ни от чего. От его детского лица. И он улыбнулся. И тут я сдался. Никогда ещё так не брал людей на работу. Я понимаю, почему ты вышла за него замуж. Он улыбнулся тебе? Ну ладно, молчу. А то дальше я начну задавать глупые вопросы, как там у вас в постели, и не хотите ли прокатиться со мной в один ресторанчик, а потом в другой, а потом...» — «А в постели отлично». — «С испытательным сроком на два месяца, конечно». — «Я введу его в курс дела. И помогу ему». — «В свободное от работы время. И от постели». — «И от постели», — повторила она.

Спустя год — они уже жили тут, в этой двухкомнатной квартире, — шеф сказал Софье, что Александр Игнатъевич будто лет десять уже начальник отдела. При нём ни один человек из отдела не уволился, а ведь при ней, Софье Андреевне, была текучка. Процент допустимый, но всё же. И молочку поставщики стали привозить только свежую. «Вам, Софья Андреевна, надо быть начальником отдела кадров». — «Нет, Павел Леонидович, я специалист только по одному кадру — моему мужу».

А Шурка подарил в тот день Софье бутылку молока. С синей крышкой. И улыбку. И они распили эту бутылку, и она сказала ему: давай делать детей. На следующей неделе, сказала она, будут подходящие дни. Она сосчитала. И проверила гороскоп. Они должны слиться ночью. Ночью они сделают ушастых и круглоглазых девчонок и мальчишек. Близнецов. Двойню. Тройню.

Всю жизнь мечтал о том, ответил он, чтобы меня окружали такие же ушастые, как я, только маленькие и глупенькие.

И настало воскресенье, тот самый день, и он скоро перейдёт в ночь.

— ...Нет, плохая. Плохая счастливая жизнь.

«Плохая, плохая, — ей хотелось засмеяться, — пусть будет плохая, только бы счастливая».

— Все всегда думают: жить ради детей. У них-то уж будет настоящее счастье. У нас не было, или было, да не то, а вот уж у них-то будет. И будет именно то. Знаешь, что это такое, Софья? Это вера не в то, что счастье в детях, а вера в будущее. Революционеры вот так верили в коммунизм. Нам его уж не увидеть, говорили они, но мы его построим для наших детей. И так вот русские люди и живут поколение за поколением: без счастья в настоящем, но с надеждой на счастье в будущем.

Но мы-то с тобой, Софья? Нам ли мечтать, как мечтали революционеры?

— Иногда хочется каких-то перемен в жизни, — ответила она.

— Мы с тобой слишком счастливы, чтобы желать перемен, — сказал Шурка.

— Ты расхотел заводить ребёнка? Или близнецов?

Нет, конечно, он не расхотел. Он хочет поговорить с ней.

— Нет, Софья, мы заведём ребёнка. Сделаем его в эту ночь. Или близнецов. И они будут счастливы так же, как мы. Мы не допустим, чтобы они были несчастны. Но я не желаю перемен. Ты понимаешь меня?

Кажется, она начала понимать его.

— Дети — не перемена в жизни, — сказал он. — Дети — это продолжение той же счастливой жизни, которой мы живём. Вот как я понимаю это. А слово «перемена» иногда пугает меня.

Перемены бывают и к худшему, подумала она. Но не та перемена, о какой они сейчас говорят. Продолжение счастливой жизни — это Шурка хорошо сказал. Продолжение счастья. Надо запомнить.

— Представь, — сказал Шурка, — как что-то переменяется в нашей жизни. Возьми первое, что придёт в голову. Понижается наша зарплата. Отменяются премии. Поставщики начинают диктовать невыносимые условия сотрудничества. Шеф проводит сокращения, и меня — или нас обоих — увольняют. В стране набирает новый виток кризис. Толпы безработных бродят по улицам городов... Начинаются грабежи, убийства, беспорядки, кровавые демонстрации протеста... Вот это — перемены, Софья. Не желаю перемен. Перемен желает тот, кто несчастлив. Те, кому терять нечего, кроме своих цепей... Нам нельзя желать перемен. В чём наша борьба? В том, чтобы сохранить счастье. То есть в том, чтобы не желать перемен. Чтобы оставаться счастливыми. И чтобы дать наше счастье нашим детям. Вот как я понимаю смысл нашей жизни. В этом мире — океан несчастья, а счастье в нём — как островки.

Она вздохнула. Шурка очень серьёзен. Он редко говорит, но когда начнёт — его не остановить. Ему, наверное, кажется, что она не до конца его понимает. Он не любит неясностей. Когда он чувствует неясность или противоречие, он торопится разрешить его. Он считает, что этот мир — плох, ужасно плох, и что им очень повезло, что они сумели быть счастливыми в плохом мире. Нет никаких особенных заслуг у тех людей, которые счастливы — и материально, и любовью, — в мире хорошем (они с Шуркой такого мира не видели, но подозревали, что он существует: в Австралии, Гренландии, в Западной Европе, на другой

планете, в другой Вселенной); но те, кто выковал счастье в мире плохом, заслуживают... сохранения этого самого счастья. Да. Как награды. Не самого счастья, а именно его сохранения. Так считал Шурка. Шурка не верил, что мир может быть стабилен, неизменен, и потому говорил, что счастье надо отстаивать. Получалось, он каждый день боялся, что счастье пропадёт. То есть люди вокруг что-то сделают для того, произведут какую-то перемену, которая нарушит или вовсе разрушит их счастье. И он вселил беспокойство и в неё. Ведь мир — плохой. Люди в нём плохие. Это неправда, будто они хорошие. Хорошими они искусно притворяются. Но ложь никого ещё не сделала хорошим.

Вот если б, говорил Шурка, грянула такая перемена, чтобы мир, сами его основы, эволюционные основы, вдруг стали качественно иными. Чтобы развитие пошло не от того, что одна клетка в воде пожрала другую, а от чего-то другого. Или пусть пожрала бы, но жраться кончилось бы мирно. От истребления мир пришёл бы к любви. К вечной любви. И со страхом читал бы книги прошлого. Общество сделалось бы идеалистическим — и обрело ту высокую сознательность, о какой мечтали коммунисты. Рабочие под телегой.

Но этого нет. И это невозможно. Но это кажется нелепым: люди, мечтая быть хорошими, остаются плохими! Мечтая о мире, воюют и воспевают войну! Лгут, говоря о справедливости!

Люди в мире плохие. А Шурка? А она, Софья? Хорошие ли они?

— Мы хорошие, Шурка?

Он ответил не сразу. Подумал. Но он ведь знал ответ. Как-то они говорили на эту тему. Шурка, может, не помнил. А она не забыла.

И она знала, что он ответит. Нет, Шурка не солжёт ей. Он может отвести глаза, быть многословным, ответить не тотчас, — но ей он не солжёт. Другому — да, солжёт. Поставщику. Шефу. Реже — в отделе. Но не ей.

— Так мы хорошие, Шурка? Ты — хороший?

Более лёгкая форма трудного вопроса.

— Нет, — ответил он. — Я не хороший. Я плохой. Как и многие.

А я, подумала Софья. И я плохая, ответила она. Как и многие.

— Мы плохие, — сказал он, — но мы счастливые плохие.

Но может, в них есть немножко и хорошего? Того, что они могли бы передать своим детям?

— Наши дети будут плохие, — твёрдо сказал он. — Плохие, как и мы. Но в них будет на чуточку больше хорошего, чем в нас. И в нас есть немного, а в них будет чуть больше. И в их детях ещё больше. И так пойдёт до далёких потомков. До будущего, где и настанет то самое счастье тех самых хороших людей, о котором давно мечтают идеалисты и романтики.

— Немного плохого и очень много хорошего? — спросила она.

— Самую малость плохого. Чтобы лучше видеть хорошее.

*27 октября, воскресенье, пятый час дня. Алексей*

Я думал. Думал письменно.

Я люблю думать письменно. Нет, не потому, что лучше думается. Из-за привычки писать. Барабанить по клавишам.

И я люблю читать написанное. То есть набранное.

Бывает немного неловко перечитывать свои же записи: будто подсматриваешь сам за собою. Лучше б уж кто-нибудь другой читал. Как жена Толстого его дневник.

Вообще-то я знаю, откуда эта неловкость. В моём дневнике одна правда. А правду людям давно уж читать неудобно. Особенно про самих себя. Особенно написанную собою.

Я поднялся в файле на месяц выше. Сентябрьская запись. О женщинах. Очень познавательно читать собственные заметки о женщинах. Насчёт других предметов моё мнение меняется, а вот в отношении женщин — остаётся постоянным. И кому пришло в голову, будто непостоянство — характерная черта женщин? Женщины постоянны. Если женщина врёт, то будет врать до самой смерти. Если она истеричка, её не исправит никакой психолог, и психиатр тоже, будь они родом хоть из самой Вены. Если женщина гулящая, то ждать от неё верности не стоит ни в двадцать лет, ни в пятьдесят. Если женщина хочет родить и воспитывать мальчика, но у неё родятся четыре девочки, она всем им даст мужские имена и будет покупать дочкам брючки, футбольные мячи, молотки и плоскогубцы. Женщин не переделать. Легче отменить законы физики и заселить Луну, чем переменить одну-единственную женщину.

И между тем женщины просты. И все их поступки поддаются логическому объяснению. Вычислишь в женщине то, что ей нужно, — и она перед тобой как на ладони. Останется понять, сочетается ли то, чего хочет она, с тем, чего хочешь ты. Я потому и холост, что сочетания всё не те попадают.

Подумать только: до всего этого я дошёл через свой дневник. Через письменное думанье.

«...Женщины! Одной надо троих детей. Это чистая самка. Может, и хорошая самка, подходящая для семейной жизни, но куда я дену троих детей и эту самку в однокомнатной квартире 86-й серии?... Другой надо много денег и нужно положение в обществе. Это не про меня. Нет у меня ни много денег, ни того, что называется социальным статусом. И мне это неинтересно. А третьей надо и детей, и денег, и общественное положение, и личного водителя подавай. Это, пожалуйста, к губернатору или президенту. И нет такой, которая бы тихо любила и которую бы тихо любил я. Я — романтик? Нет, я одинокий человек, просиживающий дни за письменным столом и иногда говорящий сам с собою. Письменно говорящий. Говорящий посредством чёрной клавиатуры с зелёными русскими буквами. Да. А той, что тихо бы любила, нет. Всё у них через «надо». Делают вид, что веруют в Бога, ходят в церковь, покупают свечи, молятся даже, правда, Библию не читал никто (лучше и не читать, добрее и наивнее будут), — но на деле чистые материалисты. Деньги, статус, квартира, мебель, машина. Друзья с деньгами, статусами, квартирами, мебелью, машинами. И это не плохо; это единственно верно, только вот не делали бы они вид... И вот хотя бы

один процент идеализма. Не того, который покупается за свечки, а *человеческого*. Чтобы 1 час в сутки из 24-х тихо любить. Чтобы забыть и материализм, и действительность, и статус, и деньги, и всё-всё, кроме того, кого любишь. Впрочем, я заблуждаюсь. Я сижу в собственной, заработанной мною квартире, у меня есть деньги, пусть не много, у меня есть минимум той мебели, что мне нужна, у меня нет машины, но она мне и не нужна, потому что жизнь пешком и на «Старке» меня устраивает, а на статус мне плевать, потому как я большую часть времени сижу за столом и тюкаю по клавишам с зелёными буквами. Я материалист и реалист, и ищу подходящую мне материалистку и реалистку, желательна тоже с однокомнатной квартирой и самостоятельную, — словом, единомышленника женского пола. И моя мечта о тихой романтической любви прекрасно уживается с материалистическими помыслами о расширении жилплощади и — почему бы и нет? — обзаведении одним ребёнком. Счастливым ребёнком. Ребёнком, которого я хочу от той женщины, которая хочет того же, что я. Ребёнком, который был бы человеком, а не балластом в семье. И не воплощением женского инстинкта размножения.

Если б мне было лет тридцать, а не сорок с маленьким хвостиком, я бы думал, наверное, иначе. Во мне больше было бы романтика и меньше квартирного материалиста. Но мне сорок с гаком, и я вижу, *что* выросло из детей моих одноклассников. Сеня Зырянов спился только от того, что у него трое оболтусов (один уже посидел в тюрьме), которых он начал заводить в 20 лет, и жена-мегера, водящая его на шлейке. А Костик Налипаев, про которого я всегда думал как про будущего учёного, про карьериста, — Костик, знавший в школе английский и самостоятельно занимавшийся немецким, — собиравшийся после школы окончить физмат и уехать за границу, прилично там зарабатывать, публиковать научные работы и получать время от времени престижные премии, — чем стал он? Мечтал иметь свою лабораторию. Жить интересно. Жениться на иностранке. Дать хорошее образование своим детям. Жить и не думать с тревогой о будущем, как в треклятой России, где то царизм, то социализм, то нэп, то коллективизация, то индустриализация, то братская помощь Кубе и Афганистану, то развитой социализм, то перестройка, то рыночные реформы, то «Единая Россия» и дешёвый, купленный за политическую телерекламу, патернализм. Мечтал. Делился мечтами со мною. Я думал: так оно и будет. Костика в школе я очень уважал. Это был прямой, независимый человек. (Правда, гордости ему немножко недоставало и, пожалуй, честолюбия). А в итоге что? Костик здесь, в Тюмени, давно забыл и немецкий, и английский, и физику тоже забыл, — зато есть то, чего хотела его жена: дача в «хорошем месте», приличная квартира (три комнаты, 100 квадратных метров), кирпичный гараж, корейская машина (при покупке б/у всего три года) и двое детей. И вместо науки — должность прораба (папа жены когда-то пристроил). Пригодились знания, полученные Костиком по каменным работам на УПК. А большегодились связи тестя. И на Костика сейчас смотреть тошно. Когда голова седеет, начинаешь думать о том, что мог бы, но от чего отступился, может быть, незаметно для себя, как-то год за годом свою истинно счастливую, единственно настоящую жизнь откладывая... И тут-то и лезет в мозги, в гипоталамус её высочество романтика, вернее, то, что от неё осталось: печальная ностальгия... Поэтому-то состарившиеся «выпускники» на встречах не могут без вина и водки. *In vino veritas*. А я бы сказал: истина в прошлом.

Нет, сказать: их погубили женщины — неточно и несправедливо, а надо сказать так: женщины погубили *много больше*: и их, и себя, и детей.

Но самостоятельные девочки почему-то выходят замуж за несамостоятельных

мальчиков. И изображают из себя мам, баюкая и балуя карманными деньгами своих несамостоятельных мальчиков, очень смахивающих на их старших сыновей.

А несамостоятельные милые девушки (считающие себя более чем самостоятельными, но не имеющими того же, что имею я), попадая ко мне, поддаются самогипнозу: им кажется, что эта моя квартира и это моё занятие за письменным столом — стартовая площадка. Что я могу и хочу достичь много больше. И что они, сказав мне о том, чего они хотят (то есть чего будто бы хочу я) и отдавшись мне раз 15, смогут взять руководство в свои умелые нежные руки и изменить и улучшить мою жизнь так, что она превратится в их жизнь. Это их обычный женский самообман, которым они умеют изгадить себе жизнь, думая, что изгаживают её мужчины (все мужчины — одинаковые, кто этого не слышал?), и мне надо бы объяснять им при первой же встрече, что у меня волосы уже седеют и что я материалистические рекорды ставить не намерен. И что в душе я не предприниматель и не тот семьянин, для которого дети и жена превращаются в единственный смысл жизни.

Но на такое откровенное объяснение я так и не подвигся: выдашь всё при первой встрече, и кто ж с тобой 15 раз спать-то будет? А больше пятнадцати нельзя: психологи, имевшие дело с разведёнными парами, говорят, что после пятнадцати занятий сексом женщина уже решила, что мужчина ей нравится, и что настало время сделать из *негомужчину своей мечты* и следовательно, перестать принимать нон-овлон или постинор.

Вот почему женщины начинают нервничать после 3–4 недель того, что можно назвать «периодом проб». У современной женщины, которой за 30, всё быстро. Если мужчина ей не подходит — прощай, мужчина. Если подходит, то почему он молчит? И начинаются заходы с разных сторон, строятся коварные и нековарные планы. А мужчина попросту остаётся мужчиной. Он тот, кто есть, а не тот, кого из него пытаются изготовить. Он, дорогие мои женщины, не полуфабрикат, не заготовка. Он уже готов к употреблению, и на сковородку его класть не нужно».

— Ну да, — сказал я, — вы, женщины, не переделывайте мужчин, а мы, мужчины, не станем переделывать женщин. И все останемся холостыми и незамужними.

Я выбрал в файле февральскую закладку. Из-за Таньки, конечно. Из-за женщины.

«...На встрече одноклассников было весело. Это потому, что смеялись надо мной. Смеяться над Зыряновым или Костиком было бы грустно (и жестоко), а вот надо мною смеяться и нужно, и можно. И весело. Что и требуется на встрече выпускников, собравшихся, в общем-то, не ради пьяной печали, но ради того, чтобы обняться и чтобы солгать друг другу: «Не всё ещё, брат, потеряно». И чтобы выпить на брудершафт с теми девчонками, которых когда-то водили в кино, — и удивиться, почему они замужем за другими, а мальчишки женаты на других. Или — о ужас! — вовсе не женаты и, значит, свободны. Моя свобода — горе, горе для Таньки Велижаниной, сидевшей со мной за одной партой, целовавшейся со мной на последних рядах в кинотеатрах (нарочно покупали билеты на последние ряды) и уже лет 10 собирающейся развестись со своим мужем.

С Танькой мы выпили слегка коньячку, и ещё слегка коньячку, и вспомнили «школьные годы чудесные». Несколькими предложениями. Телефонами и адресами не обменялись. Мой муж, сказала она, меня подавил, растение из меня сделал. Я не смею никому звонить и никуда без него ходить. И сейчас он сидит в машине возле школы, караулит, чтоб кто-то меня не увёз в тёмную уютную квартирку и не обнял на мягком диване или не притиснул к стеночке. «А Интернет? — спросил я. — Электронная почта?» — «Я не пользуюсь. Не нужно, — сказала она. — Муж пользуется, но компьютер весь принадлежит ему и дочери. А

я больше на кухне да в супермаркете. Да в фитнес-клубе. В клуб он заставляет меня ходить. Сам отвозит, сам забирает. Чтобы фигуру, значит, блюла. Фигура у меня и правда ничего, а, Лёшечкин? Для бабы, которую пора в утиль списывать... Хотя утиль — это ведь на что-то полезное, да? Я чувствую себя перед тобой глупой. Ты всегда был умницей. Ты мог и меня сделать умной. А я вот взяла да вышла замуж за чинушу, которому ничего в жизни не надо, кроме «порядка». Замучил со своим «порядком». Как услышит по телевизору это словцо — так руки потирает, будто президенты или министры подтверждают его теории. Всё у него по распорядку и ради порядка. Порядок — его Господь. Он и книжку где-то выкопал: «Порядок в жизни». И меня заставил прочитать. Слава Богу, я всё оттуда перезабыла. Живём с ним и Настей (это дочь) в старой квартире, в «брежневке». Он служит в областной администрации, и денег у него хватило бы доплатить за обмен, но ни в какую. Говорит, привык к нашей трёхкомнатной квартире, порядок в ней создавал несколько лет, привык к тому, где лежат вещи, вы привыкли их класть туда, где их место, — и вот теперь ты предлагаешь начать всё заново. Разрушить порядок. Это невозможно». — «Да», — сказал я. — «Да», — сказала она. Мы выпили немного, закусили. — «Ну, я пойду», — сказала она. — У неё зазвонил сотовый телефон, и я увидел на экранчике не имя, а: «Мужжж». — «Вот так, с тремя «ж»». Прожужжал все уши, — сказала она без улыбки. — Мне пора. Увидимся через пять лет. Или через десять. Когда там следующая встреча выпускников? Или все умрём к тому времени?... Иногда, Лёшечкин, так хочется умереть. Завянуть, как растение». — И она ушла. Раньше всех. Пьяный Зырянов крикнул ей вслед: «Ты что это, Танька? Любишь мужа больше меня? Так не годится!»

И вот женщина, сказал я себе, которую переделал мужчина. Подавил. И эта женщина считает, что я бы тоже подавил её. Иного, чтобы никто никого в семье не подавлял, она и не представляет. Но я бы, думает она, подавил её по-другому. Подавил бы не во вред ей, а на пользу. Сделал бы её, как она сказала, умнее. Я так не думаю. Я никогда не считал себя шибко умным и к тому же подавлять никого не хочу. Я бы хотел любить женщину, а не делать из неё что-то. Женщины, равно как и мужчины, таковы как они есть, и не надо ставить над ними опыты.

Кстати, Танька сохранила свою фамилию. Как была в школе Велижаниной, так и осталась. Не знаю, почему. Наверное, предчувствовала, что в тем, за кого она вышла, у неё не заладится. Словно провела между ним и собою черту. Или хотела хоть что-то от своего девичьего прошлого оставить. Фамилию. А может, думала, я искать её буду. По фамилии. Надеялась. Жила прошлым. Да нет, это я воображаю. Я не стою того, чтобы Танька меня искала. Она-то стоит того, чтобы искали её. Это ведь я от неё сбежал. По глупости... Влюбился, как мне казалось, так, что с ума сходил. А Машка из меня просто верёвки вила. Тоже — переделывала!.. Ладно хоть, у меня ума хватило от Машки отвязаться, и беременность её фальшивой оказалась. Но она-то, Танька Велижанина, в беременность Машки поверила. И, словно мне назло, в 18 лет выскочила замуж за карьериста комсомольского (само собою, в нужное время перешедшего в карьеристы демократические). Старше её лет на пять. Костюм, галстук, доброе лицо, привыкшее говорить мило-официально. Взяла за него и выскочила. Он, наверное, и не ожидал такого быстрого поворота событий. Словно, решив наказать меня, она решила наказать и себя: за то, что не могла удержать того, кого любила. Не знаю, похоже ли всё это на правду, но, по-моему, похоже. Хотя бы потому, что на эту тему мы с Танькой на встрече выпускников ни-ни. Говорят люди о чём угодно, о том, например, как стал отвратителен армянский коньяк, или

о том, где теперь Миша Берестовский, заходивший за Викой Капустиной с шестого по выпускной класс, но лишь то, о чём люди молчат, обычно оказывается правдой.

Однако я отклонился от темы. Итак, одноклассники смеялись надо мной. Над самыми счастливым человеком на свете, у которого нет ни жены, ни детей, ни фирмы, ни тоски по прошлому.

На прежней встрече, на 20-летие выпуска, мы решили собраться через пять лет — и подарить друг другу подарки. Не те подарки, которые принято дарить обычно, а подарки оригинальные. Те, над которыми надо крепко подумать. Мы вытянули из шляпы прораба Костика бумажки с фамилиями — и каждый должен был что-то подарить тому, чью фамилию вытянул.

Я достался Игорьку Амиганову.

Нашему троечнику, учившемуся с четвёртого по выпускной класс на «удовлетворительно» и непонятно зачем перешедшего в старшие классы. Он и в институт-то не поступал. Своею судьбою Игорёк тоже подтверждал мою матриархальную теорию. Его жена, родом из Сургута, велела продать ему комнату в пансионате, доставшуюся ему по наследству, перевезла Игоря в Сургут, и тамошние папа и мама жены сделали Игорьку бизнес, по которому он покупал что-то в Сургуте и продавал что-то в Сургуте не то городской администрации, не то какому-то ГУП или МУП, созданному этой администрацией или кем-то около неё, а тёплое торговое это место было получено через известный «тендер». Жизнь Игоря была однообразна и предсказуема, — он называл её без всякой гордости «стабильной» и без смеха говорил, что только около государства можно чувствовать себя в России «стабильно», — и Игорёк был из тех немногих, что матриархатом довольны. Он подчинялся жене, жена подчинялась своим родителям, а в фирме Игорьку подчинялись сотрудники. Эта пирамида всех удовлетворяла — примерно так же, думал я, как тройки удовлетворяли Игоря в школе. Самостоятельность? Интересы? Увлечения? Самореализация? Господи, говорил Игорёк, да я никогда не понимал, что это всё такое. Счастье — оно маленькое, оно синица, а журавль в небе — для тех, кто гонится за невозможным. И этот гонящийся — от тоски помрёт, шептал мне Игорёк, кивая на Зырянова и Костика. «Угу», — соглашался я, поражаясь его житейской мудрости, но про себя считая безысходно тоскливым однообразное, очень не творческое существование в ГУП или МУП.

Подарок от Игорька и впрямь был оригинален. Он подарил мне комплект из ОЗК и противогаза. И этот подарок меня заставили надевать на время. Как в школе, на уроке НВП. Когда парни напяливали эти бледно-зелёные комбинезоны, влезали в «сапоги», военрук, майор химвойск, держал секундомер, а девчонки хохотали, и военрук улыбался, глядя то на жизнерадостных девчонок, не понимающих, над чем смеются, то на мальчишек, потевших и путавшихся в длинных мягких рукавах и штанинах, — и особенно надо мною, ухитрившимся перепутать рукава со штанинами и позднее всех надевшим ОЗК, взмокшим от стыда и девчоночьего смеха так, что с меня лужица натекла на пол. И пота, и слёз — до того мне было обидно. И ладно бы, я был какой-то доходяга, брезгующий военным делом, а то ведь и в школьном тире из мелкашки лучше всех стрелял, и Химоза никогда не делал мне замечания на уличной маршировке. И подтянутость у меня была природная. Однажды он даже сказал мне, что хотел бы видеть меня лейтенантом, а потом и полковником. «Генералом, товарищ майор», — ответил я. — «Что ж, плох тот солдат, Алёша...» — сказал он и со значеньем пожал мне руку. И вот я так оплошал с ОЗК! И надевал противогаз уже тогда, когда все парни — а было их у нас 9 — стояли у доски *одетые*, а я только напяливал противогаз,

ничего не видя в его запотевшие стёкла.

«Двойка», — сказал мне Химоза. И поставил жирную двойку в журнал и в дневник тоже.

«Но мы же... я же... никто же не тренировался», — обиделся я.

«Вот именно, товарищ солдат. Никто не тренировался. Никто. Все в равных боевых условиях». — И он всем поставил пятёрки.

С тех пор я невзлюбил НВП. И Химозу. Не выношу публичного позора. Знаю, что это глупо и что это всего лишь школьный урок, а в школе много и доброго, и очень злого смеха, и сам я смеялся над другими так, что те плакали и лезли в драку, — но вот ничего не мог с собою поделаться. Сейчас-то и мне весело от одного только вида ОЗК и противогаза с сумкой, а вот в тот день я после школы плакал. И не пошёл с Танькой в кино — и порвал билеты на «Кондора» (потом один смотрел этот фильм). А вот теперь я пожал Игорьку и военруку руки и сказал: «Простите, товарищ майор, генералом я не стал. Это чтобы вы не вставали в моём присутствии». Все смеялись, и я за минуту надел ОЗК и противогаз. И у военрука (ему уж за семьдесят) был всё тот же старый секундомер...

Я иногда открываю шкаф и гляжу на свёрнутый ОЗК. Не знаю уж, где добыл его Игорёк Амиганов. Наверное, он эти ОЗК поставляет через своё ГУП или МУП. Чиновники Сургут готовятся к масштабной газовой атаке. Или думают о глобальной экологической катастрофе и способах выживания. Я гляжу на комбинезон и противогаз — и вспоминаю одноклассников. И себя в школе. И думаю о том, что всё могло сложиться как-то иначе. А потом думаю: к чёрту «иначе»! Жизнь — одна. А если у кого-то сделать свою жизнь *иной*, при некоторых к тому данных, не хватило силы характера, то, значит, мечты были ложью, — и жалеть, собственно, некого, а просто некоторым неловко за свои обнародованные мечты. Мечтать надо было о меньшем... Но я-то, кстати, построил свою жизнь, за исключением обретения единомышленницы (которую завести ещё не поздно), так, как хотел. И надо мною можно смеяться, а над мечтателями — нежелательно, могут заплакать. И я могу сказать себе спасибо.

Спасибо тебе, Алексей».

*27 октября, воскресенье, пятый час дня. Старший лаборант Сибирского института промышленной очистки воздуха Никита Дурново*

— Светка, — шёпотом спросил Никита, — не спишь?

— А зачем шёпотом спрашиваешь?

— Чтобы не разбудить.

— Разбудил.

— Врёшь.

— Верно, вру.

— Зачем?

— Просто так.

— Вся жизнь — просто так...

— А вот это уже не враньё.

— Но и не правда.

— Это где-то посередине, Никита.

— А что посередине правды и лжи?

— Философия, Никита.

Они засмеялись.

— Закурим?

— Закурим.

Он проследил взглядом, как Светка, голая, поднялась, перебралась через него (он всё смотрел), взяла со стола пачку «Петра I», прикурила две сигареты, поставила стеклянную пепельницу на одеяло. На грудь ему.

— Ты красивая, Светка, — сказал он, беря из её руки сигарету. — Вот только что был с тобой, а гляжу на тебя, и снова хочется.

— Да ты врёшь, — сказала Светка, ложась рядом и двигая руку по его телу. — Вот же: врёшь. — Она убрала руку. — И знаю, почему: из-за того, что труповоз на меня пялится. Нам идти к нему на юбилей — вот ты и мелешь. Он будет танцевать со мной и говорить мне всякое. Брось ты ревновать ко всем подряд, Никита. Труповоз уже десять лет на меня пялится. Состарился, на меня пялясь. А ты состаришься, ревнуя.

— Тебе тридцать девять, а ты всё красивая. Когда-то я думал, что после тридцати пяти женщины уже старухи, а теперь думаю, что после сорока пяти.

— Ну спасибо, удружил.

Он потушил окурок, отдал Светке пепельницу, встал и подошёл к окну.

— Не люблю окон на запад. Солнца почти нет. Зимой так вообще нет. В Сибири солнца разве не дождёшься? Пока ты в магазин ходила, президент по телевизору о солнечной энергии речь толкал. Представляешь? Как Горбачёв почти что говорил. Или как Хрущёв. Один — про квартиру каждой семье к двухтысячному году байки рассказывал, второй — про коммунизм к 1980-му году. А наш нынешний вот про солнечные батареи речь задвинул. В каждом доме, сказал, будут такие батареи. Он хоть знает, сколько они стоят?... Пообещал бы лучше каждому по «Тойоте» и яхте. Это выглядело бы правдивей. А в Сибири и на Севере,

где-нибудь в Воркуте, что толку от этих батарей? Аккумуляторы-то от чего будут заряжаться? Ну, президенту простительно. Он у нас то на юге Франции, то в Испании, то в Италии, а недавно вот побывал на Мальдивах. Трудится, думает о нас, бедных; ездит, смотрит, как в мире люди живут. Думает: вернусь — сделаю и у нас хорошо. Вернулся — и ну давай о солнечной энергии. Вот бы его сюда. Глянул бы из окошка на тюменский октябрь. Что под ногами, что на небе. Одна серая каша.

Никита замолчал. Светка тоже молчала.

— Ты, Светка, что думаешь?

— А мне плевать, — вдруг зло сказала она.

— Ты что это?

— Тоскливо мне, Никита.

— Почему? — Он взял ещё сигарету из пачки, закурил. Сходил на кухню, поставил включил чайник. — Сейчас заварим по чашечке чёрного, Света. Из-за серости, что ли? Мне тоже погано бывает из-за серости. Я солнышко люблю. Ничего, что зима или осень, но солнышка бы.

— Из-за серости, да не той.

«Женщины, — подумал Никита. — Зря я начал насчёт президента, Мальдивских островов, солнца и батарей этих. И «Тойот» с яхтами. Вот она возьмёт да закрутит с труповозом. Просто от скуки. От тоски по миру».

А что? Такое бывает. Никита прочёл в одном глянцево-м журнале, купленном Светкой, как женщины сходят с ума и отчего совершают непредсказуемые поступки, в том числе и такие, когда изменяют мужьям и бросают благополучные семьи. Казалось бы, ни с того, ни с сего. Вот, от какой-то там серости за окошком. Или от того, что муж случайно сказал о солнечных батареях и яхтах. Которых у них никогда не будет. Которые они даже не видели в своей жизни. И не увидят. Совершаются такие поступки женщинами от тоски. От той тоски по громадному миру, что не развеет и «непредсказуемый поступок». Не развеет, но хоть на ночь или на месяц даст фальшивое ощущение полноты жизни. Там, где нет подлинника, было сказано в журнале, хороша и подделка.

— Не надо, Светка, — шепнул Никита, погасил недокуренную сигарету и прыгнул к Светке на кровать. Она лежала лицом в подушку, руки под лицом. Голая. Он стал целовать ей ягодицы, зная, что ей это щёкотно и что её это нравится. — Мы с тобой вовсе не серые.

— Серые, — сказала она сквозь хихиканье, — серые, как трупы после опытов Владимира Анатольевича. Вот жили люди, и ничего после них не осталось. Никому не нужны были. словно бы жили для того, чтобы умереть, и сделаться подопытным материалом. Нелепость-то какая. Но куда нелепее то, что мы с тобой хуже этих трупов. Мы ещё живы, и поэтому и для опытов не годимся.

— У тебя сегодня философское настроение, Светка. Не хочешь идти на юбилей к труповозу? Так не пойдём. Давай вдвоём напьёмся. Я сбегая, водочки куплю. Сигарет. Денег, правда, ни копейки... Вообще-то мы ему подарок купили. Машинку эту для стрижки усов, триммер. Подарок купили — а пить его водку не пойдём. Глупо как-то.

— А помнишь, Никита, как мы с тобой встретились?

— Это ж в каком году было? — спросил он. — В двухтысячном? Да, точно. Был апрель. Холодный такой апрель. Чуть не как сейчас октябрь.

— Ага, и серый такой же. — Она перевернулась на спину. — Что весна, что осень.

Он увидел, что она плакала.

— Но в тот вечер было солнце. Оно заглядывало и в это окно. Был ведь вечер, а окно-то западное.

— Никогда не замечала, что ты романтик.

— А я дерьмо, а не романтик. Я соврал тебе в тот вечер, будто я без пяти минут кандидат наук, что уже заканчиваю кандидатскую — и работаю в крупном НИИ. И что у меня тема интереснейшая: теория эволюции в свете... не помню уж, что и ляпнул.

— И я не помню. Но смеялась я долго. Это было и вправду смешно: лаборант с неоконченным химфаком, выгнанный с третьего курса, пытается вешать лапшу на уши кандидату биологических наук.

— Но я ж не знал, что ты биолог. Мы просто встретились на улице, я поймал твой зонт. Был не то дождь, не то снег с дождём. И на кой таджикский ляд меня потянуло на теорию эволюции?... Я же химик.

— Но врал ты вдохновенно. Соединял те слова, которые в биологии обычно не соединяются. Тебе бы в депутаты.

— Я думал, больше мы с тобой не увидимся.

— А спустя месяц встретились тут, в этом институте.

— И ты как увидела меня, так сразу улыбнулась, — и я понял, что жить без тебя не смогу. Доктор не знал, куда тебя пристроить, в смысле жилья, куда приткнуть, а приткнуть было надо, проект-то секретный, — не знал, как и быть и что и придумать, как разместить *разнополых детей*, пока я не набрался смелости и не сказал ему: «Пусть она поживёт здесь со мной». — «Как — с тобой... то есть с вами, Никита?» — «Ну, так. Я не имел в виду... Я хотел... То есть не хотел... — Я нёс околесицу всякую, а потом взял себя в руки и сказал доктору: — Я на кухне шторку сделаю, или комнату поделю пополам. Построю из досок перегородку. Доски вон есть во дворе старые, сойдут. Кухня большая, и комната тоже. Или ширмочку ей куплю. И раскладушка у меня есть. Зачем усложнять, Владимир Анатольевич?» — «Это, Никита, у тебя передо мною легко выходит. Да и то — не легко. А ей-то ты сможешь это предложить? Или ты ждёшь, что я подойду к ней и скажу: вы будете спать у Никиты?» — «Я сам скажу».

И неделю я решался, а потом, когда у доктора терпенье кончилось, и в воскресенье он явился ко мне с ультиматумом: или сегодня, или у меня есть на примете другой биолог, мужчина, одноногий, с вредным характером, но согласный на маленькую зарплату, лишь бы ему дали жильё, и он-то без раздумий согласится жить в твоей комнате с тобой, — и я пал перед доктором на колени, и тут же сел на автобус и поехал к тебе в твой занюханный пансионат, в тот клоповник, где ты снимала девять квадратов, и сказал тебе и про ширмочку, и про доски во дворе, и про раскладушку, и про большую кухню с большой комнатой. Неблагоустроенную кухню и благоустроенную комнату.

— И случай благословил тебя, — сказала она. — Потом были эти азербайджанцы. Пьяные. Им нельзя пить. Не зря у мусульман пить запрещено. Навалились на улице на меня так, будто я из их гарема.

— И я растерялся.

— Ненадолго. Ты здорово отлупил их. Я боялась, что ты одному глаз выбил.

— Не выбил.

— А помнишь, они кричали с акцентом: падажды, милицию вызовем, тэбя посадят? А ты ответил: вызывайте. Мы подождём.

— Они к такому крутому повороту дел не привыкли.

— Это был хороший мстительный день, — сказала она.

Никита понял, как много она недоговаривает. Как много он о ней не знает. Ну и что? Она тоже о нём мало что знает. Люди, живущие вместе, должны знать друг о друге лишь то, что вместе пережили. Так их союз прочнее. Так они не будут копать в грязном белье прошлого и горевать из-за того, что не поправишь. Никита давно уяснил эту несложную истину. И если уж и ревновать, подумал он, — так к настоящему. А азербайджанцам он здорово залепил. Всю кожу на кулаках ободрал. Никита знал, что у Светки были аборт, два или три. И что она не может теперь иметь детей. Но он и не хотел детей. Или делал вид, что не хотел, убеждал себя в том, что не хотел. Делал вид так удачно, что верил в это. Светку-то он любил. С первого взгляда, между прочим. И знал, что она это знает. Хотя он и не говорил ей про «первый взгляд». Тоже мне, романтик!..

— А одноногий биолог и правда был? — спросила Светка.

— Правда; я видел его в субботу. Накануне.

— Доктор никогда не врёт.

— Да, никогда.

В то воскресенье они приехали сюда, на Луговую. В институт — то есть в его жилую часть. Доктор — при Никите — спросил у неё, понимает ли она, что житьё тут не самое комфортное и что ей придётся делить однокомнатную квартиру с мужчиной, и что... «Я всё обдумала, — сказала она. — Мне здесь нравится. Здесь тихий район. А комфортом я не избалована. И мужчина, про которого вы сказали, вовсе не плох. Не опасен, по крайней мере. Для меня не опасен».

Доктор ушёл в подвал, а они — он, Никита, и она, Светка, — поднялись на второй этаж, в квартиру №3, напротив квартиры доктора. Никита шёл за Светкой, нёс её два чемодана, думал о ней как о Светке, хотя она была старше его на три года, и смотрел на её ноги в обтягивающих джинсах, и на её зад, и на её длинную шею, и коричневые вьющиеся волосы (он так и думал: коричневые, не зная, как правильно этот цвет волос назвать), — и хотел с ней лечь, прямо сейчас, прямо на своей кровати, прямо в одежде, она в короткой турецкой курточке, а он в своём пальто. И они бы медленно раздевались бы, и смотрели бы на пуговицы, молнии, ремни, всякие одежные застёжки и крючки, — и от желанья у Никиты во рту пересохло.

И когда они поднялись, он поставил чемоданы и посмотрел на неё — долго, долго смотрел, — а потом сказал: «Я быстро», сбегал вниз, к таксисту, забрал ещё сумку и пакеты, заплатил таксисту, не считая бумажек, и поднялся. Она ждала его у входа.

Они обнялись вначале — тихо, нежно, не прижимаясь тесно друг к другу, обнялись, как брат и сестра, — и стали делать то, что представлял на лестнице Никита: медленно раздеваться. Она раздевала его, а он — её. И не говорили ничего. Никита не мастер был убалтывать женщин, а Светка была не из тех тающих от словечек девчонок, кому можно «присесть на уши».

Но кое-что он всё же Светке сказал в тот день. Вернее, уже вечер.

— Никогда не уходи от меня, — сказал он. — Никогда.

— Я поняла, — кивнула она. — Ты не хочешь, чтобы на моём месте оказался одноногий мужчина.

— Ну да, — ответил он. — С вредным характером.

На следующее утро, когда доктор Таволга спросил их: «Ну как, девочки и мальчики, ширмочку построили? Шторки задёрнули?», она сказала: «Нет, мы решили без ширмочек».

Можно, мы будем любить друг друга, Владимир Анатольевич?»

— И доктор потерял дар речи, — сказал Никита. — Стоял и лупил глазами.

Он слез с постели и стал одеваться. Взял с гладильной доски рубашку — вчера вечером постиранную, а сегодня утром выглаженную Светкой, с острыми стрелочками на рукавах, как он любил, и деликатной стрелкой на спине, — надел, взял в платяном шкафу брюки, тоже поутру отпаренные и отглаженные, пахнувшие стиральным порошком, — надел, посмотрелся в зеркало на стене. В зеркало, оставшееся в квартире от прежних её хозяев. Застегнул пуговку, которая была перед верхней, расстегнул. Снова застегнул. Почувствовал, что Светка смотрит на него с кровати.

— И куда всё делось, Никита?

— Вот оно что, — сказал Никита. — А всё здесь. Всё осталось.

— Что же — всё? Хочешь сказать, ничего и не было?

— Всё было и всё осталось, — твёрдо сказал он, глядя ей в глаза.

Она села на постели. Голая. Смотрела на него.

— Не мни рубашку. Погладила ведь.

— Да к чёрту рубашку. Мне, знаешь, — он подсел к ней, и ему было приятно через ткань рубашки чувствовать её обнажённое тело, её бок, её грудь, — ничего и не нужно, лишь бы ты была счастлива. Вот ты недовольна или тоскуешь — и мне плохо. Вот ты радуешься чему-то, самой мелкой мелочи — и мне делается хорошо.

— Так это ты о себе печёшься, а не обо мне.

— Ух, — сказал Никита.

— Ух, — сказала Светка.

Они сидели так сколько-то времени, видя, как сгущаются сумерки. Никита думал, что у труповоза они развеются, выпьют водки, покурят, закусят хорошенько, снова выпьют, и им станет хорошо, и пусть завтра болит голова, только бы Светка не мучилась так. И не мучила бы его, Никиту. Ну, что он может ей дать? Купить новое зеркало? Новое красивое зеркало — это его и её месячные зарплаты, сложенные вместе. Помечтать о том, что накопят денег и слетают за границу, куда-нибудь в солнечный Таиланд, посмотреть пёстрых попугаев и пожить в отеле с четырьмя звёздами? Они мечтали об этом. Мечтали, и сердились друг на дружку, потому что выходило одно враньё. Мечтали и изменить свою жизнь: найти другую работу, другое жильё. Но многие люди вокруг мечтали о том же самом — и стоило Никите и Светке покинуть этот институт, не продлить контракт, который перезаключался каждые три года, — как их рабочие места заняли бы другие люди, например, одноногий биолог и какой-нибудь лаборант-химик не с двумя с половиной курсами университета, как Никита, а с дипломом, а то и с кандидатской степенью, теперь безработных кандидатов пруд пруди. Просто уйти отсюда куда глаза глядят, сжечь мосты? Однажды они хотели сделать это, Светка и чемоданы собрала. «Больше так не могу. Одно и то же. Никакого просвета. И было бы что-то научное. Большое, настоящее. Такое, что переменяло бы будущее. А то ведь здесь не вижу ничего. Сажу в своём зверинце. Доктор, видимо, в тупике. И сам это отлично понимает. И ведь не лжец он. Но тут упрямо не желает признать ошибки. Он словно атеист, в исключительных случаях верующий в Бога». — Никита молча смотрел на неё — и не верил, что она уйдёт. — «Ты обманываешь себя, Светка», — наконец сказал он, видя, что она всё медленнее и медленнее укладывает вещи в чемодан — и так подолгу глядит на свои блузки и брючки, будто не хочет их класть в чемодан: ведь помнутся. — «Обманываю», — согласилась она и стала вынимать блузки и брючки из чемодана и развешивать обратно на

плечики и вешать плечики в платяной шкаф. Никита знал, что ей стало легче. Куда бы она пошла? Ну, пошёл бы и он с ней — и куда бы они пришли? Вернулись бы в этот старый дом, вот бы что было.

Она бросила разбирать чемодан и заплакала. Села на чемодан, и сидела на нём и плакала. Успокоилась через полчаса. Умыла в холодной воде лицо, припудрила веки, намазала ручки кремом, который неожиданно нашла в платяном шкафу. И вот уже она деловито крутила мясо в мясорубке, и жарила котлеты, и фальшивенько напевала «Не забывается такое никогда», как казалось Никите, была удивительно спокойна.

Он подошёл к ней сзади, обнял её, подал ей открытую банку пива. Сказал: «Просто жить, смотреть в окно, пить пиво, жарить котлеты и ни о чём не думать — наверное, это и есть жизнь, и есть счастье. Кажется, буддисты или индуисты что-то такое и ищут».

Вытянув руку и отвернув от плиты лицо, Светка перевернула зашипевшую котлету.

«Жизнь в этом есть. А вот счастья — нет».

## Глава четвёртая

*27 октября, воскресенье, начало девятого вечера. Инспектор ДПС ГИБДД младший сержант милиции Константин Мальцев*

Вчера Катя сказала ему: она не уверена, что хочет за него замуж, а он ответил: «Да ты хочешь, дурашка, просто воображаешь, будто простой дорожный мент тебе не пара». — И она согласилась. И сказала: «Я знаю: время классов давно прошло». — «Ну, ты завернула, — сказал он. — Оно не прошло, и никогда не пройдёт». — «У меня же высшее образование, мне лучше знать. В советское время были три класса: рабочие, колхозники и интеллигенция. А при царе было дворянство, буржуазия, пролетариат и...» — «Ну и что? — перебил он Катю. — Если этих классов нынче нет, то не значит, что классов вообще не стало. Теперь они проще: те, у кого есть деньги — это первый класс, и те, у кого денег нет, — это второй класс, отбросы общества, так сказать. И те, кто во втором, очень хотят перейти в первый. К деньгам. Вот и всё. Понятно?» — «Социальная мобильность. Перемещение из страты в страту», — сказала Катя. — «Поменьше ненужных слов употребляй — и поменьше будешь меня стесняться. Запомнят сотни иностранных слов — и чувствуют себя образованными. Ты вот, Катя, меня понимаешь?» — «Да». — «А ведь я обхожусь без этой иностранной зауми. И ты можешь обходиться. Ты эту заумь побереги для кого-нибудь другого». — «Для кого?» — «Для своих будущих пациентов. Чтобы они тебя не с первого, а с двадцатого раза понимали. Побольше часов у тебя проведут. Побольше денежек заработаешь. Те, кто эти слова придумали, придумали их ради денег, Катя. Если б они не могли этим заработать, они б занимались другим бизнесом. И советские коммунисты собирали бабки со всего народа, сидели по парткомам да обкомам, да в Москве, ни фига не делали. Одно и то же, что нынешние депутаты. Везде деньги, и везде только два класса».

Он быстро съел своё карпаччо (какие же крошечные порции в этом ресторане! Надо было двойную порцию заказать или взять к говядине баклажанов с сыром, — но цены-то!.. В ресторанах только аппетит раздраживать) и теперь смотрел, как она кушает салат «Британский». Ему нравилось смотреть, как Катя ест. Как пьёт чай. Вообще обожал на неё смотреть. На одетую, полураздетую, голую. Одевающуюся, раздевающуюся. Лежащую, сидящую, стоящую. Работающую на компьютере, читающую книгу, смотрящую телевизор, говорящую с ним. Бывало, она краснела под его взглядом. Это ему нравилось тоже. И он кушала вой салат — аккуратно, действуя вилочкой, ножиком с мелкими зубчиками, — а он смотрел на неё. Он видел её ровненькие зубы, маленький рот с пухлыми губами, карие глаза, маленький нос и волосы, которые она называла «каштановыми», а он называл «коричневыми».

Она хочет, хочет за него замуж. Потому и говорит, что «не уверена». Она стеснялась его, когда их видела подруги-студентки, стеснялась немного его формы «ДПС», но она любила его. И в постели он, Костя Мальцев, был очень неплох. Мужчина понимает, когда девушке с ним приятно. Ростом он, правда, не вышел, и ниже её. Но всего-то сантиметров на семь. Не могут же семь сантиметров быть препятствием для брака.

Катя просто нервничает. А нервничать не стоит. Он уже вчера объяснял её. Тем более с этим делом ещё не точно. Так, одно переживание. Для того и нужен мужчина женщине,

чтобы успокаивать её. Особенно женщину-психолога. Психологи ведь и делаются психологами потому, что сами не умеют успокоиться. Им кто-то нужен, чтоб их успокоить. Вот потому они и ищут себе пациентов — у которых ещё больше беспокойства, чем у них.

Но сейчас она решила, видимо, продолжить вчерашнюю тему. Попытаться психологически его, Костю Мальцева. Будущего мужа, в котором она «не уверена». Ну-ну.

— Вот ты скажи мне, Костя: почему в ДЭПээС работать... стыдно?

— А не стыдно, Катя.

— Все же считают, что стыдно. Что дэпээсники взятки на постах берут.

— Тут не стыд, Катя, а зависть. Твои подружки сами бы встали на дороге, будь у них такая возможность. Ты думаешь, в ДЭПээС просто устроиться?... Должности нынче не дешёвые.

— Милиционер — всем пример, — сказал Катя, жуя какой-то листик. Не то салата, не то лопуха. Чёрт знает, что эти русские итальянцы кладут в салаты. — Вы поставлены штрафы собирать и водителей дисциплинировать, а вы карманы набиваете.

— Во-первых, карманы набивают *все*, а не одни мы, — сказал Костя. — Во-вторых, ты, Катя, не понимаешь одной простой вещи. Ну какая разница, мне или не мне отдаст деньги нарушитель? В следующий он раз всё равно подумает, нарушать правила или ездить как положено. Мы *не просто так* собираем деньги. Функцию свою мы выполняем.

— Как — какая разница? В первом случае ты прикарманливаешь деньги, а во втором они идут в бюджет.

— Бюджет? Это сказка для легковверных. Правительство, Катя, заботится о нас не только прямо, повышая денежное довольствие, но и косвенно: увеличивая штрафы. Если б все деньги с дорог шли в бюджет, государству пришлось бы платить нам, дэпээсникам, втрое больше. То есть вдесятеро. В сто раз. Никакого бюджета не хватит, чтобы платить милиции столько, чтобы она стала к деньгам безразлична. А у государства и так вечный дефицит и долги. Такие, будто оно бюджет в рулетку ставит. И проигрывает...

— Железная логика. Бронированная. Непробиваемая. И не подступишься.

Костя пожал плечами, достал сигареты.

— Обыкновенная логика человека, понимающего, как устроено государство, и знающего, как надо жить. И ты тоже это знаешь. Сидишь вот тут и ешь салат «Британский» — вот где логики нет: ресторан — итальянский, а салат — «Британский», — за шестьсот рублей. А эти рубли, между прочим, *с дороги*.

— Как надо жить, Костя?... Ты говоришь, знаешь?... Ну вот скажи: в чём ты видишь своё предназначение? — спросила она, как ему показалось, немного зло. — Кроме того, чтобы спать со мной, жить в хорошей квартире, купить новую машину или плазменный телевизор. Что тебя цепляет в жизни? Неужели сбор денег на дороге? И всё?

Константин улыбнулся. Ему нравилось отвечать ей не сразу, не тут же, а потянуть маленько. Чтобы она чуток позлилась. Также мне — психолог! Лучшие психологи — милиционеры. Уж они-то и специалисты по характерам и темпераментам, и любую ложь за километр чувствуют. Как душок пивной или коньячный. Им и «трубка» не нужна. И тех, кто решит договориться *по-человечески*, или тех, кто намерен скандалить и снимать постовых на камеру сотового телефона, милиционеры на дороге тоже научаются распознавать. Немного тренировки, и всё. Диплом бакалавра или магистра не заменит милицейской практики.

И поэтому она спрашивает — а он отвечает.

— Один ищет грибы в лесу или ловит подлещиков в речке. — Костя закурил. — Другой

играет в карты, жить не может без покера или «очка». А у третьих их азарт к деньгам на дороге. — Он выпустил дым «Мальборо лайт» синеватыми колечками. Ровно десять колечек. Мальцев любил круглые числа. Суммы на дорогах тоже обычно были круглыми. Зачем собирать копейки. Жадничать нехорошо. «Знай меру — и народ к тебе потянется», — учил Мальцева старлей Кулёмин.

— Подать вам фирменный кофе? — спросила официантка.

— Нет, чаю, — сказал Костя. — И принесите молочник.

— Один, другой, третий... — сказала Катя. — Азарт... А у меня, Костик, по-твоему, какой азарт?

— Я тебе, Катя, врать не стану. Ты меня знаешь. Твой азарт — одурачивать простофиль, прочищать им мозги, влезать им в душу так, чтобы они привыкали к тебе как к героину — и без тебя уже не могли обойтись. Ходили бы к тебе на консультации и оставляли бы у тебя денежки. Как в американском кино. Обставленный кабинет в современном стиле, жалюзи, пара шкафов с книгами, стол, телефон, кресла... Большие часы на стене — чтобы повременную брать. Вот ты доучишься, диплом получишь — и на мои денежки психологический кабинет откроешь. Мы ведь уже обсуждали это. Плазменный телевизор и новая машина немножко подождут. Я готов потерпеть. Откроешь кабинет, придумаешь рекламу — и народ к тебе потянется. И у меня будут свои психологические истории на дорогах, а у тебя — свои. Со временем целый институт организуешь.

— Мы плохие, Костя, — вздохнула Катя.

— Мы — плохие? — удивился он. — Нет, Катя, мы — обычные.

*27 октября, воскресенье, 20:30. Начальник I отделения военного комиссариата Ленинского административного округа города Тюмени подполковник Баранов*

Мечта, сказала ему Тоня, бывает личная, частная, то есть маленькая, о себе, любимом, и бывает не о себе — обо всех людях, большая, на весь мир.

Какая мечта была у него, Баранова?

— Какая мечта у тебя, папа?

— У папы завтра трудный день: понедельник, — сказала Рая.

— Рая, всё в порядке, — сказал он. — У меня трудная дочь, а понедельник ничем не отличается от среды. Это для пьяниц он трудный.

Так какая же мечта была у него?

И хочет ли он о своей мечте рассказывать дочери?

Нет, не хочет. Что же это за мечта, о которой рассказываешь? Мечта — это тайна. А то, что рассказал кому-то, больше не мечта. Любой может мечтать об этом же. Вот когда мечта сбылась — тогда о ней можно сказать. И то не всем. Но Тоне-то он бы сказал. А ей бы пора уж понять, что о мечте не говорят, а думают. *Мечту мечтают.*

— Мама, а ты не мешай мне с папой разговаривать. Перебивать некрасиво, — сказала Тоня Рае. — Почему обычно взрослые учат и воспитывают детей, а в нашем доме — наоборот?

И, пока Тоня отчитывала Раю, а Рая от Тони отбивалась, он помечтал немного.

Помечтал на весь мир — или на тему себя, любимого?

А у него мечта одновременно и о людях, и о себе.

Тоня не понимает этого, но он себя от людей не отделяет. Такая уж у него работа. Точнее, служба.

Вести за собой людей. Вот чего ему хотелось. Он постеснялся бы признаться в этом кому угодно — даже жене и дочери, — и стеснялся и думать об этом. Но любил представлять неясные, тёмные картины, боевые воодушевляющие фрагменты — в красных, чёрных, серых тонах, эпизоды войны, — в которых он вёл, и за ним шли.

В мечтах он был кем-то вроде Минина. Или князя Пожарского. В смутные времена. А времена всегда смутные, или на грани смуты. То кризис, то переворот, то путч, то революция, то фашисты, то новые русские, то Чечня, то Грузия, то снова Чечня. И ему представлялось, как он уедёт за собою людей, и люди побеждают смуту, и благодарят его, и ставят ему памятник, а он отказывается: не нужен ему памятник. Разве что как память сбывшейся мечте... Князь Пожарский... Ничего княжеского и вообще дворянского в сибирском роду Барановых не было (он пытался искать, посещал архив), не было и выдающихся личностей, — но он, подполковник Баранов, начальник первого (мобилизационного) отделения военного комиссариата Ленинского административного округа города Тюмени, сделает свою фамилию достойной сравнения с фамилией Пожарского.

О такой мечте он не мог сказать Тоне. Нет, не только потому, что мечту не выдают, а хранят как военную тайну. Тоня бы смеялась, скажи он ей о своих тёмных картинах. Вот

когда за ним пойдут — а в России всё может случиться, и может случиться очень быстро, сегодня у нас мир и производство молочного шоколада, а завтра — война и изготовление ракет и гробов, — и когда те, кто за ним пойдёт, победят, он скажет Тоне: вот моя мечта, Тоня. У меня больше нет мечты, Тоня. И в этот день его дочь переменится. И в её грядущей перемене — его маленькая, частная мечта. Теперь он разделил их: большую и маленькую. Дать победу людям и вернуть себе сердце дочери.

И, горько признаться, он хотел войны. Ещё и поэтому ему нелегко было говорить с Тоней. В том числе и о мечте. Тоня словно чувствовала его тайную, глубоко упрятанную мысль. Ведь чтобы его мечта прорвалась в реальность, должна начаться война.

Но он хотел такой войны, которая бы развязалась... которая бы... справедливой войны. Отечественной. Чтобы напал враг, и народу было бы ясно, что это враг настоящий, а не искусственный, выдуманный какой-нибудь агрессивной партией.

Однако, какая отечественная война, подполковник?... С кем воевать? С каким захватчиком? С Грузией? Это была бы не та война, чтобы поднимать народ. С Украиной — из-за газа? Смешно. С Америкой? Баранов вспомнил четыре года, проведённые в военном училище. Там ему, молодому курсанту, как и всем прочим молодым курсантам, замполит внушал про империалистическую американскую агрессию, про враждебные военные блоки *капстран* и щёлкал указкой по плёнке карты, на которой были отмечены страны, входящие в НАТО, АНЗЮС и какие-то ещё империалистические захватнические блоки, созданные несомненно, с одной явной целью: сплотиться в агрессивных интересах и поработить единые и дружные народы СССР. И почему-то Баранов вспомнил картинку из старого номера «Крокодила»: три проткнутые дудкой глотки — радио «Свобода», «Голос Америки», а третье радио он забыл, кажется, «Свободная Европа», — и подпись: «Дудят одну заведомую ложь. Но дудки! Мир на это не возьмёшь».

— Папа, ты меня совсем не слушаешь. Мама перебивает, ты витаешь в облаках. Зачем вам вообще разговаривать со мной, если вы всё равно остаётесь при своём мнении? Делаете вид, что вам интересна моя жизнь? И мои принципы? Папа, повтори, какая у меня мечта.

«Кажется, что-то про мир во всём мире».

— Мир во всём мире.

— И пушки только в музеях.

— Это большая мечта, я понимаю.

— И очень жаль, что это мечта!

— В смысле? Чем плоха такая мечта?

— Да тем, что она — мечта! Тем, что рядом со мной сидит папа-военный! И каждый день, надев свой китель, мой папа напоминает людям, что есть военные и есть война. Вот если б папа сказал: я не хочу быть военным, быть военным — позорно, военные — убийцы, я бы стала на шаг ближе к мечте.

— Но я не убил никого.

— А может, лучше, чтоб убил? Тогда б понял всю заразу войны?

— Что ты такое говоришь, Тоня... — сказала Рая.

— Рая, не встревай, — сказал он.

— Из мальчиков в нашем классе только двое хотят служить в армии, — сказала Тоня. — Оба — лодыри и тупицы. Нахалы и хулиганы. Получается, армия состоит из лодырей и хулиганов. Из тех, кто плохо учился в школах. Больше такие разгильдяи нигде не нужны. Папа, ты тоже плохо учился в школе? И тебе писали замечания в дневнике? Ты не решал

задачи, а списывал?

— Я часто думаю, Тоня: и в кого ты такая уродилась. — Опять Рая. Рая спасала его. А он улыбался. Может быть, его улыбка была глупой, ну так что. Тоня и считает его, наверное, глупым. Тупицей. И он улыбался шире, чувствуя, что выглядит уж вовсе глупым. Ему нравилось не то, что у дочери есть характер. Что она имеет мнение. Что она не молчит, как часто вынужден он молчать перед разными начальниками, непосредственными и прямыми. Что он всё ждёт той жизни, которая даст ему волю к победе, а она начинает побеждать уже в пятнадцать. В пятнадцать с половиной. Но мечта о мире во всём мире — ещё большая сказка, чем его надежда на то, что он, будучи военным, поднимет народ на правое дело — на какое-то неизвестное дело, когда-то в будущем. И он, и Тоня мечтают. Но он тайно, а она — явно. И он немного завидует ей. Вот. Всё стало на свои места. Он завидует. Ему сорок, а ей нет шестнадцати. К сорока он не дождался исполнения своей мечты (но разве она должна *исполняться?*), а ей до сорока ещё целая жизнь. Как тут не позавидуешь? Осуществись его мечта, скажем, завтра, — он бы перестал завидовать. И Тоня, его дочь, перестала бы критиковать его — во многом незаслуженно, потому как мало что она знает об офицерах и об армии, знает лишь тот, кто в армии служил, — а стала бы равняться на него и с восторгом рассказывать о нём в классе. И её бы с восторгом и слушали — и тоже бы на него равнялись.

Баранов улыбался. Рая могла бы не спасать его. Спасать от дочери? Нет, это ни к чему. Другие отцы не знают, о чём говорить с дочерьми, а у него тем избыток. Вернее, тема, кажется, одна, но неисчерпаемая!

— Я не очень хорошо учился в школе, Тоня, — отвечал он, — но армия сделала из меня человека. Люди, которые не могут найти себя в школе, среди задач по алгебре и органических формул, должны попробовать что-то иное. Кому-то быть учёным, кому-то — военным. А кому-то и грузчиком или дворником. Надеюсь, ты не осуждаешь дворника Геннадьича? Не спрашиваешь у него об школьных отметках?

— Дворник Геннадьич, между прочим, рассказы пишет. И в областной газете печатается, папа. И даже в Москве иногда. А ты и не знаешь. Ну скажи: не знаешь. Впервые об этом слышишь. Военные, такие как ты, ничего не знают о соседях. Тебе плевать на соседей. Ты знаешь только эту толстую тётку-техника, которая хлопает половики над нашей лоджией. А не хлопала бы, так ты и её бы не знал. Никого ты не знаешь, а мы с мамой знаем всех. А почему?

Он промолчал. Ну, что он мог сказать? Только что он улыбался — но дочь не приняла его улыбки.

— Вот представь: тебе надо повести людей в бой. Ну, допустим, пришли оккупанты. И вот тебя назначили командиром и велели мобилизовать наш дом. Что проще: поднять людей на доверии, зная их и любя их, или поднять по тупой команде, которую ты будешь орать им в уши?

— С чего ты взяла, что я буду орать людям в уши?

— Слышала я, как ты орал на дядьку в военкомате, папа. Дядька старше тебя был, а ты кричал на него, как на ребёнка. Это некрасиво.

— Уклоняющиеся... — начал Баранов, но замолчал. Ни к чему это говорить ей. Он уже много раз говорил с ней об этом. Для её поколения «защита Родины» мало что значит. Они просто этого не понимают. Они, так сказать, интернационалисты. Да и он-то: то СССР, то РФ, а что завтра будет? И ведь он присягал на верность СССР. «Которой Родине служить? Или, точнее, прислуживать?» — так сказал ему тот «дядька», ловко уклонившийся от

военных сборов. Баранов и вправду погорячился. Он умел говорить и мягко, вкрадчиво, и убедительно, — но иногда в нём просыпалось то, что Тоня называла «армейское чудовище» или «сатана войны». Но Тоня не знала, откуда берётся этот сатана. А он знал: от мёртвой его мечты. Она, в общем, права: военным нужна война. Иначе они ощущают свою жизнь бессмысленной. И войны на планете есть. Но ведь военные живут под приказом. Тоня не могла этого понимать. Да, он военный чиновник — *военкоматовская крыса*, на жаргоне тех, кто служить в «рядах» не желает. Но не по своей воле. Родина направила, — так он объяснил однажды Тоне. Она не поняла: «Родина? Да ты сам себя направил, когда пошёл не в институт, а в военное училище!» — «Надеюсь, — кротко ответил он ей, — ты, в отличие от меня, поступишь правильно, и пойдёшь в институт». — «Уж не в армию прапорщиком», — засмеялась она, но засмеялась холодно.

Иногда ему казалось, что она не любила его — и именно потому-то Рая и лезла в их разговоры, — но он убеждал себя, что ошибается. Дочь не может не любить отца. Так он твёрдо говорил себе. Так же, как взрослый сознательный человек не может не любить Родину. И отказаться от её защиты. По каким-то там пацифистским принципам. Это были аксиомы. Заповеди. В них надо было верить. А если не верить, то что он, подполковник Баранов, отец и офицер? Без дочери и без Родины?

— Папа, а ты когда-нибудь защищал Родину? — спросила Тоня. — Нет? Но считаешь, что имеешь право учить этому других? Военрук из двадцатой школы воевал в Афганистане — и никогда не говорит о защите Родины. Прости, папа, если я говорю слишком сурово, но он воевал с оружием в руках, а не отсиживал зад в военкомате.

— Это тебе Сева рассказал?

— Севин друг, Мишка. Он из двадцатки недавно к нам перевёлся. Откуда у тебя право учить тому, чего ты не делал?

— Ты разводишь демагогию, Тоня, — сказал Баранов. И почему он не умеет ей ответить так, чтобы она не повторяла свои одинаковые вопросы на разные лады? Может, она и вправду хочет узнать точный ответ или хотя бы личный и честный его ответ, а не слышать те чужие ответы, которые Баранов сам когда-то выслушивал от других, а теперь повторяет ей? — Это традиция офицеров и вообще военных — передавать из поколения в поколение, учить...

— Традиция военных — учить убивать и приучать к мысли о войне. Поколение за поколением.

Он молчал.

— Я — девушка, — говорила она. — Будущая мать. Родись у меня сын, я должна буду вырастить его, а потом отдать в лапы военных. Таких, как ты. Оккупантов родной страны.

Он не хотел отвечать на это. Он надеялся, что такие настроения у дочери пройдут с возрастом. Месяцев через шесть-семь. И хорошо бы выдать её замуж за офицера. Или это нехорошо для неё? Баранову казалось, что с сыном он нашёл бы больше понимания. Хотя вот же отец Севки не находит понимания с Севкой. «Это новое поколение, — объяснял себе Баранов. — Не служить в армии и осуждать военных у них модно. Они не понимают. Они не понимают того, что понимали мы. И, главное, не чувствуют. Они не желают ни понимать, ни чувствовать а желают осуждать. Знамя для них — тряпка, присяга — закабаляющий текст, человек с автоматом — тупая машина для убийства... И почему я не умею объяснить, что это не так?»

— У неё трудный возраст, Руслан, — говорила Рая.

«Трудный возраст! Поди, уж целовалась с Севкой, в их пацифистском подвале... и не только целовалась. Всё у них просто и быстро».

— Расскажи-ка мне о Севе, Тоня, — просил он.

— Это ты почему спрашиваешь, папа? Думаешь обмануть меня тем, что будто бы интересуешься моей жизнью? Или тебе правда интересно?

— Интересно. А, может, и полезно для моей карьеры. Вот послушаю тебя — и напишу доклад районному комиссару. Чтобы подобрал подходящие места службы для твоих мальчишек-приятелей. В Забайкалье. Или на Северном полюсе.

— Не смешно. Военные не умеют шутить, папа. А ты же военный. Военные повторяют друг за дружкой одни и те же шутки. Которые им придумали на заказ фрилансеры. Чтобы военные могли притворяться шутниками, людьми с чувством юмора.

— Ну, ну... Я просто спросил, что за огурец твой Севка. А ты ударилась в теорию.

— А что хочешь, чтобы я тебе рассказала? Как я целовалась с Севой? Ну, так я с ним не целовалась. Целовалась бы — так не сказала бы. Одно скажу: я бы хотела с ним поцеловаться.

— Мне про их принципы что-нибудь.

— Для «дела Севы». Понятно.

Тоня рассказала ему, что у Севы, Мишки и Валерки есть три правила, по которым они живут и собираются жить дальше: первое) не дерись, если можно обойтись без драки; второе) умей дружить и помни: дружба — ежедневный труд; третье) числи во врагах тех, для кого приказы и инструкции важнее человеческих судеб и жизней, для кого человек — не самоцель, а средство.

— По-твоему, для его отца и для меня люди — средство? — спросил он.

— Средство, — ответила Тоня. — Для тебя они — часть плана. Разнарядки. Или как там у вас это называется. Плана, в который ты и не вдумываешься. У тебя есть план, и ты по нему действуешь. Тебе надо его выполнить. Любой ценой. И тебе плевать на людей. Начальство тебе приказывает, ты говоришь: «Есть», и выполняешь приказ. Тебе всё равно, что ты вмешиваешься в чужие жизни. Отвлекаешь людей от их *цели*, папа. Ради примитивной цели своей: выполнить план, угодить начальству. Разве нет?... Защищать Родину, опять скажешь ты? Сева так отвечает на это: где вы были, защитники Родины, когда народ СССР проголосовал за сохранение СССР, а троица в Беловежской пуще СССР развалила? Где были вы, защитнички, давшие присягу на верность СССР?

— Подкованный пацифист, — сказал Баранов. — Другие вон говорят, что лучше бы, чтобы фашисты нас в сорок первом захватили. Тогда б мы стали культурной мирной цивилизацией. Забывают только, что культурные немцы вовсе не были мирными. Что пришли с эМПэ, эМГэ и фауст-патронами. Это всё одного поля ягоды, Тоня. Мой дед, твой прадед, на фронте погиб. Сгорел в танке.

— Не спекулируй, папа, на памяти деда. Вместо того, чтобы разворовывать бюджет, влезать в долги и переименовывать милицию в полицию, а полицию в милицию, наши федеральные чиновники могли бы содержать контрактную армию. Где служили бы те, кто готов защищать Родину. То есть то, что под ней подразумевается. *Систему*.

— Это тебе тоже Сева сказал?

— Нет, папа, это общеизвестно.

Тоне, кажется, нравится этот Сева, думал Баранов, но ведь он старшеклассник, в следующем году — выпускник. На полтора года старше Тони. Полтора или два года в таком

возрасте слишком много значат, чтобы возникла дружба. Эти два года примерно столько же, сколько десять лет между тридцатью и сорока. Сева, как думал Баранов, нравится Тоне потому, что отец его — военный, майор, служит в комендатуре, и он, как и Тоня, не любит ни профессию отца, ни через эту нелюбовь и самого отца. Да что тут мудрить! Ни этот Сева, ни его Тоня ничего не смыслят в любви к отцам. Любят их, а думают, что не любят. И Родину Сева как миленький пойдёт защищать. И когда надо, пойдёт в атаку. Нет, не потому, что заставят. Сам всё поймёт и пойдёт. Все всегда это понимают.

*27 октября, воскресенье, 21:10. Начальник Тюменского военного гарнизона полковник  
Думин*

— Папа, вот вопрос: либо сюжеты телевизионных новостей пишут люди с чувством юмора — сидят в своих студиях и глумятся над зрителями, либо пишут люди умственно ограниченные, не замечающие, насколько их репортажи комичны.

— То есть либо умные острословы, либо палатные идиоты? — сказал Думин.

— Ты очень точно определил, папа, — сказал Филипп. — Как ты выдерживаешь новости каждый день? Первые два-три дня смешно, а потом зло берёт.

— Злиться у телевизора полезно, — ответил Думин. — Не будешь злиться на улице.

Он сделал погромче.

«В ближайшее время Президент предполагает посетить страны Юго-Восточной Азии, с которыми у России налажены партнёрские отношения, и урегулировать вопрос об отношении ряда развитых азиатских стран о планируемом вступлении России в ВЭТЭО. Президент намерен уточнить мнение китайского правительства по поводу возможного введения в России мировых цен на энергоносители, изучить южнокорейский опыт посткризисного регулирования автомобильного рынка, в том числе государственного снижения максимальной нормы выхлопов угарного газа, выяснить отношение граждан Малайзии к новому русскому гимну, а пакистанцев к отмене порога явки на следующих президентских выборах в Российской Федерации, и, наконец, обсудить на острове Тайвань сингапурскую инициативу об увеличении пенсионного возраста российских женщин до 65 лет, а мужчин до 70 лет».

«Комичные репортажи? — сказал себе Думин. — Комичны не репортажи...»

— Ты что, папа? Почесать тебе спину?

— Нет. Проверяю, не оброс ли шерстью.

Филипп хмыкнул.

«...Отмена пошлин на американские поставки фермерской продукции позволит выровнять условия конкуренции на мировом рынке и будет способствовать ускорению вступления России во Всемирную Торговую Организацию. В настоящее время инфраструктурные и экономические реформы, связанные с планируемым вступлением России в ВЭТЭО, ведутся по восьми главным направлениям: увеличение пенсионного возраста граждан России до среднемирового; приближение внутренних цен на энергоносители к уровню мировых; полная отмена запретительных пошлин на конкурирующую иностранную продукцию, исключая случаи явного демпинга; продолжение реализации программы по дополнительному ядерному разоружению; положительное урегулирование политического вопроса о самоопределении Чеченской Республики путём перевода его в плоскость исторической справедливости; участие в программе «Анти-ОПЕК» с целью противодействия картельным нефтяным соглашениям; обеспечение иностранным корпорациям, осуществляющим производство и торговлю в Российской Федерации и предоставляющих россиянам рабочие места, свободных условий деятельности, определённых Коммерческим Положением ВЭТЭО о России от тридцать первого декабря две

тысячи одиннадцатого года за номером сто двадцать четыре; замена кириллицы латиницей».

«Европарламент приступил к рассмотрению сто шестнадцатого заявления Правительства Российской Федерации о вступлении России в Европейский Союз.

Основным камнем преткновения в вопросе о вступлении России в ЕЭС является недостаточная территориальная принадлежность Российской Федерации к европейской географической зоне. Предложение Президента России о переносе границы Европы и Азии к Курильским островам не нашло поддержки у европарламентариев. На данном этапе обсуждается вопрос формирования двух федеративных образований с особыми статусами на территории России: до Уральских гор и далее к северо-востоку. Европарламентарий Тило Льянен предложил два временных названия для европейской и азиатской России: Россия — 1 и Россия — 2. При надлежащем установлении соответствующего статуса и обозначения на картах новых федеративных территорий, а также при условии разделения, переименования и изменения реквизитов всех государственных учреждений и коммерческих организаций в соответствии с территориальной принадлежностью (например: Центральный банк Российской Федерации — 1; Министерство финансов Российской Федерации — 2) на следующей сессии Европарламента вопрос о вступлении России — 1 в Евросоюз может быть разрешён положительно».

«Культурные новости.

Свобода слова — достижение демократической рыночной экономики, утверждённое конституционно в России в одна тысяча девятьсот девяносто третьем году. Если в Советском Союзе существовал один писательский и один журналистский союз, то в рыночной России писательских и журналистских союзов зарегистрировано четыреста девяносто шесть. В названных союзах, объединениях и ассоциациях участвуют в общей сложности около миллиона членов. Таким образом, если ЭСЭСЭР считался самой читающей страной, то Российская Федерация может быть охарактеризована как самая пишущая страна мира.

На несколько наших вопросов любезно согласился ответить член Союза литераторов Нечерноземья, член Союза российских писателей, член Всероссийской Ассоциации писателей, академик Российской государственной академии изящной словесности, доктор филологических наук, профессор Катаньшев Валерий Павлович.

«Валерий Павлович, как вы объясняете такой факт: при наличии огромного числа литераторов в России произведения современных российских авторов перестали переводиться на иностранные языки?»

«Это временное затруднение. Оно будет разрешено переходом страны на латиницу. И последующим введением в качестве второго и третьего государственного языка английского и немецкого. Русский язык на данном этапе неконкурентоспособен».

«В связи с проводимой образовательной реформой членство в писательских союзах будет предполагать введение языкового ценза?»

«Несомненно. Однако задним числом положение действовать не будет».

«То есть писатели, принятые в члены до утверждения латиницы, останутся членами, а к новым кандидатам будут предъявлены более строгие требования?»

«Верно».

«Не вызовет ли лингвистическая реформа отток членов из союзов и создание в стране альтернативных литераторских организаций?»

«Альтернативные организации могут быть созданы как некоммерческие на общественных началах. Закон не запрещает этого. Не думаю, чтобы альтернативные

организации могли обеспечить своим членам переводы их книг на иностранные языки. Скорее всего, в выигрыше окажутся те союзы, которые вовремя ориентируются на европейский и американский книжный рынок и начнут поставлять и продвигать продукцию на английском, немецком, испанском, китайском и других распространённых международных языках».

«Вы имеете в виду мировой рынок?»

«Конечно. Разве я неясно выразился? Выход России на книжный мировой рынок будет способствовать, кстати, и вступлению страны во Всемирную Торговую Организацию. Я считаю, писатели должны первыми подать пример освоения латиницы и иностранных языков. За образцы нам, уважаемые коллеги, следует взять Набокова и Бродского».

«Спасибо, Валерий Павлович».

«Партия «Единая Россия» провела акцию по приобщению молодёжи к мировым литературным ценностям. На средства партии было закуплено десять тысяч книг современных западных писателей на их родных языках. В течение ноября участникам молодёжного движения «Идущие в ногу» будет предоставлен лицензированный бесплатный доступ к иностранной библиотеке. Специальными премиями партии — сто, пятьдесят и двадцать пять тысяч рублей — будут отмечены трое наиболее активных читателей новой электронной библиотеки».

«О погоде — после рекламного блока...»

Думин выключил телевизор.

— Пойдём ко мне, — сказал Филипп.

Они прошли в его комнату, к столу. Думин сел на кресло справа. Кресло для друзей. Компьютер у Филиппа никогда не выключался. Электроэнергию они не экономили. В прошлом году ввели стопроцентную льготу на электричество для военных, милиции, сотрудников прокуратуры, судов, эФЭСБэ и депутатов. И у Думиных явившийся электрик убрал из щитка счётчик. Соединил провода напрямую. Думину было стыдно, когда это происходило. Стыдно и перед сыном, и перед электриком. И он сунул электрику пятисотрублёвую. Тот выручил его, сказал: «Э, уважаемый, не жалея. Не то перед сыном неловко будет». И Думин дал электрику вторую пятисотрублёвую. На душе легче не стало, но появился повод для другого разговора. Или для молчания. Презрительного. Для молчаливого презрения к себе, к электрику, к депутатам, к государственным служащим, делающим всё для того, чтобы быть не среди народа, но над народом. Для презрения к презирающим.

Ему давно было неловко за свою государственную службу. Перед сыном? Перед электриком? Нет, бери шире, полковник: перед всем народом. То есть перед каждым человеком, что встречался на его пути.

И, как ни странно, его карьера — карьера человека, испытывающего неловкость за своё привилегированное положение, положение, по его мнению, незаслуженное (когда-то он голосовал за Ельцина — только потому, что тот был симпатичен ему за отказ от спецполиклиник, за то, что ездил на «Москвиче»; потом-то увидел: отказ от «Волг» или «ЗИМов» и спецполиклиник был произведён в пользу кремлёвской больницы и бронированных машин с охраной и мигалками), — шла в гору, и он от командира взвода дослужился до начальника гарнизона; от лейтенанта дошёл до полковника. Он рассматривал это не как личную заслугу, но как случайность. Он и профессию свою определял как случайно выбранную. Было в Тюмени ТВВИКУ, окончил он его. Дослужившись до майора

поступил на заочное в военную академию. Как бы по инерции. Не хотелось прекращать карьеру в звании подполковника. Окончил и академию. Лучшим курсантом он не был ни в училище, ни в академии. Думин и вспомнить не мог, почему стал военным. В ответ на этот вопрос он пожимал плечами. Никогда он не говорил о «защите Родины» и «интересах демократии» — так, как говорили многие его коллеги; от этих слов его тошнило. Слыша эти затасканные выражения — которыми в России более принято унижать, нежели воспитывать, — он думал о сыне. Смог бы он сказать Филиппу о «защите интересов демократии»? Нет, и ещё раз нет. Так почему же он должен говорить это другим?

— Папа, ты слышишь меня?...

— Да, прости. Задумался.

— На то ты и Думин.

Он посмотрел на руку сына, ловко управляющуюся с мышкой.

Компьютер Думин не освоил. Начинал читать краткие и полные руководства, брал уроки у сына. Осваивал клавиатуру. Русская раскладка, английская раскладка... Ворд, Эксель, ПауэрПойнт... Плюнул. Было неинтересно. Когда что-то не знаешь, то оно неинтересно и раздражает. Это закономерно. Тому, у кого пальцы летают по клавишам, и кто знает, куда направить курсор, что такое «почтовый клиент» и «чат», ящик занимателен. И даёт много возможностей. А «чайнику» вроде него, полковника Думина... Лучше уж он в шашки с сыном сыграет. Или фильм посмотрит. Или мемуары почитает. Компьютер был единственным, в чём сын полностью переплюнул отца. И без помощи последнего. Ну, так что ж? Думин признавал это. И сын тоже находил, что признать за отцом.

В общем, считал Думин, они были неплохой командой.

И он послушно уставился в экран. «Уайдскрин», 23 дюйма, как говорил Филипп. Профешинэл.

— Ты вот ругаешь меня, — сказал сын. — За то, что я редко смотрю новости. Политически неактивен. А ведь я знаю новостей больше тебя. Передовая молодёжь, папа, новости узнаёт из Интернета. Телевизор — век двадцатый, Интернет — двадцать первый. К примеру, что происходит в Брянске? А в Волгоградской области? А в Перми что случилось? Или в Курганской области? Ты ничего не можешь сказать. А я знаю. И не от ведущей, перед которой бежит строчка с текстом, и лежит ноутбук, которым она пользоваться не умеет, — а из первых рук. Необработанные новости. И мне интересно. А вот почитай-ка в моём журнальчике сатирическую подборку федеральных новостей. Ну, кому интересно это: «На правительственном совещании Президент сказал, что в ближайшее время следует предпринять ряд шагов, вызванных необходимостью дальнейшего укрепления...»? Ты что-нибудь понимаешь, пап? Или это: «Объединённое молодёжное движение «Идущие в ногу» поддержало предложение Председателя партии «Единая Россия» об утверждении нового названия партии: «Неделимая Россия»? А здесь: «В сенате США прошли дебаты по поводу отмены запретительных пошлин на российскую холоднокатаную сталь. Сенаторы не пришли к какому-либо определённом решению. Однако было высказано мнение, что политика нынешнего Президента РФ в целом согласована с интересами ближайших партнёров. В ближайшие месяцы дебаты продолжатся». Реклама Президента и «Единой России», приправленная заграничным соусом... Или вот тут: «В Думе продолжаются прения по вопросу о переименовании российской милиции в полицию. Как известно, в 2010-м году милиция была переименована в полицию, но в 2011-м, по причине бюджетной неподготовленности к этому мероприятию, было произведено обратное переименование. В

начале текущего года отложенный вопрос был поднят президентом. В то время как основным аргументом против переименования служат некоторые бюджетные расходы, связанные с процедурой переименования, в качестве довода «за» рассматривается повышение эффективности деятельности органов охраны правопорядка, которое будет вызвано возрождением в рядах полиции того российского духа верности государству и Отечеству, что неизменно присутствовал в царской полиции. Новая символика, новые звания, новая форма и новый дух поднимут и престиж службы, что, в свою очередь, привлечёт в ряды стражей правопорядка достойных людей, являющихся образцами гражданской доблести и готовых честно исполнять свой долг».

Я, папа, много текстов скопировал в свой журнал. Почти каждый день что-то прибавляется. У меня огромная коллекция. Это история не событий, но того, чего не было. Знаешь, папа, когда наступит очередной Новый год, Президенту нечего будет сказать, кроме: «Предпринять ряд шагов, вызванных необходимостью дальнейшего укрепления». Есть в Сети один сервер, где выкладываются теленовости прошлых лет. Тебе было бы интересно. Эсэсэсэровские новости. Программа «Время» с Брежневым, Горбачёвым. Я смотрел некоторые. Раньше был социализм, а сейчас — капитализм. Папа, а почему новости одинаковые? И почему они одинаково скучные?

Думин встал, прошёлся по комнате. Сам вопрос был таким скучным, что не стоило и отвечать. Да ведь Филипп и понимал, что ответить нечего. Власть всегда одинакова. Но если это понимают мальчишки, которым нет ещё и пятнадцати... Иногда Думину казалось, что сын старше его. И ему, полковнику, хотелось спросить у своего мальчишки совета. Нет, он не спрашивал. А вместо того предпочитал заниматься с сыном теми делами, в которых Филипп понимал меньше его. Например, перебрать двигатель их «Волги». Или крышу сарая шифером перекрыть. Но и в этих делах сын быстро догонял отца.

— Ты сам до этого дошёл, Филипп, или подсказал кто? — спросил Думин.

— Подсказали, папа.

— Кто?

— Генсеки и президенты.

Думин сел обратно на диван.

— Ничего не происходит, — сказал ему сын.

Думин согласился:

— Ничего не происходит. И то, что происходит, тоже не происходит.

— Тебе, папа, книгу афоризмов нужно написать. Придумывай в день по афоризму, через год книга будет готова.

— Афоризмы *нарочно не придумаешь*.

— Пап, а почему за тобой всегда остаётся последнее слово? Потому что ты полковник?

— Нет, за полковником редко остаётся последнее слово. Как правило, он слышит в ответ: «Есть!»

*27 октября, воскресенье, около десяти вечера. Директор Сибирского института промышленной очистки воздуха доктор химических наук Владимир Анатольевич Таволга*

Вспоминать он не любил.

Вспоминать детство, отрочество, юность, зрелость. Жизнь.

Многие, наверное, вспоминать её любят. Вспоминать школьные годы. Выпускной вечер. Первую любовь. Билеты в кино. Или в цирк. Потом студенческую пору. Далее карьеру. Друзей. Женщин — у кого их было много. Вспоминать, как родились и росли дети. Листать толстые фотоальбомы. Чувствовать себя старым, но счастливым.

Впрочем, он не был уверен, что люди любят вспоминать своё прошлое. Все, кого он знал, стремились из прошлого в настоящее. И он, он — не был исключением.

Доктор перешёл с Первомайской на Ленина, вышел к Цветному бульвару. Поправил очки. Поднял воротник, спрятал руки в карманы. Было не холодно, но сыровато. Сырой ветер, будто с моря. Ночью и утром обещали мокрый снег.

Это правильно — жить не прошлым, но будущим. Стремиться к лучшей доле. Только вот к лучшей ли доле приходит большинство из нас?

Бункер и лаборатории в Дмитрове-36 он когда-то считал своей лучшей долей. Вернее, он почти не думал об этом. Он был счастлив, а разве счастливый человек думает о счастье? У него была Клара и были девочки. И была наука. Квартира в Москве, библиотека (целая комната) и все эти безделушки-побрякушки, оканчивая служебной машиной, тоже были. И он шёл к следующему открытию, к ещё лучшей доле. А оказался в Тюмени. В этом подвале. Без Клары и девочек.

Худшая доля? Как у большинства?... Нет, кто не понимает, что закон единства и борьбы противоположностей выражен в русской половице «Нет худа без добра», тот никогда не поймёт, откуда может взяться, где таится лучшая доля.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — прошептал Владимир Анатольевич.

Не считая Любы и ещё кое-чего, о котором он, начиная с сегодняшнего утра, думал именно как о *кое-чём*, засекречивая его и в мыслях, вся жизнь его была дрянь, дрянь и ещё раз дрянь, как мог бы выразиться вождь мирового пролетариата. У Солоухина объяснялась двусмысленность ленинской фразы «Учиться, учиться и ещё раз учиться», выраженной по-монгольски: «Сур, сур, бас дахын сур» — «Ремень, ремень и ещё раз ремень». Ремень недоучке Ульянову, не ведавшему что творит и не отличавшему идеализма от материализма, равно как не отличали их и божки Маркс с Энгельсом, точно бы не помешал.

Дрянь, дрянь и ещё раз дрянь!

*Сур, сур...* Доктор засмеялся. В его-то жизни ремня и тычков было предостаточно.

Но сегодня всё переменилось. Сегодня перед ним открылась дверь в настоящее. В маленькую, короткую — так ему подумалось, — комнатку, проходную, промежуточную комнатку, в которой ничего нет, кроме следующей двери в стене: в будущее.

*Худо* показало *добро*. Худшая доля обернулась лучшей.

И сегодня он может думать о своей личной троекратной дряни спокойно. Он может

вспомнить без боли и сожаления любую страницу своего прошлого: от детства до того времени, когда он отпустил бороду, от бороды до развода с Кларой, от рукопожатия Бориса Ельцина до тюменской подвальной опалы. Он вспомнит, как персонаж обаятельного Шварценеггера, *всё*.

Всё, упирающееся в сегодняшний день. Всё, сделавшее сегодняшний день. Проторившее к нему дорогу.

Кто-то из тюменских писателей сказал, что счастье не в достижении жизненной цели, а на пути к ней, что самый этот путь и есть счастье, — но Владимиру Анатольевичу так не казалось. Что значит и чего стоит путь, когда жизненная цель не достигается? Неужели тот, кто не достиг, так же счастлив, как и достигший? Да ведь не достигший определённо несчастен. Счастлив лишь достигший, дошедший. Лишь достигнув цели, человек может осознавать и дорогу к цели как счастливую. *Лишь достигнув*, а без того — простите, нет. Достигнув цели и понемногу забывая, как шёл к ней, с какой мукой и с какими страданиями, с каким неверием и презрением, его окружавшим, пробивался *per aspera ad astra*, он начинает видеть прошлое в искажённом праздничном свете — и считать, будто это новейшее искажение, искривление и есть истинный угол зрения.

Но он, Владимир Анатольевич Таволга, не хотел праздничного света. И не хотел забывать. Нет, он забудет, с завтрашнего утра он всё забудет, с завтрашнего утра все люди начнут забывать, как и зачем они жили, — но сейчас, в этот вечер, он желал вспомнить всё.

От того дня, когда его папа умер, и место папы занял отчим, — и до утра сегодняшнего дня, когда *упрямый осёл* создал то, во что никто (временами и сам *осёл*) не верил. От того дня, когда он въехал в подвал тюменского «института», и до этого воскресенья (он и вправду чувствовал себя воскресшим), когда он получил право усмехнуться в лицо всему миру, и пусть отсталый мир не видит его победной усмешки и, в общем-то, мало знает о его существовании. От того дня, когда он был несчастен, как миллионы несчастных на Земле, — и до этого дня, когда из его несчастья выкристаллизовалось счастье. Он собирается стать таким счастливым, каким не был ещё ни один человек на Земля. И то не литературная метафора!..

В далёкий день, когда его папа умер, мама сказала: «Володя, папа не вернётся. Никогда. Я знаю, в эту пустоту трудно поверить, но он не вернётся. Его больше нет. Но у тебя будет отчим. Дядя Витя. И ты можешь звать его папой. Он будет жить у нас. Он хороший и добрый. Он любит тебя. И у него мотоцикл».

Дядя Витя бывал в них в гостях, когда папа «доживал» (имелось такое словечко в мамином лексиконе). Иногда он возил маму за город. На мотоцикле. Мама радостно смеялась, сидя в люльке. Его, Володю, будущий отчим и мама с собою не брали. А папа болел. Умирал в постели. Умирал, всё видя и всё понимая. Папе было нелегко это *всё* понимать и принимать, потому что Володя оставался *здесь*. Володе было одиннадцать. Понимал ли он, о чём думает папа? Теперь Владимиру Анатольевичу казалось, что да, понимал. Папа ничего не говорил ему прямо. Но Володя смотрел в его глаза, и многое там видел, может быть, больше того, что там пряталось. А ещё папа умел другими словами сказать то, чего не хотел говорить прямо.

«Стань кем-нибудь, Володя, — говорил отец. — Сделай что-нибудь такое, отчего этот мир стал бы лучше».

«Я стану учёным, папа. — Год назад Володя решил отучиться плакать, чтобы те, кто его задирает, не могли получить удовольствие; и у него выходило не плакать, вот только не в

этот день. — Я стану учёным, и изменю мир».

«Ты будешь счастливым, сынок. Я вижу это. Умиравшие люди многое видят».

«Ты не умрёшь».

«Не лукавь себе. И мне. Меня не обманешь, а обманывать себя — хуже некуда. Запомни это. И никогда не лги. Лгут трусы. И те, у кого нет ни капли гордости. Лгут и те, у кого жизнь пуста, кто раскрашивает её ложью. Я умру. Скоро меня не станет. Но ты будешь жить. Станешь учёным. И никогда не забудешь, что я говорил тебе. Я счастлив, потому что у меня есть ты. А ты будешь счастлив, потому что найдёшь себя в этой жизни. И выслушай вот что. Тебе будет казаться, что ты несчастен. Что твоя дорога слишком трудна и горька. Что у тебя ничего не получается. Что весь мир вокруг словно сговорился против тебя. Знаешь, что это значит? Это значит: ты на правильном пути. Ты идёшь по той единственной дороге, на которой выковываются и закаляются счастливые люди. И делаешь всё возможное, чтобы победить несчастье и стать счастливым».

Отец умер в субботу. Владимир Анатольевич хорошо это помнил. Был выходной, и мама уехала за город с дядей Витей. А мальчик Володя был в школе.

Почему мама так любила дядю Витю? То, что не было понятно мальчику Володе, было ясно Владимиру Анатольевичу. Пожалуй, дядя Витя был красавец-мужчина: черноволосый, высокий, со сладковатой улыбкой, в джинсах клёш, на мотоцикле, он пахнул одеколоном и вином, умел взять мамину руку, нежно погладить и сказать: «Ах, как вы чудесно выглядите сегодня! В мире есть лишь один мужчина, достойный вас. Неудобно признаться, но это я». Дядя Витя катал на мотоцикле и других женщин, Володя видел это. Все в школе видели это. И мама знала это, но, казалось, не хотела знать. Но потом не выдержала. Из-за того, что над ней стали смеяться. Володя слышал смешки и шушуканья, когда шёл с мамой в магазин или на реку. Мать говорила ему: «Глупые люди. Своего счастья нет, вот и чужое хотят разрушить. Они завидуют». — «Почему?» — «Хотят, чтобы дядя Витя жил не с нами, а с ними». — «Они все хотят этого?» — «Все, все». И мама, когда говорила так, казалось, страшно сердилась. Сначала Володя решил, что она сердится на *всех*, а позднее понял, что на одного: на дядю Витю. Мама и отчим стали скандалить. Дядя Витя, прежде к Володе равнодушный, теперь стал бить его. И хватать за уши. Требовать, чтобы *пацан* дул к тётке Ане и занял пятёрку до полочки. На бензин, чтобы ехать с мамой за город. «Тебе надо — ты и проси», — отвечал Володя. Отчим бил его. Тётя Аня знала, что его бьют, и приносила деньги отчиму. С тёткой Аней отчим тоже ездил на мотоцикле. И мама кричала на него, и кричала на Володю, и кричала на тётю Аню, и потом, накричавшись, сорвав голос, хрипела: «Глупая я, несчастная!» А отчим пил всё больше, и настал день, когда он продал мотоцикл. Больше он не ездил за город, джинсы его истёрлись, голова стала быстро лысеть, и его больше не любили женщины, а мама пристрастилась с ним пить.

Володя, будущий доктор наук, учился уже в седьмом классе.

В школе его не любили. Во-первых, за гордость, которую никто нигде не любит, а которой только завидуют, потому что гордые люди умеют быть независимыми и самостоятельными; во-вторых, за заносчивость. Володя всегда знал больше, чем его одноклассники, и не стеснялся этого. «Скромность? — как-то с взрослым презрением ответил он классной. — А я ведь не хвастаюсь. Я знаю то, что полагается знать по школьной программе, и немного больше. И столько же знает любой другой. Любой. Умственные способности всех людей, всех рас одинаковы. Весь вопрос в образовании. В Советском Союзе — образование бесплатное. Люди в революцию и на гражданской войне

умирали за то, чтобы их дети и внуки могли учиться. Как могут мои одноклассники учиться на тройки? На двойки? Это говорит об общей низкой сознательности в классе, Клавдия Олеговна, и о вашей низкой сознательности в частности. Ученики могут знать и должны знать. Но не стремятся. И если не подать им должного примера, то при проповедуемой вами скромности, Клавдия Олеговна, они и не станут стремиться. Все их стремленья окончатся в сочинениях на тему «Кем я стану, когда вырасту». Космонавты, врачи, учёные — будут не они. Алкоголики, спящие под забором, — вот их портреты. Вы, Клавдия Олеговна, их толкаете к ужасному будущему. Вдумайтесь: ведь они — будущие строители коммунизма».

После этого сурового разговора Клавдия вызвала его отчима и сказала отчиму — при нём, Володе, стоявшем в учительской по стойке «смирно» (голова высоко, глаза на портрете Ленина, руки по швам, пятки ботинок вместе, носки врозь), — что семиклассник Таволга разговаривает с учителями так, будто он учитель, а они, учителя, — ученики. И замолчала. Хотела, показалось Володе, ещё что-то сказать, но промолчала. Видно, поняла кое-что. А поняла она то, что «учитель» из седьмого класса постиг давно. Отчим его был пьян. И сидел на стуле вовсе не потому, что устал на своей работе (прогуливал не то третий, не то пятый день), а потому, что болел с похмелья. И пахло от него не трудовым потом, а портвейном. «Бормотухой».

«Как вы говорите, вас зовут... — бормотал отчим. — Клавдия Марковна... простите, Олеговна... Я внушу пацану дома, а вы не одолжите мне трёшку до получки?»

«Вы спросите у него, Клавдия Олеговна, какие отметки он получал в школе, — сказал, стоя по стойке «смирно», Володя. — И как докатился до жизни такой».

Отчим вскочил, отшвырнул стул и ударил Володю.

Володя отучил себя уклоняться от ударов. Отучил себя, как он думал в то время, от самого прочного инстинкта: самосохранения. Зачем уклоняться и убегать? Он давно принял как философию: пусть бьют. Будешь убегать, прятаться — догонят, найдут, разозлятся и поддадут вдвое. Так пусть бьют! Надо только закрывать глаза. Кулак отчима угодил ему в глаз. Володя хотел устоять, но не смог. Упал. Быстро поднялся. «Пусть бьёт, — подумал он, потрогав заплывавший глаз, — ведь больше он ни на что не способен».

«Бей, дядя Витя, не откладывай до дома, — сказал он. — Воспитывай».

«Пошёл ты, сучий выродок! — огрызнулся тот. — Так ты дашь мне трёшку, Клава Николаевна?»

«Дайте ему, Клавдия Олеговна, — сказал Володя, — не то он ковёр из учительской пропьёт. Пусть лучше будет пьяный, чем злой».

«Дело говоришь, сопляк, — пробурчал отчим. — Я, товарищ учительница, отдам вам с получки».

Классная сказала потом Володе, глядя в окно, что чувствует себя перед ним виноватой. И добавила, что, может, Володя в чём-то и прав. Она дала ему мокрый платок: смочила холодной водой в раковине. Платок он не взял. Против синяка мокрый платок не поможет, да и любил Володя синяки. Кто-то любит призы и кубки, а он — синяки и ссадины, и кровь. Синяки и кровь означали, что он не боится. И ещё означали, что те, кто пошёл против него, снова проиграли. И правда: репутации труса у него не было, а лицо его всегда выглядело как лицо победителя. Его били, и он не давал сдачи, но трусом его не называл никто. Не за что было. А вот психом или чокнутым, случалось, дразнили. Потому что не понимали. Иногда его побаивались: ждали от него чего-то такого, чего от обычных мальчишек не ждут.

Дождались, хоть и не от мальчишки, посмеивался, гуляя по бульвару, Владимир

Анатольевич. Руки в карманах согрелись. Он остановился у неподвижного колеса обозрения. У «чёртова колеса». Когда-то этот бульвар назывался горсадом. Это неофициально. А официально — Центральным парком культуры и отдыха. ЦПКиО. Со скамеек неподалёку доносились весёлые голоса. Кто-то с кем-то чокнулся бутылкой и выкрикнул: «Толька, у меня один друган! Это ты! *Только Толька!* Давай выпьем!»

Владимир Анатольевич вынул руку из кармана. Надо бы перчатки зимние купить. Какая глупая мысль. Ни перчатки, ни варежки ему больше не понадобятся. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда.

«А Генке Шепелю мы морду набьём, Толька!.. Много он о себе возомнил».

За что же его, Володю Таволгу, били? Почему у него не было друзей? Пока у него сохраняется память, он должен это понять. Чем он так досаждал отчиму, своим одноклассникам, учителям, да и вообще всем тем, кто смотрел на него с неприязнью — словно он отдал им в трамвае ноги или украл у них любимую пластинку? Можно ли не любить человека за один только гордый, независимый и неприступный вид? За то, что этот человек был холоден и точен в своих характеристиках товарищей, не прощал обид и никогда, никогда не лгал — и в тех случаях, когда кое-кто считает, будто ложь может спасти? Или было что-то ещё, что настолько отделяло его от *людей* (вот-вот, подходяще сказано, точно сказано, *сказано курсивом*, — подумал Владимир Анатольевич, не спеша обходя чёртово колесо, скользя перчаткой по бортику), что они словно бы проводили незримую границу между собою и им, Володей, — и им хотелось по ту сторону границы, к нему, да он не пускал, словно они не заслужили там места?

Понимал ли это Володя? Или Володе надо было дожить до старости, до Владимира Анатольевича, чтобы понять? Владимиру Анатольевичу теперь казалось, что понимал и Володя.

Он делал не так, как делали все.

Вот и весь ответ.

А делал он так, потому что *не так* считал ложью. И *не так* и было ложью. Обманом, которые все вокруг применяли и, казалось, поощряли. Явно и неявно. Мириться с этим? Привыкать к этому? Поступать так, как поступают все? Нет, он не мог. Ему хотелось, чтобы светлое будущее поскорее сделалось светлым настоящим. Именно так он и думал.

На комсомольском собрании в восьмом классе он внёс предложение об исключении из членов ВЛКСМ Бори Ординарцева, не успевавшего почти по всем предметам. «Какой же он комсомолец, какова же его сознательность и каков же будет его вклад в коммунистическое будущее? Вы не думали об этом? Ведь вы потакаете его тунеядству и лени. Вы молчаливо соглашаетесь с ним: пусть ты двоечник, лоботряс и от тебя не будет толку в обществе будущего, но мы будем тащить тебя на буксире так же, как тащили и до сих пор. Так что же? Мы хотим коммунизма — или возврата к бурлакам на Волге?» И Боря исключили — через райком ВЛКСМ, куда дошёл упрямец Володя. Дошёл — не хотел идти, чувствовал, как вокруг него в классе и в школе создаётся напряжение, но начатое дело надо было закончить. Иначе он не сможет потом смотреть в зеркало. В свои глаза. Надо добиться, чтобы вышло не *по его*, как ему сказал комсорг класса Саша Косарев, а по справедливости. Это же самое Володя сказал и секретарю райкома Шавырину. «Комсомольцы не обманывают, учатся на отлично и являются сознательным авангардом советской молодёжи. Так, Вячеслав Анисимович?» — сказал он Шавырину, и тому нечего было возразить.

Боря выследил его. Шёл за ним до райкома. И дождался его у крыльца, у ступенек.

Ординарцев, дравшийся редко, побил его — там же, возле райкома, на глазах у многих людей, выбил Володе зуб, разорвал бровь, бил кастетом, и Борю взяли милиционеры, и после суда отправили в колонию для малолетних преступников. Клавдия Олеговна сказала Володе на уроке: «Ты испортил человеку жизнь. Он мог бы стать шофёром или механиком. А ты отправил его в тюрьму. Его жизнь была в твоих руках, и ты раздавил её, как бабочку». Грустные образные сравнения были в духе классной. Литераторша! — «Нет, Клавдия Олеговна, — ответил ей Володя. — Это он раздавил её. И вы тоже давили. Вы, обманщики и притворщики. Фальшивые комсомольцы. Он мог бы учиться хорошо. Это раз. Вы могли бы не «натягивать» ему троек, а то и четвёрок, которых он не стоил, то есть не поощрять его дурные наклонности. Это два. И вы могли бы не принимать его в комсомол, а он мог бы не лгать секретарю райкома на утверждении о своей честности, хорошей успеваемости и высокой самодисциплине. Три. И — четыре. Ординарцев мог бы не бить меня на виду у целой толпы свидетелей, а врезать где-нибудь за углом. Как это принято в нашем классе».

Его не любили и за то, что он никогда не позволял списать домашнее задание. Это тоже было не как у всех. Не так, как принято. Не было случая, чтоб он не решил задачку по химии, физике или алгебре — но не было и такого случая, чтобы он открыл свою тетрадку для тех, кто не желал жить своим трудом. «Как насчёт высокой сознательности?» — спрашивал он у просивших. Бывало, просители получали двойки — бывало, весь класс у химички Татьяны Павловны получал «пары», — и только Володя Таволга сиял, потому что в дневнике его горела тёмно-красным огнём пятёрка. «Мы тебя отметелим поле уроков», — говорили ему сумрачные одноклассники, и Володя знал: отметелят. И метелили. Вдвоём, втроём метелили. И «кучу малу» ему устраивали. Он падал, вставал; один бьющий сменялся другим. Его били, а он думал, как солдат при царях пропускали через строй, как забивали насмерть палками. Одноклассникам было скучно его бить: он не сопротивлялся, не обзывался — и, главное, был, в общем-то, прав. Его правоту и честность невозможно было не признать. Можно было бить его, оскорблять, взывать к его жалости или доброте, вызывать в школу отчима или мать, но он был прав. Он был настолько сознателен, насколько высоко должен быть сознателен строитель коммунизма. Он знал, что одноклассники и Клавдия Олеговна понимали это. И это-то и бесило, и заводило их... Что — это? Да то, что он, Таволга, — победитель. И он приходил домой с расквашенным носом, с подбитыми глазами, с распухшими губами, а однажды пришёл со сломанной рукой, — но всегда приходил с улыбкой; он научился улыбаться и через боль.

В аспирантуре МГУ он решил вступить в партию. Он обратился к парторгу — и тот посоветовал ему съездить в родной город, взять одну рекомендацию у тех коммунистов, кто давно его знает. И Володя поехал к Шавырину.

«Знаешь, Вова, ты мне не нравишься, — сказал Шавырин. — После той истории с Ординарцевым. Между нами, девочками, говоря, ты слишком много на себя берёшь. Но не дать тебе рекомендацию я не могу. Права не имею. И потом, ты идеальный член ВЛКСМ. И ты будешь идеальным членом КПСС. К тебе не придерёшься. Видимо, я не идеальный член КПСС. И беру на себя слишком мало».

Володя зашёл и в школу. Никаких особенных чувств там не испытал. Только показалось ему, будто школа стала ниже. Ему хотелось повидать Клавдию Олеговну. Он поднялся на третий этаж, и в кабинете русского языка и литературы (только что прозвенел звонок с последнего урока) посидел немного с бывшей своей классной. «Не знаю, каким точно будет светлое будущее, но иногда мне кажется, Володя, что строить его будешь ты один», —

сказала она ему на прощанье. Да, так и сказала. Её слова крепко врезались ему в память.

«Странная рекомендация, — сказал парторг. — И местная — тоже странная. Я тысячи рекомендаций прочёл, но таких, как ваши, товарищ Таволга, мне читать ещё не доводилось. Присядьте. Минеральной?... Я ведь вас не из прихоти личной отправил в родные, так сказать, пенаты. Да. Станные рекомендации. Обе. Такое впечатление, будто ваши товарищи вас ненавидят так сильно, что их ненависть дошла до того края, где превратилась в свою противоположность. Вы понимаете меня?»

«Да, Леонид Петрович. Вы говорите о любви».

«Не просто о любви...»

«Не просто. О том, что мои товарищи могли бы меня любить столь же сильно, как ненавидят — будь они столь же сознательны и крепки в своей коммунистической позиции, как я».

«Кто дал вам право, молодой человек, судить, насколько вы крепки?»

«Я, товарищ Истомина, я».

«Вы?»

«Перед вами мои характеристики. И рекомендации. В них есть холодные слова и затёртые канцелярские выражения, но в них нет ни капли лжи».

И он, аспирант Владимир Таволга, стал кандидатом в члены КПСС, а потом и членом. Однако Леонид Петрович прямо сказал ему: «Не ходите ко мне. Вам нечего делать в парткоме. Вы идеальны, а я имею дело с обычными людьми. И потом, — сказал он тише, — при вас у меня не получается врать».

Да, он был не такой, как все. Нет, — неточно!.. Он был такой же, как все, но жил не так, как все. В этом-то и суть! Он шёл к светлому будущему, он делал его каждый день, он желал приближать его и как можно скорее оказаться в нём — а все прочие, остальные, довольствовались своим серым и ложным настоящим.

*Вы идеальны, а я имею дело с обычными людьми.*

*Строить его будешь ты один.*

И он упорствовал. «Ты переменяйся, Володя. — Это тоже сказала ему классная. — С возрастом люди меняются. Был ребёнок — стал взрослый. Правда жизни — не одни лозунги». — «У меня правда, а не лозунги, Клавдия Олеговна. И перед вами не семиклассник». — «Будешь упорствовать — жизнь сломает тебя. Будет больно». — «Я сломаю жизнь, Клавдия Олеговна».

Мать считала его ненормальным. Но и он считал её ненормальной. Всё алкоголики — больные, ненормальные. Больной считает тебя ненормальным? Значит, ты в порядке! Так он отвечал матери, а она в ответ говорила и злобно, и горько: «Папаша родимый!» И если злоба её и относилась к нему, Володе, то горечь она адресовала себе. Володя будет жить не так, как она. Он не испортит свою жизнь. Скорее всего, мама осознавала это, — и отсюда, из зависти к новой жизни, и происходила горечь.

Обыватели! Приспособленцы! Люди прошлого!

Вот как он называл их.

Теперь, оглядываясь на свою жизнь из *будущего*, Владимир Анатольевич понимал: у него получалось лишь там, где он шёл вопреки и напролом.

Там, где другие жили *как все*, где соглашались и фальшиво улыбались, он вставал, возражал и приводил доводы. Там, где было принято повторять за учителем, он требовал ответа: почему? Там, где на уроках литературы приспособленцы ругали приспособленцев, он

выглядел бунтарём и изгоем. Там, где другие принимали истину как должное, он подвергал сомнению и должное, и самое истину.

Так вот. Идти вопреки — и был его путь приспособления. Он тоже был приспособленцем, все люди и растения на Земле — приспособленцы, но он был из тех приспособленцев, что прорастают сквозь камень, что прорубают себе дорогу в джунглях, а не из тех, что шагают с песенкой по проторенной дороге.

Таволга расстегнул вторую сверху пуговицу. Пальто немного давило на грудь. От волнения. Это хорошее волнение. Праздничное. Он пошёл не спеша от колеса обозрения к «Сюрпризу». Вот будет вам завтра сюрприз!

*Вопреки!*

Владимир Анатольевич не мог бы, не имел бы права произнести этого слова — «вопреки», не мог бы гордиться своей жизнью, не создай он пентаксин. Не создай он того, к чему шёл всему и всем назло — и в Дмитрове-36, сотрудники которого с годами стали считать его занудой, «упрямым ослом», «блатным» в науке (додумались и до того, что он родственник Ельцина) и сумасшедшим, и в тюменском подвале, где, казалось, шансов что-то создать у него просто не было, — нет, без пентаксина он бы не мог гордиться своей особенной приспособленческой дорогой.

И не мог бы быть счастлив.

Пентаксин версии N69 был последней жирной точкой на его жизненном пути. И весь его путь уплотнился до этой цели-точки. С неё же начнётся и его новый жизненный путь. И новый виток человеческой цивилизации! И его начнёт он, Владимир Таволга. («Строить его будешь ты один»). Он, Володька, которого избивал отчим и которого лупили одноклассники. Которого порицала Клавдия Олеговна. И которого сторонились девчонки в школе, считая, что он неудачник или что у него «не все дома», раз любит, когда его мордуют. И те девчонки, говорил себе Володя, которые думают про него как про неудачника и не верят в него, и не нужны ему. Пусть себе живут как все. С парнями, которые живут как все! (И между прочим, пусть будут счастливы, добавлял сейчас Владимир Анатольевич. Ему было странно осознавать, что все эти девчонки и мальчишки стали такими же старыми, как он).

Девчонки! Володя мечтал о них — и злился на них. Девчонки не умеют заглядывать вперёд, не умеют ждать и, следовательно, не умеют жить. И не смогут ужиться с ним, жить умеющим и глядящим далеко, за горизонт науки.

И он таки цапнул с этого горизонта. В 1992-м. Все вокруг него жили как все, а он жил как он. И он цапнул. «Я президент страны, а ты вирусный король». Это сказал ему Ельцин. Владимир Анатольевич создал пентавирус. По сути, игрушечный вирус. Вирус, не успевавший сделать своё чёрное дело. Вирус, инактивирующийся в считанные секунды, так что применение его было невозможно. Нужна была оболочка, предохраняющая вирус от быстрого распада и позволяющая ему начать абсорбцию, а затем осуществить воспроизводство, чтобы далее получить полный контроль над организмом (весь этот процесс теоретически должен быть очень быстрым, занимал от 10 до 100 минут). Дополнительная защитная оболочка искусственного вируса, по теории Таволги, должна быть газовой (органической). Газ был нужен и для того, чтобы вирус мог распространяться в воздушной и водной среде. Одним махом двух зайцев убивахом! Доктору нужно было лишь найти оптимальную формулу пентаксина, сохраняющую вирус не менее шести часов. Разработка версий газа, как ему поначалу казалось, — дело каких-то двух-трёх лет. Пока же у него был не вирус, а обещание вируса. Но разве Ельцин и его реформаторы в 92-м и 93-м

не обещали с трибун и экранов? В то время все жили верой в обещания. И Владимир Анатольевич, из коммунистов сделавшийся беспартийным, не пожелавший членствовать в КПРФ, незаметно стал отождествлять светлое будущее не с высокой сознательностью людей (он не находил ей подтверждения), но с наукой. А точнее — с пентавирусом. «Я стану учёным, и изменю мир». — «Ты будешь счастливым, сынок. Я вижу это. Умиравшие люди многое видят».

В 1993-м, когда его, доктора Таволгу, заметил Борис Ельцин, подал ему руку, пожал её крепко, как бы приглашая ещё дальше за научный горизонт, дал ему институт в Подмосковье и четырёхкомнатную квартиру в Москве, Владимир Анатольевич незаметно для себя очутился в том самом мире, где все живут как все. И впервые он не возражал этому миру, полагая, будто это не он втёрся в жизнь всех, а мир вокруг стал жить как он, подражать ему, равняться на него, идти за ним.

Его, уже не первой молодости, полюбили и *девчонки* — в лице Клары. О, Клара!.. Он думал, она — как он, ей нравится всё то, что делает он, и она гордится тем, какой у неё муж. Он верил (внушил себе и верил): Клара отличается от всех прочих девчонок умением ждать, ангельским терпением, умом и той особой, редчайшей у женщин (откуда бы ему так хорошо знать женщин?) интуицией, которую можно бы назвать прогностическим чутьём. Но именно Клара — а он, одурманенный жизнью *среди всех*, понял это лишь к 2000-му году, — была совершенным повторением тех классических девчонок, что не умеют ждать, не желают знать, каких жертв требует наука, и хотят всё сегодня, а не завтра. И если и выказывают ангельское терпение, то лишь ради выгод его демонстрации.

При Ельцине, когда Таволга возглавлял целый институт в Дмитрове-36, имевший солидный бюджет и секретный статус, Клара называла его «особенным», «великим» и «её учёным». Это помимо «милого», «любимого» и «замечательного». И так было почти семь лет. И было бы и дальше, и он бы не усомнился в любви Клары, — он словно не замечал отлетающих назад лет, — не изменись настроение Президента.

В конце 1999 года, собираясь отказаться от президентства, Борис Николаевич приказал пентаксиновую лабораторию перевести в Сибирь и урезать ей бюджет. Владимир Анатольевич в тот день в Кремле чувствовал себя как школьник. Стоящий перед Клавдией Олеговной. И Клавдия Олеговна будто бы торжествовала... Нет, настоящая Клавдия Олеговна бы не торжествовала. Она бы сочувствовала. Русские люди любят и умеют жалеть. Сегодня жалеем Ординарцева, завтра — Таволгу.

Ельцин одновременно разочаровался в мистике и утратил веру в русских химиков и вирусологов. Ему, думал доктор, хочется летать на футбольные матчи в Европу, а не планировать тотальную войну. К тому же американцы искренне полюбили русских. Большую любовь к русскому находчивому народу подтверждали сказки о русской мафии — так же, как популярность книг Марио Пьюзо и одноимённых голливудских фильмов доказывали великую американскую любовь к итальянцам. Ельцин не верил в пентавирус — и вирус не был ему нужен.

Ему, доктору Таволге, лишь казалось, что люди желают светлого будущего. Оно никому не нужно, кроме него. Люди в России попробовали меньше за один век царизм, военный коммунизм, социализм, развитой социализм и рыночную демократию. И нигде не обнаружили светлого будущего. Значит, его не существует, а есть только тёмное настоящее. И тёмное прошлое. Это он, Владимир Анатольевич Таволга, желал светлого будущего для людей. Для людей, но без участия людей. Как декабристы: для народа, но без народа. Он

начал это понимать в 2000-м году. Или позднее? Точно ему не вспомнить. Последние годы он только и жил мыслью о преобразении человечества.

В Тюмени под институт отвели старое, сталинских времён, двухэтажное здание в заречной части города, по улице 2-й Луговой, номер 20 «А»: дом из оштукатуренного бруска, с печным отоплением и удобствами во дворе. С четырьмя квартирами и подвалом. Квартиры находились в муниципальной собственности, а последний жилец дома умер прошлой осенью. Владимир Анатольевич, впервые увидев здание «Сибирского института промышленной очистки воздуха» и поднявшись на второй этаж по дощатой, давно не крашенной скрипучей лестнице, прослезился — и поклялся во что бы то ни стало найти чудесную формулу пентаксина.

*Вопреки!*

Так окончилась его московская карьера. Наука же его только начиналась. Он сказал это Кларе, а та посмотрела на него изумлённо. Словно с ней заговорило привидение. «Ты ещё здесь?» Да, она сказала ему эту вульгарщину. «Собрался ехать — и езжай в свою тундру. Я и девочки... Мы с тобой не поедём. Ты, конечно, вообразил себе Бог знает что. — Она улыбнулась. — Но пора бы уже тебе перестать мешать воображение с реальностью».

Клара развелась с ним, забрала Сашу и Женю. Да что это: забрала!.. Он, доктор наук, должен быть точен не в одной науке, но и в воспоминаниях. Забрала!.. Он никогда не был подкаблучником. Он, Владимир Анатольевич Таволга, человек упорный, не сгибавшийся ни перед кем, парень из провинциального городишки, поступивший в эМГэУ и окончивший его с красным дипломом, кандидат химических наук в 24 года, кандидат биологических наук в 27, и доктор химических наук в 33, забрать бы не позволил. Он помнил, как возражал её отцу, мягким, вкрадчивым голоском советовавшему ему оставить «несостоявшийся научный институт» и «научиться проигрывать». Неужели Володя, человек такой умный, образованный, остепенённый, с двумя детьми, с красавицей женой, имеющей хорошую должность в столице, предпочтёт счастливой семейной жизни в Москве изоляцию в холодной Сибири, за 1800 километров от счастья? И неужели он, такой умный и образованный, сделает это не по приказу, которому нельзя не подчиниться, а по своей воле — напоминающей, простите, Володя, в иных случаях скорее упрямство, чем научное упорство? Владимир Анатольевич не уступил ни его вкрадчивому голосу, ни её вкрадчивому голосу, и сказал: ваш аргумент — *сегодня*, мой — *завтра*. И что такое её отец? При чём здесь он? Если Клара, Саша и Женя не хотят ехать за ним, — значит, они его не любят. Он им не нужен. «Давайте без этой вкрадчивости, без интеллигентской шелухи, — сказал он Кларе. — Попробуем начистоту. Есть в нашей семье любовь к папе — или только любовь папы к семье? И какая любовь в нашей семье больше: любовь к квартире и даче, и к Москве, — или любовь к науке?» — «В нашей семье есть только любовь к науке, — бесстрастно ответила ему Клара, глядя в зеркала трюмо. — Наш папа любит только науку и в ней себя. Так, дочки?» — «Так», — сказала Саша, а Женя промолчала. — «Они же маленькие, Клара». — «Разве может быть любовь к семье у того человека, что готов загнать семью в Сибирь и чуть ли не заковать в кандалы? Ты кого в нас видишь, жену и дочерей декабриста? Кто тебя принуждает ехать в Тюмень? Тебе предложили или ехать, или передать проект другому. Мало ли докторов наук, не пропадёт твой проект». — «Ты не учёная, и не понимаешь...» — «Мне не надо быть доктором наук, чтобы понять: счастье семьи под угрозой. И эту угроза — ты. А раз так, мой долг — избавить семью от нависшей угрозы. Сохранить то семейное счастье, вернее, ту его часть, которую я сохранить в

состоянии. Да и веришь ли ты в свой проект сам? Как учёный? Ты начал его семь или восемь лет назад — и что? Пора признать поражение. Надо уметь отступать. И проигрывать. Папа прав, и ты скорее упрям, как осёл, нежели упорен как учёный. Ты хочешь во имя фантастического проекта загубить жизнь вполне реальной семьи — и лишиться и самого себя и жены, и детей. Если это не упрямство, то это сумасшествие. В нашем кругу никто тебя не понимает, и это лишний раз доказывает твою неправоту». — «Клара, это пустой спор». — «Кто же тут спорит? Ты споришь сам с собой. Тебе не возражают, потому что давно приняли решение. А ты пытаешься его оспорить. Ты пытаешься вместо счастья предложить несчастье. У нас у всех — кроме тебя, потому что для тебя этого понятия почти не существует, — здесь богатая личная жизнь. Друзья. Родственники. Круг общения. Нечего презрительно усмехаться. Большинство людей живёт просто — и в этой простоте, в семейном уюте, в самом обыкновенном мещанстве, в вещах, в квартире, в машине, в польской помаде, французской бижутерии и собрании сочинений Дюма, находить счастье. Если учёные выдумывают, то обычные люди используют то, что имеется под рукой. Нельзя возражать всему миру, — а обычные люди и есть весь мир, — будучи деспотом и стуча скипетром по полу, и заставляя весь мир безоговорочно подчиняться тебе, даже в том случае, когда ты не прав и когда, в общем-то, осознаёшь свою неправоту. Ну, чего ты добьёшься своим упрямством? Признаешь, что ошибался, через 10 или 20 лет? И твоя семья, я и твои девочки, вынуждены будут ждать этого признания неудачника 20 лет и прозябать где-то в холодной дыре, где шатаются голодные медведи и воют северные ветры? Не ты ли, мой дорогой друг, учил меня дарвинизму, не ты ли цитировал Спенсера, и не ты ли убеждал меня, что задача человека, как биологическая, так и социальная, — приспособляться к действительности и что в этом приспособлении нет ни только ничего зазорного, но есть обыкновенная жизнь с её целью и её смыслом? А теперь ты вдруг начинаешь убеждать меня в обратном: перестань, милая, приспособляться и жить наиболее удобно, и поедем в тьмутаракань страдать, мучиться, делать детей несчастными и сами становиться ими. Где же твоя логика учёного? Где твоя логика мужчины? Где её веские аргументы против слабой, критикуемой мужчинами женской логики?» — «Клара, ты совершенно права». — «Раз права, о чём ты говоришь?» — «О том, что я сделаю своё открытие. Последние мои опыты...» — «Снова то да потому, Вова. То да потому. Замкнутый круг. И ты сам себя погоняешь на этом кругу. Ты загонишь себя, вот и всё. Но я не дам тебе загнать меня и девочек. У тебя была шикарная лаборатория, превосходные сотрудники, дорогое оборудование. У тебя было время, годы. Где то, что ты создаёшь, над чем проводишь опыты? Не там ли, где и было все эти годы — в твоём воображении? И всё бы хорошо, пока в правительстве терпели тебя и финансировали тебя, пока за твоей спиной стоял улыбающийся Президент, пока друзья нам завидовали, пока то, что ты делал в институте, соответствовало уровню московской жизни, — но теперь нет ни президентской опеки, ни института, ни оборудования, ни сотрудников, — и ты предлагаешь бросить ещё и Москву. И поселиться — девочки, слушайте внимательно, мы говорим об этом уже две недели, но папа хочет, чтобы мы ещё раз повторили пройденный материал, — в двухэтажной развалине, созревшей, видимо, для сноса: без отопления, без водопровода (то есть, Саша и Женя, у нас не будет ни горячей воды, ни даже холодной, по воду придётся бегать на улицу, до колодца или до колонки, — и так и летом, и зимой, а зимой там, в Сибири, бывает и минус сорок), без канализации (то есть в квартире не будет туалета и ванной, и душевой не будет, туалет будет во дворе, а мыться придётся в бане или в тазике), — и вместо четырёх комнат, —

Клара обвела взором их квартиру, — будем довольствоваться одной. Одной, девочки! На нас четверых. А ты, Саша, ещё хотела завести сенбернара. Ньюфаундленда? Такая квартира, в которую нас зовёт папа, впору будет одному твоему сенбернару. Ньюфаундленду».

Он ничего не ответил. Помолчал. Посмотрел на Клару, с вызовом на него глядевшую, на девочек, смотревших не на него, а на диван, на котором они сидели, и теребивших пальцами бархатную бахрому. Подумал, что собирался поговорить о любви, но, кажется, о любви они всё сказали. И наедине, без девочек, Клара сказала ему про любовь то, во что он как естествоиспытатель должен был верить. Что любовь есть обыкновенная страсть, отличающаяся от страсти животной тем, что человек любит не ради одного только размножения. Но причина-то любви та же, что у страуса или бегемота. Хочется того же, чего хочет страус или бегемот. «Клара, — сказал он, — но почему же тогда ты? Почему я люблю тебя, а не твою подружку Зину или Зою?» — «Да ведь я была одной из немногих, которую ты встречал чуть не каждый день и к которой обращался за каждой мелочью. И я умела угодить тебе. Микроскоп модели К-994 английского производства? Пожалуйста. Заказать разработку контейнеров на оборонном заводе? Нет вопросов. Большой стол, метр шириною и два длиною, в твой кабинет? Импортный, лучше итальянский, вот из этого каталога?... Дорогой доктор, всё вам будет в лучшем виде. Ты так привык ко мне, что уже не мог без меня обходиться. И я, видя тебя с лучшей стороны (не семейной) и надеясь, что твоё московское положение прочно и что президент, здоровающийся с тобою за руку, продолжит тебе её подавать, ответила тебе согласием. Любовь? А разве нам плохо в постели? Разве я гуляла по тем твоим научным приятелям, что строили мне научно-любовные рожицы? Нет. И в мыслях не было. И ты не гулял, потому что я тебя полностью устраивала. Хотя... я предпочла бы, чтобы ты был более сексуален. Но я смирилась, понимая, что на первом месте у тебя — наука. Точнее, тот газ, что ты пытаешься получить. И до тех пор, пока дела в науке у тебя шли успешно — не в научном, конечно, но в материальном плане, — я прощала тебе многое и готова была поехать за тобой хоть на край света, хоть в Англию, хоть в Штаты, — оказывается, она умела уколоть, — но своим упрямством, своей научной преданностью одной-единственной идее ты уничтожил всё. Будто нельзя было придумать что-то смежное, что-то параллельное твоим исследованиям, что-то такое, что частично походило бы на прежнее, но обещало бы более быстрые результаты, и пусть тобою были бы недовольны, но тебе дали бы тебе год, два или три, и продолжали бы содержать тебя. А потом придумал бы ещё и ещё идеи, генерировал бы одну за другой, институт твой стал бы разрастаться, и уж никто бы не помнил, зачем он был создан и почему финансируется. Это и есть та наука, посредством которой учёные приспособляются к действительности. Что ты имеешь возразить на это?... Опасный и нежелательный момент, когда назревает неприятная перемена в жизни, надо чувствовать, и надо его *предупредить*, понимаешь, милый? Ты мог бы предупредить его, но ты весь был поглощён своей научной идеей. Да что говорить: ты так ушёл в последний год в свою работу, что пропустил театральный парад Саши, а ведь она заняла первое место. О ней — ей ведь только шесть — писали в «Московском театральном вестнике». Ты читал? И ты рассуждаешь о любви? Скажи мне: зачем тебе дети? Они тебе неинтересны. Тебе скучно то, чем занята Саша, и то, о чём спрашивает меня Женя. Они должны пожертвовать всем своим будущим ради идеи, о которой ничего не знают. И жить в холодной комнате, закутавшись в шали, и пересушивать кожу у печки. И стирать бельё, наверное, у реки. В проруби, да, мой милый?... Не зови нас в концлагерь, доктор!»

На следующий день он уехал. Из багажа взял два чемодана с одеждой, 8-томное

собрание Чехова и справочники. Он уехал в Тюмень, и Клара не провожала его (он сам велел не провожать, чтобы не реветь в поезде и чтобы девочки не запомнили его лицо в окне поезда и не мучились бы позднее от воспоминания), а неделей позже переехал и институт: с документацией по исследованиям и со списанным оборудованием. Из научных сотрудников института остался он один; в Тюмени пришлось искать и нанимать вирусолога и всех прочих; с ним покинул Москву, точнее, Подмоскovie, только Максим Алексеевич. Всего по штату «Сибирскому институту промышленной очистки воздуха» полагалось шесть человек, включая самого доктора. Это объяснил ему прилетевший из Москвы в Тюмень бизнес-классом миннаучный чиновник, Даниил Кимович, назначенный для урегулирования вопросов финансовой организации института.

Вселившись в квартиру №4 двухэтажного неблагоустроенного дома по 2-й Луговой, Владимир Анатольевич (а преимущественно Максим Алексеевич) следил за перестройкой подвала по плану и по миннаучной жалкой смете, а вечерами перечитывал любимого Чехова. Антона Павловича доктор считал не только выдающимся мастером слова, но и очень точным выразителем той мещанской жизни, что захватила и поглотила Клару, Сашу и Женю.

И ведь как умно и точно возражала ему Клара! Откладывая том Чехова, доктор поражался, как умело она использовала против него его же аргументы: и о приспособлении, и о... Кстати, тема приспособления с первых дней нашла в лице дмитровского завхоза Клары Барышниковой благодарного слушателя. На этой-то теме они, пожалуй, и сошлись. Как не сойтись? Сам Президент выписывает доктору наук ордер на четырёхкомнатную квартиру в Москве. Любила ли она его? Можно ли ответить на этот вопрос, не зная, что такое любовь, и не умея её определить? Что она? Страсть? Животная — или какая-то иная, не та, что... у бегемотов? Инстинкт размножения — или нечто большее, имеющее связь с тем духовным, о котором сочиняют книги идеалисты? Или это особенное чувство, о котором пишут стихи романтики — от чьих стихов любовь не стала определённое и понятнее? Или она — то чувство, что охватывает двоих единомышленников, то есть что-то вроде дружбы, добавочно упрочённой постелью, страстными утехами, — или тех, кто *мнит* себя единомышленниками, как вот он мнил себя и Клару? Два приспособленца, один из которых вдруг понял, что куда более идеалист, чем реалист и материалист, а второй так и остался приспособленцем. И кто, в таком случае, кого обманывал? Да никто. И Клара права. И девочки правы. Им будет лучше в Москве. Тысячи и тысячи супругов разводятся из-за того, что по-разному приспособляются к жизни — и к своей любимой половинке как к существенной части этой жизни.

В этом, стало быть, соль семейного вопроса, по крайней мере, его, Таволги, вопроса, — а не в любви, искать корни которой было слишком утомительно — почти так же, как искать секрет таланта, о котором врач и атеист Чехов сказал: «А талант — и всё тут».

Новый институт постепенно захватил Владимира Анатольевича. Нет рядом с ним Клары, нет Саши и Жени, но есть наука. Есть мечта о светлом будущем. Кое-чего ведь на пути к мечте он добился. Доктор понял: он тем больше верит в свой успех, чем хуже условия, в которых он успеха будет добиваться. Упрямство? Ослиное? Пусть так, пусть упрямство, и пусть идеализм, пусть особенная, фантастическая цель в жизни, цель, несоизмеримая с обывательскими стремлениями к московской жилплощади, лакированной мебели, шведским машинам и дачам с каминами, и пусть он умрёт, так и не достигнув этой цели, — он всё же будет заниматься своей работой до тех пор, пока силы его не кончатся или пока Миннауки не упрячет его в тюрьму за растрату казённых средств и одурачивание Президента. За

возведение *научной пирамиды*.

Позже, когда он уже жил с Любой, он усвоил несколько семейных пунктов, в том числе разьяснённых ему и Любой: во-первых, для женщины естественно дорожить жизнью детей и заботиться об их будущем, мужчины этого часто не понимают, мужчины понимают многое, но *не это*, общественная эволюция увела от них это понимание, оставив его женщине, матери, — а квартира в Москве и есть будущее девочек; во-вторых, инстинкт самосохранения у большинства людей сильнее призрачной любви, а у заместителя директора по АХО этот инстинкт должен быть гипертрофирован; в-третьих, Владимир и сам сделал карьеру в Москве, а не в Тюмени — почему же он считает, что девочки и жена должны непременно верить в Тюмень — *столицу деревень*?

Он согласился с Любой. Он сказал ей лишь одно. В оправдание. Кто бы мог думать, что так повернётся с Москвой! Все мы привыкаем к своему положению, сказал он. И начинаем верить, что это положение сохранится до конца нашей жизни, по меньшей мере, до пенсии, когда мы отдохнём от трудов праведных за ловлей рыбы или пропалывая грядки с редиской, репой и луком и покрхтывая от поясничного остеохондроза.

Да, ответила Люба. Кто бы мог подумать. Будь ты завхозом, ответственным за вещи и деньги, ты бы научился предчувствовать *грозу*. Но ты учёный — ты ставил опыты. Интуиция твоя направлена на иное. Ты работал, думая, что конец работы там, где реализуется идея работы, а не там, где тебя остановят. Но тебя остановили. И тебе сказали: э, да ты, батенька, настоящий учёный, и поэтому обойдётся без жены, детей, московской прописки и президентского покровительства.

И ты и обходишься, закончила Люба.

Мне лучше плыть против течения, ответил он ей.

В сущности, думал Владимир Анатольевич, все они — и Клара, и Саша с Женей, и чиновники из Миннауки, и Президент, и те сотрудники, что в последние месяцы, когда всем стало ясно, что проект вот-вот закроют и их переведут в другие институты, и даже и те сотрудники (исключая Любу), которых он нанял здесь, в Тюмени, — все они своим маловерием лишь возбуждали его упрямство. *Вопреки!* «Не верите в то, что я создам пентаксин? Не верите, будто газовая оболочка возможна? Не верите, что вне московского комфорта вообще можно что-то открыть или разработать? Не верите, наконец, что вирус абсорбируется на клетке человека? Ах, вы не верите?... Ну, так я сделаю так, что пентавирус будет жить долго и что действующая версия пентаксина будет разработана здесь, в столице деревень, в этом ветхом домишке, — вопреки всем вам, сомневающимся и нетерпеливым, и наперекор всем тем, кто предпочитает плыть по течению, переквалифицируясь сообразно с обстоятельствами из учёных в завхозов!»

И утром, вечером, ночью доктор словно бы молился словами отца: *«Тебе будет казаться, что ты несчастен. Что твоя дорога слишком трудна и горька. Что у тебя ничего не получается. Что весь мир вокруг словно сговорился против тебя. Знаешь, что это значит? Это значит: ты на правильном пути»*.

— Холодно, — сказал Владимир Анатольевич. — Надо пройтись.

Он застегнул пуговицу, сунул руки в карманы и пошёл к широкой центральной аллее, где сидела ночная публика. Где горели матовые шары фонарей. И откуда неслись пьяненькие голоса. Ему хотелось, чтобы его видели. Неизвестный вирусный король прогуливается поздним вечером по Цветному бульвару...

Поначалу, ложась спать в квартире номер четыре, Владимир Анатольевич долго не мог

заснуть. Всё представлял Клару и дочерей. Чаше Клару. Что скажет она и что скажут девочки, когда он позвонит им и скажет: я сделал это? Сделал! Проект секретен, но он нарушит секретность, ему будет плевать на всё, и он скажет Кларе: я сделал это. Но... столько лет, ответит она. Пустяки, скажет он. Я сделал, и меня снова переводят в Москву, и дают квартиру, и гараж, и «Вольво», и шофёра, и огромный институт в Дмитрове-36, и молодую заместительницу по АХО. Молодую, с ногами от шеи, блондинку... кажется, «Мисс Оборонная Промышленность». Но я хочу прежнюю мою заместительницу... И Кларе ответит согласием — ведь теперь её и его идеалы опять совпадают, теперь они оба опять говорят на одну тему: Москвы, денег и испанской сантехники. Но потом, усмехнувшись, он скажет ей: я не хочу прошлого, Клара, я хочу настоящего, а настоящее моё не с тобой. Тебе я предпочту длинноногую мисс с дипломированной грудью... Владимир Анатольевич, с томиком Чехова на груди, открытым на «Ариадне», просыпался. Была ночь, но он спускался в подвал, в свой кабинет или в лабораторию, — и продолжал упрямо — да, да, да, упрямо, — делать то, что делал многие годы и что не давало результатов.

И вот сегодня утром — а по предварительному анализу и раньше, но лишь сегодня утром Максим Алексеевич привёз два подходящих трупа, — *у него всё получилось*.

У него всё получилось, но ему уже давно не хотелось сообщать что-то Кларе. К чему эта демонстрация победы, если весь мир завтра переменится, и гордость его, доктора Таволги, улетучится так же легко, как пентаксин из контейнера? И Люба. Её страшный диагноз. Что рядом с этим Клара? Клара больше не интересовала его. Доказывать ей? Зачем? Он докажет всему миру.

Гордость хороша для яростной научной работы. Она не нужна для того, чтобы выпячиваться перед Кларой или подставлять грудь под цепляемые улыбчивым чинушей ордена. Его гордость будет удовлетворена скорее тем, как он применит полученный газ, чем какими-то там орденами и завистью Клары — умевшей очень быстро сравнить то, что имеет, с тем, что *могла бы* иметь. Да Клара ведь и стара уже, — она всего на пять лет его моложе.

Применение газа воздаст ему сторицей за все труды, за всё терпение, за долгие годы сибирской «ссылки» в домишке под снос, — и за то, что его упорство некоторые поверхностно мыслящие господа именовали «ослиным». Никакие самые лучшие квартиры в Москве и самые жирные банковские счета — да ведь их и не будет, отлично понимал Таволга, в России это редкость, итог редчайшего везенья, а скорее, плод личных или родственных связей, к занятию наукой уже не относящихся, — не вознаградят его и не восполнят ему жизни, отданной единственной работе.

Вознаградить его и *восполнить* его жизнь могло только его открытие. И то, как он сумеет им распорядиться.

*27 октября, воскресенье, около одиннадцати часов вечера. Ведущая новостей телеканала «Тюмень ТВ» Регина Снежная*

Какая там заказана главная новость?

Регина взяла плейлист на понедельник.

Рыбалка. Губернатор, мэр, лёд, мормышки. Льда, правда, ещё нет, Тура и Пышма не замёрзли, а озёра под таким тонким ледком, что толстяк губернатор под лёд пошёл бы быстрее, чем крестonosцы на Онежском озере. Или на Чудском?

О рыбалке мэра и губернатора кадры на студии уже есть. Январские. Монтажёр подмонтирует. Крупным планом даст руки, мормышки, рыбу. Уберёт заснеженные сосны, сугробы по берегу. Тулупы с мэра и губернатора не снимешь — зато можно упомянуть сильный ветер. Который мужественным сибирским рыбакам — не помеха. Фантазия вмещивается в реальность.

К тому же мэр и губернатор совсем не на рыбалке.

Регина любила свою работу. Чертовски интересно было создавать несуществующие сюжеты по заданному в студии плану. Чем труднее план, тем было интереснее. Часто конструкция сюжета был непредсказуема. Искривление событийного ряда могло так же удивить журналиста, как Анна Каренина — Льва Толстого. И вот эти-то искривленья, неожиданные повороты и телевизионные сальто-мортале и были высшим пилотажем для тех журналистов-асов, которые, по мнению Сан Саныча, умели соединить несоединимое.

Раньше считалось, объяснял ей Сан Саныч, что аудитория предпочитает новостям фильмы. За последние десять лет положение перевернулось до противоположного: при параллельном показе новостей и фильмов на одинаково популярных телеканалах 77 % зрителей выбирают новости. И рекламодатели покупают время в новостях куда охотнее, чем в фильмах. К тому же фильмы стоят денег: надо покупать дорогие лицензии на прокат. Скоро новости вообще вытеснят кино, говорил Сан Саныч. *Художественные новости.*

Регина знала, почему любила свою работу: она нашла в ней себя. Каждый день она реализовывала себя. Реализовывала за деньги. Другие люди мучаются от своей ненужности и от бедности, а ей платят за то, что она нужна, за то, что она умеет делать лучше всего, — и делает.

Мама ещё в детстве ей говорила: ты, моя Регинка, девочка с воображением. Ты будешь сочинять что-нибудь. Я уверена. Сказки? — интересовалась Регина. Сказки, отвечала мама.

Вот она и сочиняет сказки. Художественный реализм, как выражается Сан Саныч. За денежки. Применяет те способности, которые поощряла в ней мама. Складывает сюжеты, как паззлы. Дырка в сюжете? Нет замёрзли реки и озёра, а нужно показать зимнюю рыбалку? Реки и озёра вмиг замёрзнут, покроются толстым слоем льда. Нужно сделать так, чтобы в новости попала реклама — как часть сюжета? Нет проблем! Напишем новости под рекламу.

Возможно всё. Чудо? Фантастика? Нет, обыкновенная журналистика.

А что тут плохого?... Если это плохое, так плоха и «Анна Каренина». И «Война и мир». И надо выдернуть Толстого из школьной программы. Всё ведь у Льва Николаевича из пальца

высосано. Старый Толстой как-то нехорошо называл свои романы: не то пустячками, не то поделками.

Раньше, в молодости, в первые месяцы на «Тюмень ТВ», Регина боялась. Она ощущала какие-то рамки. Что-то сдерживающее. Сковывающее. Направляющее. Были же правила. Происходящее определяет новости, а не новости — происходящее. Случилось что-то — и вот оператор снимает, а она рассказывает и комментирует. Разве возможен иной порядок? События, как и материя, первичны, а новости телеканала — вторичны. И уж разумеется, новости складываются из того, что произошло, а не из того, что удобно для телеканала.

Так её учили на журфаке. И так она и сама считала. Тут всё ясно. Журналист освещает события.

Нет, сказал ей Сан Саныч, это ересь. Истинно, истинно говорю вам, сказал он ей: не журналист освещает события, а *события освещают журналиста*. Правильно поданные и правильно сделанные события. Освещают карьеру журналиста. И не только освещают, но и освящают. Журналист, стоящий на правильном пути, вхож в святая святых: ему жмёт руку и мэр, и губернатор, с ним здороваются и пьют коньяк депутаты и крупные предприниматели. Его ценит генеральный директор — Александр Александрович Воротыннюк. Он умеет построить репортажи и включить в них рекламу так, что рекламодатели улетают на седьмое небо от счастья. Этот умный, талантливый журналист зарабатывает столько денег, что может покупать квартиры, машины и устраивать семье отдых на Канарских островах. Неужели не заманчиво, говорил Сан Саныч. И неужели у вас, Регина, нет фантазии? Зачем вы сдерживаете себя? У нас что, отменили свободу слова? В советское время был такой слоган: твори, выдумывай, пробуй! Так вот, он не устарел и сегодня. Творите, выдумывайте, пробуйте. И Регина вспоминала то, что говорила ей когда-то мама. О фантазии. Буйной фантазии. Но чему же её учили в университете? Почему там ей было скучно? Какие её способности развивали на журфаке? Или там занимались приготовлением серых неудачников, похожих на тех закоренелых неудачников, засевших в альма матер, что тихо вымогают взятки и заполняют за мзду зачётки? Правильно говорят: в России высшее образование — формально. На практике оно непригодно. Будем использовать ум, талант — и фантазию. Умна ли она? Она не знала. Талантлива? Что такое талант, никто внятно объяснить ей не смог. Есть ли у неё фантазия? А вот фантазия у неё есть. Так какого лешего?

И Регина развернулась — во всю мощь своего воображения. Рамки? Цепи? Ограничивающие? Сковывающие? К чёрту! Сан Саныч велит делать то-то и то-то — и в том-то и том-то даёт ей свободу слова — и свободу заработка, — и она будет дурой набитой, если не использует то, что у неё есть от природы. То, что в ней пытались заглушить в университете.

Соединить рекламу питьевой воды с сюжетом о преуспевающей строительной компании — с тем самым, где надо брать у гендиректора интервью? Что ж, пусть директор выпьет стакан воды во время интервью. Не хочет? Ерунда, уговорим. Не поддаётся на уговоры? Заплатим. И поставим бутылку нужной воды ему на стол. Как необходимый для успешной коммерческой деятельности аксессуар. И бокал поставим. С логотипом этой же водомарки. Пусть бокал стоит возле его гендиректорских пальцев с золотыми перстнями, пусть вода служит символом успеха... Теперь все — актёры. И многим приятно себя чувствовать актёром. Участвовать в массовом розыгрыше. И зарабатывать тоже приятно. Думаете, гендиректор откажется от сотни долларов? Он же буржуа, он из-за этой сотни задавиться готов. «Знаешь, как делаются новости?» — многозначительно говорил Регине

Сан Саныч, и подмигивал. О, она узнала. Они и вправду *делались*.

Она ничего не помнила из университетской учёбы, но многое взяла из собственного детства — из той поры, когда никто, ни университет, ни школа, не мешал ей сочинять. И она поражалась тому, до какого совершенства довела своё журналистское мастерство. В её голове точно завелись полочки, с которых она мгновенно брала всё, что требовалось для развития запланированного сюжета. «Хорошая память», — говорил Сан Саныч. Скорее, порядок в памяти. Знаешь, куда положить и откуда взять. Лучше всякого компьютера.

С годами она стала делать репортажи в считанные минуты. Её скоростным рекордом — не место ли ему у Гиннеса? — было написание репортажного текста в две минуты. В сто двадцать секунд. Текста репортажа, длившегося по ТЭВэ тоже две минуты.

Куда уж там Льву Толстому, писавшему «Войну и мир» семь лет!.. Телеоператор Коля сказал ей, что прочитал «Войну и мир» за неделю. Семь лет — и семь дней!.. А у неё — две минуты — и две минуты. Равенство зрителя и автора.

Чем меньше времени на сюжеты давал ей Сан Саныч, тем азартнее она бралась за эти сюжеты. Ещё меньше времени? Вот ты узнаешь, шеф, на что способна Регина Снежная!

Выезжая с Колей на съёмки, она уже прокручивала завязку сюжета, намечала кульминацию. Смотрела пиар-лист, находила опорные точки для рекламы. Потом представляла развязку — с непременно выходом на основной рекламный блок. Когда она прибывала на место, репортаж уже был готов. Могли быть, конечно, и творческие отступления, отклонения, — но самый стержень сюжетной композиции Регина никогда не меняла: не события определяли сюжет, а ею разработанный сюжет диктовал и порядок, и тон событий, и характеристики персонажей.

«Персонажи» начинали говорить с ней, но она останавливала их: «Господа, вопросы здесь задаю я. Лимит времени, господа». Если господа не хотели останавливаться, и говорили то, что сюжет разрушало, Регина помечала отснятые участки для «ножниц».

Она быстро усвоила то, что одобрял Сан Саныч, что вписывалось в политику государственной телекомпании «Тюмень ТВ», — и уяснила, что свобода слова в России есть, только некоторые товарищи её ищут не там, где нужно. Мало того, эта свобода хорошо оплачивается! Она смеялась: Конституция — документ не менее туманный и иносказательный, чем Евангелие. Гарантируется свобода слова? А *какого* слова? Вот в том-то и штука. Не будь Конституция документом приблизительным, требующим толкования, она бы установила: фантастического слова. Или установила бы прямо *свободу фантазии. Свободу воображения*. И не потребовались бы исключения из свободы — такие, как экстремизм и неуважение к власти. Воображение законодательно не ограничишь.

Потому-то в России самая читаемая, самая популярная литература — фантастическая. Фантасты давно всё поняли. И журналисты. Поняли и свободно работают.

И она поняла — и работает. И Сан Саныч в те минуты, когда его посещают приступы хорошего настроения, называет её «золотко». «Ты бы ещё на работу, золотко, не опаздывала, так я б тебя в депутатки выдвинул». Ей плевать на его похвалы, но на премии не плевать. И не плевать и на то, что в начале карьеры она делала заштатные репортажики, а теперь она и новости ведёт вечерние, и делает самостоятельные сюжеты, которые Сан Саныч никому, кроме неё, доверить не хочет. Ну разве что она приболела или ей некогда. И деньги, деньги. Трёхкомнатная квартира себе, двухкомнатная квартира маме. И бабушке помогала, пока та была жива. Мебель итальянская, испанская, французская. Всё, что душа пожелает.

Но главный её интерес был не деньги, а работа. Тот полёт фантазии, который первой в

ней разглядела мама. Полёт в такие выси, что самой страшно становилось... К примеру, тот пиар-лист из одиннадцати пунктов для пятиминутного сюжета в плейлисте. Шеф сказал ей: невозможно. Никто не сделает. Даю тебе, золотко моё, просто ради эксперимента. Справишься — выпишу тебе такую премию, какую тут никто ещё не получал. Даже я. Откуда столько пунктов? — удивилась Регина. Больше одного на минуту вещания ведь не берём. В отделе рекламы перестарались, ответил Сан Саныч. Там новенькая, вот и набрали заказов. А что за сюжет? О рыбокомбинате «Северрыба», сказал Сан Саныч. А кто платит за сюжет? Рыбокомбинат. То есть, сказал Сан Саныч, сплошные сложности. Регина прочла пиар-лист: мороженое, екатеринбургские электрогитары, мебель (столы и стулья от мебельной компании «Юникор»), пышный пшеничный хлеб, обрезная доска, тюменский рок-клуб «Полосатая собака», газета бесплатных объявлений «Молния», компьютерные мыши «Опо-12», холодильники «Иней-44», лимонад и туфли «Мако». Регина взяла Колю с камерой, поехала к директору рыбокомбината, убедилась, что на комбинате есть актёрский зал со сценой, вернулась в студию и набросала на ноутбуке текст сюжета. Директору рыбокомбината на согласование текст не отправила. А пошла прямо к главбуху. Стали считать. Выгодно. Ново, но выгодно. И она отправилась к Сан Санычу. С текстом сюжета. Директор рыбокомбината сидит на стуле и за столом фирмы «Юникор», на столе компьютер, и мышь «Опо-12» крупным планом, и то, как замечательно бегают курсор, тоже крупным планом, и бегают он по столбцам газеты бесплатных объявлений, а среди текстов газеты — объявление городского рок-клуба «Полосатая собака» о курсах электрогитаристов, а потом она, Регина, и он, директор, идут по цехам комбината, и он показывает ей цеха, и они берут из холодильника «Иней-44» мороженое, и директор говорит, что любит мороженое с хлебом, это очень вкусно, и тут же, из хлебницы на холодильнике, берёт пышный хлеб, приговаривая, вот, в пекарне «Дуняша» испекли новый пышный хлеб, и даёт и Регине, а потом им подносят лимонад, и они запивают мороженое и хлеб лимонадом, а за спиной директора висит екатеринбургская электрогитара, и он и Регина входят в актёрский зал, где двое рабочих будто бы достраивают новую сцену из обрезной доски такой-то фирмы, и директор, восходя на сцену (показываются туфли «Мако») рассказывает, что решил организовать ансамбль: в школе и институте всегда хотелось, да времени не было, а теперь, благодаря отличной организации бизнеса на его комбинате — все поставки вовремя, все покупатели довольны, все работники премированы и награждены грамотами, — он, его зам по финансам, начальник цеха холодного копчения, мастер заморозки и бухгалтерша собрали наконец команду. И время нашлось, и инструменты закупили, и курсы гитаристов он успешно закончил. Скоро будет первый концерт. Репортаж с которого мы непременно покажем! (Финал сюжета).

«Хм, хм, — сказал Сан Саныч. — Да и сюжет оживится. Будет не производственно-коммерческим, а человеческим. Мы и дальше пойдём... этим новым путём».

И он выписал ей премию, а директору рыбокомбината вернул денежки наличными. «И он пошёл на это?» — Только в этом сомневалась Регина. — «Пошёл, — ответил Сан Саныч. — Он не хозяин, он наёмник. А хозяйка сейчас в Таиланде».

А вы говорите: университет. Регина смеялась. Вот если бы в университете начали изучать её сюжеты — как образцы подачи рекламного материала в тележурналистике, она бы не смеялась. Теперь она считала: это хорошо, что на журфаке не учат, а мучают журналистов. Конкурентов будет у неё поменьше. Или вовсе не будет. Кто знает, что мастерство писателя и журналиста идёт от фантазии, а не от свободы... то есть, она хотела

подумать: факультета журналистики? Кто знает, тот молчит.

Так, с её подачи, у «Тюмени ТВ» начался новый телебизнес. Сан Саныч усовершенствовал его. Студия стала сотрудничать и с наёмными директорами, и с хозяевами. Шеф и агентов дополнительных нанял на работу. Чтобы ездили по городу, предлагали директорам удешевлённые рекламные сюжеты об их компаниях. Особенные сюжеты, с рекламой в рекламе. Потому и дешевле. Выгодно! Директора соглашались, и денежки рекой текли. И хозяйка холдинговой компании «Месяц» сидели в кафе «Бельвиль» и ели круассаны и бриоши, а гендиректор торговой сети «Камелия» Павел Леонидович Бессмертных потел в финской сауне «Клубника».

Ну, и власть. Государственный статус телекомпании нужно было отрабатывать. «Все власти от Бога», — любил повторять он. Кажется, из апостола Павла.

Мэр и губернатор тоже не гнушались сняться в качестве закамуфлированных рекламных персонажей. За пиар в новостях с мэром и губернатором бухгалтерия брала с рекламодателей двойную расценку. То, что называется имиджем власти, тоже требовало то поддержки, то переделки. В зависимости от меняющихся вкусов публики и политической моды, дух которой Регина обязана была чутко как немецкая овчарка. Сегодня мэр подаётся как книголюб и философ, а завтра — как курильщик трубки и заядлый рыбак. До кризиса 2012 года губернатор увлекался конным спортом, а нынче на даче помидоры и капусту выращивает. И парнички строит из старых оконных рам.

Рыбалка. Где-то у неё сохранился тот текст. Повторять полностью его она не станет. Это было бы скучно. И не хватало ещё, чтобы зрители обвинили её в плагиате у самой себя. Нет, пусть кадры использованные, январские, — за кадры она не отвечает, — а текст будет новый. Твори, выдумывай, пробуй.

Образы простых людей из народа. Сейчас это так же модно, как и в январе. Кроличьи шапки, овчинные тулупы, валенки в галошах. Мормышки. Да, отечественные сигареты. Не дешёвые, но и не самые дорогие. Оба, и губернатор, и мэр, на льду курят, но не видно, какие сигареты курят. Вот и хорошо. Положим им на рюкзак пачку «Петра Первого». «Лёгких». Лёгких — потому что мэр и губернатор заботятся о здоровье. А ещё потому, что лёгкие стали хуже покупать после повышения на них цен. Потому-то и пришёл на них пиар-заказ.

Вот пиар-карта. Сигареты, водка и тушёнка. Джентльменский набор, усмехнулась Регина. И как нарочно под старые кадры.

Водка «Голубой источник N20». Мэр и губернатор пьют из стопок, наливают из бутылки. Наливают «Кристалловскую», но её ретушёр заменит. Ещё недавно реклама водки и коньяка была запрещена. Столько было муки с разными сюжетами, сколько было нудного, нетворческого камуфляжа!.. А сейчас жить стало веселее.

На закуску у рыбаков тушёнка «Овсянниковская». Они её и едят. Чисто сработано. Тушёночники из Овсянниково — постоянные клиенты «Тюмени ТВ».

Заголовок для репортажа. Старое не годится: во-первых, оно использовано, во-вторых, оно неудачное: «Губернатор и мэр на рыбной ловле». Пресное, официальное. Нужно что-то народное. Есть: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». «Не вынешь» или «не выловишь»? ... В словаре пословиц и поговорок — «не вынешь».

Она стала набирать. «Ясным октябрьским... (удалила «октябрьским») утром Сергей Сергеевич Белоколокольцев и Пафнутий Аркадьевич Египетский... (да, да, отлично, простые такие мужички из народа, — и в то же время с уважением, по имени-отчеству) решили порыбачить...»

Она засекала время. Ради спортивного интереса.

Уложусь или не уложусь в полчаса?

Уложилась в сорок минут.

— Что ты хочешь, Регинка? Устала. Вчерашняя гулянка плюс... Ого. Уже двадцать восьмое октября настало. Понедельник.

Она вложила файл с репортажем в письмо и отправила по e-mail. Выключила компьютер. Встала из-за стола.

— Не опоздать бы на работу, — сказала Регина.

И пошла спать.

*27 октября, воскресенье, около одиннадцати часов вечера. Владимир Анатольевич  
Таволга*

На центральной аллее он вдруг ощутил себя чужим. Ему нечего было тут делать.

А ведь нет. Как это — нечего? Так вот зачем он сюда пришёл! Ему нужно было убедиться, что мир вокруг него — *именно тот*. Прежний. Что за годы мир не изменился. Стоило ли сомневаться, право!

Кто-то разбил бутылку. Слева от Владимира Анатольевича захохотали и обдали его табачным дымом. Нарочно, кажется, на него дунули. «Ходит туда-сюда, ненормальный профессор... Эй, ты что тут ходишь, чёрт бородатый? Зачёт примешь у меня, препод?» И опять захохотали. И трудно было понять, чего было больше в их смехе: радости или злости.

Алкоголиконикотинцы. Папиросочники, — вспомнил Владимир Анатольевич из гневного Толстого — не хотевшего гневаться, злиться, но гневавшегося. Ни одного лица в Москве, не испорченного водкой, табаком, не изъеденного сифилисом. Так писал Толстой — после того как *переменился*.

На скамейке — по бокам её горели два матовых фонаря — сидели пьяные мальчишки и девчонки лет семнадцати, ногами в сапожках перекатывали звеневшие пивные бутылки. Нездорово разрумившиеся лица, сигаретки в губах, хохотки и жаргончик — и закономерный, ожидаемый вопрос в его сторону: «Чего пялишься, старый козёл? Молоденьких сучек захотел, извращенец, дикобраз отстойный?» Отвернувшись от хохочущей скамейки, Владимир Анатольевич сказал себе, продолжая мысль Льва Николаевича, что он очень редко видел в жизни вменяемые человеческие лица. Лица, которые он видел, были испорчены не одним «забористым» пивом, водкой, курением, венерическими болезнями или наркотиками, но и постоянной привычкой не думать, *хроническим недуманием*: жизнью такой, будто люди стремились не жить, а от жизни своей назойливой отвлечься. И это отвлечение от жизни с годами делалось у них целью жизни, вытесняло подлинный её смысл: наблюдать, открывать и исследовать.

«Дикобраз отстойный» — это оригинально, хоть и противоречит здравому смыслу, нелепо, — подумал Таволга. — Постмодернистская лексика: говори что хочешь; чем нелепее, тем лучше, значение слов не столь важно, как реакция на слова. Слова утрачивают смысл прямо на глазах».

«Перемен! Мы хотим перемен! — донеслась до Владимира Васильевича старая эстрадная песенка. — Перемен! Требуют наши сердца!»

Много перемен произошло с той поры, когда впервые прозвучала эта песенка.

Он опустил воротник. Указательным пальцем поднял очки на переносице.

«Будут вам перемены!.. Смирится Люба, или останется при своём щепетильном мнении, — результат будет один. «Перемен! Требуют наши сердца!..» Перемены грянут. На самом-то деле никаких перемен вы не желаете, а наоборот, всю жизнь проболтались бы вот на скамейках, засунув пальцы в трусы к девчонкам!.. Не знаю, стоит ли говорить сегодня Любе. Надо утром, с рукой на дозаторе, — так, чтоб у неё не было возможности отказаться. Нет, это не разговор, это демонстрация диктатуры... Так как это устроить? Встать пораньше,

сделать всё самому — и подняться к ней, поцеловать её в лоб и объявить: я сделал это, прости, Люба, я не мог не сделать это?... Не знаю. Не хочу, чтобы в последние минуты Люба *плохо* смотрела на меня. С той самой злостью, с которой я гляжу на куражащихся пьяных молодцов. Но у меня есть ещё время подумать. К счастью, думать я умею».

Таволга не злился больше. И не хотел злиться. Неужели существуют натуры, хотящие злиться и ненавидеть? Он, Володя, Владимир Анатольевич, хотел любить весь мир — и хотел, чтобы мир отвечал ему взаимной любовью. Завтра он сделает любовное предложение миру. Предложение, от которого мир не сможет отказаться.

Доктор ускорил шаг. К чёрту этот пьяный бульвар! Хватит шататься среди молодых дураков и пьяниц. Он достаточно проветрился. Ему хотелось посмотреть на них и почувствовать, но... Он посмотрел, но не почувствовал. За короткий вечер он всё равно не ощутит того, что желал бы ощутить: совершения своего открытия. Научного праздника. Своей победы. Нет, он не чувствовал, что живёт накануне перемены мира. Не ощущал, что это он, Владимир Анатольевич Таволга, доктор химических наук, один из многих неизвестных русских докторов наук, явится причиной перемены мира. Он хотел бы это чувствовать — и не чувствовал. Для этого нужно время. А времени-то у него и нет.

Наверное, чтобы *почувствовать*, нужны поздравления, деньги, ценные подарки, научные конференции, публикации в толстых академических изданиях, наконец, шум прессы, суета фотографов — с нервными прицеливающимися лицами, просящими его встать чуть левее и чуть выше, и чуть улыбнуться... Но всё это не для него.

Пожалуй, он очень устал. Может быть, он почувствует что-нибудь ночью. Ночь располагает к тому, чтобы мечтать. Он станет представлять, как это будет. Какой будет новая жизнь. Люба... Ну, ладно. У него получилось сегодня, но он будто бы не верит в это. Не удивительно: после стольких лет... Он словно бы заразился неверием — от всех, кто в него не верил. И так ли уж нужен ему этот праздник? Войдём в фантастическое будущее буднично, как в обыкновенный понедельник...

На улице Ленина доктор сел в такси. Для обратной прогулки пешком до института было поздно. «Не хватало накануне перемены мира схлопотать по физиономии».

Таксист ему попался вежливый, спросил разрешения покурить в машине. Таволга сказал в ответ: «Прошу вас, не надо», а потом, уже у института, чувствуя себя неловко после высказанного запрета, дал водителю непомерные чаевые. Тот, должно быть, удивился, подумал, что бородатый профессор слегка (а то и не слегка) пьян, протянул пару купюр обратно, но Таволга, неожиданно для себя, засмеялся и сказал:

— Приезжайте к этому дому завтра утром или днём. Вы навсегда бросите курить.

— Не понимаю, — сказал таксист, убирая деньги.

— Не только сигареты, но и деньги вам никогда не понадобятся.

— А, это из «Мастера и Маргариты»! — радостно сказал шофёр. — Надеюсь, ваши деньги в фантики не превратятся.

— А вы начитанный человек, — сказал, выходя из машины, Таволга. Ему вдруг стало страшно за судьбу своего эксперимента. За грядущую *перемену*. «Я много болтаю. Я чувствую себя виноватым: не разрешил таксисту курить. Я слабак, в сущности. Только в науке я чувствую себя уверенным и сильным. Ну что ж! Я ведь учёный».

— Нет, я кино смотрел, — ответил таксист.

Таволга ничего не сказал и закрыл дверь «Волги». Подождал, когда «Волга» уедет, и спустился до калитки института. Затем поднялся на второй этаж.

«Сказать Любе сейчас или завтра утром? — подумал он, стоя у своей двери и вглядываясь в номерок, в примятую молотком алюминиевую четвёрку. — Но почему — утром? Почему я решил сделать это утром? Я не могу сейчас... Я не верю. У меня есть ещё один труп. Но это глупо! Нет, отнюдь не глупо. Семь раз отмерь... Люба сразу скажет: ладно, с мёртвой девчонкой у тебя получилось, а что же второй труп? Насмотрелся на девчонку — и решил, что дело в шляпе? Всего один опыт, Владимир! Семь раз отмерь!.. Не потому ли он и сам сомневается? Не ощущает того праздника, который ему надо бы ощущать? Может, конечно, и потому, что много, много лет он шёл к этому дню. И уже не осталось у него радости на праздник. Вообще радости не осталось. Нет, он должен провести ещё один опыт. Труп у него есть, спасибо Максиму Алексеевичу. В разговоре с Любой у него нет права на осечку. Услышать от неё что-нибудь нелогичное, женско-трагическое: *иди*, мол, один, без меня, — значит... значит почувствовать себя негодяем. Но ладно бы негодяем, — а то едва ли не повторяется история с Кларой. Не в том смысле, но... *Одиноким негодяем!*.. Нет, нет, никакой осечки! А всё эта чёртова мораль, которую по-своему понимают женщины и исполнения которой нигде, в том числе и среди её проповедников, не сыщешь, но в которую они упрямо веруют, как в несуществующего Бога! Всё это просто оглядка на тех *хороших людей*, перед которыми испытывается неловкость!.. Но нет никаких хороших или плохих людей, а есть только люди, приспособляющиеся к окружающей среде и общественному бытию! Вот как Клара. Или как я. И не имеет значения, как приспособляются. Хорошие, плохие... Если и будут на планете люди лучше существующих, то они, эти люди, явятся завтра. И мы с Любой будем среди них пионерами».

Владимир Анатольевич, стараясь не скрипеть ступеньками (знал, куда наступать), стал спускаться на первый этаж. У Максима Алексеевича в квартире пел магнитофон. Розенбаум. Магнитофону фальшиво, то с отставанием, то с опережением, подпевали. Голоса были очень пьяные, из-за двери тянуло табачным дымом. «Завтра они бросят курить. Утром они перестанут понимать, что такое сигарета. И водка, и «Балтика» N13, и «Рябина на коньяке». Пить, чтобы забыться?... Я дам им универсальное средство забыть их дурную жизнь. С пожизненной гарантией. С вечной».

Доктор провёл пальцами по дерматину на двери. Задвинул выступивший гвоздик.

А ведь они пьют и потому, что научные задачи, которыми они тут занимаются, не вдохновляют их. И больше того: они не верят в тот, что делает он, Владимир Анатольевич Таволга. Причин тому две. Они живут бедно (как и он). И доктор слишком долго делает то, что должен был бы сделать давно или давно от этого отказаться. Таволга читает эту мысль в их равнодушных, буднично-безразличных взглядах. Они думают примерно так же, как думала когда-то Клара. Сделай он то, ради чего трудится без выходных и проходных, как выражается Никита, — они бы, может, получили крупные премии. Или нормальное жильё. Так они думают (он знает). В Миннауки, а, скорее, в Минобороны, им, конечно, подбросили бы что-нибудь. Оформили бы президентские гранты задним числом. Они же не о яхтах и личных самолётах мечтают. Им, жителям города, подошли бы — так же, как и ему, — батареи водяного отопления, ванная комната, туалет с унитазом. С трубой, ведущей в канализацию. Им подошёл бы и гараж у дома, а в том гараже — малолитражка, какая-нибудь экономичная машинка «Дэу Матиз», в которой удобно вертеться по городу, и за город по асфальтику тоже выехать можно. Они готовы довольствоваться малым; жилплощадь Билла Гейтса зависти у них не вызывает. Бытие определяет сознание. Наука, так же, как искусство, плохо воспринимается полуголодным или замерзающим человеком.

Но теперь, когда он получил то, во что они не верили, всё переменится. Голод? Холод? Комфорт? Эти понятия выветрятся из языка, превратятся в невидимую пыль, как древние камни.

Голод — ничто, холод — ничто, и арктический, и космический холод — пустяки. Смерть? И она в новом мире — ничто. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

О смерти зашла речь на юбилее Максима Алексеевича. Труповоза. Из институтских сотрудников один доктор звал начальника службы безопасности по имени-отчеству; все прочие звали его коротко: труповозом. Максим Алексеевич не обижался, и сам себя звал труповозом, а институтскую «ГАЗель»-термос — труповозкой. Сидя на диване, отпивая понемножку, плоток за плотком, из гранёного стаканчика водку — пил её как прохладительный напиток, и умел выпить такое количество, что его питье и восторгало, и пугало Владимира Анатольевича (труповоз напоминал ему бунинского Захара Воробьёва), — Максим Алексеевич стал говорить о смерти так спокойно и так увлекательно, как говорят о ней либо глубоко верующие, ожидающие воскресения и вечной загробной жизни, либо пьяные, которым так хорошо сию минуту, что совершенно безразлично завтрашнее утро, а то и весь остаток жизни, и они прямо готовы, кажется, умереть от приступа недолгого пьяного счастья.

«Я умру, — сказал Максим Алексеевич, — и ничего на планете не изменится. Да что — на планете? Завелась же дурная привычка мыслить глобально! Я умру, и в этом городе ничего не изменится. Всё будет течь дальше так же, как текло и до моей смерти. Никто и не вспомнит обо мне. Я сказал: город?... Нет, я опять беру слишком широко. Всё равно что карась судил бы о своей роли в Туре. Я умру, и на улице Второй Луговой всё останется без изменений».

«К чему вы клоните, Максим Алексеевич?» — спросила Люба.

Труповоз допил водку из стакана, лаборант подлил ему из графина.

«Спасибо, Никита. Я умру, и в нашем замечательном институте промышленной очистки воздухе всё тоже останется по-прежнему. Владимир Анатольевич будет продолжать опыты, получать очередную версию газа, вы, Любовь Михайловна, будете браковать эту версию, Валера будет ворчать из-за устаревших компьютеров, Света и Никита будут любить друг друга, а я буду лежать на кладбище, поблизости от тех, кого свёз туда на труповозке, — и кто-то другой поселится в моей квартире и будет делать ровно то же, что делал все эти годы я. Будет называться начальником службы безопасности и пополнять холодильник свежими девочками и мальчиками, и опустошать холодильник от несвежих девочек и мальчиков. Вы спрашиваете, куда я клоню, Любовь Михайловна?... Когда человек уходит, но с его уходом ничего не меняется, значит, он никому не мешал жить. Задумайтесь: жил и ушёл, и люди без него продолжают жить так же, как при нём, делают то же и так же. Будто и не было того человека. И это прекрасно! В этом — покой! В этом — тихая мирная жизнь, не отличающаяся от смерти. И я пью за жизнь, незаметно переходящую в смерть».

И он выпил до дна, принял от Светы солёный огурчик на вилочке, и стал кушать его, подставив ладонь под огурчик так, чтобы на стол не капало. Но на стол капало, капало — с ладони, на которую быстро натекла огуречная лужица...

Максим Алексеевич был единственным сотрудником «тридцать шестого», пожелавшим переехать с Таволгой из Москвы в 2000-м году. В подмосковном институте он замещал начальника службы безопасности.

Жена Максима Алексеевича умерла от инфаркта (за месяц до расформирования подмосковного института), сын-строитель имел квартиру в Москве, но большую часть жизни проводил за границей: в Анголе, Вьетнаме, в ОАЭ, на Кубе, — и Максим Алексеевич, чтобы не тревожить сердце вещами жены, продал всё, кроме фотоальбомов в бархате и пожелтевших писем, и переехал вслед за Таволгой в Тюмень. «Я привык с вами работать, Владимир Анатольевич. Вы простите меня, я не очень-то верю, что у вас что-то выйдёт, но ваше упорство мне по душе. Я знаю, что ваша жена называет ваше упорство *упрямством*, чуть ли не ослиным, однако мне кажется, что у всех упорных (или упрямых) есть один шанс на миллион просто благодаря этому упрямству, то есть упорству (не понимаю разницы). Даже самая нелепая, ошибочная гипотеза в упрямой голове может превратиться в научное открытие. Я не учёный. Вообще-то я просто хочу уехать. Продать дом и уехать. В Тюмень ли, в Антарктиду, улететь на Марс — всё едино. Тоскливо мне, Владимир Анатольевич. Я очень любил мою жену, а теперь её нет. И сын — строит какой-то комплекс в Афганистане. Контракт на три года подписал. А вы рядом будете напоминать мне о том, что в моей жизни будто бы всё идёт неизменно. Будто бы моя жена тоже где-то поблизости. Ушла закатывать банки с компотами или корнишонами. Или в лес ушла за опятами. Знаете, я пригожусь вам и по хозяйству. У меня ведь там будет время заниматься огородом, правда?» — «Спасибо, Максим Алексеевич. Знаете, мне бы тоже неплохо переехать. Сменить обстановку. И использовать тот одинокий шанс на миллион, что вы мне даёте». — «Вам спасибо, Владимир Анатольевич». — «Вот не уверен только, что чиновники из Миннауки дадут мне службу безопасности. Какая тут безопасность, коли нас поселяют в ветхий дом...» — «Дадут, Владимир Анатольевич. Впишут её в штат не задумываясь. Проект всё же секретный». — «Вы правы, Максим Алексеевич. Вы лучше меня разбираетесь в этом вопросе». — «Я хорошо разбираюсь в огурцах, помидорах и голландской картошке, и не очень хорошо в вопросах безопасности». — Он улыбнулся, и Владимир Анатольевич пожал ему руку.

И Максим Алексеевич был назначен начальником службы безопасности новоиспечённого Сибирского института промышленной очистки воздуха. Будущий труповоз продал в Дмитрове свой частный дом, на деньги эти купил под Тюменью, у Андреевского озера, дачу в четыре сотки с хорошим кирпичным домиком, теплицей и бревенчатой банькой, завёз туда торфа и стал выращивать там свои любимые французские корнишоны, тёмно-красные помидоры «сахарный гигант» и розовую голландскую картошку. Первый же её урожай в сентябре он привёз в институт и распределил между всеми сотрудниками.

«Коммунизм предлагаете строить?» — Это Никита спросил у Максима Алексеевича.

«Предлагаю? Строить? — удивился Максим Алексеевич. — Этот дом — уже коммуна».

«Секретная коммуна, изолированная от вредных внешних влияний, — заметил Никита. — Всё в точности по утопическим сценариям».

Доктор решил вставить в разговор своё слово:

«С одной разницей, Никита, — сказал он, — автаркия наша условна и прозрачна. Никакого «железного занавеса» здесь нет. Ты можешь не выезжать в город, но никто тебе этого не запрещает».

«У нас самая крепкая коммуна на свете, — сказал Максим Алексеевич. — Она устоит и под внешними вредными влияниями. Чем они вреднее, тем мы закалённее».

«А это интересная мысль, Максим Алексеевич, — сказал доктор. — Об этом не думали утописты и коммунисты с их тяготением к изоляционизму, не думали, потому как не

осознавали — или совсем, или отчасти — существо закона единства и борьбы противоположностей».

«Вот-вот, Владимир Анатольевич. И я говорю, что одному всю картошку не съесть».

В двухэтажном доме на Луговой Владимир Анатольевич занял последнюю, четвёртую квартиру, на втором этаже, а Максим Алексеевич — квартиру N2 на первом, под квартирой доктора, считая, что начальник службы безопасности должен жить у входа и близко к подвалу.

Доктор скоро понял: он без Максима Алексеевича как без рук.

Как только Даниил Кимович из Миннауки уехал, строительство лабораторий в подвале оказалось под угрозой. Если б не Максим Алексеевич!.. Добился бы Владимир Анатольевич того, чего он добился, без начальника службы безопасности, сказать сложно. Иногда Таволге казалось, что такие начальники службы безопасности, как Максим Алексеевич, достойны быть соавторами научных открытий и изобретений.

«Что пригорюнились, Владимир Анатольевич? Дурит нас с вами прораб. Но вы не печальтесь. Таких дурных спектаклей я много видел».

Прораб уверял Владимира Анатольевича, что в строительную смету заложено недостаточно четырёхсотого портландцемента, а Владимир Анатольевич не знал, что ему делать: Даниил Кимович, который вёл расчёты и составлял смету, был в отпуске и отдыхал на каких-то островах. А выкладки прораба (тот вооружился листами бумаги, воткнул карандаш за ухо и предлагал доктору Таволге *самому пересчитать*) казались Владимиру Анатольевичу убедительными. «Эти перегородки надо? Тут стену надо? А заливка пола?... Ну, а как же вы тогда хотите?..» Но начальник службы безопасности нашёл такие доводы для прораба, которые показались тому куда более убедительными, чем его собственные.

«Шестьдесят мешков портландцемента, а заодно и арматура, — сказал прорабу Максим Алексеевич, — были погружены ночью на две «Газели» и увезены на склад номер семнадцать на Барабинской. Откуда их сегодня вечером собирается забрать некий господин Халилов, держащий несколько бригад таджиков, промышленности тем, что они по недоразумению называют строительством. И вот если уважаемый прораб, — ласково продолжал начальник службы безопасности, а он, Владимир Анатольевич, его слушал, — не привезёт цемент обратно, то он, Максим Алексеевич Цыбко, человек мягкий и душевный, и терпеливый, но иногда ни с того ни с чего превращающийся в свою жестокую и непримиримую противоположность, сделает так, что прокурор выпишет и прорабу, и его приятелю г-ну Халилову года по два, а то и по четыре, а если копнёт в прошлых делишках Халилова, то и по десять. — И Максим Алексеевич стал рассказывать прорабу о тех делишках, что могли бы заинтересовать прокурора и явиться основанием для ареста. — Так-то, господин прораб. Лучше быть товарищем, чем господином, запомни это. А ты думал, я тебе морду бить буду? И приготовился отправиться на Республики, десять, а затем жалобу в отделение писать? Уясни себе одно: я не просто начальник службы безопасности, я хороший начальник службы безопасности».

И некий Халилов через прораба тем же вечером вернул украденный цемент, а к цементу приложил три бутылки коньяка и упаковку сигар. И просил передать, что вышло недоразумение, что прораб перепутал: он, Халилов, просил его купить, сделать всё по-человечески, ведь у него, Халилова, деньги есть, много денег, он не из тех, что будет красть какой-то цемент, а глупый прораб его не понял, и сделал так, как привык делать. И было забавно слышать, как прораб наговаривает сам на себя. «Театр — это для тех, кто не знает

жизни», — любил повторять Максим Алексеевич.

Следил Цыбко и за рабочими. За бригадой, что перестраивала подвал, переделывала его под лабораторные исследования. «Ты что же, сволочь, песок с песком мешаешь? Тебе товарищ Халилов для чего цемент привёз?... Ты допуск по форме номер два получил? Подписку о невыезде дал? Ты, дорогой друг, учреждение с уровнем секретности строишь. Хочешь, чтобы стена рухнула — и чтобы тебя разыскали и испортили тебе настоящее и будущее? Родина тебя пока любит, но от любви до ненависти один шаг».

И в какую-то неделю начальник службы безопасности устроил в институте то, что у череды российских президентов получило название «наведения порядка». И за всё время не достал ни разу из подмышечной кобуры пистолет. В качестве первого и наиболее действенного Максим Алексеевич признавал инструмент внушения. Применение оружия или угрозу оружием, битьё лица и выкручиванье рук он считал дешёвыми приёмами, соответственно характеризующими тех, кто их с ходу применяет.

Для действенного же внушения — такого, за которым не требовалось бы ни битьё морд, ни вызов милиции, ни прокурор, ни применение оружия, такого внушения, за которым следовало бы достижение Максимом Алексеевичем его, то есть докторской, то есть институтской, цели, — нужны были веские аргументы, добывание которых и было самым интересным занятием в должности начальника службы безопасности (говорил Таволге Максим Алексеевич).

Начальник службы безопасности выполнял и роль завхоза. По смете нужно было закупить промышленные обогреватели, но предприниматели из «тепловых компаний» Тюмени будто бы сговорились. «Нет отечественных обогревателей, только импортные. Берите DeLonghi».

Владимир Анатольевич обзвонил или объехал десяток фирм, и везде получал предсказуемый ответ. «В одиннадцатую фирму поедем вместе», — сказал ему Максим Алексеевич. И начальник службы безопасности сделал так: войдя в магазин и попросив пригласить в зал заведующую или директора, сказал, что он прораб, а это вот его старший рабочий, они строят заказчику коттедж, и им нужны приличные отечественные трёхступенчатые обогреватели. На импортные заказчик жадничает, так что надо подобрать что-то расейское. «Поможете?» — «Нет проблем, — сказал директор. — У меня на складе стоят семь обогревателей «Луч СВТЦ». Неплохая техника. Оживление отечественного производства после кризиса». — «Прекрасно, — сказал Максим Алексеевич, — мы выпишем их все по безналу». — И доктор, «старший рабочий», подал директору бланк с институтскими банковскими реквизитами. Директор усмехнулся, но обогреватели выписал.

«Нет у них никакого сговора, лень им сговариваться, — объяснил доктору Максим Алексеевич. — Но когда они видят реквизиты госучреждения, стараются раскрутить клиента — как правило, какого-нибудь безразличного к чужим суммам чиновника, — на полную катушку. Иное дело — частный покупатель. Если с первым почти всегда получается — наша бедная научная смета тут редкое исключение, поэтому тепловые воротилы с нами промахнулись, — то второй может уйти к конкуренту, а уход почти то же, что чистый убыток. И ещё, Владимир Анатольевич. У вас слишком простое, открытое лицо. Лицо человека, склонного доверять людям; лицо человека, не умеющего обманывать и, следовательно, легко поддающегося на обман. Для торговых людей это словно знак или сигнал к обману».

Таволга говорил труповозу: спасибо, и тряс ему руку.

А потом у доктора появилась Люба.

Вообще-то до «потом» было довольно далеко. Шесть лет. Страшно подумать: ведь за те шесть лет он ничего не добился. А сколько же лет прошло с тех пор — вот до этого октябрьского дня? Выдержал бы он в лаборатории, скажи ему кто-нибудь, что на пентаксин уйдёт чуть не вся его жизнь? Лучше и не думать об этом. Это счастье — не знать будущего. Не то и вправду вместо обладания целью человеку будет достаточно потоптаться на дорожке к ней.

До Любы на должности вирусолога был Николай Павлович Сметкин. Он почти стёрся из памяти доктора. Сметкин был единственным сотрудником, что уволился из института. Продлил контракт только однажды, на вторые три года, отработал его, допуск его потерял силу, — и он уволился. Жил Сметкин в одной квартире с системным администратором и был, пожалуй, на пару с Валерой одним из самых незаметных людей в институте. Потому-то и забывался легко. (Что-то страшное и значительное было в сегодняшних словах труповоза о смерти).

А вот потом появилась и Люба. Потом — это в 2005-м году. Эту дату доктор хорошо помнил. И первую встречу с Любой помнит отлично — хотя какой-то прозаик в какой-то книге уверял, что первую встречу никто не помнит. Доктор помнил. Но не потому, что влюбился в Любу на этой же встрече. А потому, что в тот день выиграла в нём тяга к справедливости. И упрямство тоже выиграло.

Таволга отправился искать вирусолога в медицинскую академию. И нашёл. В вестибюле.

Там стояли двое. Один из них — толстый мужчина лет пятидесяти — говорил спокойно, а вторая — женщина лет тридцати семи плюс-минус, — возражала горячо, громко, и лицо её прямо переливалось от гнева. Доктор видел, что сумка её лежит на полу, и женщина стоит на ней одним каблуком, и руки её сжаты в кулаки. Вот-вот расквасит нос этому толстому! С неё можно было писать портрет ярости. Портрет революции. Худа, высока, глаза горят, кулаки малы, лицо обыкновенно, но от ненависти красиво. А её противник — полная её противоположность: толстяк среднего роста, с лицом, имеющим одновременно и добродушное, и непримиримое выражение. Такие лица бывают у заматерелых госчиновников и ректоров.

«Науке и учению вы предпочитаете взятки и поборы?» — говорила женщина.

«Помилуйте, к чему такая страсть? И нелогичность. Если обвиняете — так обвиняйте объективно. Вы ведь не первый день работаете. Я не предпочитаю что-то одно. Взятки. Ученье. Наука. Вот три кита высшего образования. Я принимаю их все, а не одного из них. Без двух китов черепаха академии не устоит».

«Гладко стелете, да жёстко спать. Забыли, Пётр Иванович, что учите не лодырей-менеджеров, не будущих чиновников, не экономистов или юристов, а врачей. Вы понимаете, в чём разница между этой профессией и любой другой?»

«Весь вопрос в том, что весь вопрос вы высасываете из пальца, Любовь Михайловна. Вы максималистка. Вам уж к сорока, а вы всё как пылкая девушка, которой, простите, недостаёт любовника».

«Так вы понимаете, в чём разница?»

«Ну неужели нет? Никто не заставляет вас идти на компромисс там, где компромисса быть не может. Но нельзя же быть буквоедкой. Короче говоря, я не продлю вам контракт на следующий учебный год. Если только Валиев и Обережный... не поправят свою

успеваемость».

«Вот пусть и поправят».

«В этом году они уже не подтянутся. Но в будущем обещают нагнать».

«Сколько они вам заплатили?»

«Что за вопрос, Любовь Михайловна? Эти вопросы обсуждаются у меня в кабинете, а не в вестибюле. Вы бы ещё в рупор это объявили. Хотя ни для кого это не новость. Не новость и то, что вы упрямо — не подберу другого слова — участвовать в прибылях сообщества отказываетесь».

«В прибылях! Вам бы финансистом быть, Пётр Иванович. Маркетологом! А вы в медики пошли».

«Медиком быть выгодно, Любовь Михайловна. На медицину всегда, как это говорят экономисты, неэластичный спрос. Сколько цену ни повышай и в какой сезон услуги ни предлагай, спрос всё найдётся. Некоторые компании берут себе девизы вроде «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье», но мы-то знаем, о чём идёт речь. И заботимся о нас и о наших доходах. Се ля ви».

«Контракта не будет, Пётр Иванович. Не вы его не продлите, а я его не подпишу».

«Думайте как вам угодно. Гордость и упрямство в одном флаконе. И концентрация, надо сказать, за пределами допустимых... Желаю вам удачи. Доктор биологических наук, такой умный и такой дисциплинированный и честный, как вы, работу непременно найдёт. Не мыть полы, так торговать в палатке».

И толстый, очень довольным лицом, поклонился женщине, и они развернулись, пошли в разные стороны. А Таволга заступил дорогу Любови Михайловне.

«В один научный институт требуется доктор биологических наук, — сказал он ей. — Умный, честный и дисциплинированный. Ваша характеристика впечатляет».

«Правда? — она остановилась. — Подслушали разговор и надеетесь меня утешить? Или мыть полы меня нанять? Нынче это модно — нанимать мыть полы докторов наук?»

Задев плечом Таволгу, он пошла к выходу.

«Утешитель, боюсь, из меня никудышный. Пойдите же минутку. Или да, давайте выйдем на улицу. Я директор небольшого исследовательского института. Ищу вирусолога. Ничего общего со взятками и взяточниками. И со студентами, успевающими и неуспевающими. Чистая наука. Федеральный проект. Но зарплата небольшая. Зато есть бесплатное жильё, если вам интересно. Без канализации, но с чудесным, знаете ли, двориком. И воздух чище, чем в центре города. А улица-то как называется: Луговая! Это вам не Ленина, Дзержинского или Менжинского. Правда, придётся сотрудников как-то в квартирах перераспределить...»

«Что за коммуналку с подселением вы мне предлагаете?»

«Вы сами всё увидите, Любовь Михайловна. Знаете, люди у нас замечательные. Всего несколько человек — весь штат».

«Вы нарочно пришли в медакадемию за мной? Только не врите. Как вас звать?»

«Владимир Анатольевич Таволга. — Он неловко, покраснев, кажется, сунул ей руку. — Врать я не умею, Любовь Михайловна. Я пришёл за вирусологом. Пришёл к ректору чтобы...»

«Ректор со мной и разговаривал».

«Теперь всё на виду».

«Все они рассуждают как экономисты. На виду — выгодно. Когда все знают об этом и

все видят, деньги текут рекой. На виду — это как реклама. Гораздо больше является желающих заплатить, чем если бы рекламы не было. Все вокруг свои. Чужих, Владимир Анатольевич, отчисляют. Или не продляют с ними контракт».

«Вам никогда не казалось, Любовь Михайловна, что надо смириться?»

«Нет. А чем вы занимаетесь? Что у вас за институт?»

«Не могу сказать, пока вы не получите допуск».

«Ах вот оно что».

Пока они шли по Одесской, выяснилось, что живёт Любовь Михайловна в общежитии со студентами, что прежде снимала однокомнатную квартиру, но из-за защиты докторской диссертации пришлось от аренды отказаться. На улице Республики они сели в маршрутку. В маршрутке — не успели они усесться, как водитель тронулся, — он наступил ей на туфлю. «Простите меня, медведя неуклюжего». — «Я прощаю шофёра, Владимир Анатольевич. Не туфли, надеюсь, у вас в институте можно заработать». — «Я сплету вам лапти, Любовь Михайловна». — «Лучше уж стачайте сапоги. Граф Толстой не брезговал сапожным ремеслом». — «Вы читаете Толстого?» — «Только когда надоедает «Дом-3». Или «Камеди-клуб».

Владимир Анатольевич уж не помнил, о чём он думал, когда Любовь Михайловна осматривала двухэтажный дом на Второй луговой и подвал-институт. Нет, помнил: он шёл то впереди неё, показывая свой кабинет в подвале, лаборатории, «зверинец» (холодильник не показал, а только сказал, что там, за дверью, холодильная комната), то позади, и думал, что сделает всё, чтобы она осталась. Чтобы она стала работать тут. Он уже тосковал, думая, что она не останется, что уйдёт сейчас, сядет на маршрутное такси или автобус, и уедет. И он больше никогда её не увидит. Упрямую и гордую.

«Ладно, — сказала она. — Я привезу вам завтра дипломы и трудовую. Покажите-ка ваш контракт».

И доктор помнил, как широко, должно быть, по-детски, счастливо, улыбнулся. И продолжал улыбаться — потому что и она улыбнулась.

«Но где же она будет жить? Как же это устроить?» — думал Владимир Анатольевич, провожая Любовь Михайловну до остановки.

Пока оформлялся её допуск, наступило лето. Как-то в пятницу Максим Алексеевич сказал доктору: «Допуск на Дворникович пришёл. И я тут вот что подумал. Переберусь-ка я не лето на дачу. А Любовь Михайловна пусть поживёт в моей квартире. У меня дом что надо. Печка отличная. Озеро. Если надо, могу и осенью на даче ночевать. И зимой. Ездить буду на «Газели». — «И что же вы за начальник службы безопасности?» — сказал доктор. — «Я ждал от вас этих слов. Ну, какая такая безопасность? Разве что хулиганы пьяные денег потребуют. Да у нас с вами и денег-то нет. О нас давно забыли. Все *играют*, Владимир Анатольевич». — «Как это?» — «И о нашем институте думают, что мы тут играем в научную игру. Бесполезную. В игру, нужную для того, чтобы правительство могло сказать: вот, мы поддерживаем научные разработки. Тут один философ по телевизору объяснял, что нынешний мир будто бы фикция. Какая-то постмодернистская. Что всё теперь ненастоящее. Эти самые... симулякры». — «Симулякры — это в правительстве, а не здесь, Максим Алексеевич, — сказал доктор. — Решим так. Пусть Любовь Михайловна живёт в моей квартире. А я посплю в подвале. У меня же там кабинет». — «Вы там отсыреете, Владимир Анатольевич. Вы и так без выходных в подвале. А теперь ещё и спать будете. Получите букет из остеохондроза с ревматизмом. Руки-ноги-поясница отнимутся. Я как начальник службы

безопасности против того, что директор секретного института подвергал угрозе своё здоровье. Ну почему вы сопротивляетесь?» — «Из ослиного упрямства, Максим Алексеевич».

И Любовь Михайловна поселилась в его квартире. Среди томов Чехова, справочников по органической химии и среди тех предметов, которые не вместились в подвальный кабинет да и не нужны были там.

Неделей спустя Любовь Михайловна постучалась в его кабинет. Поздним вечером. Ну не так и поздним... Доктор уже развернул матрац, но всё сидел за столом. Думал не о науке. Думал о жизни. О своей жизни. О том, что нет у него никакой жизни. И о том, что у него может быть жизнь.

Он бросился открывать.

«Послушайте, Владимир Анатольевич, — сказала она, войдя. — Возвращайтесь в свою квартиру».

Он попятился к креслу. Нет, нет, она не должна уйти. Да она не может: у неё контракт на три года. Да не в контракте дело. *Она не может.*

«А что же вы? — сказал он. — Хотите уйти? Не нравятся условия? Или я чем-то не угодил? Нелады с нашими?»

«Нравится решительно всё и нравятся решительно все. И особенно вы».

«Особенно я?»

Значит, она скажет ему то, что он боялся сказать ей. Хотел — но всё откладывал. Не желал выглядеть смешным. Да и очень уж мало они были знакомы. И кто он такой? Человек из подвала. Ничего в жизни не добившийся. Директор института, который Максим Алексеевич справедливо называет «симулякром».

«Почему бы нам не пожить друг с другом, Владимир Анатольевич? Не попробовать? Люди любят тех, кто рядом, а не вымышленных принцев и незнакомок. Мы во многом похожи. Детьми я вас не обременю: я не могу их иметь. Я не замужем. Я не красавица, но и не уродка. И я не хочу, чтобы вы жили в подвале. Из эгоистических соображений. Я не могу заснуть, думая, что вы обрекли себя на жизнь в подвальной комнате. Можете считать, что меня мучит совесть. Вы, кажется, давно разведены».

«Это вас тру... Максим Алексеевич подучил?» — спросил он только для того, чтобы не молчать.

«Нет. Не говорите того, чего не собирались говорить, Владимир Анатольевич. Просто молчите».

«Да, — согласился он и помолчал немного. — Что же мне делать?»

«Принимать моё предложение. Оно всё ещё в силе».

Он помнил, как в тот вечер закрыл кабинет, как снова открыл его, взял свой матрац и попросил подержать матрац Любовь Михайловну, и она чему-то смеялась, кажется, тому, зачем же держать матрац, надо скатать его, потом она скатала и держала матрац, а он закрыл кабинет, запер подвал, взял у неё матрац и пошёл за нею наверх. В квартиру, к которой привык, в которой стоял его книжный шкаф, а в нём собрание Чехова. В квартиру, с которой ему было жаль расставаться, в которой накопилось его прошлое. В которой он просыпался утром и говорил себе: «Вот сегодня или завтра. Вот ещё чуть-чуть надо проверить и подправить»; квартиру, в которой шли месяцы, годы, а ему всё казалось, будто он лишь вчера приехал из Подмосковья.

Фотография Клары и девочек на стене — её было видно от входа — показалась ему

выцветшей. Она и была выцветшей. Даже рамка её выгорела. И, стоя на пороге комнате возле *Любы*, впервые Владимир Анатольевич подумал, что это чужая фотография. Осталась тут, на стене, от кого-то, кто прежде тут жил. От умершего старичка.

Он прошёл в комнату, снял фотографию, положил её на стол.

«Не нужно было», — сказала Любовь Михайловна.

«Нужно».

Комната переменялась. Нет, Любовь Михайловна не переклеила обои, не заменила старый стол, не купила новые занавески. Или покрывало на диван. Но всё как-то блестело. Казалось новым. И у печи стояла новенькая оцинкованная ванна, полная воды. Из ванны поднимался пар.

«Ванна для вас, Владимир Анатольевич. Я уже помылась, а потом нагрела воды ещё. Печь здесь хорошая. Если стесняетесь, я отвернусь. Или выйду прогуляться. А то потру вам спинку. Ототру вас от подвальной плесени».

«Нет там плесени, Любовь Михайловна, вы же знаете».

«Нет, — согласилась она. — Но мне кажется, что вам нужно что-то говорить, а не то вы убежите со своим матрасом обратно в подвал».

«Из одного только упрямства не побегу», — сказал он.

Стоя у ванны, доктор думал вовсе не о том, что ему стыдно будет раздеваться — а он собирался раздеться догола и залезть в ванну и попросить её потереть ему спинку. Да её и просить не надо: сама предложила. Нет, не о том. А о том, что жизнь его непременно переменится. Вот от *Любы*. Начиная с этого дня. Пентаксин? Он добьётся здесь своего. Будет у него пентаксин. Он по-прежнему полон сил и упорства.

Ему не верят? В нём сомневаются? Что ж, это лишь сделает его упрямее! Он упрямый осёл?... О да! Просто в последние годы он позабыл об этом. А не надо забывать! Владимир Анатольевич уже давно, давно чувствовал, что его переселение в подвал сотрудники восприняли как последний шаг в тот научный и жизненный тупик, куда, по их тайному или явному мнению, доктор-директор шёл многие годы. И вот *Люба* спустилась за ним в подвал и вывела на свет.

Они легли спать вместе. А наутро уже не понимали, как могли обходиться друг без друга. Месяц или два спустя им казалось, что они влюблены с самого детства. И через год, и два, и три они не надоели друг другу. Они никогда не вспоминали, как были счастливы *в тот год* или *в тот месяц*. Доктор вычитал у одного тюменского писателя: у счастливых (или у влюблённых?) людей нет прошлого, у них одно настоящее. И это счастливое настоящее полностью вытесняет и подавляет собою прошлое. «Прежде чем так написать, — сказала *Люба*, — это *настоящее* надо пережить». — «Вот мы с тобой его переживаем», — ответил он.

Они работали — и доктор признавался *Любе*, что утратил веру и в себя, и в газ, и живёт уже большей частью по инерции, и работает уже из-за одного упрямства, из-за того, которое многие сотрудники *Дмитрова-36* и его бывшая жена считали «ослиным». «Я знаю, куда нам двигаться с пентаксином. Я шёл в неверном направлении. Я добавлял, а надо было отнимать. Молекула разрушается вот здесь и здесь, и атомарное прибавление ничего не даёт. Это словно пытаться построить баррикаду повыше и потолще против ядерной ракеты. Я закоснел в своих исследованиях. Я стал вариться в собственному соку. Заплесневел? Вот именно. Ты дала мне энергию. Ты направила меня в другую сторону — от неудачи к открытию. Теперь у меня нет сомнений. Я чувствую себя на двадцать лет моложе. Некоторые верят в то, что

женщина губит мужчину, лишает его творческих сил. И в пример приводят Пушкина. Люди слишком много обобщают, выводя от нескольких глупых примеров целые теории. Слишком мало анализа и чересчур много синтеза, вот в чём беда двадцать первого века. Да, надо отнимать. Смотри». — И он рассказывал Любе о том, как предполагает перестроить формулу пентаксина. Она кивала и говорила, как будет вести себя вирус в новой оболочке, и он начинал возражать, и она приводила контраргументы. Из любовников и друзей они превращались в учёных. Но в единомышленников ли?

Было, было у них маленькое недоразумение.

В самом начале. Когда она получила допуск и подписала контракт.

Люба не спрашивала, зачем нужен пентаксин. Дополнительная защитная оболочка для вируса, что тут непонятного. Органическая. Но вот зачем — пентавирус?... Доктор уже и сам стал забывать, с какой целью создавал пентавирус. Нет, цель, конечно, ясна — цель учёного: создать, открыть, исследовать, получать, делать пробы, — а там, у Миннауки, у правительства, у военных, начинается *своя* цель. Не его. Цель не открытия, но применения. Тотальная война? Вселенская катастрофа? Конец человечества? Новая, невиданная доселе диктатура? Нет, всё не то. Они не сумеют. Он не думал, что тотальная война при удачном завершении разработок осуществима. Хотя многое, многое должно произойти... Но нет, не война. Да и не хотелось ему на эту тему думать. Таволгу, упрямо идущего к своей цели, занимал газ. Ничего более. Он столько лет занимался пентаксином — что он создаст его. Не имеет значения, что дальше последует. Во всяком случае, у него, у создателя, будет время подумать, что последует. Газ, если он только создаст его, будет у первого у него. А не у военного или научного ведомства.

Люба спросила, зачем нужен пентавирус, могущий переменить структуру биологического объекта со структурой человеческой ДНК настолько, что в итоге получится биологический носитель вируса с совершенно иными свойствами. Словно и не человек уже. «До подписания контракта ты не мог мне сказать. Теперь — можешь».

Он слышал в её вопросе любопытство. И желание правды. И ещё какое-то желание, не мог понять, какое. Может быть, желание полной открытости между ними. Желание того, чтобы между ними не было *административного*.

«Я скажу тебе, Люба. Я создал вирус в девяносто втором. Зачем? Я думал о бессмертии. Мой отец умер, когда я был мальчишкой. И я думал, чтобы в мире не было боли. Я хотел, чтобы люди стали лучше. Ты думаешь о биологической войне? О том, что страна пойдёт на страну, континент на континент? Что заваруху начнёт тот, у кого будет новый вирус? Это вряд ли. Если создать оболочку и выпустить вирус на волю, мир переменится. Война станет делом прошлых веков и тысячелетий».

«Это твоя мечта, Володя. Но тебе дали целый институт. И тут у тебя есть подвал. Тебя, по-моему, не списали ещё в металлолом. А это значит, что кое-кто рассчитывает на кое-что».

«Они там, в Москве, рассчитывают. Хотя, скорее, обо мне забыли. Тебя интересует их цель?... Изволь: она называется «Укрепление стратегических оборонных позиций России в современном мире». Формулировка 1993-го года. С тех пор не менялась».

«То есть ты сидишь тут тихонечко, в подвале на Луговой, и подготавливаешь конец света?»

«И ты подготавливаешь. — Он улыбнулся, но почувствовал, что улыбка у него выходит жалкая. — Не принимай ты это так близко к сердцу. Рабочей версии пентаксина нет. И

предпосылок тотальной войны я тоже не вижу. Если джинн будет выпущен из бутылки — в мире не останется тех, кто смог бы руководить войной. Все, волей-неволей, отправятся за джинном. Ты же вирусолог».

Она вздохнула. Он помнил её лицо того дня: оно было похоже на лицо из медакадемии. На лицо, стоявшее перед лицом толстяка-ректора.

«Кто-то может подумать, что ты обыкновенный злой гений. Книжный тип вроде инженера Гарина. Но ты учёный. Тебя занимает наука, и заботит результат твоей жизни, но не то, что выйдет за результатом».

«Газ начал разрабатываться в военных целях. Институт и курировали военные, Миннауки было только прикрытием. В начале девяностых я, разочаровавшись в КПСС, верил во всю эту демократическую чепуху: возрождение России, подлинное народовластие, выборы, свободу и во всеобщее благополучие. Ничего удивительного: после перестройки хотелось чего-то яркого, хотелось полных магазинов, хотелось, наконец, тех перемен, в которые все уже устали *верить*... Странно, но мне казалось: мой пентаксин, мой пентавирус созвучны идее возрождаемой России.

А между тем мне просто повезло попасть со своей идеей в закрытый городок и поздороваться за руку с Ельциным. Моё тогдашнее благополучие — от собственного института, большой квартиры в Москве и до жены-завхоза, я обобщал до благополучия страны. Со временем я перестал думать, о цели тех, кто финансировал институт. В моём мозгу осталась голая идея. Меня мучило то, что я не могу получить работоспособную версию газа... Ты же учёный, ты, Люба, можешь это понять. А когда меня прогнали в Сибирь, я желал только победы. Я вообще перестал думать о том, как и кем будет использоваться открытие. А потом я стал уставать. И чувствовать вокруг себя недоверие. Никита, Света, Максим Алексеевич... Он не учёный, но и он не верил. Он не верил ещё со времён Дмитрова-36. Да, Люба, меня заботил *результат моей жизни*. У меня осталось одно желание: доказать. Доказать *им всем*».

«Не всему ли миру, Володя?»

«Признаюсь: я думал и это. Какой же учёный не думает обо всём мире? Но учёный, находящийся перед тобой, не думает и, в общем, никогда конкретно не думал об *укреплении стратегических оборонных позиций*. Было одно только созвучие, настроение, не больше... Во всяком случае, отдать открытие миру взяточников, «оборонных стратегов» и недалёковидных чиновников мне не кажется подходящим. Прежде чем отдать, мы с тобою крепко подумаем».

«Ты думаешь о том, — сказала она тихо, — что нельзя позволить *недалёковидным*, желающим сделать свою жизнь лучше, сделать мир хуже? И о том, что единственный вариант *применения* — этот тот, при котором *весь мир* делается лучше, и недалёковидные, хотя бы они того или нет, становятся его частью?»

«В биологическом плане мир людей несомненно станет лучше. Нет болезней, нет смерти, не страшен холод, ветер, зной, снег, дождь. Склонность вируса к быстрой мутации вызовет быструю эволюцию. Не могу сказать, что не хочу этого».

«Но в социальном плане? Необходимость *адекватной* биологической пищи для перестроившихся носителей пентавируса? Или ты находишь это побочным эффектом?»

«Теоретически плазме новых людей будет нужна энергия. Её поступление гарантирует *адекватная* пища. По меньшей мере, на первом этапе новой жизни. Дальше возможен эволюционный скачок. Мутация после длительной спячки, вызванной отсутствием пищи. И

затем — перемена пищи».

«То есть мутируют лишь те, кто, попросту говоря, отведаёт человечины?»

«Да, Люба. Отведаёт — для того, чтобы никогда не отведывать больше».

«Как у Александра Грина. Это у него, кажется, персонаж говорит: я убью (украду, солгу) один раз, чтобы иметь возможность в дальнейшем оставаться честным».

«Предпочитаю первоисточник: человек, решившись разбогатеть любыми путями, спешит покончить гнусное дело, чтобы стать затем честным человеком до конца своей жизни. Бальзак».

«Значит, будущее в твоём представлении — за людоедами».

Он пожал плечами: «Будущее уже было за кроманьонцами».

«Ты представляешь нынешних людей настолько скверными, что твои идеалистические людоеды выглядят как чистильщики гнили. Что-то вроде кристально честных чекистов».

«Люба, я умоляю тебя, не будем ссориться. В вопросах морали я придерживаюсь того мнения, что вопросов морали не существует. И это не страшно звучит. Страшно то, что мир населён ханжами, взывающими к несуществующим богам и лгунами о добре, красоте, любви, «не убий» и президенте-батюшке».

«То, о чём ты говоришь, и есть мораль. Твоё понимание нравственности. Вот почему мне не хочется с тобой ссориться. Ссорятся глупцы; мы умны, и попробуем понять друг друга. Тебе нравится мир чистых, не лгущих, открытых людей, тебе нравится мир фанатиков науки. Ты любишь себя, доктор Таволга. И ты хочешь отплатить миру за то, что он не понимает и не любит тебя. Не перебивай. Это только один взгляд на тебя — взгляд примитивный. Тот, который господствовал бы на планете, сделай и примени ты своё открытие. А вот второй взгляд; можешь считать его моим. Ты идеалист с самыми высокими помыслами и со здоровой примесью научного материализма. Ты понимаешь, что нельзя переделать человека молитвой, выдуманнными богами с их противоречивыми скрижалями, фашизмом, анархией или социализмом-коммунизмом, и ты берёшься переделать его наукой. И не просто переделать, подправить, а создать совершенно новое существо — с фантастическими возможностями, вплоть до бессмертия, но поведением существенно отличающееся от предыдущего человеческого вида. (Как звучит-то: предыдущего!..) И твоё отличие от идеалистов всех времён и народов в том, что ты не утверждаешь неизменного социального идеала, а, напротив, утверждаешь, что он будет подвержен эволюции. Мало того, что социальной, так в начале и биологической».

«Вот об этом только я и думаю, Люба».

«Платон тоже хотел, чтобы его миром правили мудрецы-философы. И у него не вышло».

«Я не утверждал, что новым миром будет кто-то править».

«Ну как же. Первые новые люди, вкушившие к тому же пищи прежде и, возможно, больше следующих, опередят следующих в эволюции».

«Тут пока нельзя ничего предсказать, Люба».

«Представляю себе, как я ем ректора медакадемии», — сказала она.

Это была единственная шутка её в том разговоре.

А он испугался. Он постарался улыбнуться, засмеяться шутке, но смех его вышел дрожащим.

Он боялся не того, чтобы Люба откажется участвовать в проекте, но что она не станет любить его. Что из-за ханжеской морали, которую он со школы ненавидел, а потом стал попросту холодно принимать как факт, Люба станет относиться к нему вначале отчуждённо,

а потом безразлично. И они будут жить в этой квартире как чужие люди, вынужденные по контракту делать одну работу. И они продолжают спать в одной кровати и делать в кровати любовь, потому что привыкли её делать. И у них будет двойная христианская *любовь к врагу*.

Она потянула его за рукав. Он вздрогнул. «Пойдём в постель, — сказала она. — Мне хочется любить моего злого гения. Злые гении и все эти их проекты здорово возбуждают. Кстати, твоё пентачеловечество лишено будет возможности размножаться. И познавать любовные утехы».

«Размножаться люди не будут, но отпадёт и угроза перенаселения — и не станет повода для этой невыносимой болтовни о «золотом миллиарде». А любовные утехы... Люба, будь постель твоим главным занятием в жизни, ты не пошла бы в науку».

Он замолчал, а она продолжила: «Я пошла бы в проститутки. Или в содержанки к буржуа-извращенцу».

«Потеря не ощущается там, где не известно, что потеряно. И я думаю, у новых людей будет такая дружба, что и не снилась нынешним».

«И мы с тобой пойдём исследовать новый мир, взявшись за руки. Научная мысль тут ни при чём, ты просто веришь в это. Во *взявшись за руки*. Ты идеалистически принимаешь это. И ты говоришь, что вопросов морали для тебя не существует? Ты прав. Вопросов старой морали для тебя нет. Ты столь высок в идеализме, что мечтаешь о морали новой. А пока давай-ка займёмся тем, чем заниматься в новом мире нам не придётся».

«Ты и вправду хочешь в новый мир?» — спросил он, снимая рубашку.

«Глупыш. У нас и газа-то нет».

Ложась с нею в постель, он подумал: она, пожалуй, и не хочет, чтобы газ был. Чтобы они создавали его ещё 10, 20, 30 лет, до самой смерти, и жили бы здесь, и любили бы друг друга, и умерли бы в один день. По Грину.

А зимой ей поставили диагноз. Неоперабельный рак печени. 3-й стадии. Жаловалась ему: слабость, там болит, тут болит, ноги немеют; это всё климакс. Я буду ныть, ты терпи. И он терпел. Он терпел и свою боль: иногда Максим Алексеевич выводил его, скрюченного от остеохондроза, из подвала. Когда бывали у него приступы, без помощи труповоза или Никиты он не мог подняться на второй этаж. Он спал на матрасе, положив ноги на стул (точнее, их брала и клала на стул Люба), поверх стула одеяло, под шею — валиком свёрнутое полотенце, — и в месяц, в два боль в пояснице полностью проходила. Потом он снова доводил себя до этой боли... Но то — остеохондроз. С которым можно жить. И даже хвастать тем, что ты, будто индийский йог, можешь спать на стуле.

А у неё был рак печени. От химиоэмболизации она отказалась. Ездил в Свердловск. Он с ней ездил. Отказалась наотрез. «Всё равно умру. Не надо продлять мои мучения».

«Как ты не заметила? — Владимиру Анатольевичу было так плохо — хуже, чем ей, наверное, — что он стал винить её. И тут же сам говорил: — Чехов, врач, у себя туберкулёз прозевал...»

«Ну, ты ещё помучь меня... Ты не объяснишь мне, мой друг, почему мне не хочется умирать?»

Они обнимались. И оба плакали.

И на юбилее она — при словах Максима Алексеевича о смерти — сжимала своими тонкими пальцами его руку, сознавая, что скоро умрёт — но уже зная, что последний опыт с шестичасовым газом прошёл успешно. Только она одна и знала. И она знала, что, кроме него и неё, это никому не известно. «Ты не умрёшь, Люба, — шепнул он ей, — ты никогда не

умрёшь».

Люба не спала с ним с зимы. После того, как ей поставили диагноз («Приговорили», — сказала она), она больше не грела ему воду для сидячей ванны и, ложась спать на диван, отворачивалась к стене: «Мне больно лежать на правом боку». А он спал теперь всегда на матрасе: «Мне лучше спать на матрасе. Не то остеохондроз меня доконает. Принести тебе что-нибудь? Хочешь, я почитаю тебе?»

«Это несправедливо, — ревела она, — и я не могу быть мужественной... Я же женщина. Несправедливо... Я была здорова, когда не любила никого, и я больна, когда люблю... Послушай, Володя, объясни мне: зачем жить, если всё равно умрёшь? Умрёшь раньше, чем предполагаешь. Умрёшь раньше, чем налюбишься. Лучше уж не любить никогда. Лучше уж не рождаться».

«Мы не умрём, Люба», — говорил он, но сам себе не верил. И знал, что она знала, что он сам себе не верил. И здесь было и то, другое, моральное: «Я не хочу никого жрать!» Но и оно было у неё неустойчиво, переменчиво до противоположности: «Я бы, кажется, что угодно сделала, только бы так же жить с тобой. Разве я много хочу? Съесть ректора? Я готова выесть всю медицинскую академию. Без остатка. Всех доцентов и всех студентов. Болезней в новом мире не будет. И первых надо съесть тех, кто на болезнях делал денежки. Денег ведь тоже не будет, да, мой бог?»

«Не будет».

«Ничего, ничего у тебя не получится!.. Нужны часы, а у тебя — секунды!»

«У нас будет вечность».

Он говорил — и не верил.

С весны он работал словно лаборант. Работал механически, почти бездумно перебирал варианты. Пробовал, менял формулу, двигался то назад, то вперёд, то окольными путями. Уже не делал ночных записей на бумажках. А только составлял с вечера планы: завтра перебрать двадцать пять вариантов версии номер шестьдесят семь; закончить сегодня с версией номер шестьдесят восемь; составить стартовую формулу версии номер шестьдесят девять... Он начинал ранним утром, в шесть, семь часов, и работал до поздней ночи. А то сидел в подвале и ночами. С лета его стала мучить бессонница. Он забывал обедать. Люба худела — и тощал он. Казалось, он заразился от неё раком печени. Иногда Максим Алексеевич вылавливал Владимира Анатольевича, тащил к себе в квартиру — и заставлял поесть супу. И выпить нормально заваренного чая. Или чашку молока. Максим Алексеевич и Любу прикармливал.

За лето и сентябрь Владимир Анатольевич сменил две версии пентаксина, и от шестьдесят седьмой добрался до шестьдесят девятой. Версия N67 ни к чёрту не годилась, а вот шестьдесят девятая дала подвижку вначале от 55 активных секунд к 60, а в последнем варианте — к девяноста. Полторы минуты! Такого обнадеживающего результата доктор не знал за всю историю работы над газом. И всё же — распад газа и инактивация вируса до начала абсорбции.

Люба сказала: «Это ещё хуже, чем если бы ты ничего не добился. Жалкие секунды!.. Они только дразнят тебя. Зачем ты мучаешься в лаборатории? Давай я уйду от тебя. Сгину. Ты ещё не так стар, чтобы не найти другую... бабу».

«Я пойду в подвал. Максим принесёт тебе бульон».

«Вот возьму и выйду замуж за труповоза».

И доктор не мог угадать, какое её настроение ждёт его вечером.

Где-то к августу она остановилась на двух настроениях. Первое было полно веры в бессмертное будущее, в счастье в новом мире: «Хочу с тобой, мой милый. Когда уже ты сделаешь свой газ?» Но тут она переходила к злости: газа-то не было. Второй её настрой был изначально ожесточённым — она злилась на свою же слабость, выказанную, например, вчера: «Эй ты, конструктор живых мертвецов! Лучше уж подохнуть от рака, чем всю жизнь отдать проклятому вирусу!»

Она то проклинала Владимира Анатольевича, готовящего смерть всему человечеству, конец света, то боготворила его и собиралась уйти с ним в «новый дивный мир», чтобы доказать величие подлинно человеческой породы, по-настоящему *сотворённой* породы: не той, что вышла из пещер, а той, что создана в лаборатории. Доктор уставал с ней — и успокаивался, забывался лишь в лаборатории или у себя в кабинете, за компьютером. Поднимаясь в квартиру, он не знал, в каком настроении будет Люба, — и иной раз подумывал о матрасе и ночёвке в кабинете. Или о том, чтобы провести вечерний опыт в лаборатории — и *при успехе* заночевать там же в скафандре, не снимая его 6 часов, потому что так полагалось по им же разработанной инструкции (в 1993 году). Но успеха не было. Минута, полторы минуты — было ничто. Теоретически пентаксиновая оболочка могла держаться шесть часов. И доктор не понимал, почему все эти годы пентаксин распадался в секунды, а за распадом оболочки погибал и вирус.

В начале октября, когда он — неожиданно, да, неожиданно для себя, он уже *перестал ждать* успеха, — получил тот вариант версии номер 69, который продержался шесть часов (в точном соответствии с гипотезой) и который он скрыл от Никиты, продолжая весь месяц менять варианты пентаксина-68 и подсовывать эти варианты лаборанту, но о котором тотчас рассказал Любе, — Люба, выбиравшая из двух своих настроений, прибавила к ним третье. Стала просить у него прощенья. Она очень исхудала к октябрю, глаза её стали жёлтыми, как у хищной кошки, на лице проступила сетка мелких красных сосудиков. Асцит. Она походила на алкоголичку. Она сняла зеркало в комнате и расчёсывалась без зеркала. Иногда он её расчёсывал — когда она выбирала настроение номер один. Или когда начинала просить прощения.

Впрочем, лучше бы она его не просила. Эта её *просьба* как бы сама собою переходила в осуждение. Она говорила: «Володя, я жестокая, я больная, прости меня, пожалуйста. Скоро я умру, и ты будешь жить спокойно. Я тебе надоела, я пью из тебя кровь. Я хуже людоедки. Я поняла твоё стремление переделать плохой мир. Ты хочешь избавить его от страданий — потому что не желаешь страдать сам. Ты устал страдать. Почему ты терпишь меня? У меня есть государственная страховка, и ты мог бы сдать меня в клинику. Я невыносима, но ты ещё больше невыносим со своим терпением».

Он прямо ответил ей на это — так прямо, что у самого мурашки побежали по шее и затылку: «Ты не умрёшь. Хочешь ты этого, или нет, но ты не умрёшь. И точка».

«Ты и впрямь диктатор, — сказала она. — Злой гений. У тебя не точка, а восклицательный знак».

«Снова мораль? Опять злые и добрые? Скажи мне: кто взвесит зло и добро, что произойдёт от пентаксина? Есть ли объективные весы для взвешивания? И кто в состоянии предсказать, какая чаша на этих весах перевесит? И возможно ли существование того, что мы оцениваем как добро, без зла? Ты подаёшь милостыню попрошайке, и думаешь, что делаешь добро? А он обманывает тебя, он трудоспособен, но желает жить на дармовщинку, — и ты стимулируешь своим подаянием социальное зло, паразитизм. Ты

Брежнев, и в семьдесят девятом ты посылаешь войска в Афганистан, оказываешь «братскую помощь» афганцам. Это, может, и добро, — но «груз 200» не что иное, как зло, тысячи смертей, вселенский вой горюющих матерей и отцов. А вот более мелкий пример из нашей научной жизни. Тебя выгоняют из подмосковного секретного института, тебя называют упрямым ослом, тебя бросает жена, две дочери тоже не желают более любить тебя, и правительство отправляет тебя в двухэтажный сарай в Сибири, — и это зло. Зло для отправленного в сарай, и зло и для науки. Но приглядимся — зло ли это? И не оборачивается ли оно самым настоящим добром для «сосланного», когда он, *назло* сославшим», даёт клятву во что бы то ни стало сделать открытие — и спустя годы делает его? Закон единства и борьбы противоположностей — вот единственная мораль, материалистически объясняющая любовь к врагам, — и вот единственное средство анализа того, как уживаются добро и зло и почему у медали должны быть непременно две стороны».

«Отстань от меня со своими медалями. Ты хочешь жить, и ты будешь жить, и тебе будет хорошо: ты станешь знаменитым, сделаешься каким-нибудь лауреатом, вновь получишь квартиру в Москве (и медали получишь) — и вернёшься к старой жене. Хотя нет, конечно, ты найдёшь помоложе. Вокруг тебя — на «Мерседесе» и с деньгами — будет вертеться множество финтифлюшек с ногами по полтора метра».

«В новом мире ты не будешь помнить о том, что говорила мне прежде. Поэтому тебе незачем просить прощения. В новом мире не нужны будут «Мерседесы» и финтифлюшки. В новом мире вообще...»

«Ты говоришь о новом мире из жалости ко мне. Ты полжизни сгубил ради своего газа — и вместо денег, славы и финтифлюшек хочешь превратиться в безгласного монстра, пожирающего мужчин, женщин и детей? Ради чего? Ради сомнительной эволюции? Ради того, чтобы вечно бродить по Земле? Или ради меня?»

«Хочешь честный ответ? Не ради тебя. А потому что давно задумал распорядиться пентаксином так, как считаю нужным. Но и ради тебя — тоже».

«Ох уж эти мне непрошенные благодетели!»

День за днём он стал смутно понимать, куда она ведёт. Она скажет ему в конце (когда Максим Алексеевич привезёт наконец трупы, и он проведёт опыты): «Я устала. Я смирюсь с тем, что произойдёт. У меня нет выбора. Ты сделаешь то, что сделаешь, буду я против, или не буду».

Доктор считал, что протест и раздражение больной Любы были проявлением скрытого согласия с его «злым» решением. Мораль её бунтовала, но боль и диагноз — а равно и сильное женское любопытство, а заодно и учёное любопытство: какой учёный не желает очутиться в новом мире? — вкуче пересиливали её попытки разъединить добро и зло, отделить одно от другого, с тем, чтобы выбрать и остаться «чистенькой». Подсознательно, думал Владимир Анатольевич, Люба уже согласилась; осталось дожидаться перехода её пассивного согласия в активное, выраженное прямыми словами. Доктор очень хотел бы, чтобы она приняла его решение без оговорок — и чтобы на пороге новой жизни они были бы вместе, и уже без тени сомнений. Вот тогда-то он и ощутит тот праздник, о котором мечтал многие, многие годы.

Кроме Любы и него, никто не знал о новой модификации газа. Никто не спрашивал, а рассказывать доктор не торопился. Собственно, никто и не верил в успех доктора. И это неверие, и эта его репутация «упрямого осла» были ему только на руку. Ему надо дожидаться трупов из морга, а уж там он поймёт, как надо действовать. Опыт с шестичасовым газом

соединит его теорию с практикой. И вот тогда-то доктор получит право сказать: «Всё. Я сделал это».

Шесть часов! Секунда в секунду, как в теории. И доктор проводил больше времени в кабинете, за компьютером, перечитывая свои старые записки, в которых научные гипотезы чередовались с мечтами о будущем — очень наивными, как казалось теперь Владимиру Анатольевичу, — чем в лаборатории. А лаборант Никита всё анализировал пробы пентаксина-68, не замечая, что формулы полугодовой давности повторяются, а Светлана всё кормила рыбок и морских свинок в «зверинце», надышавшихся устарелого шестьдесят восьмого газа. Всё шло по-прежнему, и только он и Люба знали, что надвигается новый мир.

С шестичасовой версией газа утверждение нового мира окажется необратимым, как бы ни «боролись» за жалкое старое человеческое существование некоторые *куски мяса*.

С этой иронической мыслью («злой», по определению ханжеской морали, которую, думал Владимир Анатольевич, обыкновенно проповедуют те, кто считает других быдлом, недоумками и скотами, и только и делает, что паразитирует на быдле, недоумках и скоте — пожирает их почти в прямом смысле) доктору было легче переносить Любино переменчивое настроение и выслушивать фантазии с вариациями, в которых он со временем научился участвовать. Например, в фантазиях о его любовных похождениях.

Не то с весны, не то с лета — доктор, погружённый в свои исследования, и не заметил, когда это началось, — Люба стала ревнива. Прежде чем она добралась в своей ревности до женских трупов из холодильника, она объявила объектом докторского вожделения Светлану.

Все женщины знают, что их на планете меньше, чем мужчин, и потому охота за самцами — первейшее дело каждой самки, цель жизни, пробуждаемая в ней инстинктами, говорила Люба. *Профессия — биолог, призвание — женщина*. И уж женщина, продолжала Люба, оказавшаяся единственной среди мужчин (она, Люба, уже не в счёт), своего не упустит. Просто не может быть, чтобы Светка не переспала с директором! «Она, наверное, и в подвал к тебе спускалась. То-то тебя тянет на ночь там остаться. Смотри, вот она дождётся, когда ты сделаешь открытие, и прикарманит всю идею себе. Такие тихо ждут, тихо ласкают, — а потом цап когтями и хватъ зубами, и горло перегрызут. И никакой чудесный газ не спасёт».

«А тебе не приходит в голову, что я не соврал бы тебе о Светке?»

«А кто тебя знает, — выкрутилась Люба, — ты на одни темы не врешь, а другие у тебя из одной лжи построены».

«Да не делю я темы...»

«Конечно. Ты не темы делишь, а меня со Светкой».

В другой раз фантазия Любы о Светлане выглядела иначе. В психологическом и реалистическом плане — убедительней.

«Одна молодая женщина среди мужчин. Понятно, что все они будут хотеть её. И понятно, что она будет избалована их вниманием. Ты работаешь и живёшь тут с 2000-го года. Ты хочешь сказать, ты ни с кем не спал эти годы? Меня ты встретил в 2005-м. Ты что, хранил верность бывшей жене? Я не поверю, что Светка не забегала к тебе и к труповозу, когда Никита работал или был в городе, и не жалела тебя. Светка такая добрая, такая отзывчивая, с таким печальным, немного пьяным лицом... Такие девушки, как она, любят и жалеют мужчин. Всех без разбору».

Но доктор уже научился участвовать в фантазиях Любы: «А ты не задумывалась, почему, за исключением Светки — да, с печальным, кстати, лицом, — в институте сложился

мужской коллектив? Ведь до тебя тут работал товарищ Сметкин. Мужчина в самом расцвете сил. Сметкин любил труповоза, а Максим Алексеевич любил меня. Обыкновенный голубой коллектив. Так бывает у мужчин: в науке ли, в армии ли, в балете ли. И инженеры-конструкторы за своими кульманами, знаешь ли, прячутся и сходятся... Вот почему Сметкин уволился: не вынес треугольника. А любовь с Максимом Алексеевичем у нас давняя. Недаром он из Москвы за мною поехал. Ты вдумайся: бросил работу в Москве, продал дом, и поехал в сибирскую ссылку. Вот у Светки и печальное лицо. Хотела любить всех мужчин, а достался один Никита».

«Вот же дрянь! — говорила Люба и улыбалась. — Слышала бы тебя Светка... с печальным лицом!»

На юбилее Светлана много, слишком много пила, — и то сидела с Никитой, то, напахивая на Владимира Анатольевича перегаром, перегибалась через стол и целовалась в щёчки с юбиляром, а то усаживалась в уголке комнаты, у окна, пошире открывала форточку, и курила, глядя на институтское общество. И на него с Любой тоже поглядывала. Погасив окурок в пепельнице на подоконнике, она возвращалась к Никите. У того, замечал доктор, было грустное, немного тревожное лицо. Такое, будто Светлана и впрямь решила озаботиться новым мужчиной в жизни, а мужа-лаборанта оставить прозябать в никчёмном институте. Светлана была красива, и Владимиру Анатольевичу иногда думалось, что у неё с Никитой — товарищем довольно легкомысленным, целеустремлённости которого не хватило даже на окончание университета, — нет ничего общего, кроме работы в институте и сожительства в одной комнате. Не институт бы, не квартира, — они бы никогда не оказались вместе. Может быть, это положение и гнетёт и Никиту, и Светлану, — как гнетёт и многих людей в этом несчастливом мире, людей, неразрешимо и невыносимо зависимых от квартирного и рабочего вопроса?

Глядя на Светлану и Никиту, Владимир Анатольевич думал: «В любви они счастливы, а в жизни — нет». И то ему казалось, что они будут жить долго и счастливо — о да, назло, вопреки этому миру, не дающемуся им, ограничивающему их мирком комнаты, мирком провинциального города, — то он представлял, как они разбегутся, вернее, как Света уйдёт от Никиты в поисках лучшей доли — как и полагается *человеку приспособляющемуся*, особенно красивой женщине, у которой шансы на лучшую долю зависят не от одних научных способностей и образованности, — а Никита останется один в комнате, и Светлана подберёт биологиню себе на замену и сама же приведёт её в комнату Никиты. И с нужной долей шуток и нужной долей истины скажет ей, озорно и в то же время печально глядя на Никиту: «У нас тут, милая, шторок, перегородок и раскладушек не предусмотрено. Мы, знаешь ли, тут запросто. Как европейцы в бане. Нет женских дней и нет мужских. Мы же не дети, в конце концов. Никита, если она тебе не понравится, я другую приведу. Вообще-то я старалась найти похожую на меня. Как она тебе?» — «А у меня почему никто не спрашивает?» — возмутилась бы новенькая. — «А не нравится — не ешь, — спокойно ответит ей Света. — Видишь, мне тут разонравилось, и я ухожу. Может, найду себе когонибудь на белом «БМВ», а может, стану плакать по ночам и прибегу обратно к Никите, упаду ему в ножки волосатые, стану каяться в грехах и просить выгнать новенькую, — и жить так же, как прежде, так же счастливо в любви и несчастливо во всём прочем. Будто есть это прочее, Никита!..»

Доктор не придумал этот разговор. Разговор о «новенькой» он подслушал однажды на лестнице — когда Светлана и вправду собрала чемоданы и решила уйти от мужа. Дальше

площадки не ушла. Доктор подозревал, что с чемоданами затевалось не раз, но Света так и не ушла от Никиты, рационально предпочтя плохую жизнь с любовью плохой жизни без любви. Или нерационально: предпочтя плохую жизнь с любовью хорошей жизни без любви. Или крайне глупо: предпочтя плохую жизнь с любовью хорошей жизни с любовью. Но чемоданы потому и разбираются, что человеку с чемоданом есть что терять, *кроме цепей*.

В институтском подвале Светлана следила за «зверинцем» (два десятка клеток с крысами, морскими свинками и кроликами). Также в её ведении находились аквариумы. Каждая новая модификация пентаксина проверялась на животных и рыбках. Целью биологических опытов было вовсе не изучение влияния газа на морских свинок и «гупёшек», а установление того факта, что никакого влияния пентавирус на животных и рыб не оказывает. Так он в самом начале объяснил ей, добавив, что она должна бить тревогу, коли влияние будет установлено. «И всё?» — спросила она у него. — «Всё, — сказал он. — Не считая того, что если влияние будет установлено, вы можете умереть. И убить по неосторожности всех нас. Поэтому не пренебрегайте мерами защиты. И проверяйте почаще герметичность скафандра. Заправляйте своевременно баллоны». В сущности, опыты, которые Владимир Анатольевич поручил Светлане, были формальными: газовая оболочка пентавируса быстро распадалась, и вирус, оказывая он действие на животных и рыб, всё равно не успевал бы действие это оказать. Светлане, словно провинившемуся бурсаку, приходилось заполнять журнал однообразными записями об отрицательных результатах анализов. С тем же успехом журнал биологических анализов мог быть пуст. Светлана переносила клетки и аквариум в лабораторию, надевала скафандр, включала дозатор контейнера, давала газу выход — и никакого влияния не обнаруживала, потому что его, влияния, и не могло быть. Его не могло быть и при шестичасовом пентаксине. Пентавирус действовал на человека, и абсорбировался лишь на клетках-мишенях человеческого организма; для всех прочих организмов он был безвреден, не распознавая их клетки. «Новое гуманное оружие», — услышал он однажды от начальника службы безопасности в Москве. — «Вообще-то речь о смерти гуманоидов», — ответил ему доктор.

Пентавирус не модифицировался, но следовало проверять, не даёт ли непредусмотренных эффектов пентаксин, взаимодействуя с пентавирусом. Словом, скучная была у Светланы работа. Да и у него, у Таволги, не лучше. Ну, а какая работа была бы нескучной? Делать по два-три открытия в квартал, по разнарядке?

Светлану привёл в институт Никита, числившийся в институте старшим лаборантом. (Должности младшего лаборанта или просто лаборанта в штате установлено не было. Владимир Анатольевич посмеялся над методами работы московских чиновников: кто-то, должно быть, взял штатное расписание Дмитрова-36 и вычеркнул должности низового уровня. Таким образом, в сибирском институте все были начальниками: от директора и главного вирусолога до старшего биолога, начальника службы безопасности и старшего лаборанта. Исключение составлял только системный администратор Валера, не бывший ни старшим, ни главным и, может быть, потому бывший самым незаметным работником института, всё ворчавшим о том, что «у вас тут до сих пор «Windows 98», — и этим «у вас», а также своими частыми подработками «на стороне» отделявший себя от научных сотрудников). Как и Светлана, Никита выполнял все эти годы довольно однообразную работу, которая давно бы отвратила от института любого любознательного учёного, не будь он таким легкомысленным, как Никита Дурново — всегда, как казалось доктору, больше думавшем о своей Свете, нежели об исследованиях. Задачей старшего лаборанта было брать

пробы воздуха в герметизированной лаборатории и писать отчёты о распаде пентаксина. Никита, как думал доктор, машинально выполнял то, чему научил его Таволга, и похоже, вовсе не интересовался пентавирусом. Недоучившийся студент знал о необходимом теоретическом периоде действия пентаксина разве что то, что исследования направлены на достижение установленного *упрямым доктором* шестичасового периода распада газа, из-за чего в целях безопасности в лаборатории нельзя было снимать скафандр шесть часов, по истечении которых в воздухе не должно было остаться ничего, кроме воздуха: молекулы пентаксина должны были полностью распасться. (В лаборатории можно было бы использовать и современный противогаз, обеспечивающий герметичность маски на лице и защиту от газов на продолжительное время, — но скафандр защищал надежнее, а также, будучи мягким (исключая наспинную пластину под баллоны), защищал и от *возможных царапин и укусов*, о чём ни Никита, ни его Светлана не знали. Допуск по первой форме был только у Владимира Анатольевича, Максима Алексеевича и Любы; всем прочим полагалась вторая форма.

Шесть часов! И от пентаксина — а, следовательно, и от вируса, — не остаётся и следа. Обыкновенный воздух, ничего более. Так оно было теоретически, и так оно должно было сложиться и практически. Отчёты лаборанта отличались от однообразных записок Светы тем, что Никите приходилось выводить всё новые формулы: ведь состав анализируемого газа менялся. Равнодушие Никиты к исследованию вполне устраивало Владимира Анатольевича — особенно в октябре, когда он добился тех шести часов, о которых впервые подумал в далёком девяносто третьем году: когда ваучеры народом уже были распроданы и пропиты, но когда ещё не был Ельциным расстрелян парламент.

Последняя версия газа, N68, сто сорок шестой модификации, продержалась 1,5 минуты. До шестичасового предела было, казалось, далеко... Лаборант, бравший пробы воздуха по инструкции в первую и вторую минуту после выхода газа и далее каждые полчаса до истечения ровно шести часов, ничего заподозрить не мог. В самом деле: кого может удивить продвижение учёного в опыте от 45 секунд к 55 секундам или от 1 минуты к 1 с половиной? Это то же, что поражаться очередной олимпийской победе: когда бегун побил прежний рекорд и опередил предыдущего олимпийца на 0,000001 секунды. И Владимир Анатольевич с третьего октября, когда он *вдруг* получил нужный состав газа, стал подсовывать лаборанту контейнеры с устаревшими вариантами пентаксиновых версий, присваивая им фальшивые номера. То-то поразился бы Никита, дай ему доктор новый пентаксин, распадавшийся в точности с гипотезой от 93-го года, то есть в течение как раз шести часов! А то-то бы удивился, вытаращил бы глаза, когда б увидел, как бывший труп на хирургическом столе оживает и пытается подняться — чтобы откусить доктору руку или тяпнуть зубками щёку!..

Впервые сегодня утром труп открыл глаза и попытался Владимира Анатольевича сожрать.

Трупы в институт поставлялись из морга (Максимом Алексеевичем) — по федеральному соглашению с грифом «ДСП», которое с большим трудом выбил Таволга всё в том же злосчастном 2000-м году. Сколько трупов он пристёгивал в лаборатории на столе в надежде, что вирус всё же успеет прижиться!.. Он кричал на них: «Открывайте глаза, мертвецы! Живите!» Но нет. Не получалось. И Владимир Анатольевич чувствовал себя как школьник, подросток, мучающийся над задачей по химии. Но в школе он не мучился с химией! Редко у кого химия бывает любимым предметом, но вот у него, у Володи Таволги, любимым предметом она была. Он любил химию, и неорганическую, и органическую, — и

она, как ему казалось, отвечала ему взаимностью. Лица бородатых химиков из учебников, казалось, подмигивали ему — и прочили блестящую научную карьеру. И вот он состарился, поседел — и кричит на мертвецов в своей подвальной лаборатории: «Открывайте глаза!» А они, сволочи мёртвые, не открывают. Химия больше не любит его, хотя он не изменял ей. Разве что немного с биологией...

Секунды! Минута! Полторы минуты!.. Лучше бы был ноль, думал он. Таволга бы понял, что идёт в неверном направлении. Но полторы минуты говорили о том, что он на верном пути, только верный этот путь разветвляется на миллион мелких дорожек, 999.999 из которых ведут в тупички и лишь одна — к долгожданному финалу. Как выйти на эту дорожку, как узнать её?... Доктор пробовал один вариант за другим, наполнял контейнеры версиями газа 59, 61, 65, 68, их бесчисленными модификациями... Хватит ли жизни на то, чтобы наткнуться на нужную версию? «Тут у меня не наука, — шептал он, — а какая-то лотерея... Нет, неточно; не лотерея, а попытки открыть замочный шифр, имеющий миллион комбинаций».

И вот сегодня утром всё переменялось. Труп открыл глаза. Женский труп. Труп девочки 23-х лет. Большегрудое белое тело, к которому ревновала Люба и по поводу которого она (на юбилее) высказала Максиму Алексеевичу, что это он, промышляющий трупами некрофил, соблазняет её Володю женской мертвечиной. Но Владимир Анатольевич думал сейчас не о ревности Любы. А о том, что все показатели, все параметры его открытия полностью соответствовали тому, что он записал в первой «пентаксиновой» тетради ещё в 1993-м году. Распад молекул газа происходил через 360 минут; теоретический предел был достигнут. Владимир Анатольевич сам выполнил все анализы, которые полагалось бы делать лаборанту. (Никите нечего и знать о новой версии газа. И не положено — как сказал бы Максим Алексеевич. Тут, конечно, между «положено» и «не положено» была зыбкая очень граница, но доктору больше не было никакого дела до зыбкости границы и вообще до границы). Всё сходилось. И это было невероятно. После стольких лет неудач было трудно поверить, что открытие состоялось, что он, доктор Таволга, открыл замок с шифром. Девочка с большой грудью дёрнулась под ремнями и обручами — и попыталась сожрать его руку и лицо. И доктору было и страшно, и радостно, — и тот, кто никогда не ставил научных экспериментов, не проводил опытов, не высиживал годами, *десятилетиями* в лабораториях, не поймёт, что значит сделать открытие и почему «злых гениев» на свете не бывает. 69-я версия пентаксина оказалась той самой, что много лет, начиная с 1993-го года, искал Владимир Анатольевич.

Сидя на юбилее, доктор думал, что завтра утром не только жизнь институтских сотрудников, но и жизнь всех людей — на всей планете, — переменится. Переменится просто потому, что «упрямый осёл» из тюменского подвала закончил научную работу и добился результата, совпадавшего с гипотетическим в его старой тетрадке. «Каждый может изменить мир, — думал Таволга на юбилее, поглядывая то на сильно пьяного Никиту, то на его Светлану, у окна шепчущуюся с Максимом Алексеевичем, то на бесстрастно застывшую на стуле тонкую, как струганная досочка, Любу, о диагнозе которой все знали, — да, каждый может. Любой. Надо только посидеть в лаборатории, высидеть в ней своё открытие. Надо быть упрямым ослом. Надо пройти через неверие. Не могу поверить, что я сделал это!.. Тут так накурено и так воняет водочным перегаром, что мозг отказывается работать. Мне хочется моего праздника, а я на празднике чужом». Нехорошо так думать об юбилее Максима Алексеевича, — но что поделаешь, когда шестидесятилетие и открытие пришлись

на один день!.. И Владимир Анатольевич захотел уйти из квартиры труповоза, захотел пройтись по улицам, подышать воздухом — и подумать, что же будет дальше. Помечтать. Вспомнить о Кларе. О дочерях. О Москве. О нахальном Данииле Кимовиче, что приезжал сюда в командировку со сметой и учил его, доктора Таволгу, жизни. Владимир Анатольевич усмехнулся. Ни Москвы, ни Тюмени отныне не будет. И Миннауки не будет. Этих названий и сокращений никто и не вспомнит.

Прежде чем подняться и уйти, Владимир Анатольевич оглядел всех, собравшихся у юбиляра.

Было жаль — и не жаль — *расставаться* с ними.

С Максимом Алексеевичем. С человеком, с которым можно было поговорить, а чаще помолчать, сидя у него на кухне, глядя в чистое окошко и попивая чай, пахнувший то душицей, то подмаренником, то *таволгой*. С человеком, умеющим покупать отечественные обогреватели, умирять прорабов, получать извинения и коньяк от халиловых и выращивать красную голландскую картошку.

Владимир Анатольевич и Максим Алексеевич никогда не произносили слова «друг». Но сейчас доктор понимал: что бы ни было там, в новом мире, каким бы упоительным он ни казался доктору сейчас, какая бы новая дружба, вечная дружба, сквозь века и пространства, ни явилась бы там — а доктор не допускал, что дружба как таковая совершенно исчезнет (и идеализм тут ни при чём): ведь новые люди будут делать что-то совместно, сообща, будут, значит, сходиться, будут понимать, что действовать вместе удобнее и эффективнее, и будут, значит, ощущать друг друга — и хотеть быть друг с другом. Чувство — или понимание? Это будет не то чувство, что сейчас; скорее это будет именно понимание, чем чувство, — но доктор желал бы, чтобы это было высокое, большое, долгое понимание, — словом, и понимание, и чувство. Владимир Анатольевич не мог избавиться от постоянно напоминающей о себе двойственности: теоретически «обновлённые» не должны бы испытывать «человеческих» чувств (их гипоталамус перестроится: поведение новой особи будет формироваться под влиянием изменившейся среды организма), и это подходило доктору, поскольку все дрянные страстишки людей (подавляющая часть страстей — именно страсти дурные, «аффекты») искоренились бы, но тут же доктору хотелось, чтобы некоторые *не дрянные* чувства сохранились, пусть и в изменённом или совсем новом виде, о котором мало что можно предполагать. Дружба, любовь. Доктор признавал, что не всё так плохо в старом человеке. Вот, в Максиме Алексеевиче или в Любе... И тут же голос учёного вопиял в нём: «Куда больше полезного будет в человеке новом!» Полезного — да, но вот замечательно было бы, если бы в новом мире явились бы люди, согласные идти друг за другом из Москвы в Сибирь... Впрочем, зачем? В новом мире не будет этой жертвенной нужды: научные проекты новых людей никто не ограничит по времени, никому и в голову это не придёт — новые люди будут вечны.

Попросту говоря, доктору хотелось бы очнуться в новом мире не с одной Любой, но и с Максимом Алексеевичем Цыбко, «труповозом», начальником службы безопасности, жившим не по должностной инструкции (в должностных инструкциях чиновники любой формации, что советские, что демократические, глупо пытаются сознанием определить бытие), а по обстоятельствам и положениям. Максим Алексеевич не доставал свой пистолет из кобуры при каждом удобном и неудобном случае. Владимир Анатольевич не помнил, чтобы «труповоз» тянулся к кобуре. Максим Алексеевич не воображал, будто он лучше доктора наук Таволги и доктора наук Дворникевич разбирается в вопросах вирусологической

и химической безопасности при проводимых опытах и никогда не лез с указаниями. Цыбко контролировал оформление допусков на сотрудников, но не следил за соблюдением государственной тайны так мучительно, как делали это в Подмосковье: внезапные проверки, вторжение в лаборатории, построение сотрудников перед зданием института и целодневный, а то ночной обыск (было и понятие «суточного обыска») во всех помещениях, с досмотром компьютеров, вскрыванием полов и простукиванием стен. В Дмитрове-36 регулярно зачитывались дополнительные или обновившиеся секретные и служебные инструкции, а иногда глаза мозолило назойливое присутствие в кабинете дядьки с новеньким пустым портфелем. Не исключено, что и унижительные проверки и перепроверки подтолкнули Владимира Анатольевича к мысли не отдавать открытие в нечистые руки «особистов», военных, чиновников от науки и всех-всех, кто мог бы и стал бы использовать открытие в личных целях, именуемых «патриотическими», «законными», «государственными», «национальными», «оборонными» и какими угодно, благо подходящих прилагательных в русском языке немало.

Максим Алексеевич делал и всё то, чем обязан заниматься начальник службы безопасности секретного института, и всё то, что он делать обязан был вряд ли.

Он чинил проводку (в подвале проводку в коробах провели в 2000-м году, однако на двух этажах дома из стен торчали почерневшие провода времён Великого Продолжателя), ездил в магазин за удлинителями, тройниками, лампочками, устанавливал новые квартирные электросчётчики и вызывал из «Горэлектросети» электрика, чтобы счётчики опломбировать. Максим Алексеевич же следил за продлением страховых медицинских полисов всех сотрудников института. Он (ну, а кто бы ещё?) стал выполнять и те функции, за которые его в первый же год прозвали *труповозом*: получал в морге свежие, не старше 10 часов, трупы и доставлял на «Газели»-термосе в подвал. Именно он (а не Светлана, к примеру, женщина) предложил закупить в каждую институтскую квартиру стиральные машинки «Фея-2», и он же привёз машинки на «Газели». Наконец, это он, труповоз, исправно поставлял к столу «коммуны» голландскую картошку, сахарные помидоры и огурцы, которые умел солить с красным перчиком, укропом, чесночком и чабрецом так, что «коммуна» единогласно постановила: если в еврейском раю главный фрукт — инжир, то в раю сибирском главным будет овощ — корнишоны имени заслуженного труповоза России Максима Алексеича Цыбко.

Это он, *заслуженный труповоз России*, приучил жителей дома-института к огородничеству и садоводству. Глядя на дачные достижения Максима Алексеевича, огородничеством на институтском участке на следующий год занялась и Светлана, а позднее и Люба. «Сельхозобязанностями» Никиты стали вскапывание и перекапывание грядок, ношение воды из колонки в две ржавые бочки и кошение травы. Никита и Максим Алексеевич (а с ними и Владимир Анатольевич) в мае 2001-го перекопали две сотки имевшегося запущенного огорода и, из «кулацкой жадности», как сказал Никита, добавочно очистили под сад часть внутреннего дворика — от копившегося там десятилетиями хлама: от ржавых лопат, вил, грабель, гнилых заборных досок, помятых молочных фляг, заржавевших кованых гвоздей, обрывков колючей проволоки, от бутылок и стёкол. Во дворе посадили четыре яблони «белый налив» — по одной на каждую квартиру.

Когда Владимир Анатольевич думал о труповозе, ему казалось, что и все люди в стране такие же, как Максим, или как Люба, и ничего менять не надо, — и затея с газом всё испортит, всё погубит. «*Ох уж эти мне непрошенные благодетели!*» Доктора пробирала

дрожь, и по спине лился пот: он ещё ничего не сделал, и не поздно передумать. Но потом он думал о том, какие перспективы сулит обновлённому человечеству его открытие. Речь вовсе не об очередной идеалистической концепции, не о том, чтобы срубить «пятьсот-шестьсот», «тысячу» или «сто тысяч» голов, как мечтали Марат, Робеспьер и Белинский. Речь о новом этапе в эволюции человечества. И доктор вспоминал, как долго и с какими мученьями шёл к открытию, и какие люди — отнюдь не похожие на славного Максима Алексеевича — попадались ему на пути и коверкали его путь, — и картина переворачивалась в его мозгу, и он уже думал, что нельзя тянуть и что, собственно, нет и выхода: он либо передаёт открытие научному ведомству, а за ним и военному, либо использует его сам. Третьего не дано. *Всё равно кто-то применит.* Скрыть? Нет, скрыть то, что делал всю жизнь, доктор не сможет. Да и не скроешь: Никита, Света или труповоз (он всё же начальник службы безопасности) в ближайшие дни выяснят о новых достижениях и новых результатах Владимира Анатольевича, и Максим Алексеевич скажет ему: «Владимир Анатольевич, составляйте письмо, я запечатаю его и передам через спецсвязь». И если не пустит газ он, его создатель, то пустят его московские чиновники — ради испытания или ради конкретной военно-политической угрозы, например, Грузии, а то и Германии с Японией, кричащих об исторической справедливости и о том, кому по праву принадлежат Калининград (Кёнигсберг) и Курилы. И ещё Северная Корея начала претендовать на Сахалин, а КНР — на Алтайский край. И вдобавок бунтующее Забайкалье. Пустит пентаксин не он, учёный, а тупые чиновники, — и тогда преображение мира окрасится в цвета угрозы и войны. И вместо того чтобы погибнуть относительно тихо, уступив место новому, более сильному миру, старый мир умрёт тяжело, с шумом, кровью, искупавшись в океане слёз, — и в гибельном хаосе не удастся доктору Таволге найти своих сторонников и убедить людей в том, что их ждёт не смерть, но переход.

И старый мир достанется новым людям не в целостности и сохранности, а в осколках и обломках.

Нет, Таволга не допустит войны. Никаких переделов мира, изломов границ и новейших тиранов. Глупцам, помышляющим о войне и о власти, его газ не достанется. И потом, эти глупцы не в состоянии понять: пентавирус не даст им ни победы, ни власти.

Максим? Люба? Доктор непременно заберёт их всех с собой. Максима Алексеевича Любу, и Никиту со Светланой, и Валеру. Спросив их, не спросив... не надо о морали. Они будут первыми, кто войдёт в новый мир.

Предложи он Светлане и Никите переход в новый мир в числе первых — отказались бы они? Или согласились бы, с восторгом приняв те поистине фантастические перспективы, что обрисовались бы перед ними?

Согласились бы, подумав о том, как бледна и бедна, как формальна, однообразна, скучна их жизнь здесь, — и как бедна, однообразна и уныла жизнь многих, многих людей, не обязательно русских?

Отказались бы, потому что необходимость какое-то время *есть других людей* вызвала бы у них приступ морали, как у Любы, — и они бы со страхом и отвращением посмотрели на доктора, очевидно, к людоедству готового?

Согласились бы, потому что, будучи учёными, мыслили бы более рационально, нежели *сердцем*?

Отказались бы, иррационально воспротивившись новому миру — без разумных доводов, просто потому, например, что страшно и не хочется?

Согласились бы, радуясь тому, что станут первыми новыми людьми в новом мире — и что в создании нового мира есть и маленькая заслуга их, неумолимо работавших в «зверинце» и в лаборатории?

Или не согласились бы, но и не отказались бы, а попросили бы времени подумать — взвесить своё счастье-несчастье здесь и предполагаемое счастье-несчастье там, свою короткую жизнь тут — и бесконечную (не будем пока думать о насильственном их уничтожении) жизнь там? Без болезней и горя?

Да только времени подумать он им бы не дал. Хватит того, что об этом знает Люба.

Рассказать всем о том, что открытие совершено и что он раздаёт бесплатные билеты в новый мир, значило бы подвергнуть новый мир опасности. Кто знает, как всё повернётся, дай он тут всем время подумать. Максим может доложить в Москву, опасаясь тюрьмы и не очень-то веря в теорию доктора (друг — одно, а *помешавшийся* или сделавший что-то очень опасное учёный — уже иное), Никита и Светлана могут посоветоваться с родственниками, пренебрегая тайной, поскольку то, что собирается сделать доктор, выходит не только за рамки обыкновенной тайны, но и за рамки обычного представления о мире. Системный администратор и бабник Валера попросит разрешения взять в новый мир двух или трёх своих любовниц, чтобы ему не было одному скучно. Доктору не хотелось говорить и Любе — но ей он не мог не сказать. Хотя и да, жалел. Вот и перед юбилеем, когда он снял скафандр и поднялся в квартиру, был у них очередной *разговор*.

«Ты никому не скажешь?» — спросила она после того, как он вернулся из лаборатории. За полчаса до того, как надо было идти на юбилей.

«Кроме тебя».

«И ты считаешь, что вправе распоряжаться их жизнями? Да что их — жизнями всего человечества?»

«А разве человечество распоряжается своими жизнями? Разве не всегда кто-то другой распоряжается жизнями ближних? Так не лучше ли, чтобы на месте генерала, президента, премьер-министра, князька или олигарха оказался учёный? И, Люба, что значит: жизнями? Своими жизнями в новом мире они распорядятся сами. Я не собираюсь в диктаторы. Диктатура — понятие старой жизни. Кроме того, перейти из смертной жизни к бессмертной многим показалось бы заманчивым».

Люба вскинула полинявшие глаза: «Но ты не собираешься им об этом говорить».

Он подумал, что и его дочери — рано или поздно — окажутся жительницами нового мира. Лучше бы рано! Он припомнил слова Клары: *Они должны пожертвовать всем своим будущим ради идеи, о которой даже ничего не знают.*

«До выпуска газа в воздух нельзя говорить об этом, Люба. В мире настанет военный хаос. Полетят ракеты, посыплются с неба бомбы, — вместо голубой планеты в космосе будет кружить чёрная пыль».

«Как же ты скажешь... после?»

«Они узнают сами», — ответил доктор.

«Почему-то мне не хочется сегодня ссориться с тобой, — сказала Люба. — Возможно, я стала хуже. В моральном смысле. Вот-вот опущусь до того, что отправлюсь в лабораторию и потребую тебя пустить газ».

«Ты не опустишься, а поднимешься. Станешь на одну ступеньку ближе к новому миру».

«Иногда мне кажется, что тебе надо было стать не химиком, а политиком. Демагогом. Ты бы преуспел».

«Слишком много демагогов вокруг, — ответил он. — Пора их всех повывести».

«Ах, идеалист Володя... Демагогов обычно выводят другие демагоги».

«Новая порода людей в демагогии нуждаться не будет».

«Значит, ты твёрдо всё решил».

«Твёрдо».

И на юбилее она, больная, тонкая, вцепившись рукою в его руку, смотрела на тех же, на кого смотрел он: на всех институтских, как бы нарочно, перед явлением нового мира, собравшихся вместе. И она, как казалось доктору, смотрела на них так же, как он; так же, как тот, кто *стоит одной ногой в будущем*, должен бы смотреть на тех, кому ещё предстоит перешагнуть границу настоящего.

Он сказал ей, что пойдёт погулять, проветриться. Допил чай.

«Замкнутый коллектив, — думал, вставая с дивана, говоря «до завтра» и пожимая всем руки (пьяные очень любят рукопожатия), Владимир Анатольевич. — Более подходящего для секретной работы не найдёшь. Бездетные, разведённые и живущие друг с другом. Тайный авангард нового мира».

27 октября, воскресенье, 23:22. Владимир Анатольевич Таволга

Открыв дверь в подвал, доктор нашарил на стене двойной выключатель, нажал обе клавиши. В узком коридоре загудели два светильника с люминесцентными лампами. Лампы мерцали, давно пора было их заменить. Но это уже не имеет значения. Владимиру Анатольевичу было приятно это подумать: не имеет значения.

Доктор поёжился. В подвальном коридоре всегда было холодно. Обогреватели стояли только в отсеках лаборатории, комнате документальной обработки анализов, «зверинце» и его кабинете. Холодно? И это скоро не будет иметь значения.

В кабинете, где он тоже включил свет, было теплее, чем в коридоре. Работал трёхступенчатый складской масляный обогреватель. С поразительным названием: «Луч СВТЦ». «Луч света в тёмном царстве», — расшифровывал аббревиатуру Владимир Анатольевич.

— Я повторю опыт, — сказал доктор. — Второй труп ещё годится для эксперимента. Я проведу опыт, чтобы не сомневаться. Это во-первых. И чтобы быть занятым делом, а не мыслями и чувствами, — во-вторых. И чтобы не выходить из лаборатории всю ночь. Люба!.. Это в-третьих. — Он посмотрел на часы. — Нет ещё одиннадцати. Допустим, ближе к полуночи труп «обновится», а в полночь я «погашу» его. Через шесть часов, рано утром, пентаксин распадётся. Если опыт пройдёт успешно, я скажу об этом Любе. И скажу о своей готовности изменить мир. Я не стану ничего делать до тех пор, пока не поговорю с ней. Иногда мне кажется, что женщины, не те, что восседают на тронах и управляют корпорациями, а самые смиренные и тихие на вид домохозяйки и секретарши, давным-давно правят миром.

Доктор разделся, повесил пальто и кепку в шкаф, надел поверх пуловера халат, включил компьютер. Подождал, когда загрузится «Windows 98», запустил «Word 2000», нашёл в списке файл «Записки», ввёл пароль.

— И в-четвёртых, — сказал доктор Таволга. И замолчал. Ему не захотелось проговаривать это вслух: не потому, что кто-то мог услышать, а потому, что не хотелось слышать это самому. И он *подумал* это.

Он будет занят опытом — и будет избавлен от необходимости говорить с Любой до самого последнего момента. А там она окажется в безвыходном положении. Она *хочет* оказаться в безвыходном положении. Она хочет дать понять ему, что он лишает её выбора. Это не в четвёртых, это всё в-третьих. Тут у неё не обман, а древняя женская тактика. Следовать за мужчиной, делая вид, что следует за ним против своей воли. Тут инстинкт, который ни одна женщина не сочтёт эволюционным притворством.

А как было бы хорошо, согласись она на переход просто и без фокусов! Он представил: она не перечит ему, не спорит, тихо соглашается, гладит его руку, молча соглашаясь на то, чтобы он сделал то, что задумал сделать. Она добровольно переступает черту, в существовании которой — не без его влияния, и не без влияния болезни, — словно бы сомневается в последнее время. Черту, существования которой никогда не допускал Владимир Анатольевич, а ещё более не допускало большинство человечества, на эту черту-

границу игриво молящееся.

Он набрал в файле «Записки»: «Повторяю сегодняшний утренний опыт. Условия опыта — те же, что в предыдущем. Объект опыта, — доктор взял со стола «Журнал поставок опытного материала», открыл нужную страницу, — мужчина 49 лет, причина смерти: рак печени IV стадии, — доктор вздрогнул, вот ведь совпадение, словно мистическая подсказка, и возраст почти тот же, что у Любы. Надо ли говорить об этом Любе? Показать ей страницу журнала — молча? Нет, это лишнее, — родственников нет, мёртв с 04:20 часов утра 27 октября, т. е. с наступления смерти прошло 19 часов. Всё время с момента смерти труп находился в холодильной камере.

Возврат значительной части клеток мозга носителя пентавируса к ограниченному функционированию, по Таволге (1993), возможен в течение 32 часов. Инфицированный объект должен иметь температуру тела 22 градуса по Цельсию. При успешном формировании плазменных телец и уплотнении тканей организма предполагается полная работоспособность мышц носителя. Также считаю нужным указать, что благодаря частичному сохранению нейронных связей у объекта (при условии его дальнейшего продолжительного существования в социуме) может частично восстановиться память личности, начиная с механического уровня: он будет в состоянии воспроизвести основные движения и некоторые привычные профессиональные движения, начнёт узнавать предметы, лица, ориентироваться в пространстве и т. д. Между тем полноценное существование описанного объекта, претерпевшего смерть мозга, в новом социуме я нахожу проблематичным. Эволюция такого девиантного объекта сомнительна.

Физических повреждений у трупа нет, вскрытие — в соответствии с требованиями приложения к программе Института, разработанными мною в 1993 г. и уточнёнными в 2000 г., не проводилось. В случае положительного результата (начала абсорбции, воспроизводства пентавирусов и получения ими контроля над организмом), как и в предыдущем опыте, труп будет лишён мною жизненных признаков путём повреждения мозга через глазные отверстия. Спустя 360 минут после повреждения мозга произойдёт полный распад пентаксина в воздухе лаборатории и распад пентаксиновых облаков, поступивших от опытного носителя пентавируса».

Холодный научный стиль. Обезличивающий автора. Придающий автору вместе с отстранённостью и как бы безразличием к собственной работе какой-то непоколебимой основательности, твёрдости, силы. В художественной литературе холодной объективностью был силён Чехов. Врач и атеист. Бесстрастное, едва не документальное чеховское письмо вызывало у Таволги такие сильные чувства, которых ни за что не вызовет самый слезливо-сопливый роман самой слезливо-сопливой писательницы на свете.

Владимир Анатольевич добавил в файл: «При полном совпадении результата этого опыта с результатами предыдущего соответствующую запись в файл заносить не предполагается».

«Да и что мне этот файл? Всё равно придётся его стереть».

Он закрыл файл, поднялся, осторожно, стараясь не тревожить поясницу, потянулся и вышел в коридор. Тут, казалось, стало ещё холоднее. Хотя для конца октября ночь была тёплой. А по прогнозу, завтра — ноль градусов. И мокрый снег, вспомнил Таволга. Он обрадовался завтрашнему мокрому снегу. «Снег, — напел он тихонько из старой «Машины времени», — город почти ослеп!..»

— Скоро мне не страшны будут ни холод, ни зной. Ни простуда, ни солнечный удар.

Владимир Анатольевич повернул холодную стальную ручку, а потом потянул её на себя. Из-за открывшейся двери хлынул белый пар. Пригнувшись, доктор вошёл в холодильную комнату. Из шести кушеток заняты были две: крайняя левая и крайняя правая. На правой, на простыне, лежал мужской труп. На левой... Владимир Анатольевич усмехнулся. Люба отказалась присутствовать на утреннем опыте: объектом была девушка 23 лет, умершая от паралича сердца. (Сейчас её труп был завернут в саван и стянут поверх него тремя ремнями. Дожидался понедельника и труповозки с маршрутом до кладбища. Но не будет ни труповозки, ни кладбища). «Будешь любоваться на неё, — сказала Люба, — целовать её? Трогать её третий размер? Делай себе невесту, тюменский доктор Франкенштейн!» Люба (до первого опыта она, понимал доктор, всё же не верила, что пентаксин и пентавирус сделают своё дело; он и сам-то едва верил) могла думать: она скоро умрёт, а его-то жизнь продолжится. И он с кем-то будет делить постель.

«Ты наймёшь новую вирусологиню, и она ляжет в твою постель. Отдельной-то квартиры здесь, дорогой мой, нет». И бесполезно было твердить Любе о новом мире или хотя бы о том, что на месте Любы не обязательно должна работать женщина. — «Нет, не обязательно, но ты-то возмёшь женщину!» — «Я возьму тебя в новый мир», — сказал Владимир Анатольевич.

А то, сказала Люба, как бы не слыша его, после удачи с вирусом и газом выдающийся русский учёный Таволга пойдёт в гору. «По-женски нелогично!» — возмутился Владимир Анатольевич. Столько раз он объяснил Любе, на какую гору он собирается взойти! И звал на эту гору и её. Что ж, *трупная ревность* окажется добавочным доводом против шаткой живой морали!

Доктор подошёл к кушетке справа. Оберегая поясницу, Владимир Анатольевич присел немного, обеими руками обхватил труп чуть выше талии — так, чтобы при снятии с кушетки ударились о бетонный пол его ноги, но не голова, — стащил труп с кушетки и протащил до двери. Тут он его бережно опустил. Открыл дверь, зафиксировал её в открытом положении, выволок труп в коридор. Опустил тело на пол, закрыл холодильник. Несмотря на холод, доктору стало теплее. Труп весил килограммов под шестьдесят. Наверное, будучи живым, это тело весило все восемьдесят. Люба тоже сильно похудела. Хотя самое страшное похудение у неё впереди. Нет, не будет никакого похудения!.. Всё это уже в прошлом, хочет она того или нет!.. Хочет!.. У лаборатории, споткнувшись о выгнувшийся и порвавшийся кусок линолеума и поспешно опустив труп, доктор отёр на лбу пот. «Линолеум до дыр сносился». На ум доктору пришёл лозунг брежневских времён: «Экономика должна быть экономной».

Владимир Анатольевич ввёл цифровой код на пульте и нажал клавишу «Принять». Стальная дверь ушла в стену. Доктор втащил труп в первый лабораторный отсек, протащил мимо стола лаборанта и усадил у стены.

— Посиди-ка, дружок. Приятно иметь дело с трупами. Вы такие смирные, такие предсказуемые. Вы не спорите, не пьёте водку и не сквернословите. И никаких у вас аффектов. В живом мире *слишком много живого!*

«Человечество ещё скажет мне спасибо! Нет, вряд ли. Мне? Но кому нужно будет моё имя? Разве что обновлённые люди научатся читать и прочтут мои записки. Слава, признание, благодарность — пустяки, о них не стоит и думать. Вместо пустых чувств вроде щенячьей благодарности или желанья бить поклоны благодетелю новый холодный человек — о да, и духовно, и физически холодный, — будет заниматься полезной деятельностью.

Будет выживать, учиться осваивать материальный мир, путешествовать по планете, наконец, отправится в космос. И он будет делать полезное двадцать четыре часа в сутки, и будет делать его вечно. Каких высот наука достигнет с новыми неутомимыми исследователями, нельзя и представить».

Доктор набрал код доступа на втором пульте, и внутренняя дверь плавно отъехала в сторону. Чувствуя, что он потеет, Таволга втащил труп во внутренний отсек, граничивший с его кабинетом, и подтащил к ножке хирургического стола. «Посиди, дружище». Включил свет. Поправил очки. Руки немного дрожали. «Стар я стал. Старость — не радость? В новом мире старости не будет».

Таволга немало прочёл философов-идеалистов (в начале девяностых многие из них, начиная с Соловьёва и оканчивая господами с философского парохода, стали популярны, и было интересно), но идеалистической философии не придерживался. Ему были чужды такие смутные воспеватели «красоты», как Владимир Соловьёв, или такие оголтелые, вполне языческие забияки, как Иван Ильин, с его «очищением молитвой» после боя и ортодоксальной ненавистью ко Льву Толстому. Доктор не верил в идеалы, по которым раз навсегда предлагалось переделать неустроенный мир (особенно в те не верил, где предлагалось экспроприировать, воевать, наталкивать в ГУЛАГ, убивать, очищаясь то молитвами, то «Интернационалом»), — но имел стойкое убеждение, что *его-то идеал реален*. Однако, поднимал палец доктор, мысленно возражая всем идеалистам, от Платона, Мора, Кампанеллы и до проповедника коммунизма Маркса, и до идеалиста от американской демократии Фукуямы, — мой новый мир не застаивается, не имеет «конца истории», а эволюционирует, как биологически, так и социально, — и потому о «раз навсегда» говорить не приходится. Я и сам не знаю, к чему придёт обновлённое человечество, — но я и не обещаю ничего, не обращаю неизвестное в известное. И вот ещё что: я, как и другие, *узнаю!*.. Это не социализм, слепо обещающий светлое будущее! Тут — все доживут!

Мой новый мир лишён аффектов, которые только и толкают разного рода страдающих мыслителей на проповедь идеалистического общества, оканчивающего собою историю, общества, в котором нет ни классов, ни каст, ни государства, ни денег, ни борьбы; нет противоречий, значит, в социуме *внезапно* отключается закон единства и борьбы противоположностей и нарушается принцип развития, социальной эволюции и отменяется прогресс, — о чём нарочно забывал Карл Маркс, мучаясь от неопределённости выводимого им коммунистического общества и стесняясь вопроса об общности жён — в отличие от своего откровенных предшественников Платона или Уэллса.

Подхватив труп за холодные, плохо гнущиеся в коленях ноги, и за шею, Владимир Анатольевич, попыхтев, уложил мёртвое тело на стальной стол и подвинул к его середине, к кольцам с ремнями и обручами. Застегнул ремни на шею, на груди, на животе трупа (руки стягивались этими же ремнями) и на коленях. Утром «обновлённая» девушка сучила ногами так, что доктору казалось: вот-вот ремни порвутся. Ремни бы не порвались. До этой девочки никто ещё их не натягивал, желая из-под них выбраться. Но Таволга испугался, отскочил от стола. Будто и не ждал успеха в открытии, будто по привычке ожидал *ничего* — и вслед за *ничего* продолжения однообразной жизни, с одинаково пустыми, ничем не оканчивающимися понедельниками, средами, субботами... В общем-то, Люба ревновала к не совсем мёртвой девчонке... Помимо ремней, для закрепления тела на столе имелись стальные широкие обручи, фиксируемые на лбу, в талии и на щиколотках трупа. Надев перчатки, доктор разжал мертвецу рот и вставил под губы, на зубы верхней и нижней

челюсти, скобы, и повернул на столе до нужного положения эксцентрики. Рот мёртвого мужчины открылся, обнажив нёбо и неподвижный язык.

С внутреннего пульта управления доктор закрыл лабораторную дверь. С пульта же он опустил вдоль всех стен герметизирующие шторы. Из стального шкафа Владимир Анатольевич достал свой скафандр с тремя баллонами, убедился, что баллоны заполнены дыхательной смесью, и стал переодеваться. Разделся догола, *до очков*, взял из шкафа отрезок резинки, привязал к дужкам очков, попробовал очки — хорошо сидят, не свалятся и не давят, достал из упаковки памперсы, надел, оглядел себя в настенном зеркале: худое тело, седая борода, очки на резинке, памперсы, — и надел свою одежду: носки, рубашку, брюки, пуловер, поверх пуловера халат (чтобы ночью было теплее), а далее стал облачаться в скафандр. Баллоны потянули его назад, и доктор ухватился за край стола. «Стар, стар». Владимир Анатольевич привинтил к костюму шлем, выполнил внутрискафандровое вакуумирование и открыл клапаны баллонов. Всё было готово к проведению опыта. Последнего опыта! Возможно, последнего научного опыта *впредыстории* человечества.

Ощущая боль в пояснице, доктор наклонился, выдвинул из-под стола сорокалитровый контейнер со сжиженным пентаксином (поверху мелом: версия 68, написано в наклон, как бы *курсивом*, и это значило, что тут версия шестьдесят девять, та самая, что держится шесть часов; дата на крышке стояла пятничная, тоже *курсивом*), проверил, крепко ли сидит шнур питания и полна ли аккумуляторная батарея бесперебойника (4000 вольт-ампер), проверил на индикаторе показатели (объём газа в сорокалитровом контейнере 99,95 %; станет чуть меньше, что несущественно для завтрашнего *мероприятия*) и задал на дозаторе ту же норму выхода (0,05 %), которую опробовал утром на мёртвой девушке.

«Хоть бы трусы и лифчик на неё надел!» — сказала ему утром Люба. — Он парировал: «Трупы поставляются без трусов и лифчиков». — «Тогда я надену на неё свои. Хотя мой бюстгальтер этой красотке маловат будет. Откуда она такая, из стриптиз-бара? Из борделя? С местной студии порнофильмов?» — «Из детского сада. Воспитательница». — «Да ну?» — «А кто говорит, что о людях плохо всегда думаю я?» — «Делай, что хочешь». — «Порнофильм я снимать точно не буду. Ты правда не хочешь посмотреть, Люба? Неужели твоя ревность сильнее любви к науке?» — «Сильнее любви к тебе».

И утренний опыт Владимир Анатольевич ставил в подвале один. Проводить опыт в одиночестве для учёного означает как минимум то же, что телезрителю смотреть одному любимый фильм. Но, с другой стороны, Люба не видела того, какое хищное лицо было у воскресшей девушки. С Любы достаточно и того, что она провела анализ плазмы *носительницы* и сделала заключение (его доктор Таволга читал как самый захватывающий рассказ, вернее, как захватывающий пролог к захватывающему роману).

Владимир Анатольевич включил и отключил дозатор. Обойдя контейнер, подошёл к столу. Встал в полуметре от мёртвого тела. Осмотрел ремни, обручи, зубные скобки. «Всё в норме, Володя. Всё будет так же, как вчера. Всё повторится. Твои сомнения — только привычка. Давняя, давняя привычка. Привычка работать безрезультатно и отбраковывать версию за версией... Вот и Никита втихушку посмеивается (думает, я не знаю, не замечаю). Думает, что я ловко надуваю Миннауки и вообще правительство. А что? Лаборант прав. Я безусловно собираюсь надуть правительство. Я уже надул его — не сообщив о полученных утром результатах. Впрочем, наше правительство имеет обыкновение надувать само себя... К примеру, что ответит мне правительство на мой отчёт о результате? То, что принято отвечать: «В настоящее время не имеется финансовых ресурсов для внедрения

разработанного Вами газа в промышленное производство». Разве будут чиновники вчитываться в мой отчёт? А вчитавшись случайно, сочтут меня сумасшедшим. Шизофреником. Скажут: досиделся в сибирском подвале, личность утратил. Раздвоился. Изображает из себя не то Франкенштейна, не то инженера Гарина. Промышленная очистка воздуха, скажут!.. Цена на нефть рухнула до двадцати долларов за баррель, а безработица в стране дошла до 14 процентов, — а он!.. В Миннауки прочтут институтскую шапку на бланке (вот об этой самой очистке воздуха), а текст и читать не станут. О засекреченности проекта и о том, зачем проекту нужна секретность и кто и когда на проект дал добро, никто и не вспомнит. И не станет поднимать материалы, изучать вопрос. Они там, наверху, *как все* — им бы только водки, денег да голых женщин побольше. И не догадываются, что очень скоро и к алкоголю, и к женщинам они станут равнодушны».

— Ну что, дружище, — сказал доктор (часы на левой руке скафандра показывали, что с выхода пентаксина прошло две минуты), — скоро подъём. Подружка твоя пробуждалась около часа, и я хочу, чтоб ты порадовал меня быстрым обновлением. Ты мужчина дисциплинированный, как-никак бывший старший прапорщик, и не заставишь просить себя дважды.

Чиновники!..

Он вспомнил, как спорил с Даниилом Кимовичем. Как читал статьи сметы и оспаривал. Вернее, пытался оспаривать. Засорял эфир словами... А Даниил Кимович — не бесстрастно а с иронией, — эфир за ним подчищал: «Канализации или выгребной ямы не предусмотрено по смете»; «Водяного отопления тоже не предусмотрено»; «Идти по смете нужно рубль в рубль»; «Вы бы ещё биде, мраморные пепельницы и шампанское «Вдова Клико» потребовали, уважаемый Владимир Анатольевич».

А доктор всё сорил, всё сыпал вопросами: «Но тут у вас только смета на ремонт и заработная плата. И ежемесячные перечисления на содержание здания. А дальше как? Замена оборудования? Обновления? Новые технологии? Модернизация систем блокировки и герметизации? А охранно-пожарная сигнализация?»

«Простите, это не предусмотрено. Значит, и не положено. Модернизация? А вы сколько лет тут планируете... работать? На века устраиваетесь? И не надо, уважаемый Владимир Анатольевич, проявлять научный энтузиазм. Вы меня понимаете? Очень не советую вам что-то здесь модернизировать за свой счёт. Вы не имеете права переменять что-то на своё усмотрение, поскольку проект помечен грифом «секретно». Вы, Владимир Анатольевич, имеете допуск по форме номер один и дали подписку о невыезде. Не советую забывать о государственной тайне и мерах по её соблюдению. Не то окажетесь, как персонаж Солженицына, в «шарашке», и будете рады работать за чёрный хлеб и перловку. Шучу, конечно, но о секретности не забывайте. Не моя обязанность об этом напоминать, а начальника службы безопасности, но в данном случае вы задали вопрос о финансировании и получили максимально компетентный ответ. Вы лишены права вносить непредусмотренные изменения в проект и изыскивать стороннее финансирование. Проект содержится на заложенные в расходную часть бюджета федеральные средства. Увеличить финансирование или пересмотреть смету можно только на уровне Миннауки. Категорически не советую писать вам в Миннауки. Как его представитель, я уверяю вас: вы будете получать ответы на ваши письма, уведомляющие вас о том, что ваше письмо получено и зарегистрировано в секретариате, а попозже получать и ответы, сообщающие о невозможности в настоящее время изменить целевое финансирование проекта. Вам пожелают успехов в работе на благо

Отечества, пожелают достичь весомых научных результатов, и припишут что-нибудь канцелярско-язвительное и слегка, для профилактики пугающее, к примеру: «Сокращения штата научных сотрудников данного Института в настоящее время не предвидится». И так будет продолжаться всегда: сколько бы писем вы не написали, ничего не переменится. До тех пор, пока кто-нибудь на ваши послания не рассердится и не решит всё же прикрыть исследования в области «промышленной очистки воздуха». Либо этот кто-нибудь выберет известный вариант замены: вас уволят и сюда пришлют любого другого доктора наук, *протирающего штаны* в захудалом московском или местном НИИ на копеечной зарплате или перебивающегося взятками по академиям. И проект сохранится, и приложение к бюджету переписывать не надо, и не нужно решать страшный бюджетный вопрос «куда» и отвечать назойливым депутатам на любимый их, очень их развлекающий вопрос «зачем», который они задают, притворяясь любопытными наивными детишками. Ничего не менять и поступаться малым в угоду большому — единственная стратегия всех президентов, генсеков, королей, шейхов и диктаторов. Ленин вовремя отступился от социализма с коммунизмом и заговорил о государственном капитализме, оставив от коммунизма его религиозную идеологию — это для того быдла, которым он считал население России. И ленинский государственный капитализм, обзываемый с мифотворческой целью разными его *синонимами*, давно уже есть единственный общественный строй в любом уголке планеты, какую бы идеологию правительство не исповедовало: социализм ли, демократию ли, восточную ли деспотию».

С этим Таволга соглашался. Заявленный ещё в сталинских писаниях «социализм» был построен из одних, аккуратно выдерганных и с семинаристской же аккуратностью скомпилированных Кобой ленинских цитат, а на практике существовало вполне то самое, что Ленин откровенно именовал государственным капитализмом, — каковой нынче, в так называемую рыночную эпоху, подозрительно схожую с эпохой КПСС, следовало бы называть, по мнению доктора, *капитализмом бюджетным*. Нынешняя цель передового предпринимателя не в том, чтобы создать и двинуть новые технологии или вырастить урожай на зависть ленивым конкурентам, но в том, чтобы удачно договориться с властными структурами о «тендерах», «конкурсах», «целевом финансировании» или заключении монопольных контрактов на товарные поставки — к примеру, брусчатки для мощения городских улиц или запорной арматуры городским «Водоканалам», — и старательно их исполнять по ежегодно «индексируемым» ценам.

(«Завтра утром «Водоканал», — подумал Владимир Анатольевич, — окажет мне — вернее, всем россиянам, — неоценимую услугу»).

«...восточную ли деспотию. Не вмешивайтесь, и устраивайте свою жизнь в отведённых вам рамках, дорогой мой Владимир Анатольевич. Не так уж плохо получать каждый месяц денежки на банковский счёт и жить в оплачиваемой государством казённой квартире, пусть и без мраморных пепельниц, биде и секретарши, по щелчку пальцами принимающей нужную позу».

«Очевидно, это и называется на языке чиновников «стабильностью».

«Именно, уважаемый Владимир Анатольевич, именно. Это и есть стабильность. А вы учёные, все как один склонны к революциям и переворотам. К счастью, в занятиях наукой вы сублимируетесь от ваших... студенческих замашек. Надеюсь, правительство не имеет дела со злым гением в вашем лице, Владимир Анатольевич».

В России, думал Таволга, слушая Даниила Кимовича, много толкуют о стабильности

экономики, но именно вопреки достижению стабильности и медленному, но верному продвижению вперёд предпочитают быстрое прикармливание бюджетов и барышисверхприбыли долгосрочным государственным или частнопредпринимательским инвестициям. Что поделаешь: цивилизация гибнет, и социум (не имеет значения, признаёт он или отвергает факт близкого цивилизационного краха), учитывает это — сознательно или подсознательно, и приспособливается в тех условиях, что существуют, а не в тех, что видятся в ясном демократическом идеале, рисуящем в стране сто сорок миллионов бизнесменов с бриллиантовыми запонками на манжетах.

(«У обновлённого человечества вопросы как государственного, так и частного финансирования исчезнут как таковые. Канут в лету вместе с отжившей своё эпохой. Деньги — символы товарного обмена — превратятся в то, чем они являются не символически, а реально: в грязную бумагу»).

«Учёного ведёт не злоба или доброта, а идея. Я, кажется, понял значение и другого выражения, которое, признаться, прежде не мог уяснить: «устойчивое развитие».

«А вы что думали, Владимир Анатольевич? Разве вы не понимаете, как работает машина Миннауки, Минфина и федерального казначейства? И как вообще действует бюджетная система страны? И насколько неповоротлив механизм государственных финансов? И насколько проще какие-то средства выделять, чем прекращать их выделение, — так, чтобы найти экономическое и социальное обоснование и перераспределить на другие бюджетные программы, так, чтобы не придралась Счётная палата или не запротестовали думские фракции? Гораздо проще продолжать финансирование, скажем, засекретив его, — многие приложения к федеральному бюджету секретны, если вы не знали, — нежели закрывать его. В случае прекращения на заседании бюджетного комитета Госдумы всплывают три известных параграфа: 1) зачем правительство столько лет финансировало этот нелепый проект, лучше бы на эти средства открыли сорок пять больниц и три детских сада; и тут немедленно подключается столичная пресса, лечащая от скуки скандалами, и начинается ядовитое поношение и правительства, и депутатов, — и оппозиция набирает голоса и начинает расшатывать *устойчиво* живущую страну; 2) давайте пересматривать все приложения к бюджету, всю расходную часть бюджета прошлого года и прошлых десяти лет; нецелевое и неэффективное расходование финансовых средств следует немедленно прекратить, а Президенту сделать импичмент; 3) наконец: куда потратить те деньги, которые высвободятся после прекращения нецелевых и экономически нецелесообразных программ и проектов? Учитывая то, что больницы и детские сады наши депутаты по неизвестной причине финансировать не любят и что обсуждение параграфа второго может занять лет тридцать, никто, включая шумливых господ депутатов, не видит смысла в пересмотре секретных приложений к федеральному бюджету. Количество приложений увеличивается с каждым годом, но никогда не уменьшается. Не замечали? Вот так и весь наш народ — не замечает. Да и зачем ему это? Ума не хватает? Нет, ума русскому народу всегда хватало: из самой страшной нестабильности мы умели возвращаться к порядку. Хотите разобраться в бюджете, Владимир Анатольевич, подковаться экономически и стратегически? Зайдите в Интернете на страницу Миннауки, Минфина или на специальный сайт «Бюджетная система России» — благо линию вам выделили, — изучите тексты законов о федеральных бюджетах и проверьте приложения на доступность. Отменить с ходу какой-то проект — это всё равно что выдернуть подшипник из работающего станка. Проще и, главное, дешевле бывает проект или программу сохранить. К тому же бывает, что проект

вдруг оказывается удачным. Тогда всем хорошо: и прессе, и депутатам, и правительству».

«Учёным, десять, двадцать, тридцать лет жизни отдавшим проекту, видимо, не так хорошо, — думал в те дни Таволга. — Да и когда в России было хорошо учёным?»

Романы Дудинцева — вот образцы жизни советских учёных. А рыночная эпоха сделала из учёных, не умеющих или почему-либо не желающих продаться «за бугор», всемирное посмешище. Естественнонаучная профессура, в отличие от «коллег» юристов-экономистов, больше походила на дачников-неудачников, чем на солидных научных сотрудников, обладателей патентов и авторских свидетельств. К тому ж научные открытия ни в правительстве, ни в бизнесе не торопились внедрять в практику: зачем новые практики в нефте-, газо- и угледобывающей стране? Вывезем нефть, вывезем газ, вывезем уголь и алмазы, завезём ядерные отходы, — а там хоть трава не расти!.. Вот и едут от учёной бедности кто в Канаду, кто в Штаты. Кто в Китай. И там за треть цены продаются. Сетевые торговцы, разносящие по конторам и квартирам американские зубные пасты за 40 долларов, будто бы с одного тюбика начисто отбеливающие зубы, или китайские биоактивные добавки к пище, позволяющие предохраниться от рака или начисто излечить сахарный диабет, любят повторять дурацкую присказку: «Если такой умный, почему такой бедный?» И ему, доктору наук, было стыдно слышать их присказку — пусть она дурацкая, и пусть Люба однажды умно, пусть религиозно, ответила на неё: «Не можете служить двум господам — Богу и мамоне», — стыдно в 2000-м году, когда он говорил с Даниилом Кимовичем, и стыдно и теперь, когда ему шёл пятьдесят девятый год и когда солнце его жизни клонилось к закату.

В 1993 году у доктора было много признаков, по которым его нельзя было отнести к презираемым бедным: московская квартира, дача, руководство секретным институтом, личный водитель на бронированной иностранной машине, охранники с автоматами. Бывало, Ельцин звонил ему в кабинет, спрашивал, не пора ли пустить газ в производство и показать всему миру кузькину мать, то есть, *понимаешь*, силу возрождённой России. Но как-то очень скоро — будто не было лет в Дмитрове-36 и жизни с Кларой, будто тот период в его жизни отменялся, вычёркивался, — грянула ссылка в Тюмень. В подвал. Развод с Кларой. Понимающий, осуждающий взгляд Саши: «Так». Молчание Жени, тоже, видимо, означавшее согласие с мамой. Но тут-то и вступал в действие закон единства и борьбы противоположностей! Во что бы то ни стало создать рабочую версию пентаксина! Кто знает: хватило бы его спокойной московской жизни на открытие, или нет? А здесь, на берегах грязной Туры, он, учёный, прозябающий в подвале, нашёл ту самую идеальную формулу. В те давние времена, когда с ним запросто здоровался Президент, Таволге казалось, что его первичный мотив — патриотический: *показать человечеству кузькину мать, то есть силу возрождённой России*. Одно время доктору хотелось стоять рядом с Президентом, с лампасными генералами, за кремлёвскими окошками решающими судьбы мира, маркирующими политическую карту. В последние же годы, а особенно в последние недели, когда появилась версия N69, Владимир Анатольевич транспонировал патриотический мотив в космополитическую тональность: обновить человечество, невыносимо заурядное и пошлое, тяготеющее в своей общественной эволюции к уэллсовским элоям. «Я пошлю вам морлоков, но не тех, что у Герберта, а истинных. Не тех, что работают в темноте под землёй и питаются наземным скотом, но тех, что обратят *наземный скот* в единственную универсальную расу и породят обновлённое человечество, чуждое фарисейства, изгадившего и отравившего старый мир».

«Не знаю, каким точно будет светлое будущее, но иногда мне кажется, Володя, что

*строить его будешь ты один».*

На тринадцатой минуте старший прапорщик задёргался на столе.

— Победа! — сказал Таволга.

Он понял, что до этой минуты боялся за положительный исход второго опыта. Как это было бы ужасно, если б вся его работа, одарив случайным положительным результатом, опять вернулась к кругу своя, то есть как бы в ничто, в пустоту!..

Только сейчас доктор понял, как дорожит своим открытием — и какой бессмысленной показалась бы ему жизнь без открытия. И — Люба. Без открытия она бы умерла. Он бы пожалуй, принял яд.

Первые спазматические движения мышц *объекта* походили на сокращения мышц от электрического разряда. По телу на столе — от ступней до головы — словно прошла волна, тело у поясницы приподнялось и опустилось. Из рта вышел протяжный, как бы тоскливый, стон: «Ммммммыы». И человек на столе зашевелился — уже так, как мог бы шевелиться *обыкновенный* живой человек (правда, намного медленнее): бывший труп двинул правой ногой, правой рукой, пошевелил пальцами на руке, попытался шире раскрыть удерживаемый скобками рот. Живот объекта вспучился и опал. Подопытный попытался под обручем повернуть голову, скосил в сторону Владимира Анатольевича глаза. Скобы во рту чуть сдвинулись. Владимир Анатольевич убрал руки за спину.

— Здесь не столовая, товарищ старший прапорщик. — Доктор отошёл на шаг. — И чего я боюсь? — усмехнулся он. — Как — чего? Пальцы потерять. Пальцы в новой жизни мне пригодятся. Не собираюсь лишаться ничего в этой старой жизни, даже волоска в бороде. Я себе нравлюсь таким, какой я есть, и таким я хочу остаться.

Доктор достал из медицинского шкафа пинцет, скальпель, стетоскоп, термометр, диктофон и положил всё это на стол, возле ног «обновлённого». Прапорщик шевелил пальцами ног — как бы в нетерпении, в ожидании.

— Шевелить пальцами ног — это у вас привычка из прошлого? Жаль, нет ни времени, ни оборудования изучить ваш обновлённый мозг. *«Экономика должна быть экономной!»* Мы с Любой знаем кое-что о вашей плазме — и на том спасибо. А новая экономика будет куда экономней вашего бюджетного капитализма. — Доктор уже окончательно разделил мир на «ваш» и «наш», а точнее, на старый и новый.

Владимир Анатольевич начал осмотр ожившего. Анализы крови, вернее, плазмы — кровь уже «обновилась», лицо, шея, руки, корпус мужчины явно побелели, и видневшиеся синеватые и зеленоватые вены и артерии приобрели малиновый цвет, — он брать не предполагал, это задача Любы, а его сейчас волновало лишь соответствие поведения и общего состояния объекта опыта поведению и общему состоянию утреннего объекта — девушки, вызвавшей у Любы трупную ревность. Таволге не нужно было искать причины *косого взгляда* как утреннего объекта, так и вечернего, и не нужно было доискиваться мотивов агрессивного разевания рта. Ротовые скобки, ремни и стальные обручи, запирающиеся на микрозамки, проектировались в Москве с его участием. Причину агрессии доктор знал в теории ещё в то время, когда здоровался руку с первым президентом страны и когда ожившие трупы, косящиеся плотоядно на его руки и лицо, существовали лишь в его воображении, на бумаге таинственно называясь «опытными физическими носителями» — примерно так же, как военные называют ракеты и мины «изделиями».

— Так, товарищ — или господин? — старший прапорщик? — спросил Таволга. — Ответить вы мне не можете: язык ваш твёрд, как дерево, и лёгкие не функционируют. И

понять меня вы тоже не в силах. И вы правы: таких как я, надо не понимать, а жрать. Лучшей участи мы не заслуживаем. Гнусные мелкие приспособленцы, почти растения, молящиеся богам и божкам, по очереди: то мамоне во всех её ипостасях, то вседержителю, тоже во всех его ипостасях, вместо того, как завещал Фейербах, чтобы молиться на самих себя, верить в себя — и строить себе дорогу в то самое светлое будущее, что извратили разные тоталитаристы-утописты, коммунисты, фашисты и прочие невнятные философы, мастера не слова, но словоблудия. Вы, дорогой мой объект-носитель, не понимаете меня, но вам это понимание и не нужно. Всё, что вам нужно, так это отъесть от меня сочный кусок мяса (не очень-то и сочный) и переварить его, напитав энергией эту замечательную плазму — сулящую такие возможности, о каких мельчающее человечество, с его рублями, долларами, нефтью, газом, демпингом цен на сталь и китайским затовариванием международных рынков, и не задумывается. Увы, товарищ старший прапорщик, отъесть от меня кусок я вам позволить не могу. Но утешьтесь мыслью о том, что послужите не только во благо науке, но и во благо Родине — чего вы, как военный, несомненно, желали бы от всей вашей патриотической души. Россия станет первой страной новых людей, явится знаменосцем нового мира. Вас, товарищ старший прапорщик, не будет среди этих людей, но вы можете гордиться тем, что даже после смерти продолжаете служить своей стране, вернее, своему народу. Но что я говорю! Такая мелкая страстишка, как гордость, вам не знакома. Вы много выше этого, замечательный товарищ новый человек — которому, к моему научному и человеческому сожалению, дана очень короткая жизнь. И та — на столе с ремнями.

— Язык объекта твёрд, — сказал (для диктофона) Владимир Анатольевич. — Прослушивание через стетоскоп, — он прослушивал с опаской, — позволяет установить, что лёгкие носителя не функционируют. Вместо речи — нечленораздельные звуки, схожие со стоном, мычанием или глухим рычанием. Звуки искажены из-за надетых на верхнюю и нижнюю челюсти скобок.

У объекта то вспучивается, то опадает живот. Носитель явно испытывает голод. Пытается поднять голову, вырваться из-под обруча и ремней и откусить мне пальцы. Слюнные железы выделяют обильную слюну. Слюна имеет густую консистенцию и яркий белый цвет; похожа на пену из огнетушителя.

Температура тела носителя — комнатная, 22 градусов по шкале Цельсия.

Скобы чуть подались изо рта старшего прапорщика, и Таволга отдёргнул руку. «Инстинкт, инстинкт!.. Он и детище эволюции, и её родитель».

— Тело носителя белое. Не бледное, а белое. На фоне белизны кожи хорошо выделяются кровеносные сосуды. *Плазмоносные*. Плазма, — Владимир Анатольевич вскрыл скальпелем вену объекта у локтевого сустава, — тёмно-малинового цвета. Она гораздо гуще человеческой крови. Течёт по руке подопытного, но так медленно, как тёк бы, скажем, вазелин. При порезе сворачивается долго, не менее трёх минут, снаружи, на коже, твердеет, — а спустя шесть часов после «погашения» обновлённая свернувшаяся плазма высохнет и отвалится. Тело «погашенного» также должно высохнуть, а колония пентавирусов — инактивироваться. После «погашения», как показал утренний опыт, остаётся напоминающее мумию тело, с разницей в цвете кожи: мумия имеет жёлтый с коричневым оттенком цвет, а «погашенный» — цвет серый. По истечении полных 6 часов пентаксин, поступающий в виде так называемых облаков от слюны и плазмы объекта-носителя, полностью распадается, обращаясь в безвредные химические соединения, присутствующие в воздухе, а пентавирусы, не защищённые дополнительной оболочкой,

инактивируются. Таким образом, высохший к тому времени объект становится совершенно безопасным для человека.

Главное и необратимое свойство пентавируса, — доктор ходил вокруг стола, взглядывая на пытавшегося поднять голову и руки прапорщика, — прекращать функционирование жизненно важных органов: сердца, печени, лёгких, почек, изменять структуру крови и структуру ДНК человека так, что то, что прежде считалось *Homo sapiens*, преобразуется в *нового вида*.

Вот до этого вида, подумал доктор, очень страшного *на вид*.

«Люба, — подумал он затем, — как неосновательно рассуждать о страхе перед новым миром, когда куда больше боишься смерти — и мучаешься от боли. В обновлённом организме боли не будет. Бояться нового — неосновательно и для человека, и для учёного. Бойся человечество нового, не было бы прогресса. Не было бы науки. А всё были бы у нас палки-копалки, скребки, дубины да огонь от молнии... Старый мир осудит тебя? Ты не узнаешь об этом. И старый мир вряд ли вспомнит о тебе. Старому миру, моя радость, остались считанные дни. А в новом мире не будет места осуждению и морали. Это будет мир без предрассудков и ханжеской веры».

Доктор взял в руку длинный скальпель.

— Все признаки инфицированного «обновившегося» трупа полностью совпали с признаками предыдущего инфицированного «обновившегося» трупа. Что говорит о... — сказал Таволга и задумался. И зачем ему диктофон? Всё равно писать в файл он не станет. — Говорит о том, что 28-е октября надо бы отмечать как день рождения нового человека и новой эры. Или 27-е?... Не имеет значения: новые люди не будут устраивать себе дешёвые развлечения и раскрашивать календарь красным, а носы сизым.

Жаль будет убивать этого человека. Члена нового общества. Однако убить надо. Нельзя ставить под угрозу само возникновение этого общества. Никто — ни лаборант, ни тем паче Максим, и с ними все прочие, — не должен знать о *воскрешении*. Об успехе утреннего опыта и действенности новой формулы газа знала только Люба, а Люба из тех редких женщин, что могут ссориться с мужчиной, спорить с ним, быть суровым научным оппонентом, ревновать, и ревновать к трупам женского пола, наконец, — но никогда не предадут и не станут болтать попусту, из одного бабского желания чесать языком. Впрочем, это вовсе не бабская специфическая черта — чесать языком. Взять любого политика в телевизоре... Скоро, — доктор усмехнулся, — чесать языком люди перестанут. На всей Земле. По физиологической причине: языки затвердеют.

Завтрашнее утро очень подходит для *преображения*. Обещан мокрый снег, не холодно, Тура не замёрзла, — и весь институтский штат, исключая его и Любу, будет болеть с похмелья. И полгорода будет болеть с похмелья: потому что будет утро *понедельника*. Сознательное отравление алкоголем и табаком, считал Владимир Анатольевич, тоже было одной из причин, по которым кончалась русская цивилизация.

А откладывать он не может. Что бы ни сказала Люба.

Во-первых, есть реальная угроза его исследованиям — рано или поздно открытие формулы выявится, не Максим заметит, так догадается Светлана (или Никита). Нет, пока всё в этом смысле было в *ажуре*: герметизирующие светонепроницаемые шторки утром и теперь были опущены, и никто не мог подглядывать за бородатым русским *Франкенштейном*, — а камер наблюдения в институте со дня его создания не водилось. И вообще, отправься, допустим, труповоз со стукаческим докладом *куда надо*, его оттуда,

заговорившего там о воскресении мертвецов, отправили бы куда положено. Но Максим не пошёл бы, нет. Однако откладывать нельзя. Нет он — так генералы. Те самые, лампасные, в папахах, рядом с которыми он когда-то мечтал не то стоять на трибуне, не то фотографироваться.

Во-вторых, Любе *осталось мало*.

В-третьих, он создал то, чему посвятил всю жизнь. И его научно-идеалистическая мечта не терпит отлагательства. Он хочет нового мира — для себя, для Любы, для всех людей. Для тех в том числе, которые будут думать, что не хотят — но в самой-самой глубине своей всё же будут хотеть; доктор знал это.

И в-четвёртых. Старт новому миру должен дать он, отец этого мира, — а не лампасные генералы. Доктор не желает ещё одной мировой агрессии. Военному противостоянию доктор предпочитал свой вариант *конца света*. Мирный вариант преобразования — допускающий смерти, но не допускающий гнусного идеологического и политического противоборства, когда одно государство — точнее, несколько верховодящих в стране личностей, — мнит себя *развитым* (какова политическая терминология!) и поэтому имеет право указывать всем прочим народам, как им нужно жить и почему именно так им жить хорошо.

Скальпелем доктор ударил в глаз подопытного. В глаз, смотревший не на него, не на хирургический острый инструмент, а его руку. На еду. На еду, которая была так близко и всё же почему-то оставалась недоступной. Таволга несколько раз провернул скальпель в глазном отверстии. Живот носителя опал, и скобки во рту чуть опустились.

— Никто и не думал, — сказал доктор, — что придётся убивать *новорожденных*. И я не думал! Результат научного легкомыслия: действуем подручными средствами, грязно и неаккуратно.

Доктор выждал пару минут и ударил скальпелем во второй глаз. Затем вырезал оба глаза и бросил их в эмалированный таз — так использовал их для анализов. Пусть Никита поломаёт голову над тем, что их доктор делал с глазами объекта. Может быть, случайно доктор открыл свойства пентаксина, применимые в офтальмологии: к примеру, для соединения сегментов лопнувшей дистрофической сетчатки. Пусть подумают. Думать полезно. У тех, кто много думает, не бывает старческого маразма. Толстой писал и в 80 лет, и писал не худо.

— Сетчатку укрепить не обещаю, — сказал доктор (ну, положим, глазная мышца при обновлении должна принять нормальную, естественную форму, а это уже немало: избавление от близорукости или дальнозоркости. А насчёт сетчатки — поживём, увидим), — но вот от похмелья, ребятки, я вас завтра вылечу гарантированно. И заодно от тяги к спиртному.

На часах скафандра было 00:29. Владимир Анатольевич сверился с часами контейнера. Время совпадало. Доктор запрограммировал будильник на рукаве скафандра на 06:30. Ему пора спать. Его последний сон — сон в старом мире...

Спать? Нет.

Ему нужно сделать ещё кое-что. Он едва не забыл!

У него будут противники. Военные, гражданские, партийные, из рядовых обывателей — разные могут найтись противники.

Но у него найдутся и сторонники.

Он может помочь им *найтись*.

Сторонники, готовые по доброй воле инфицироваться, — и ускорить преобразование планетного социума. Сторонники, понимающие, что выгоднее инфицироваться не от укусов, а воздушно-капельным или воздушно-пылевым путём, сохранив руки-ноги-пальцы. Доктор даст им путеводную нить. Его нить будет одной из нитей Всемирной Паутины.

Доктор скажет людям и о том, что военные или медицинские противодействия не остановят распространение по земному шару пентавируса. Он предупредит: не надо совершать очередные глупости и не надо делить мир на прежних, нормальных людей, и новых, «уродов». Прежние точно так же нормальны, как новые — не уроды. Вопрос же, в сущности, не в этом, а в том, что мир будет принадлежать только новым людям, и никаких пропорций («новые» к «старым») не состоится. Только новые, и точка. Компромиссы о новых границах между странами, посредничество Организации Объединённых Наций, вооружённые до зубов миротворческие контингенты НАТО, доблестный узколобый спецназ, выполняющий в течение часа-двух операцию по «зачистке», — ничто не поможет. Война между старыми и новыми за планету невозможна. «Старые» очень быстро это поймут. Самые недалёкие военные, любящие войну и умеющие делать на ней карьеру, через неделю-другую поймут: утром 28-го октября началась не война, а стартовал новый мир. Новый мир, который не уничтожишь атомными бомбами и ракетами, потому как «обновлённые» и не горят, и не восприимчивы к радиации. (Теоретически, но доктор верил своей теории). Новый мир, хозяев которого не подкупишь за деньги, потому что у него нет хозяев и потому что он не признает денег. Новый мир, который будет развиваться по его подлинным законам, а не по тем конституциям, что служили очень неточным описанием загнившего старого общества.

Ему нужно написать это как-то покороче. В XXI веке нельзя размазывать, — не то в Интернете его послание охарактеризуют как «много букоф» и не прочтут.

Вымыв в раковине перчатки скафандра и усевшись за лабораторный стол, расшевелив мышкой заснувший компьютер, доктор начал писать «предсмертную записку». Набирать в перчатках было не очень удобно, но ведь не впервые.

Он начал с бойких коротких фраз (поморщился, но не убрал их; пусть привлекут внимание), а далее, в основном тексте, изложил то, каким он видит новый мир, что в нём должно быть, а чего не будет, какие преимущества получают те, кто войдёт в число обновлённых, и написал о том, что те, кто станет бороться с новыми людьми, тоже будут преобразены, и всякая борьба лишь ненадолго продлит агонию старого, изжившего себя общества. Осторожно откинувшись на спинку кресла (сильно болела поясница), доктор написал о том, сколько счастья принесёт людям хотя бы то, что обновлённые не будут знать болезней. Он писал — и ему нравилось писать: доктор впервые писал откровенно, прямо, он ведь адресовал свою записку не чиновникам из Миннауки или президенту; он забыл о научном стиле и писал почти художественно. Он звал за собою в новый мир — и он чувствовал, что обращается ко всему человечеству. Он думал, что то, что *прошло* в истории человечества, было этапом нужным, но уже оконченным, отмирающим и без него, Таволги, и пусть власти предержавшие и миллиардеры, назначающие эти власти и устраивающие им предвыборные кампании, и не хотят признать этого отмирания. Владимир Анатольевич видел впереди этап новый, возводящий человека до бога, творящего по образу и подобию и впервые приблизившегося к идеалу в практике жизни, а не на бумаге. Он написал, что те, кто не примет новый мир добровольно, будут включены в него принудительно. Он писал о бессмертии и смерти, о новой науке, о космосе — и о бессилии старого мира перед

новым, — и ему казалось, что, даже воюя против нарождающегося мира, пытаясь его уничтожить, приверженцы старого мира неизбежно ощутят красоту нового. Не ту неопределённую красоту, что воспевали Соловьёв и Достоевский, но ту единственную и завершённую, что представляет собою естественный отбор — а следом и искусственный.

Он зачитает утром записку Любе. Или даст прочесть ей на мониторе, уж как выйдет. И при Любе отправит записку в «Живой Журнал», в blog, который он создаёт сию минуту. Псевдоним, пустой набор букв... пароль... так... всё готово, он зарегистрировался. Он выбрал первое попавшееся оформление: какой-то там blur, нейтральные мягкие цвета, чтобы читателям не резало глаза (вообще-то о себе думал, о своей дистрофической сетчатке).

Люба прочитает «предсмертную записку» — и он обменяется с нею несколькими фразами. Будто бы ничего не значащими, но с подтекстом, как в романах Хемингуэя. Нет, не о газе, не о вирусе. Ничего научного. А вроде этого: «Ты не забыла форточку в комнате закрыть и утюг выключить?»

Или они обойдутся без слов (пусть с глубоким подтекстом), а просто возьмутся за руки и отправятся... в газовую камеру, как вчера мрачно пошутила Люба. Примерно так же, наверное, будут шутить генералы и полковники, которым *долг повелит* командовать «зачистками» старого мира от белолицых представителей мира нового; генералы, с презрением говорящие о тех, кто не заодно с ними, с генералами и полковниками, но кто называет себя союзниками доктора Таволги и желает биологического и социального переустройства мира способом, выведенным в подвале на ул. Луговой. Пусть шутят!.. С новым миром шутки плохи. Новый мир съест шутника и не поморщится. И съеденный шутник восстанет и сожрёт следующего шутника. Так-то, господа товарищи!

Доктор Таволга скопировал файл на дискету, которую взял тут же, из пачки на столе (в подвале между компьютерами была проведена сеть, но часто зависала, требовала перезагрузки «Windows», и доктор привык доверять старым добрым дискеткам с тефлоновым покрытием, привезённым ещё из Москвы), удалил файл из папки, очистил «корзину» и отключил компьютер. Владимир Анатольевич снова сверил наручные часы на скафандре с часами на контейнере и проверил, что будильник на его часах запрограммирован на 06:30.

Четвёртый час ночи. Он не выспится. Что с того! В новом мире он вовсе не будет спать. И спина не будет болеть. А Люба избавится от своего смертного диагноза. Как странно, подумал доктор, что против нового мира будут бороться. А бороться обязательно будут. Те, кто слишком хорошо устроился в этом мире («старом» мире), приспособился жить по ханжеской морали, преподаваемой другим, несомненно, будут отстаивать то, что привыкли считать благами. Золото, бриллианты, дворцы, квартиры, деньги, самолёты, яхты, машины, чины, властное положение, доли в крупном бизнесе. Многие «старые» станут сражаться против «новых» лишь потому, что о необходимости сопротивления им внушат средства массовой информации, принадлежащие опять же тем, кто в старом мире хорошо устроился. И кое-кто будет выступать против нового мира из-за панического страха перед всем новым. Впрочем, эти последние большого урона новым силам не нанесут. Да и все первые в их совокупности — тоже его не нанесут. В России и государственная машина, и общественная — шулки весьма неповоротливые. Люди в Иркутске не знают, о чём думают люди в Питере; люди Москвы так далеки от людей Тюмени, словно Сибирь — иная планета в иной галактике. (Россия велика, и в Москве принято презирать провинцию, а в провинциях — честить Москву). Доктор, на собственном долгом опыте изучивший законы бюрократии и

принципы бюрократизма, сомневался, что федеральный чиновный аппарат, во-первых, всерьёз воспримет явившуюся «угрозу» (не воспринимался же его институт всерьёз много лет), а, во-вторых, государственная машина, пусть она и отреагирует на нашествие «живых мертвецов», столь тяжеловесна и негибка, состоит из такого неповоротливого количества линейных и функциональных звеньев, каждое из которых требует письменного подтверждения, обсуждения, согласования, составления библиографической описи прилагаемых документов по ГОСТу и отправки ценными письмами с описью, что под натиском быстро увеличивающихся *белых сил* неминуемо пойдёт на дно — так же, как ушли в 1242 году под лёд тевтонские рыцари, в апреле вздумавшие принять сражение на подтаявшем озере.

Будь у доктора другая жизнь — не брось его жена и дочери, не отправь его в научную ссылку федеральная власть, не обреки она его на полунищенское прозябание в «институте», не отрецивайся она от его запросов бюрократически тонко и колко составленными письмами, не окажись у Любы рака печени и не возненавидь доктор этот мир так, как только могут ненавидеть его истинные неподкупные отщепенцы (начиная с обыкновенной злости, приходя далее к ненависти и оканчивая тихим понимающим презрением, ведь ненависть делает этому миру слишком много чести), — будь у него другая жизнь... но у человека одна-единственная жизнь, и он её не выбирает, как президента или депутата городской думы.

Будь у доктора время и институт попримичней, и побольше сотрудников, он бы провёл серию дополнительных опытов, он бы изучил обновившийся мозг, он бы наблюдал длительное время за плазмой объектов-носителей, он бы... он не знал, что ещё он «бы». Вряд ли он кормил бы одних из них человечиною, а других морил голодом, и следил бы за разницей в развитии или за усыханием последних.

Будь, наконец, у доктора уверенность, что с первых же его слов мир вокруг примет его в объятья и возьмёт на вооружение его *морально пугающую* теорию о преобразении старого мира и о создании новых людей, способных на многое, способных построить счастливое будущее, он бы открылся людям, он бы с их помощью разработал такой план, согласно которому переход к новому состоянию человечества, то есть повсеместное обновление, достигался бы безболезненно и спокойно, путём многократного распыления пентаксина с небольших самолётов или аэростатов. Он бы усовершенствовал вирус, разработал бы его новый штамм. Плазма обновлялась бы не через поступление плоти *Homo sapiens*, а через поступление животной либо синтетической пищи (в США ещё в нулевых годах было выращено искусственное мясо; почему бы не вырастить эквивалент мяса человеческого?); пусть бы плазма обновлялась медленнее, и медленно шла бы новая эволюция. Доктор согласился бы отдать год или два своей старой жизни на дополнительные исследования. Да какие год или два!.. Всё было бы окончено в считанные месяцы. К его работе подключилось бы всё мировое научное сообщество. Ну, ну... Доктор мыслил уже как бы категориями нового мира. Старый мир не идеален. Есть в нём жаждущие ещё большей власти властные структуры, и потенциальные диктаторы, и сумасшедшие военные, мечтающие покорить весь мир. И есть и банкиры, не желающие расстаться с миром денег, и есть...

— Хватит. Спать, — сказал доктор. — Ты устал. Наверное, так устал бог, сотворив неудачный мир. Ничего, ошибку этого поддельного бога мы поправим...

Владимир Анатольевич помочился в памперсы. Сел на топчан. Спал он на боку — то на левом, то на правом. Больше на правом: слева доканывал его остеохондроз. Спать на животе

или спине нельзя было из-за баллонов. «С завтрашнего утра — никаких баллонов! И никакой боли!» Доктор подумал о новом дне, несущем человечеству избавление от болезней, глупых страстей и бюджетного капитализма. Очки немного давили на переносицу.

Уснул доктор так быстро, как засыпают счастливые усталые люди — заветная мечта которых вот-вот исполнится.



*28 октября, понедельник, 6:00. Никита Дурново*

Голова у Никиты болела так, будто за ночь выросло у него три или четыре головы, и боль перекачивалась из одной во вторую, из второй в третью, по порядку, а потом вразброс, из третьей в первую, из второй в четвёртую. Никита вытащил из-под себя и откинул одеяло, сел на постели. Обхватил себя руками и стал покачиваться из стороны в сторону. Так оно полегче. Поглядел на сжавшуюся под простышкой Светку. Холодно. Он дотянулся до лампы на тумбочке. Зажмурился от света. Открыл глаза, посмотрел на будильник.

Проснулся он до звонка. Без минуты шесть. То есть на будильнике было шесть девятнадцать, но будильник этот — старый, советский, 1990-го года выпуска, — за сутки набирал отставанья минут на десять.

— Вставай, проклятьем заклеймённый, — сказал Никита, — старший лаборант Дурново!

Старший! Не деньгами, так чинами? Нам денег не надо — работу давай? Если б не Светка, он бы уволился давно. Ну, правда, и квартира. Проклятая неблагоустроенная квартира. Проклятый замызганный институтишко.

— Проклятьем заклеймённый!..

Зазвенел противно, с заржавленным дребезгом, будильник. Никита заткнул его ладонью. Пусть Светка поспит. Когда-то звон будильника был чистым, ровным, но с годами в его корпусе не то ослабела пружина, не то все часовые внутренности проржавели. Ключики в заднице будильника и вправду были ржавыми. В старом доме было слишком влажно. Светка вчера поленилась печь протопить. Во сне он перетянул на себя одеяло, спеленулся им по неискоренимой армейской привычке, а на Светке осталась простыня. Он посмотрел на Светку. «Хорошая девочка. Сделает всё, что ни попросишь. И сготовит вкусный обед, и в постели ублажит так, как тебе нравится, — и водки с тобой попьёт. И не только с тобой. Труповоз?» Никита мало что помнил. Это и лучше, чем помнить. Но и хуже: начинаешь выдумывать.

— Спи. — Он укрыл Светку одеялом. — Институт! Хуже, чем в казарме. Хуже, чем в Бухенвальде. В Озёрлаге. Ладно. Не бывал я в Бухенвальде и Озёрлаге. И хватит уже с «хуже». У меня ещё проклятая уборка. Вот ещё «хуже». И голова раскалывается. И во рту будто мышцы ночевали.

**Больше книг на сайте - [Knigoed.net](http://Knigoed.net)**

Никита перестал качаться, попробовал, как ступни чувствуют пол, слез с дивана и выпрямился. Надо было помедленнее выпрямляться. Все его головы закружились стремительно, как круг разогнавшейся центробежной карусели «Сюрприз», на которой когда-то — тысячу лет тому назад — он, Светка и Владимир Анатольевич, большой любитель «Сюрприза», несмотря на остеохондроз, — кружились в городском саду, — и комната, с диваном, Светкой, лампой, окнами, печным боком, телевизором, ковром, рожками люстры, завертелась вокруг его голов.

Он почувствовал, как бедро его упёрлось в диван. И рука упёрлась в диван. Никита упал на колени, одна рука на диване, другая бессильно шлёпнулась вниз, ударилась костяшками

пальцев о ногу. Головы Никиты на время соединились в одну большую голову с открытым ртом. Он склонился к ковру. Из Никиты полилось. Он видел и ощущал, как из него льётся, и думал, что делает плохо, что Светке потом убирать. Но хорошо — не на постель.

«*Вся жизнь — просто так...*» — «*А вот это уже не враньё*».

Поднявшись, шатаясь, Никита прошёл на кухню (ударился плечом о косяк, больно), включил электрочайник. «Удивительно, что тут ещё электричество есть. Вот был бы научный муляж: институт не только без канализации, сантехники, горячей и холодной воды, без сигнализации, но и без электроэнергии. Музейная имитация, японский городской, научных условий девятнадцатого века!»

Чайник щёлкнул, отключился. Никита открыл его: в нём не было воды. Лаборант вздохнул, заглянул в ведро на табурете: воды там было на стакан. От наклона Никиту снова затошнило, и он наблевал в ведро.

— Какой, к сатане мадридскому, чай?... Одно средство. Народное. Клин — клином. Таволга и не разберёт, несёт от меня с похмелья — или *свеженьким*.

Про банку пива Никита помнил. Не помнил, как уходил от труповоза и когда уходил, не помнил, уходил со Светкой или без Светки, и не помнил, сколько выпил. Одно помнил: когда вошёл в свою квартиру, в руках держал коричневую банку «Охоты». И ещё помнил: банку эту поставил в холодильник и спрятал так, чтобы не нашла Светка (могла встать ночью и выпить). Почему он это помнил, а другое нет? А это *инстинкт самосохранения сработал*. Кажется, он сунул банку в кулёк с творогом, а кулёк расположил так, что банку не стало видно. Теперь он видел, что ночью рассыпал творог по всему холодильнику (держался за полку холодильника, чтобы не упасть?), а банка лежала возле кулёка, на самом виду.

И снова его затошнило. Это из-за банки. Пить и хотелось (знал, что полегчает) — и было противно: при мысли о пиве в горле вставал ком, и желудок, казалось, поднимался к самым гландам. «Уже и блевать-то нечем. И зачем люди пьют? Разве мне вчера было весело?» Светка как-то сказала ему: «Люди пьют, чтобы быть пьяными». А однажды сказала загадочно: «Пьют, чтобы опохмеляться».

Никита взял банку, захлопнул холодильник, услышал, как Светка в комнате перевернулась на другой бок и хрипло вздохнула (курила вчера много; не любил Никита, как выглядела Светка с похмелья; мужики выглядят с похмелья классическими потрёпанными типами, а вот женщины — потаскухами, и хочется их побить, и развестись хочется, и даже хочется бросить пить. Но ему нельзя злиться на Светку. Нельзя злиться на любимую жену. И чтобы не злиться, Никита всегда опохмелялся, приучив к этому и Светку. Выпив с похмелья по крепкому пиву или по паре банок «отвёртки», они не ссорились, а любили друг друга в постели. И им казалось: опохмелка — это чудесно. Лучше, чем пьянка. Правда, к вечеру снова накатывала дурнота, и они молча лежали, глядели в давно не беленный потолок, дулись не то на дурную жизнь, на доктора Таволгу с его странным и скучным институтом, не то друг на дружку: она на него за то, что убедил её опохмеляться, Никита на неё за то, что не остановила его от опохмелки. И они решали завязать с выпивкой, — и держались месяц, два (первую неделю чувствовали, будто входят в какую-то новую, счастливую жизнь, но потом это чувство бесследно исчезало: новой жизни не было, а старая жизнь обеднела — в ней не стало алкоголя), но без выпивки становилось тоскливо, и оба начинали искать повод, чтобы «развязаться» (всегда находился календарный праздник, день города, чей-нибудь день рожденья; в общем, оба они лгали себе; пили бы без повода, так не лгали бы). Пьяницы, сказал им однажды Таволга, подменяют бутылкой смысл жизни: питье превращается для

алкоголиков в единственную цель существования. В фальшивую, мнимую цель. Да ещё в такую, в какой алкоголики страшатся себе признаться. Ни работа, ни увлечения, ни семья, ни друзья, ни родные уже нисколько не интересуют их. Это-то и страшно, сказал Таволга. Пьянице всё интересно лишь настолько, насколько оно приближает его к бутылке. «А вы философ», — ответил ему Никита. С неудовольствием ответил. Неприятно, когда кто-то лезет в твою жизнь.

Что-то властное было в невластном на вид человеке по имени Владимир Анатольевич Таволга. Какая-то черта характера, дававшая ему не административное, официальное, но *человеческое* право давать указания. Или *советы*. Откуда происходило это право? Оттуда, что Таволга давал всем пример научной работы, пропадая в лаборатории по 10 и 12 часов, и работая без выходных? Не оттуда ли, что никогда доктор-директор не жаловался на свою жизнь, по материальным удобствам, а вернее, неудобствам, в точности такую же, как у всех институтских? Не оттуда ли, что какая-то глубокая печаль давно не сходила с его старого бородатого лица? Не оттуда ли, что он, руководитель, никогда не спорил с сотрудниками, а только качал головой — отчего, бывало, Никите хотелось вначале ударить его кулаком, закричать на него (но никогда не кричал и не замахивался), а потом сделать то, что не было сделано, и извиниться перед ним, — и в ответ на извиненье он дружески, мягко так улыбался, словно обещал о тебе позаботиться в ближайшее время, устроить тебе трёхкомнатную квартиру в сто квадратов в центре Тюмени, где-нибудь в престижном «спальном» квартале? Или не оттуда ли, что доктор Таволга любил доктора Дворникевич, а доктор Дворникевич была смертельно больна — и осталось ей, как выведала Светка, не больше... в общем, до Нового года не доживёт? Или не оттуда ли, что формула надоевшего всем здесь пентаксина (в него Никита не мог верить), не находилась им? Таволга не просто казался несчастным — он был им. Может, он был ещё и сумасшедшим, помешавшимся на фантастическом газе, шизофреником, с которым нельзя спорить и которому не стоит возражать, не то болезнь его начнёт прогрессировать. Русские люди любят разных психов, ненормальных, юродивых, жалеют их. В том нет ничего необычного: люди жалеют их и дают им монетку потому, что радуются, что сами-то они, жалеющие, нормальные.

Посвящение жизни науке — тем более не части её, а всей жизни, как у Таволги, да к тому же посвящение неудачное, бессмысленное, безрезультатное, — пугало Никиту, внушало ему самый страх, что с древних времён люди испытывали перед непонятным, необъяснимым. Свою науку Никита считал чем-то формальным, равным выполнению однообразных лаборантских обязанностей, от дежурства по подвалу до журналирования анализов, — и оставил мечты о степенях, карьере, публикациях в академических изданиях и Нобелевской премии (а были они?...). В конце концов, на научные степени, публикации в журналах, карьерное продвижение и Нобелевскую премию у него просто нет и никогда не было денег. Ему не на что было купить себе имя и купить к имени славу, чтобы обозначить дорогу к «значительному научному вкладу» и международным премиям. А Владимир Анатольевич своими степенями, полученными в советское время, полученными будто бы бесплатно, ценою только трудов, нисколько не кичился, словно их и не было, — и всю жизнь отдал созданию газа, который, однако, никак не создавался. Да, тут была отчасти и жалость к помешанному: Никита и Светка целовались и миловались в постели, жарили куриные шашлычки во двореке, устраивали праздники с холодным пивком и водочкой в запотевших бутылках, кололи чурки и топили печь, смотрели по телевизору сериалы, реалити-шоу «Дом-4» или выступления Максима Галкина, спорили о том, до 2025 или 2030-

го года продлится в России финансовый кризис, и российский ли это кризис или всё же мировой, начавшийся в Эфиопии и распространившийся через Бангладеш на США, Канаду, Бразилию, Западную Европу, Южную Корею и Японию, и не затронувший только Новую Гвинею, — и не морочили себе головы каким-то невозможным газом, а доктор, не ведая покоя и не умея отдыхать, живя без отпуска, без выходных и отгулов-прогулов, от версий своего пентаксина совсем свихнулся. И было жаль его, и было радостно, что они, Никита и Светка, *просто живут* — и им не нужно так страдать и мучиться, как их директору.

Сегодня Никите нужно было идти до колонки за водой, мыть подвал (дежурство с шести ноль-ноль до семи тридцати, и полчаса отдыха), а с восьми утра брать анализы, и заполнять никому не нужными органическими формулами журнал. Владимир Анатольевич, встретив Никиту, с укором посмотрит на него. Директор не любил пьяных и похмельных и как бы сообщал своим укоряющим взглядом: не пил бы — не было бы и похмелья; не пил бы — и сохранил бы в целости печёнку, желудок, сердце, почки и, главное, мозги, для учёного вовсе не лишние. «Владимир Анатольевич, ну вы что, вы не пили никогда? Вообще не пробовали?» — «Мой отчим был пьяницей. А я не пил никогда. Я в четырнадцать лет дал себе слово: никогда не прикоснусь к бутылке. И не пил никогда. Не пробовал. Это ведь глупо». И Никите понравилось, как доктор сказал — откровенно и просто, грубовато и прямо. Как и всегда он говорил.

Вот почему был симпатичен Никите директор: он никогда не лгал. Все на свете лгут — с причиной ли, без неё ли, но симпатичны лишь те, что говорят правду. Почему? Светка объяснила ему, почему. Ложь слишком привычна и однообразна — и навевает скуку. Телевидение, радио, газеты, депутаты, выборы, бюджет, служение чиновников народу, вся эта политика, что грязная, что не грязная (такой нет, думал Никита), — всё единая круговая ложь, делаемая по одинаковому, предсказуемому сценарию. Ложь, идущая как сверху вниз, так и снизу вверх, точно круговорот воды в природе. И потому — надоело! И потому уже и не отторгается народом, а вызывает зевоту (Светка произнесла тут слово «абсентеизм»). Мы лжём глупо, однообразно и ненужно, сказала Светка. С помощью лжи надеемся получить больше, чем с помощью правды. Но часто не получаем, потому что и нас обманывают. Мы лжём просто по привычке, без выгоды. Ложь в человеческом обществе — часть социальной эволюции, так же, как маскировка и мимикрия — часть эволюции биологической в мире животном или растительном. Но если биологическая эволюция происходит по нужде выживания и приспособления, то социальная именно что преобразуется в неотвязную нелепую привычку, не имеющую за собою определённой нужды. Мы лжём соседям, друзьям, знакомым, прохожим, матерям, отцам, братьям и сёстрам, начальникам и их заместителям, — и мало того: мы лжём самим себе. Лжём — и говорим много о правде, и скучаем по правде. И потому те, кто не лжёт, нам симпатичны. Они не просто вызывают доверие; нет, доверия уже никто на планете Земля не вызывает; но нелгушие не таковы, как мы. Они выделяются среди нас. Потому-то и интересны. Не скучны. Ферштейн, Никита: Дурново, старший лаборант Сибирского института промышленной очистки воздуха?... Вот ещё одна ложь, вздохнула Светка: промышленная очистка воздуха!.. И — водка. Водка — вот самая большая ложь. Это наша ложь самим себе. Мы пьём — и нам будто бы хорошо. А нам плохо, Никита! Кому хорошо, тот в стакан не смотрит!..

После того разговора со Светкой Никита дал себе слово больше не пить. Светка, видимо, сама проникшаяся собственной пылкой речью, поддержала его, и они решили выпить в последний раз, отметить своё решение. И выпили. А наутро была суббота, и они

опохмелялись, сидели у кирпичного мангала во дворе и закусывали поджаренным над угольками хлебом и кусочками подогретого сыра. И уже не думали о том, что хотели бросить выпивку. И им было жаль правдивого доктора, который и в субботу работает в лаборатории или сидит и пишет в своём кабинете, а вечером или уже ночью, часов в двенадцать, скрипя ступеньками, поднимается в свою квартиру и о чём-то долго говорит с Любовью Михайловной.

«Почему они не распишутся в загсе?» — спрашивал Никита у Светки.

«Для Любови Михайловны уже нет в том нужды», — страшно отвечала Светка.

«Жизнь доктора — чистый ужас. Без примесей. Ничего хорошего, одно плохое. Он повторяет: нет худа без добра — но у него, японский бог, не чересполосица, а сплошное худо».

«Иногда мне кажется, что ему хочется умереть. Вот Любовь Михайловна умрёт — и он наложит на себя руки. Перережет себе вены в лаборатории — и дежурный Никита или дежурная Светка сделают влажную уборку, смоят кровь и унесут лёгкое тело доктора. И труповоз увезёт его туда же, куда увозил все серые трупы».

«Ты, Светка, умеешь быть мрачной».

«Иногда, Никита, я думаю, что он много лучше нас. И счастливее, — задумчиво сказала Светка. — Пусть нет никакого волшебного газа, пусть весь его научный труд напрасен. Но он верит в него. Ве-рит! Зачем вообще людям сказки, мифы, религии, вера в потустороннюю вечную жизнь или в реинкарнацию? Чтобы забыться. И чтобы стать чуточку счастливее. А может быть, стать намного счастливее — вытеснив из себя верой всё несчастье».

Никита согласился: «Человеку с верой не требуется уже ни водка, ни героин, ни розовые романы. Он живёт в ином мире, и заново пьян каждую минуту, и у него не бывает похмелья».

«Скоро мы начнём завидовать ему».

И они засмеялись. Но смех их, поняли оба, был жалким каким-то.

28 октября, понедельник, 6:15. Никита Дурново

Банку «Охоты» Никита выпил на улице. Накинув дублёнку, взяв в подвале вёдра (подвал был открыт, значит, там Владимир Анатольевич), он добрёл, пошатываясь и звеня вёдрами, до колонки — и только возле неё открыл банку. Он выпил пиво в два захода: крупными глотками полбанки (здесь его снова вырвало), потом мелкими глотками, с паузами, следующие полбанки. После второй половины его ещё тошнило, но уже меньше. Он знал: скоро ему полегчает. Будет и другой эффект: захочется ещё пива. Но его нет. У труповоза вчера всё вылакали: и водку, и пиво. Просто жуть, сколько водки может вылакать русский человек. (Владимир Анатольевич назвал вчера труповоза Захаром Воробьёвым — и объяснил, что это из Бунина, что это персонаж, выпивавший четверть. Правда, директор не сказал, чем этот персонаж кончил). В русском залихватском пьянстве будто есть элемент героизма, объяснял Таволга (Никита ещё почти трезв был и слушал, и теперь помнил). Пить, бахвалясь, пить с целью перепить, наконец, пить до смерти. Готовность отдать жизнь за бутылку, преданность бутылке — едва ли не большая, чем преданность некоторых учёных науке.

— Ну вот что, черти португальские, — сказал Никита улице (по ней прокатил первый автобус с пятком сонных пассажиров), — с этого дня... начну пить в меру. Водка — не цель моей жизни. И нечего мне тут!.. Водка есть удовольствие. А если так, то надо и пить умеренно: ради удовольствия, а не ради мученья. Не то пахнет мазохизмом. Нет, не пахнет: мазохист же наслаждается собственными муками, а я с похмелья страдаю. Мазохист — это наш Таволга. Вот где его скрытое счастье, совсем не в газовой религии. Надо будет сказать об этом Светке.

У двери в подвал Никита рыгнул, поспешил закрыть рот ладонью. Но вроде бы тошнота отошла. Попить бы чего-нибудь сильногазированного: кока-колы или кваса «Кружка и бочка». А следом накатить ещё пивка. Но денег нет — ни шиша. От зарплаты уже ни копейки не осталось. И в холодильнике, кроме яйца, рассыпанного творога и скисшего молока, ничего. День зарплаты — через неделю. И попросить выдать деньги вперёд, по *семейным обстоятельствам* не у кого: бухгалтерия институтская ведётся в Москве.

Может, у труповоза что осталось: две-три банки пива.

А всё труповоз!.. Захар Воробьёв! Удовольствие, говоришь, Никитка?... Вот уж на кого надо сердиться, так это на труповоза. Напоил чуть не до выблёвыванья кишок (и это называется водка с антипохмелином?) — да ещё как-то *по-мужски* всё глядел на Светку. Она и заигрывала с ним. Она начала? Он? Кто знает: не залез ли труповоз, чёрт шестидесятилетний, Светке под платье? У труповоза было жарко, было натоплено, и было много водки и горячего чая, Светка разморилась... После работы Никита зайдёт к труповозу, одолжит денег или пивка попросит; потом опохмелится сам и опохмелит Светку, и спрашивает её на тему вчерашнего юбилея. Ревность, как сказала ему Светка, давно уже стала в этом доме развлечением.

В подвальной техкомнате Никита снял и повесил дублёнку, надел синий, неряшливо обвисавший на его фигуре халат, взял с полки пластмассовую бутылку «Мистера Мускула»

(Никита знал, что мыло, жидкости для мытья, швабры, тряпки чистоплотный доктор покупает на свой счёт, потому что кто-то в Миннауки забыл о соответствующей статье расходов в смете; Никита подозревал, что забыл нарочно — чтобы поиздеваться над опальным неудачником-учёным, списанным из Москвы в Сибирь) и добавил тёмно-зелёной густой жидкости в одно ведро. Запахло ненатуральными зелёными яблоками. Никита сел на табуретку. Голова и кружилась — но меньше, — и в ней стоял пивной шум (приятный), и в желудке ещё бродило, но тошнить уж не будет, Никита знал по опыту.

— Надо помыть голову. Полегче станет.

Никита слез с табуретки, с коленей наклонился над ведром. Окунул в воду голову. По самую шею. Вода была такая холодная, что мгновенье Никита как бы лишился головы, почувствовал себя безголовым. И тут же голова появилась — от ледяной воды её будто стянул тесный обруч. Никита был рад этой боли. Мазохист? Нет, пусть эта боль вытеснит ту, пьяную боль... Он выдавил на голову из «Мистера Мускула». Сильно пахло ненатуральными яблоками. Волосы намыливались плохо, ну и пусть.

Он снял халат, вытерся, пятернёй сделал себе «причёску», взял из угла швабру и вынес ведра в коридор. Сунул в ведро с «Мускулом» швабру. На часах было 6:26. Он сегодня раньше положенного. Дисциплинированный похмельный дежурный.

В лаборатории был открыт только внешний отсек. Во внутреннем была заблокирована дверь. И опущены герметизирующие шторки, понял Никита. Окно во внутреннем отсеке было единственное, выходившее в личный кабинет Таволги, но о герметизации можно было понять по мигающему на пульте жёлтому индикатору. Значит, доктор ставил опыт (всё правильно: не то мозги у трупака прокиснут) — и дрыхнет теперь в скафандре. После очередной неудачи. Не спал, наверное, мучился всю ночь. Или так устал, что спал как младенец?

Никита представил, как Владимир Анатольевич, проснувшись, выйдя из лаборатории, здороваётся с ним и хвалит его. И удивляется его алкогольному мужеству: после такой потрясающей пьянки явиться в лабораторию и мыть пол, потому что понедельник, и старшему лаборанту по графику полагается дежурить. Все спят (даже обязательный труповоз вряд ли оклемается до обеда — особенно если он Светку *уговорил*), — а он, Никита, вместо того, чтобы учинить разбирательство с неверной женой (неверной ли?), усердно служит (прислуживает) делу науки, отмывая с «Мистером Мускулом», пахнущим ненастоящими яблоками, рваный линолеум.

Зачем вообще Никита поднялся ни свет ни заря? Вчера он собирался попросить у доктора отменить (перенести) дежурство, но, встретив спокойный (немного странный, как бы возбуждённый, но ведь доктор не пил) взгляд Владимира Анатольевича и зная его отношение к пьющим, промолчал. И гордость взбунтовалась: ещё чего, просить!.. Я покажу, как умеют и пить, и работать русские люди!.. Ну, и показал. Настоящий алкогольный героизм. Через тернии к звёздам. Простых путей не ищем, а сложные нас сами находят.

Коридор Никита вымыл наскоро. Так, развозёкал да подтёр «мускульную» водицу. Потом вошёл в открытый лабораторный отсек и стал не торопясь тереть «лентяйкой» линолеум. Увидел на столе, возле монитора, журнал анализов. Неужели так уж нужно заполнять его? Журнал этот бюрократический никто никогда не читал и читать не станет. Он говорил Светке, что в журнале можно писать сочинения на свободную тему, о Пушкине или о том, как провёл лето у бабушки. Светка смеялась и соглашалась, но Никита не писал ни о Пушкине, ни о Фонвизине, а писал результаты химических анализов, очень похожие на

предыдущие результаты и ненужные. Вот и сегодня, после уборки и после получаса на то, чтобы привести себя в порядок, с 8:00 до 14:00 он должен брать пробы пентаксина: провести шесть часов во внутреннем отсеке, записывая в журнал цифры и рисуя органические формулы. Как игра какая-то, думал Никита, начиная злиться на доктора, игра в послушных мальчиков. К китайской матери! Он просто проспит эти часы в скафандре, наденет памперсы, и проспит весь рабочий день, а результаты перепишет пятничные. Ил с прошлого месяца. Пусть Таволга уволит его. Не нужны никому эти результаты. Будь они нужны хоть Таволге!.. А где же твоё алкогольное геройство? — спросил его насмешливый внутренний голос. — Доктор выйдет, и тебя похвалит, — и бы будешь рад стараться. *Нам денег не надо, работу давай?*... И это — гордость?

Никита икнул (ещё бы банку «Охоты»! А после неё и закусочка бы не помешала), индикатор на пульте погас, дверь внутреннего отсека открылась. Доктор. В скафандре. Выпуклое стекло шлема немного запотело. В баллонах мало что осталось, подумал Никита. Ему показалось, будто доктор, наверняка полночи, а то и всю ночь не спавший (в скафандре этом, сконструированном на каком-то оборонном заводе, ни за что не выплывешь), выглядел бодрым, и глаза его за шлемом, часто моргающие, поблёскивали, как у пьяного. Доктор пошатнулся, наклонился немного вперёд — так, что Никита отшатнулся. Глаза доктора не просто блестели, а в них словно плясали адские огоньки. «Фанатик! Газовый верующий!» — подумал Никита, а вслух сказал:

— Доброе утро, Владимир Анатольевич.

— Привет, Никита.

Никита вдруг — в мгновение — представил, что доктор разрабатывает в лаборатории не пентаксин, а синтетический наркотический газ (не разрабатывает, а уже разработал, но надо ещё улучшить), и что блеск в глазах и сатанинская работоспособность происходят не от научного фанатизма или успешного нахождения очередного «шарика» в формуле, а от приёма дозы «товара». Доктор-директор, проповедуя воздержание от табака и алкоголя, давно уж посадил и себя, и Любовь Михайловну, *странно* преданную ему, на веселящий газ, который скоро сделает и его, и его сожительницу миллионерами. (То есть одного его, потому как доктору Дворникевич недолго осталось). Вот для чего Таволге нужен был институт. Прикрытие. Крыша. Самая неприступная и непробиваемая: правительственная, миннаучная. Да ещё секретная.

Очистка воздуха!.. Замаскировался, химический доктор!.. А он-то, Никита, вместе с своей глупой Светкой, думает, будто доктор не лжёт. Доктор, может, и не лжёт, говоря о постороннем, *незначительном*, о пьянице-отчине или о графике дежурств, но в крупных делах он первейший лжец. Такой ещё первоклассный лжец, который ловко умеет притвориться правдивым, открытым человеком и внушить если не доверие... то симпатию. В общем, под удобно сидящей маской уважаемого человека, неутомимого, фанатичного учёного, заниматься в лаборатории вовсе не наукой и лгать так, что вся Светкина теория о скуке лжи разлетается в пух и прах.

Вот где *интерес* доктора! И вот в чём его настоящая *интересность*.

Владимир Анатольевич вернулся зачем-то во внутренний отсек. Забыл, наверное, что-то.

Никита поделится своей догадкой со Светкой. Вечерком, за пивком, они вместе придумают, как расколоть доктора. Не напрасно же они терпели тут лишения и нужду долгие годы, не напрасно же гробили себя алкоголем и сигаретами. Не напрасно же лишили

себя научной карьеры и, можно сказать, полноценной семейной жизни, прозябая в этом бараке. Про барак — будет вступление к той речи, которую они со Светкой произнесут перед доктором. Светка добавит в эту речь ещё чего-нибудь эдакого, пылкого.

А доктор-то молодец! Хитрая бестия!.. Как околпачил правительство!.. Но почему — околпачил? Вполне возможно, что наркотический газ разрабатывается с ведома Миннауки или Минздрава, или ещё какого-нибудь «Мина» (Минэкономики), и разработки засекречены так, что знает о них один доктор, ну, ещё труповоз, который и виду не подаёт, но который вознаграждён. То-то ему весело живётся в этом сарае! Ковыряется себе в огорожке, а зимой возит дровишки и по пути мертвецов на кладбище, получает там, сям какие-то бумаги — и гнусавенько Розенбаума напевает.

Нет, Никита со Светкой тоже не лыком шиты!

Доктор вернулся (в руке диктофон: записал очередной научно-газовый провал):

— Как гулялось, как спалось?

— Выживу, Владимир Анатольевич. Вашими молитвами.

— Молиться я не умею, а вот трудотерапия — дело хорошее. Что это у вас, Никита, халат такой мокрый?

Всё-то видит!..

— А это от трудового пота, Владимир Анатольевич.

И ведь придумал же доктор: скафандры, через шесть часов, мол, теоретически происходит распад, поэтому без скафандров небезопасно, малейшая концентрация и так далее, — а мы-то, дураки, верим! Вот уж помешанный так помешанный! Всех вокруг пальца обвёл! Откуда нам знать, что скафандры затем, чтобы не надыхаться и не сделаться такими же счастливыми, как наш великий учёный? Пентаксин? Неудачная формула? Пишу в журнальчик самую настоящую туфту! Играем тут спектакль, а режиссёр-доктор за кулисами посмеивается. Сделает новую порцию газа, передаст труповозу, а потом наполнит контейнер псевдонаучной дрянью — для нас, идиотов. Придумал же!

Поди уж сбывает газ! Через труповоза. А трупы эти — померли от газа. И доктор всё улучшает газ, чтоб не помирали. А чтоб подсаживались и продолжали потреблять. Вот оно что.

Доктор положил диктофон на стол, у клавиатуры, и стал отвинчивать шлем.

«А я помогу ему сбывать товар. Я наркодилером стану. Мне сам чёрт не брат. Под миннаучной-то крышей! Да я ментам стану газ продавать. Оптом поставлять. В баллончиках из-под углекислого газа. Отличная идея! Вставил баллон в сифон, нажал ручку — и обалдел».

Доктор неловкими движеньями рук отвинчивал шлем. Не получалось у него.

«Тут перспективы-то какие! И за границу в баллончиках будем экспортировать. Ни одна таможня не догадается, что за лимонад будут готовить клиенты доктора. И болезнь сожительницы Таволге на руку. Ему больше достанется. А он потом молоденькую попку себе найдёт. Светка в последнее время равнодушна к нему. Кое-что знает? Уж, поди, ластилась к доктору, показывала постельные таланты! Любовь Михайловна-то не зря ревнует: не знает толком, к кому ревновать, не то к трупу, не то к живым. Но ревности на пустом месте не бывает!»

И у Никиты сильнее заболела голова. Уже ему казалось, что все вокруг всё знают, и лишь он не при деле. Все одурачили его, и Светка не с ним, а со всеми. Конечно: меньше народу — больше кислороду. Чем меньше участников, тем больше размер части.

— Помогите же мне, Никита. Что вы стоите как столб? У меня тут заело.

— Извините, Владимир Анатольевич. Задумался.

— Похмелье, мой друг, неизвинительно.

И ничего у доктора не заело. Просто шлем при откручивании приподнимать надо. Резьба уже потёрлась. Никита снял с головы доктора запотевший шлем, а потом приподнял руками баллоны — и удерживал их на весу, пока доктор разгерметизировал скафандр.

— Спасибо, Никита.

— Да не за что.

Оглядев его фигуру в белом старом халате, тщедушную, сутуловатую, с рукой, потирающей поясницу, с гримасой боли, сменившей на лице улыбку, Никита подумал, что этому проповеднику трудотерапии самому бы не помешала трудотерапия.

— Вы бросите пить, Никита. Сегодня. — Доктор взял со стола диктофон. Посмотрел на наручные часы. — И Светлана бросит. Навсегда.

— Как скажете, Владимир Анатольевич.

Доктор надыхался своего газа!

Провожая его, Никита выглянул в коридор. Владимир Анатольевич почему-то не снял халат, так и ушёл в нём наверх. Забывчивости за Таволгой Никита прежде не замечал. От старости и от *чрезмерного употребления* доктор быстро расклеится. Надо брать тут всё в свои руки, пока старпер всё не загубил. Вечером Никита поговорит со Светкой. Прижмёт её к стенке.

Никита вернулся в лабораторию. Трудотерапия!.. Если б от неё проходила головная боль и исчезало похмелье, в России не было бы ни одного тунеядца. Люди работали бы по шестнадцать часов в сутки, и выпивали бы прямо за работой.

Эх, ещё бы пивка. Никита протёр глаза. Хотелось спать, и лаборатория виделась как в тумане. Глаза у него, наверное, красные, как у крыс из «зверинца». «В организме человека нет ничего, — поучал доктор Таволга, — что не могла бы испортить водка». Окунуться бы ещё в ведро, да вода уж больно грязная. Сколько же он вчера выпил?... Труповоз, несмотря на обмытые 60, выпить горазд. И подход к питию у него оригинальный: пьёт он, не как вообще люди пьющие, а редко, но метко. Другие по пивку да по двести грамм каждый день, а он раз пять в год напьётся, — но выпьёт цистерну водки. Труповоз, казалось Никите, выпил столько же бутылок, сколько он, Никита, рюмок. И если, думал Никита, мне так скверно, то каково же ему?

Как всё в жизни глупо! Неужели люди рождаются на свет только для этих разных глупостей: ходить 5 лет в ясли и детский сад, 11 лет в школу, 6 лет в университет, жениться, спать с женой, есть кашу, творог и суп, мыть полы в лабораториях, получать маленькую зарплату и пить водку. И стариться. Неизбежно стариться, с болезнями, камнями в почках, остеохондрозом, циррозом. А потом умереть, будучи перед смертью абсолютно уверенным, что точно так же, как ни интересовала никого твоя жизнь, ни огорчит никого и твоя смерть.

Что-то вчера болтал на эту тему труповоз.

«Куда больше людей волнует картошка в «ямке» или цены на берёзовые дрова, чем жизнь ближнего. Чистота в лаборатории некоторых людей заботит куда больше, чем... похмелье лаборанта. Дурацкое совдеповское дежурство! Доктор ещё бы комсомольские собрания ввёл! Линейки, Лихтенштейн его побери!.. Чем реже мочишь полы в этом доме под снос, тем дольше он простоит! Такие, как Таволга, в жизни ничего не могут добиться, а в науке мнят себя первопроходцами и начальниками. И нороят командовать. Зачем

заставлять таскать воду из колонки и мыть полы, как не ради ощущения, что ты тут главный и самый умный? Изобретатель газа. Конопляного облака. А вот мы ещё поглядим, господу доктор и труповоз, кто тут у нас пусть не самый умный, но самый хитрый. Не слышали о горе от ума? А я вот вытащу со склада все контейнеры с образцами газа — и пушу на рынок. Найду какого-нибудь наркобарыгу — и отдам за полцены. За четверть цены. Пусть наваривается. Мне и четверти хватит. Куплю квартиру или, лучше, коттедж за городом. За городом Москвой! И ещё подумаю, взять с собой Светку, или послать её подальше... Чёрт, я, кажется, сплю. Я сплю стоя. Я опираюсь на швабру и сплю».

Никита посмотрел на часы. Десяти минут как не бывало. Ну и пёс швейцарский с этими минутами. Вот так бы и подремать весь день. С «лентяйкой», над ведром воды, в синем халате. Сладко мечтая о лучшей жизни. И тем слаще мечты, чем горше жизнь. Тем больше хочется пить, чем суше во рту. Дядька из миддл-класса, владелец компьютерной компании, воображает о собственной транснациональной корпорации, а уличному нищевроду подавай дворец с лакеями, обед из двенадцати блюд, принцессу в постель и полцарства в придачу.

После уборки ему торчать тут шесть часов, надевать скафандр, пускать газ, брать пробы воздуха, делать анализы и заполнять туфтой журнал!.. Шесть часов кряду в лаборатории, в жутком космонавтском скафандре, от которого плечи ломит! И завтра это же? И до пенсии это же?

Израильский бог, и как же доктор работает и в субботу, и воскресенье? Ему же лет — как труповозу, чуток поменьше. Не удивительно, что старик падает у порога. И улыбка его — *мученическая*. Какой уж там, к дьяволу филиппинскому, наркотический газ!

Доктор не умеет притворяться. Он улыбается, а мы-то знаем, что радоваться ему нечему. И не мог он придумать что-то половчее для доения Миннауки, чем двухэтажный сарай в *столице деревень* и зарплата, получая которую вспоминаешь о революции и хочешь быть беспощадным идейным бойцом товарища Свердлова?

А как могли в Москве клюнуть на докторскую утку о каком-то супергазе, служащем оболочкой для вируса и делающем не то мёртвых живыми, но то живых ещё живее, чем они были до того, как доктор попользовал их? Умом Россию не понять! Но ведь это наш, Тютчев, написал, а не какой-то там американец или немец!.. Написал — и, значит, вполне понимал её! Я, со шваброй, тоже её понимаю!.. И доктор, прицепившийся к федеральному бюджету, тоже вроде бы понимает. Как там у Тютчева дальше?... «В Россию можно только верить». Верно сказано. В Миннауки верят в Таволгу. И Таволга верит в то, что в Миннауки в него верят. И Горбачёву с перестройкой, и Ельцину с рынком и демократией, и Чубайсу с приватизацией, и Гайдару с шоковой терапией мы все верили. И они все верили в то, что народ в них верит. А до них были Сталин, Ленин, Николай Кровавый, Николай Палкин, Иван Грозный... Знать об этой русской вере, очень смахивающей на православную ортодоксию, использовать её — и есть понимать Россию умом. Вот что имел в виду Тютчев. Зашифровал, поэт гениальный!.. А он ведь, кажется, цензором по совместительству служил. Вот и закодировал своё послание.

С похмелья как-то гладко думается. Хоть бросай науку — и иди в журналисты. Или литераторы. Да кому они нынче нужны, литераторы?... Времена Тютчевых прошли. Безвозвратно. Кончились вместе с цензурой.

Никита зевнул.

Нет, доктор явно тут что-то своё создаёт — и втайне от Миннауки. Министерство не даёт ему денег — а он в отместку наркотический газ создаёт. То есть крыши Миннауки не

будет... Вот доктор и возится, складировать контейнеры, не умея без крыши конопляный газ продать. Я б на его месте тоже побаивался. Могут и пристрелить. Или искалечить. А говорят, к старости очень уж жить хочется. Всякая чушь в голову лезет. А голова опять трещит. Пивка бы. Две, три банки. И спать. Прямо взял да упал бы на пол — и уснул. Не надо было соревноваться вчера с труповозом. Кто ж его, гиганта водочного, перепьёт? Пусть он и старикан. Такого питуха не перепьёшь. В него водку вливать всё равно что в глотку вон этому трупаку.

Вздыхнув, Никита обмакнул швабру в ведро, поднял её, стал смотреть, как желтоватые в люминесцентном свете струи сбегают на истёртый линолеум.

А потом посмотрел на хирургический стол. На труп.

Глаза выковыряны. С чего бы, что за офтальмология? Серый. И простынёй не закрыт. Почему доктор не утащил его в холодильную? Это что, я должен делать?... А вот девчонка-то классная была. Не мог доктор второй её попользовать!.. Знал, что у меня с утра дежурство, что я пялиться на тело буду. Сам, наверное, труположец, некрофил старый, пялился. Любовь Михайловна-то не зря ревнует. Всё-таки они ненормальные, и он, и она. Газ, дежурства с тряпкой, глаза выковыряны. Доктор — псих. И без выходных и отгулов вкалывает. Что ему понедельник, что суббота и воскресенье — всё газу посвящает. А как только трупы из морга подвозят — так он днюет и ночует у хирургического стола. Он ведь уже лет десять в проекте отработал, где-то в Москве. Или пятнадцать. Говорят, Горбачёв на проект дал добро (чтобы развитой социализм во всём мире построить). То есть доктор чуть не всю жизнь никчёмным газом занимается. Маньяк. И ведь всё впустую. А ещё про других говорит, что они пусто, ненужно живут. Жить учит. Пить не надо, курить не надо. Учитель тоже нашёлся. Наркоман подвальный.

Никита начал мыть отсек. Тряпка цеплялась за кое-где прорвавшийся, а кое-где оторвавшийся на стыках линолеум. Капитальный ремонт тут нужен, а не дежурства со шваброй. Никита повернулся, чтобы помыть под топчаном, и ударился боком об угол стола.

— Уйяа!

Как больно!.. Он поскользнулся на мокром линолеуме, швабра вылетела из его рук, упала на топчан. Он понял, что падает, успел подставить руку, рука скользнула по линолеуму, одна нога упёрлась во что-то, и это что-то сдвинулось, а вторая толкнула ведро. В боку стало так жгуче больно, что Никита зажмурился. Из-под век потекли слёзы. «Я рёбра сломал, что ли? Вот что значит: день не задался! И какой выживший из ума изобретатель придумал для пола линолеум? Какой-нибудь конькобежец на пенсии?»

— Наказание египетское! Ну, и умру здесь. Прощай, Светка. Прощайте, Владимир Анатольевич. Я погиб во имя науки. Во имя конопляного газа.

Халат намок. Никита долго лежал бы в луже, не будь вода такой холодной. Он схватился за ножку стола, закреплённую в полу, охнул от боли, подтянулся поближе к столу. Затем, отталкиваясь руками от пола, перебрался на сухое место. Прислонился к стене возле медицинского шкафа.

С одеяла на топчане свисали волосья швабры. С них капало зеленоватое. «Доктор четвертует меня за одеяло. А не всё равно?»

Боль в боку вроде бы не усилилась. Может, он сильно ушибся, только и всего. Появится у него синяк размером, как выражаются в романах, с чайное блюдце. И скажет он Светке: вот, пробовал продать партию наркотического газа со склада (ты, Светка, знаешь, о чём я), но наркодилерам не понравилась конкуренция. Ночью обещали прийти и убить. Прощай,

любовь моя Света. Мне было с тобой лучше, чем с теми, с кем я был до тебя». И если Светка пролепечет с детским страхом на лице: «Какого такого (тут она вставит 5–6 отборных матерков, поразительно сочетающихся с детским страхом на личике) фи́га ты мне бандитские страсти-мордасти рассказываешь? Говори правду, паразит, не то супа больше не получишь!», — то, стало быть, она неповинна. Чиста, как тот самый ребёнок, что проявился на её личике. Но вот если она скажет, отворачиваясь и делая вид, будто уронила заколку для волос или что ей надо поправить подушки на кровати: «Это ты у труповоза на юбилее со стула грохнулся. Не помнишь? Или с утра в холодильник вклеился на полном ходу — когда полез за банкой «Охоты». Так?», — и на личике её в этом случае покажется не страх (тем более детский), а вполне взрослая досада — точно такая, какую испытывают хитрецы и надувалы, когда их план и их стратегия бьются вдруг разоблачены и поставлены под угрозу, — то тут ясно: Светка обманывает.

Он поглядел на угол стола. Об этот стальной угол и рёбра сломать можно.

А что? Попасть в больницу со сломанными рёбрами было бы неплохо. Лежал бы в палате. Больничный бы ему оплатили, полис у него есть. Медстрах, соцстрах, — всё тут присутствует: контора-то государственная. И выплаты, значит, по производственному травматизму, были бы. А как же: конечно, травма на производстве. Во время дежурства. Во имя Родины, Совдепии и Эрэфии, и отца и сына, и научного и похмельного духа. Он бы лежал в больнице — а Светка бы без него в квартире пила бы. Ей бы тоскливо было, без него. Она ходила бы к нему в больницу, в палату для переломанных, робела бы перед суровыми дежурными медсёстрами, ревновала бы к ним, носила бы ему пирожные (бисквитные), яблоки, мандарины и холодное пиво (занимала бы на всё это денег). Было бы чудесно. И они бы пили вдвоём в палате. Или в туалете. И он, постанывая от боли в боку, имел бы Светку в ванной больничной комнате, есть же там ванные комнаты. И доктор бы носил ему передачи в палату — и стеснялся бы покупать дешёвый сок, и покупал бы самый дорогой.

Откуда-то доносилось шипение. Такое, будто прокололи велосипедную камеру. Нет, автомобильную. «Из меня воздух выходит!» — засмеялся Никита, счастливый своей последней фантазией и довольный тем, что в боку уже болело мало. «Э, не буду пускать газ, а перепису какие-нибудь прошлые результаты! А сам выплюсь... Что? Газ?»

Вмиг сложилась в его голове картина.

Падая, он, должно быть, ударил сапогом контейнер — возле днища — так, что тот сдвинулся. Это левой ногой. А другой ногой он угодил в ведро с водой (и с «Мистером Мускулом»). Ведро опрокинулось, и пенная вода окатила контейнер. А возле дна контейнера — это, значит, там, где...

Все счастливые картины — и Светка с её любовью, пивом и ревностью к медсёстрам, и доктор-директор с томатным и персиковым соком, смущённый, чувствующий себя виноватым в том, что его сотрудник повредился, и производственно-травматические (приличные такие, на новый диван хватит) выплаты из соцстраха, — моментально улетучились из его головы. «Как газ из контейнера».

На контейнере с пентаксином горел красный индикатор. Красный сигнал означал: газ выходит. Всего могло индицироваться три сигнала: жёлтый — дозированный выход, красный — полный выход, зелёный — контейнер заблокирован.

Полный выход. Стопроцентный. Пока ничего в контейнере не останется. Ни-че-го. Уже, наверное, не осталось.

Никита не помнил, как вскочил на ноги.

«Голландский хрен, чеснок и помидоры! — Он взглянул на стол. Посмотрел на безглазое серое тело с чётко выделявшимися на лице, на шее, на руках, ногах малиновыми прожилками. Прежде он, кажется, таких прожилков у мертвяков не видел. — А ведь ночью доктор пускал свой конопляный газ и копался в труп! Уж не нашёл ли труположец формулу волшебного газа? Вышел усталый как чёрт, кривой от хондроза — но довольный, как тысяча и один Билл Гейтс! Мама бразильская и папа римский!»

На электронных часах контейнера размеренно, как бы с равнодушием, мигало, появлялось и пропадало, двоеточие между часами и минутами: 6:51... 6:52.

— А что такого страшного? — сказал Никита, чтобы слышать свой голос. Голос был нормальный. Похмельный, немного хриплый, немного испуганный. Его, Никиты Дурново голос, а не отравленного газом человека, вот-вот собирающегося превратиться в... серый труп, видимо, ценный для офтальмологии. А при чём здесь этот настольный труп? Он — и был труп; Никита — живой. И сейчас, *после газа*, живой.

Где-то скрипнуло. Будто кто-то вошёл. Ни черта в этом отсеке не слышно. Облепили всё изолирующими панелями. Зачем? Чтобы воплей поднимающихся мертвяков на улице не было слышно. Чтобы население не пугалось. Жалюзи у доктора закрыты. Ну, закрыты — и хорошо.

Никита наклонился, отключил дозатор, перекрыл выход газа из контейнера. «Пять процентов осталось... Ерунда, возьму газ из отбракованных версий. Перекачаю. Или подменю контейнер. Подумаешь, мелом написано. Тут подчёркнуто, там не подчёркнуто. Я подчеркну, да и всё. На складе контейнеров — штабеля. Оптовый склад дури. А бояться газа нечего».

Полгода назад Никита уже вдыхал из контейнера. Вдохнул он пентаксин-65 какой-то там модификации. Прохутился, износился один из скафандров: оторвалась пятка, её шуршанье по линолеуму он слышал в телефонах. Ничего с ним, надышавшимся газа, не случилось. Изменений в организме он не почувствовал. Сладковатый запах газа — и всё. Чуть потянуло в сон, стали слипаться глаза, и минут пять тряслись руки и дрожали ноги, и ещё будто немел язык — как от ультракаинового укола, когда зубы лечат. Но это всё скорее от страха, чем от пентаксина. Любой бы на его месте испугался. И Светку жалко. Между прочим, одна бы осталась. Стать серым трупом? Или кем-то полуживым, материалом для опытов? Материалом, который «отработают» доктор и его Любовь Михайловна — и который затем труповоз отвезёт на «термосе» на кладбище? Там таких как он, «отработанных», хоронят по фальшивым бумагам на госсчёт в общей могиле. Он-то знает. Поэтому он никому не сказал о той случайной утечке. Камер слежения в лаборатории и вообще нигде здесь нет; тут всё допотопное, от компьютеров до уличного деревянного сортира. Потому-то в здешнюю науку и не верится...

Никита убрал с топчана швабру, приставил к столу. Надо будет застирать одеяло. И простыню. Замочить в порошке. Светке, что ли, поручить. Всё-то у тебя — Светке, паразит никарагуанский!

За водой идти ему не надо: есть второе ведро. И море разлитое под ногами. Не упасть бы снова. Никита сбросил мокрый халат на топчан. Рубашка тоже на спине промокла. И джинсы. И в сапогах вода. Не перелом рёбер, так пневмония. Больница. Светка и доктор с соком. Персиковым. Нет, томатным. Томатный с водкой хорошо идёт. Никита закатал рукава рубашки (домоет, и сбегает домой за сухой рубашкой и за пуловером, и калоши с носками

шерстяными наденет, — а заодно заскочит за пивком к труповозу). Томатным, значит. Изготовившись мыть, Никита взял обеими руками швабру. За стеклом в кабинете Владимира Анатольевича поднялись жалюзи.

Никита встретился взглядом с доктором. Тот сидел за столом и через стекло и через очки, немного увеличенными глазами, смотрел на Никиту. А за спиной Таволги стояли и смотрели труповоз и Любовь Михайловна. Доктор улыбнулся Никите. Улыбнулся такой блаженной, долгой, счастливой улыбкой, какой лаборант у своего начальника ещё не видел.

*28 октября, понедельник, 6:59. Никита Дурново*

Улыбка? Улыбка — это здорово. Никита улыбнулся Владимиру Анатольевичу, и труповозу, и Любви Михайловне, и помахал им рукой. Доктор помахал в ответ. Наверное, Владимир Анатольевич видел, как Никита упал, как опрокинул ведро, облил контейнер и испачкал постель на топчане, — но несколько не сердился. Это Максим Алексеевич, добрая японская душа, уговорил доктора не сердиться. Зачем сердиться, когда можно не сердиться? Никита ещё раз подумал эту мысль. Она была такая простая — и такая, казалось, глубокая. Словно целое философское учение в ней воплощалось. А зачем, правда, сердиться и обижаться? Никита мыл линолеум, в голове его звучала красивая мелодия — из «АВВА», «Dancing Queen», — и всё вокруг будто переменялось, и уже без обратного хода. Навсегда. Грусти, тоски и обид в их институте с сегодняшнего дня не станет. И их и не было бы, не выдумывай они их сами. Это всё фальшивое: зарплата, туалет во дворе, разные апельсиновые и манговые страны, которые из институтского окна не увидишь, и всё прочее, которое и определить-то нельзя. Этому всему прочему и непрочему противопоставляется: любовь, наука (у доктора получится, если он не будет сердиться и по-прежнему будет любить своё дело) и их дружба. Разве они тут враги? Многие им позавидовали бы — но и тем многим надо не сердиться, а дружить. Ларчик просто открывался!

Никита поднял голову, глянул через стекло: доктор, Максим Алексеевич и Любовь Михайловна говорили о чём-то. Владимир Анатольевич был серьёзен — и всё же, казалось Никите, самую малость улыбался.

Радоваться! Почему бы ему, Никите, не радоваться? Мыть пол? Да это пустяки!.. Он ведь любит, когда в воздухе пахнет зелёными яблоками. Пусть и ненастоящими. И разве не любит, когда Владимир Анатольевич улыбается? Если б все на свете улыбались — может быть, все были бы счастливы. Говорят, американцы все улыбаются — просто так, без повода, по давней своей американской привычке улыбаться, — и многие счастливы, и потому в Штаты и валят валом мигранты. Мы бы, русские, улыбались, и нам не нужна была бы Америка. И водка не нужна была бы.

А ведь у него не болит голова. Он остановился, перестал тереть шваброй линолеум. Совсем не болит. Никита помотал головой, сделал приседанье, потом наклон, потом снова присел. Ни чуточки не болит. Со-вер-шен-но. И бок не болит. Он даже надавил на то место, которым ударился. У этого вот ребра. Со-вер-шен-но не болит.

Максим Алексеевич сказал вчера с загадочным видом, что водка у него с антипохмелином — и с утра голова поболит, но очень быстро пройдёт. Да, Никита помнил эти его слова. Вот голова и перестала болеть. Чего только не придумают! «Вот это химия так химия! Может, это Максим Алексеевич его изобрёл? Вместе с доктором?» Пива Никите больше не хотелось. И воды или кока-колы — тоже. Ничего не хотелось, кроме того, что оставаться радостным и улыбаться. Он придёт потом к Свете и расскажет всё. О чём думал сегодня. Об улыбке доктора. Он любит Свету, она любит его, — им ли не улыбаться, не радоваться?

Никогда ещё Никите не было так хорошо. Он как бы заново родился. Ощущение

свежести — будто он попарился в бане и надел свежее, пахнущее зелёными яблоками бельё, — накатило на него, проникло в каждую пору его кожи, растворилось в организме. Он чувствовал, будто что-то струится внутри его тела, наполняет каждую клеточку. Никита будто из 35 своих лет перешёл в своё 18-летнее тело, юное и здоровое. Ему казалось, что он со шваброй скользит, почти не ощущая трения, по лаборатории. Скользит под красивую мелодию — будто он и впрямь конькобежец на льду.

Он вдруг понял, как он уважает и любит доктора Таволгу. И Любовь Михайловну Дворникевич. И Максима Алексеевича. И Свету. И всех в мире людей он любит. Всех, всех. Нет никого, кто не подходил бы для любви. Всем улыбаться, всех любить — и все будут счастливы. Все, начиная с него, с Никиты. Почему он прежде об этом не задумывался? Это прекрасно — любить. И это — так просто. Всё гениальное — просто!

Он обязательно скажет об этом Свете.

— Обяз... Обязательно.

Он хотел засмеяться, но у него не получилось. Он уже стоял у стола, не мыл пол. Он понял, почему запах зелёных яблок казался ему ненастоящим. Обычно «Мистер Мускул» пахнул не так, как сейчас. Сейчас он пахнул очень уж приторно. Очень уж сладко. Будто смешался с другим запахом, сильно сладким. Газ? Старые его версии пахли сладковато. А тут Никита не сразу почувствовал, потому что тут пахло зелёными яблоками: он же разлил ведро с «Мускулом». Язык во рту Никиты отяжелел. И ног Никита почти не ощущал. Они онемели. Вот что. Он устал тут кружить с тряпкой, изображать танцующую королеву, — и ему надо отдохнуть. Не зря же полчаса отдыха даётся после дежурства. Ему надо пойти к Свете, прилечь. Он отдохнёт немного. Нельзя так много радоваться. Это, наверное, вредно. Так же вредно, как пить неумеренно водку. Надо ему полежать полчаса, — и он снова будет полон... бодр... и сил.

— И... и. Мне... надо... сесть.

Лаборант сел на пол. У ножки стола. Палку швабры положил на ноги. Он держал палку руками, но рук не чувствовал.

«Почему язык плохо ше... ше... велится... и руки мои... онемели? Что... я сказал? Я говорил... У меня... нет головы. Где я?... Почему... меня нет?»

Его и вправду — будто не было. Из всего своего тела он чувствовал только узкую полоску кожи где-то на животе, и ещё подмышки. А ни рук, ни ног, ни груди с сердцем — ни головы. Лица будто бы не было, и носа, и ушей, и глаз. Он видел — но не ощущал, откуда идёт видение. Он слышал — но как-то без ушей. И он не мог больше ни говорить, ни шептать. Думать он мог — но думанье казалось ему страшно замедленным, каким-то слипающимся. Мозг его, казалось, не мог управлять телом; это было странно, необъяснимо; Никита лишь чувствовал свою голову, откуда-то изнутри, из какого-то таинственного центра в мозгу, а всего остального (рук, ног, органов, кожи. Полового органа тоже) как бы и не существовало. Так, будто какой-то хирург отрезал его голову от тела. Голова профессора Доуэля... В глазах Никиты замерцало, заплясали чёрные и серые пятна. Чернильная, струящаяся темнота из какого-то далёкого раструба понеслась на него. Страшно не было ни чуточки. Темнота летела не на него. Она уже была тут, темнота, но не окутывала Никиту, не обливала его, как чернила, а была, волновалась вокруг. Он тоже двигался. С темнотой. Он летел в ней, внутри. Голова его летела. А к голове было приделано тело, и оно летело, потому что было приделано к голове.

Лететь было хорошо. Чудесно. Иногда пить не вредно, сказал Максим Алексеевич,

пивший вчера водку из горлышка бутылки с такой лёгкостью, будто водка была водой. Лететь было здорово, но Никита откуда-то знал, что полёт не бесконечен. Никита куда-то прилетит. И это «куда-то» не будет лабораторией или кабинетом Владимира Анатольевича, и вообще институтом. «Куда-то», как в песенке из советского телефильма, окажется прекрасным далёком.

28 октября, понедельник, 7:00. Владимир Анатольевич Таволга

Владимир Анатольевич помахал рукой Никите.

Опрокинутое ведро, мокрый контейнер, лаборант в луже. Сладковатый запах пентаксина, «5,00 %» на табло дозатора — вместо «99,90 %».

Доктор чувствовал, что улыбается во весь рот — и не мог сдержать улыбку. А зачем сдерживать-то? Всё устроилось само собой.

Как это получилось?... Должно быть, Никита (похмельный, что тут скажешь!.. А вот что: похмелье послужило и науке, и человечеству! Вот уже где сработал закон единства и борьбы противоположностей!..) поскользнулся в луже мыльной воды, упал, двинул ногой дозатор — и активировал его. И не тотчас сообразил (похмельный!), что газ начал выходить. Когда сообразил, было поздно. Поздно не для одного Никиты. Не для одного института. Поздно для города, для страны. Для планеты. *Они* будут думать иначе, — но они ошибутся. Уже много лет, много веков, думая о деньгах, власти, славе и проповедуя свою ханжескую мораль, они ошибаются. Они приучили себя ошибаться. Они думают, что они приспособляются, — но они, незаметно для себя, делают и противоположное.

Итак, обратного хода нет. Ни для кого. Он, Люба, Максим, Никита, Светлана (которая спит, наверное, и преобразается во сне), Валера, тоже спящий, — все уже инфицированы. Идут последние минуты, когда все они могут ещё осознавать себя людьми. Старыми людьми. Людьми того, бывшего, мира. Уходящего мира.

Никита в лабораторном отсеке замер у стола. Он заметно побледнел.

Доктор поднялся с кресла. Отстранил Максима, нажал на пульте кнопку, дверь в кабинет закрылась.

— *Всё*, — сказала Люба.

— Это случилось, Владимир Анатольевич? — Это Максим.

Владимир Анатольевич кивнул, сел за стол. Включил компьютер. Достал из пиджака дискету и диктофон.

Вся жизнь — детство, папа, мать, отчим, школа, университет, партия, кандидатские и докторская, Ельцин, Дмитров-36, Клара, Саша и Женя, годы в подвале, — и последние сутки — утренний опыт с девушкой, прогулка по Цветному, пьяные оскорбительные выкрики там, второй опыт, со старшим прапорщиком, сочинение «предсмертной записки», мысли о Любе, о решающем утре, — быстро, как кадры, промелькнули в голове Владимира Анатольевича. Только последние часы прошли помедленнее, а последние минуты — совсем медленно.

Семь часов ноль минут. Двадцать четыре минуты назад доктор вышел из подвала, предчувствуя утомительный разговор с Любой. И за эти минуты лаборант изменил мир.

В шесть тридцать шесть — уходя от дежурного Никиты, Владимир Анатольевич глянул на часы, — доктор отправился в туалет (избавить организм от лишнего перед переходом не повредит — вот о чём думал он, сидя в туалете), а затем, напевая про себя «Пусть всегда будет солнце» (мотив и слова просились наружу, однако идти надо было тихо), поднялся на второй этаж. Взглянул на номерок «4».

Он скажет Любе так, как у него получится. Коротким экспромтом.

Не медля больше, открыл дверь ключом.

— Доброе утро, труженик вы наш, рук не покладающий Владимир Анатольевич.

Максим?

— Привет, Володя.

Это она.

Свет падал только от бра — из уголка над кроватью. Они — Люба и Максим Алексеевич — сидели на кровати. Одеты так, будто собрались куда-то. Она в деловом своём голубеньком костюме с юбкой (он великоват теперь ей). И он в костюме. В синем, *железнодорожном*. И под мышкой у труповоза выпирает. Кобура с пистолетом. Лица обоих темны, свет от бра шёл им в затылки, спины. Владимир Анатольевич, всё стоявший в прихожей, нажал на выключатель. От плафончика, от сорокаваттной лампочки, разлился тусклый жёлтый свет.

Доктор прошёл в комнату. Включил свет и здесь.

— Так вы всё знаете, Максим Алексеевич?

— Как не знать, Владимир Анатольевич? По долгу службы положено.

— Не надо этого делать, Максим Алексеевич. Я ведь верил вам.

— А мне и надо верить, Владимир Анатольевич. Ничего не изменилось.

— Не изменилось? Вы не понимаете! Если и не изменилось, то *изменится*.

— Вот это я как раз и понимаю.

— Люба?

— Нет, он сам.

— Упрямство победило скептицизм, Владимир Анатольевич, — сказал Максим. — Вам выпал один шанс из миллиона.

— Как вы поняли? — Доктор сбросил халат.

— Владимир Анатольевич, я ведь живу под вами. Я плохо сплю — но хорошо слышу. Да и догадаться было бы нетрудно. Весь октябрь вы — с явным нетерпением — дожидались трупов, чтобы попробовать газ. Такого нетерпения прежде за вами я не замечал. И вот — трупы. Я слышал, о чём вы говорили с Любой, как *звали её с собой*. Перед тем, как пойти ко мне на юбилей. Вы решили сделать то, что, по-видимому, задумали давно. Боялись, что всё быстро всплывёт, и поэтому не успеете. Скрывать вы не умеете. Спроси я вас прямо в лицо, сделали ли вы своё открытие, вы бы признались мне тотчас.

— Ночной опыт тоже прошёл успешно. Это я тебе, Люба, говорю. Все признаки — те же, все реакции — аналогичны. Только воскрешение прошло гораздо быстрее. В рамках моей теории.

— Вы надеялись на то, что после моего дня рождения все будут болеть с похмелья? — спросил Максим Алексеевич. — И я в том числе?

— Да. И вот вы явились ко мне с оружием. И Любу возле себя усадили. Вы не находите, что в этом есть что-то бандитское? Вы могли бы попробовать воздействовать на меня внушением. Но правильнее бы битьём лица или выкручиваньем рук. Это именно тот случай, когда внушение...

— ...лишь подогревает упрямство. Мы слишком хорошо понимаем друг друга, Владимир Анатольевич, чтобы попусту тратить последние минуты нашей *старой* жизни.

— Что? — Доктор снял очки, стянул с дужек резинку, уронил её.

— Кстати, похмелья у меня не бывает. Так, лёгкое недомогание. Мой организм легко переносит алкогольное отравление. И ещё на эту тему. Из пяти графинов на столе в трёх

была вода из колонки. Просто холодная вода. А теперь — главное. Я хочу *пойти* с вами. Давно уже хочу.

— Зачем же пистолет? И почему раньше вы молчали? — Он надел очки.

— Пистолет может пригодиться. Почему раньше не говорил? Вы бы не поверили. И доверие между нами разрушилось бы. Я, как-никак, начальник службы безопасности. Такие, как я, по должности близкие к эФэСБэ, всегда внушают подозрение и недоверие. И это нормально. Вы ведь думали об эФэСБэ, признайтесь. Ну вот. А теперь я хочу кое-что уяснить о газе. Прежде чем мы спустимся в подвал, и вы активируете дозатор, я хочу уточнить детали.

Кажется, газ нужен для того, чтобы сохранить полученный вами когда-то искусственный вирус. Вирус после создания погибал — чуть ли не мгновенно, так? Им нельзя было никого заразить. Поэтому нужна была защитная оболочка. Чтобы позволяла сохранить вирус так долго, чтобы он мог распространяться и передаваться. Если мне не изменяет память, во времена Дмитрова тридцать шесть речь шла о шести часах?... И при получении оболочки, при достижении шестичасовой сохранности в ней ваш вирус мог бы послужить новым бактериологическим, или биологическим, или химическим, или всё-в-одном, — тут я не знаю, как правильно, — оружием. Инфицированный вирусом человек становился бы... новым человеком. Практически неуязвимым. Ни пуля, ни тем более битьё лица не могли бы его уничтожить. И бессмертным. Никогда не болеющим.

— Никогда не болеющим, — вдруг повторила за труповозом Люба.

— В общих чертах верно, — сказал доктор. — Новый человек будет жить и вправду вечно. Раны от пуль или осколков у него будут затягиваться. Не имеет значения, куда попадёт пуля. Кроме головы. Кости будут срастаться. Регенерация будет возможна не тотчас после «рождения», но когда плазма носителя получит необходимую энергию. От ранений и следа не останется. Новый человек не боится ни холода, ни плохих жилищных условий, ни маленькой зарплаты. Он может жить в снегах и под водой — только давление его ограничивает. В подвале я расскажу вам подробнее. Мне не терпится спуститься. Грядёт новая эра, Максим Алексеевич. У нового человека большое будущее: он будет эволюционировать, развиваться. Новый вид людей неизбежно вытеснит хомо сапиенс.

— С одним уточнением: вытеснит не просто путём всеобщего заражения, но и...

— Да, Максим Алексеевич, мы с вами будем их есть. — «Кто не ест, тот не эволюционирует», — подумал доктор. — Они будут думать про нас, что мы плохие, но мы будем всего лишь голодные. Новому человеку нужно питать плазму, чтобы жить и развиваться. На первом этапе. Дальше возможны мутации. И *смена блюд в меню*.

— Вы возьмёте меня с собой, Владимир Анатольевич?

— Могли бы и не спрашивать.

Ему надо спросить у Любы. Короткий экспромт?

— Я пока не решила, — сказала она. — Надо было мне посмотреть, как ты оживлял девчонку.

— Люба...

Она поднялась с кровати. Поднялся и Максим Алексеевич.

— Я решу там, в подвале, — сказала она.

— Ну ладно, — сказал доктор. — Я переоденусь.

— Мы подождём вас на кухне, — сказал Максим Алексеевич.

— Честно говоря, — погромче сказал доктор, чтобы они там, на кухне, слышали, — я и

вправду готов был думать, что, узнав об успехе, на меня присела бы эФэСБэ. Были у меня эти мысли. Хотя, знаете, всё бы повернулось — *в любом случае* — по-моему. Они бы пустили, пустили бы газ...

Доктор стянул памперсы. Вот было бы забавно — в новый мир в памперсах!

Что ему надеть? Он и не думал об этом. Не думал о гардеробе для нового мира.

А какая, собственно, пиджачная разница? Надо надеть то, в чём будет удобнее *гоняться за дичью*. Только и всего. О тепле и *имидже* думать глупо.

Шапка, к примеру, ему ни к чему.

— У вас же должны быть какие-то служебные инструкции, Максим Алексеевич!.. — сказал он. — Вы их нарушаете, я уверен!

— Я должен защищать институт и исследования — и я делаю это и сию минуту, — отозвался с кухни Максим Алексеевич. — А о тайных инструкциях чиновники из Москвы не позаботились. Никто не принимал вас всерьёз. Что вы хотите ещё услышать? Если *мой доктор*, сказал я себе, создал то, что создать или открыть почти невозможно, то я рискну пойти за доктором и дальше. Ваше упрямство победило смерть, Владимир Анатольевич. Все — ваша бывшая жена, Министерство, президент Ельцин, ваши бывшие научные сотрудники, наконец, Светлана и Никита, считавшие, что вы находитесь в тупике, и я за компанию с ними, не говоря уж о Валере, которому дела нет до здешней науки, — ошиблись. А вы доказали, что упрямство настоящего учёного, или упорство, не понимаю разницы, сильнее временной правоты тех, кто торопится жить. Смерти я не боюсь. Я боюсь одиночества. И той старости, в которой буду никому не нужен. То, что я вчера говорил... правда наполовину. Я был пьян. Так что я, с вашего позволения, лучше уж буду с вами, чем против вас.

— Новые люди понятия не будут иметь, что такое выпивка, — сказал Владимир Анатольевич, застёгивая на джинсах ремень.

И подумал, надевая на пуловер пиджак (ради карманов): новый мир начинается с друзей, с союзников, а не с врагов.

— Я оделся, — сказал доктор. — Идёмте, дорогие мои.

Максим Алексеевич и Люба пропустили его. Он вышел первым. Закрывать квартиру? Зачем?

— Люба, не закрывай.

— Я и не собиралась.

— Может, вам надеть пальто, Любовь Михайловна? — сказал Максим.

— Новые люди не чувствуют холода.

— Вы же ещё не решили.

— Запах, — сказал Владимир Анатольевич. На лестнице стоял сладковатый дух. «Решать уже не надо. Всё уже произошло. Но как? Никита?» — Может, я и ошибаюсь.

— Запах, — сказала Люба. — Это пентаксин.

— Из моей квартиры какао пахнет, — сказал труповоз. — Дверь у меня открыта. А вы не заперли подвал?

— Там же Никита дежурит.

— Понедельник — день тяжёлый, — сказал Максим Алексеевич. — А уж для Никиты...

— Давайте потише, — шёпотом сказал доктор, открывая подвальную дверь.

— Хотите, я пойду первым? — шепнул ему труповоз.

— Нет.

Коридор был пуст, был освещён. Из лаборатории донёсся какой-то приглушённый звук. Будто палкой швабры стукнули о металл. Никита. Сладкий запах тут был сильнее, чем на лестнице.

Доктор приложил палец к пульту. Быстро вошёл в кабинет. Люба и Максим вошли следом. Владимир Анатольевич потянул шнур жалюзи у стекла. Сел в кресло. Никита, опрокинутое ведро, мокрый контейнер, лужа. «5,00 %». *Всё*. Они все инфицированы.

«И разговор с Любой не нужен. А она ведь приготовилась сдать. Пальто-то не надела, Максим точно заметил».

Он помахал рукой Никите.

Доктор улыбался — и не мог сдержать улыбку.

Никита уже вот-вот *умрёт*. Бледный. Такой же *быстрый*, как товарищ старший прапорщик. Надо закрыть дверь. Владимир Анатольевич рукой отстранил Максима Алексеевича, заблокировал с пульта дверь.

— *Всё*, — сказала Люба.

— Это случилось, Владимир Анатольевич? — спросил Максим.

Владимир Анатольевич кивнул. Сев за стол, включил компьютер. Достал из пиджака дискету, диктофон. На диктофоне нашёл начало записи, отключил микрофон, поставил аппарат на стирание.

— От заражения дверь нас не спасёт, — сказал Владимир Анатольевич. — Но — от него... Мы инфицировались на лестнице. Или в квартире. Похмельный лаборант выпустил джинна из бутылки.

Все инфицированы, подумал он. Весь институт, и вся Луговая. И снег, мокрый снег, и ветерок в сторону Туры... Минута-другая, и пентавирусы поплывут по реке.

Он повернулся к Любе, поднял к ней голову. Она молчала. Но посмотрела на него. «*У влюблённых нет прошлого, у них одно настоящее*». Теперь прошлого у них и вправду не будет. Ни у кого его не будет. И все станут влюблёнными и счастливыми.

Пусть всегда будет солнце,  
Пусть всегда будет небо,  
Пусть всегда будет мама,  
Пусть всегда буду я.

«О чём люди мечтали? Вот оно. *Все будут всегда*.

Люди *верят* в счастье — в то время как я предпочёл счастье *делать*».

— Никита случайно включил дозатор на контейнере, — сказал Владимир Анатольевич. — Нам осталось от десяти до ста минут.

— Что вы будете делать? — спросил Максим.

— Поработаю за компьютером, Максим Алексеевич. Вчера я составил «предсмертную записку». Самое время выпустить её в Интернет. — Он вставил дискету в дисковод. — И ещё... Надо черкнуть письмецо дочерям. В Москву.

— А потом?

— Потом мне будет интересно наблюдать, что происходит со мной. И с вами. Скоро мы увидим, что произойдёт с ним. — Он показал на Никиту в лаборатории. Обернулся, посмотрел на Любу, потом на Максима Алексеевича. Они так и стояли за его спиной, за

спинкой кресла: Люба справа, Максим — слева.

Доктор открыл файл, скопировал содержимое записки, запустил подключение к Интернету, затем открыл свою страницу в «Живом Журнале», авторизовался и выбрал вкладку: «Новая запись». Набрал заголовок: «Предсмертная записка доктора Таволги» и вставил в поле сообщения текст из обменного буфера. Подумал. Предложение «Если бы не моё желание изменить мир, гибель старого мира всё равно бы имела место» расширил: «Если бы не похмельный институтский лаборант, случайно активировавший дозатор лабораторного контейнера, и если бы не моё желание изменить мир, гибель старого мира всё равно бы имела место». Посмотрел на часы. Он успеет. Опубликовать текст в «ЖЖ» получилось: «Теперь вы можете посмотреть, как выглядит запись в вашем журнале». Владимир Анатольевич активировал ссылку. Всё так, как нужно. Записку проиндексирует «Google», и она будет доступна по всему земному шару. Документ, появившийся в Интернете, от общества уже не скроешь.

Теперь — Саша и Женя.

Адрес Саши, ведущей свою страничку (театральную) в том же «ЖЖ», Владимир Анатольевич давно занёс в почтовую адресную книгу.

«Здравствуйте, Саша и Женя. Времени извиняться или спрашивать, как дела, у меня нет. Потому пишу коротко (подробности в моей «предсмертной записке», которая на самом деле не предсмертная, потому что смерти в привычном смысле больше нет). Мои секретные работы последних лет были направлены...»

Надо писать покороче. Нет времени. Да и не нужно размазывать.

Люба и Максим о чём-то тихо говорили в уголке.

Никита в лаборатории *спал*, привалившись к ножке хирургического стола. Вот-вот встанет. Лицо его было белое. И руки — белые.

«...сегодня рано утром пентавирус из-за неосторожности сотрудника покинул пределы лаборатории. Это значит, что мир в его прежнем виде перестанет существовать. Явится совершенно новый мир. Без болезней, без смерти, без боли и горя...»

В три минуты он закончил письмо. Вложил в него файл «предсмертной записки». Нажал «Отправить». Почта ушла. Дискету с запиской сунул в карман. Может, сгодится когда-нибудь. Будет отличительным признаком доктора Таволги. Мышкой доктор выбрал на экране кнопку «Пуск». Нужно было перезагрузить компьютер.

В настройках BIOS доктор выбрал загрузку с диска «А:», сохранил настройки. Из коробки на столе взял системную дискету «Windows 98». Сунул её в дисковод.

— Форматируете? — сказал Максим Алексеевич.

— Форматирую, — ответил доктор.

И задал команду: «format c:». И на вопрос машины ответил: «Y».

— Диктофон, — сказал Максим Алексеевич.

— Да.

Доктор выключил диктофон, включил. Тишина. Перемотал. Тишина.

— Никита, — сказал Максим.

Поднявшийся лаборант сделал свой первый шаг. Белое лицо, белые руки. Малиновые прожилки. Приоткрытый рот. Смотрит на него, на доктора. Второй шаг. Третий. Вот так медленно, как бы считая шаги, будут двигаться люди нового мира. Четвёртый, пятый, шестой шаг. Никита у стекла. Вот-вот коснётся стекла руками или приложит к нему лицо.

— Люба, страшно? — спросил Владимир Анатольевич, не отрывая взгляда от Никиты.

— Да, — ответила она. — Нет.

28 октября, понедельник, 7:20. Алексей

Семь часов двадцать минут. Работай я в какой-нибудь конторе, я бы никогда не опаздывал. Для сна моему организму нужно восемь часов — прямо по учебнику физиологии. В промежутке между одиннадцатью и половиной двенадцатого я ложусь спать, быстро засыпаю, в пять встаю, иду в туалет, потом снова ложусь, быстро засыпаю, и просыпаюсь в семь двадцать.

Просыпаюсь — и беру с полки футляр с биноклем.

Бинокль — моё первейшее утреннее дело. Покупая его летом, я думал: скоро надоест. Нет, так и не надоел.

Бинокль у меня что надо. «Minox BL 13x56 BR». Штуковина дорогая. Покупал я его с рук, новый аналог этой модели мне не по карману. Бинокль сверхсветосильный, так что и в сумерках можно пользоваться (я и пользуюсь. Хорошо, что в 2011-м году отменили переход на летнее/зимнее время, оставив «зимнее», — не то утром в октябре наблюдать всё же было бы темновато). С поворотными-выдвижными наглазниками. И линзы внутри не запотевают. Тяжеловат, правда: весит больше кило. Но со штатива на подоконнике смотреть удобно. Люди напрасно тратятся на телевизоры. Лучший телевизор, правдивый телевизор — бинокль.

Проснувшись, я люблю смотреть в бинокль на *чужое утро*. На то, как люди встают, что делают, идут на работу или остаются дома, звонят кому-нибудь с утра или им кто-то звонит, ругаются они или целуются. Мой бинокль даёт мне заряд энергии на весь день. Я соскакиваю с постели, беру свой «Minox» — и к окну. Не умываюсь, не завтракаю. Первым утренним делом я хочу знать: как люди угнетают и подавляют друг друга, как они несчастны. Это нужно мне для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Как это хорошо, когда тебе не нужно вставать в семь или в шесть, и тащиться через весь город на работу, где над тобою будет глумиться кретинического вида начальник или хозяин конторы, ненужно указывать тебе, что делать, хронометрировать твой день, и иметь власть не выписать тебе премию, и смотреть на тебя свысока — чаще всего потому, что глупее тебя, ниже тебя ростом, или потому, что когда-то где-то что-то удачно украл!

Самое подходящее время для наблюдения в будни — начало восьмого. Люди просыпаются, нервничают, ссорятся, устраивают сцены, ищут что-то (и найти не могут), наконец, расходятся по работам (по нелюбимым, ненавидимым работам). Я придумываю, какие слова люди говорят, просыпаясь. Я не слышу людей, которых вижу, но я за них сочиняю. Мне нравится смотреть живую панораму несчастливой русской жизни и озвучивать её. «Оконное кино», — говорю я и поднимаю к глазам бинокль.

Напротив моего дома — пятиэтажка брежневских времён. Кирпичная. На первом этаже — военкомат. Военный комиссариат Ленинского административного округа г. Тюмени, если быть точным. В армии я служил лейтенантом: год после университета. Пистолет Макарова, шестнадцать выстрелов за год службы, лицемерие угнетения и солдат, и молодых офицеров, разводы на плацу, командир части с животом размером с бабушкину перину, безобразная пьянка на дембель (я очнулся в овраге, за забором части, — подымаясь откуда,

дал зарок не пить больше трёх рюмок нигде и никогда, и с тех пор выполнял его неукоснительно). И осознание дикой, тупой, ленивой жизни офицеров и прапорщиков. Жизни в ожидании войны, как одинаково думают и милитаристы, и пацифисты? Нет. Жизни в ожидании продолжения такой же жизни, какая была вчера и позавчера.

Что я увижу в бинокль сегодня? Драку за чьим-то окном, слёзы, убежавшее молоко? Ссору — из-за того, чья очередь выводить собаку? Чьё-то похмелье? Или увижу, как муж, только что вернувшийся домой *после воскресенья*, стоит на коленях перед женой — и молит не то прощенья, не то пощады?

Не включая на кухне света, я направил бинокль на уровень пятого этажа.

За окном шёл снег. Окно я мыл в середине октября, когда было ещё плюс десять. Когда наблюдаешь в бинокль через окно, стёкла должно быть чистыми. Шёл снег, мокрый и не очень частый. Крупные снежинки падали почти вертикально. Снег мешал наблюдать, но не очень. Дом через дорогу, его освещённые окошки, я видел хорошо.

Я поправил бинокль, повернул левее, наглазники зафиксировались в новом положении (умеют немцы конструировать бинокли!), и я...

Я увидел Таньку.

Только вчера я перечитывал дневник, *думал письменно*, вспоминал Таньку — и вот она. Словно бы отозвалась: «Ты думал обо мне? Вспоминал? Хотел меня видеть? Ну, вот она я...»

Не ошибся ли я? Нет, не ошибся. Но почему я не видел Таньку раньше? Бинокль я купил в августе. Шторы? Некоторые люди живут за закрытыми шторами. Шторы у них закрыты всегда: утром, днём, вечером, ночью. Таким людям в принципе не нужны окна. В доме напротив были всегда зашторенные окна. Красные, коричневые, жёлтые, оливковые шторы, за которыми угадываются по световым пятнам люстра, телевизор, второй телевизор, торшер или бра. И тёмные силуэты людей. Солнце этим людям-силуэтам — не нужно. Да и какое у них солнце — с северной-то стороны? Я вот без солнца не могу, и очень рад, что два моих окна выходят на юг. А эти люди создают себе уют, закрывшись плотными шторами. Будто чувствуют направленные на них бинокли.

Я видел в бинокль кухню и комнату (гостиную) на пятом этаже дома напротив, и за окнами не было штор. Ни плотных, ни тюлевых. Штор не было, а Танька была. Наверное, Танька постирала шторы.

Или она в гостях? Ну, уж какие гости утром в понедельник!.. «*Я не смею никому звонить и никуда без него ходить*».

Значит, Танька здесь живёт. На пятом этаже дома напротив. А я и не знал. С лета у меня появились «знакомые» в доме напротив, и я дал им прозвища, — а вот теперь появилась и Танька, прозвище которой давать не нужно.

Судя по её короткому рассказу на встрече выпускников («квартира-брежневка»), она живёт тут с замужества. Город не деревня, и ужасно разъединяет людей. Люди, живущие в соседних домах, так же далеки, как живущие на разных континентах.

Может быть, она знает, что я живу напротив. И знала и на встрече выпускников. Но делала вид, что не знала. И не спрашивала у меня ничего. Её важно было знать, люблю ли я её, а не то, где я живу. А разве я говорил о любви?

Вот-вот, Лёшечкин.

А она мечтала обо мне. Хотела, чтобы я снова полюбил бы её (а я разлюбил?...). И она развелась бы с мужем, с которым собирается развестись лет 10, и вышла бы за меня. И мы были бы счастливы, и думали бы обо всём одинаково, любили бы одни фильмы и одних

актёров, и одних писателей и художников, и никогда бы не спорили, и нам было бы так хорошо и скучно, как бывает хорошо и скучно двоим, готовым любить друг друга до старости.

Сначала я увидел Таньку на кухне (отшатнулся от окуляров. Бинобль — такая штука, что иногда кажется, будто те, за кем смотришь ты, смотрят на тебя. В глаза тебе заглядывают. В самую душу). В «брежневках» кухоньки маленькие, и, если на кухне — кухонный гарнитур, мойка, холодильник, стол со стульями, да ещё в стене дверь в ванную комнату, то крошечное пространство остаётся лишь в центре, под люстрой, и у подоконника. У подоконника она и стояла. В белом халате, с большим красным яблоком в руке. Непричёсанная. Откусывала от яблока. Яблоко было мокрое, с него капала вода. И пальцы Танькины были мокрые. Наверное, Танька только что вымыла яблоко. Над Танькиной головой, чуть сзади Таньки, матово светила люстра-тарелка. Я пожалел, что у меня нет камеры с подходящим объективом: снимок получился бы из разряда тех, на каких задерживаешь внимание, какие запоминаешь надолго.

Доев яблоко, Танька перешла через арку в гостиную (я перевёл бинобль левее). Диван, кресло, панель ЖэКа-телевизора, закрывавшая часть окна, «стенка». Много жёлтого света от шестирожковой люстры. Танька сняла халат, бросила на диван. Не знаю, фитнес-центр или любовь к однообразию и порядку её мужа тому причиной, но Танька в свои... ладно, у женщин возраста нет... была словно школьницей. Той, которую я любил. Может, зад чуть шире и полнее, груди побольше. И взгляд не той силы, что в 17 лет. Взгляд покорный и будничный. Усталый. Без гордости. Взгляд женщины, которую на выпускные вечера возит муж. *Мужжжж*. Танька заглянула в лейку, стоявшую на подоконнике, отправилась с лейкой в ванную комнату, зажгла в ванной свет (выключатель снаружи), потом вернулась в гостиную, обильно полила фикус, поставила лейку в угол подоконника, и снова ушла в ванную. Дверь за нею прикрылась. Я ждал её. Моет голову, прихорашивается?

Она покинула ванную комнату, погасила там свет, а на кухне не погасила, и прошла в гостиную. Танька не вымыла голову и не расчесала волосы. По-прежнему непричёсанная и по-прежнему голая, со следами зубной пасты на губах и подбородке, Танька встала у окна, за листьями фикуса, и стала смотреть в окно. Она казалась мне очень близкой. И юной. Девочкой из школы. Девочкой с яблоком, девочкой без яблока. Взять бы портфель с учебниками и тетрадками, перейти бы улицу — и дожидаться десятиклассницу Таньку у её пятиэтажки. И пойти с ней в школу. И сидеть с ней за одной партой, чувствовать, что она рядом. И не выходить из класса на перемену, а продолжать сидеть с ней. *Так было когда-то*. А теперь у неё муж и дочь. Настя, кажется. А у меня бинобль. Мне показалось, что Танька побледнела. Нет, это от снега. «Снег кружится, летает и тает...» Нет, этот снег не кружится и не летает. Этот — падает. И от снежных отсветов Танька кажется бледной. Снежинки, стекло, белые рамы, белый подоконник. Танька стоит и стоит у подоконника. Я оторвался от бинобля. У меня глаза устали. Сумерки рассеялись. Было бело от снега, и только небо было серым. И я бы не прочь позавтракать. Но и смотреть тоже хочется. Там не просто Танька, там голая Танька.

«Tefal» со вчерашнего вечера был полон, я включил его. Загорелся красный огонёк. Я бросил в чашку чайный пакетик. Не буду сегодня заваривать чай в ситечке, сегодня буду смотреть на Таньку. На голую Таньку. Я заглянул в окуляры. Всё та же сцена у подоконника: Танька стоит и смотрит. Нет, не на меня. Не на моё окно. Не знаю, куда она смотрит. Как бы в никуда. Может, это у неё гимнастика такая утренняя: стоять неподвижно. Полчаса или час.

Индийская гимнастика. И от этого стояния она такая... школьница.

Я пил плохо заварившийся чай, ел несвежие пончики, и взглядывал в бинокль. Танька всё стояла у окна. Пусть постоит. Не уходи, Танюша. «Татьяна!.. Помнишь дни златыя...» Вот эта песенка — подходит. И эта: «Не уходи... Побудь со мной ещё минутку. Не уходи: мне без тебя так будет жутко...» С мягким, нежным оканьем.

Я облизал с пальцев сахарную пудру. Руки помыть мне не удалось. Ни на кухне, ни в ванной воды не было. Шипение из кранов. Не иначе, опять кто-то в доме затеял ремонт, и воду перекрыли. Ничего, мы, русские люди, ко всему привычны. Я поднял с пола и поставил у мойки пятилитровую бутыль. Ополоснул руки — и приник к окулярам «Минокса».

Танька всё стояла у подоконника в гостиной. Очень уж она была бледная! Не только лицо, но и шея, и тело. Снег и белая рама? Но от люстры идёт жёлтый свет. Впрочем, люстра светит ей в спину. Танька, наверное, не загорала летом. Муж (мужжж) не вывозил её в Таиланд. В Таиланд и сейчас не поздно. Я бы вышел к ней и сказал бы: «Полетишь со мной в Таиланд? Давай полетим. Останемся там, выучим китайский. И вспомним английский. Никто нас там не найдёт. Сделаем себе пластические операции по сужению глаз. Станем тайцами». Нет. Я знал, что она скажет. «У меня дочь». Но я бы ответил: «Возьмём её с собой. Ты же думала об этом. Не могла не думать. Десять лет собираешься развестись с мужем. Ты уже всё обдумала, Танюша. Только меня рядом не было, чтобы ты решилась. Но теперь-то я здесь».

Белая, белая Танька. Танька показалась мне совсем уже белой. Белее снежинок и оконной рамы. Танька стояла и улыбалась. Смотрела она не на меня, не на моё тёмное окно, а вниз, на прохожих. На тех, кто идёт на работы. Ей, как и мне, не надо было идти на работу. Может, она и думала (с улыбкой) о том же, о чём и я. Родственные души. Единомышленники. Как это глупо — что я не с Танькой. И как это глупо — что она не со мной.

Я посмотрел на часы. Стрелки показывали 8:29. Не люблю часов на стенах, но на кухню часы купил. Выбрал те, что тикают тихо, чтобы в комнате не было слышно. Когда наблюдаешь, надо иметь время под рукой. Для точности. Я могу написать книгу о человеческом утре. Об утре в среднем российском городе. Я знаю, что происходит в квартирах в 7:20, в 7:30, в 7:40, в восемь, восемь тридцать. Около девяти наблюдать уже почти некого и нечего, становится скучно.

Танькин муж пришёл в половине девятого. В прихожей зажётся свет, и я увидел плечо её мужа. Руку, снимающую пальто. Я видел лишь кусочек прихожей. Я представил, как Танькин муж раздевается, как снимает пальто, как вешает его на плечики и как убирает в шкаф-купе плечики с висящим на них пальто.

Почему он пришёл так рано? Его уволили? Заменяли другим (родственником непосредственного начальника)? Или он попался на взятке, взятой не у того человека, не в том месте и не в то время? А может, это не муж? А человек, которого она ожидает — голая? И само её нахождение у подоконника — условный сигнал для любовника? А я-то — размечтался!.. Я направил бинокль на окно гостиной. Но почему Танька не расчесалась? Хотела помыть голову, а... Может, и в пятиэтажке отключили воду? Но могла же она хотя бы вытереть с лица зубную пасту? Откуда такое безразличие — и к своему любовнику, и к своей внешности? (При её-то заботе о фигуре!)

Я снова стал смотреть на мужчину.

Он (любовник или муж? Я видел его, стоявшего в прихожей у зеркала, со спины, и

видел, как он отражается в зеркале) — в чёрном костюме, при красном в белый горошек галстуке (по новейшей административной моде), — постоял, поприхорашивался, пригладил расчёской чёрные волосики, отряхнул с брюк невидимую соринку, провёл руками по щекам (гладкость проверил — значит, любовник. Но дверь-то открыл ключом — стало быть, муж? Или у нас тут любовник, имеющий ключ-дубликат?), поправил краешек носового платочка в пиджачном кармане. Муж, пожалуй: аккуратист, ценитель порядка!

Аккуратист отошёл от зеркала. Встал в арке между прихожей, коридорчиком на кухню и гостиной. Я повернул окуляры к Таньке. Она уже шла к мужчине (мужу? любовнику?): я видел её, идущую, сзади. Шла она очень медленно. Как бы шаги считала. Так медленно навстречу любовникам не идут. Любовникам на шею бросаются. Наверное, она решила дать парнишке отставку. Но зачем тогда — голая? Вернее всего, мужчина в костюме — её муж. Тот самый чинуша. Однако сегодня — понедельник. Рабочий день. Почему он вернулся так рано? Заболел? Или чиновники ходят в конторы только отмечаться — и за зарплатой с премиями?

Теперь он и она находились в одной комнате. Танька (ко мне спиной — голой спиной), заслонила своего мужа (тот был у дивана). Смотреть мне мешали и листья фикуса (как он называется: каучуконосный? С большими мясистыми листьями), и угол телевизора, да и снежные хлопья тоже. Что между ними двоими происходило? О чём они говорили — если говорили? Всё было странно: и голая Танька (и — белая, и спина её, и задница, и ноги — всё белое, белое, мраморное), очень долго простоявшая у окна, и этот заключённый в костюме аккуратист, явившийся в половине девятого.

Мне вдруг показалось, что Танька пошатнулась. Нет, не показалось. Она пошатнулась, покачнулась — тяжело, так, словно была не живым человеком, а мраморной статуей на пьедестале. Статуей, которую толкнули. И она медленно, и никак не стараясь смягчить падение, рухнула. Именно: рухнула. Не повалилась, как валится человек. Я видел её опрокидывающееся лицо, грудь, повисшие руки. И видел протянутую к ней мужскую руку.

Эта рука ударила или толкнула её. Я не сомневался. Танька лежала, а муж её стоял. Муж, муж! *«А я вот взяла да вышла замуж за чинушу, которому ничего в жизни не надо, кроме «порядка». Замучил со своим «порядком».*

Ну конечно: Танька не помыла голову, не расчесалась, зубную пасту, и ту с лица не смыла, — и всё это в мгновение разозлило её порядочного мужа (вероятно, устраивавшего внезапные возвращения с работы — профилактические возвращения. Устраивавшего периодические проверки внутреннего порядка на подчинённой территории)! «Ах ты, лохматое чудовище!» — сказал, наверное, ей этот аккуратист-домостроевец. И ткнул жене в глаз. А не то и саданул коленом в живот. Я ж толком-то не видел. Кто их знает, чиновников с добрыми лицами: вчера коммунистов, сегодня демократов, завтра — сатрапов воинственного деспота!..

А! Нет! Причина семейной драмы не в «порядке». Я всё понял. Она, эта причина глубокая, давняя причина, — во мне. Тут ревность. Так-то, школьный друг Лёшечкин!

Её муж давно знает о том, о чём и не подозреваю я!

Оттого-то и шторы, всегда закрытые. Плотные. Непрозрачные.

Она любит меня — и её муж догадался об этом. Давно догадался. Такие, как он, — гениальные комнатные сыщики. Он мог найти её школьный фотоальбом. Там мы (я с ней) во всей красе. Не думаю, что она порвала эти снимки. Она не истеричка какая-нибудь. Есть, значит, в альбоме и фотография, где мы (то есть я с ней) полуголые. В одних плавках. На

пляже. Утром, часов в семь. Обожаю утро. И она его обожала. Утро, лето, море, камни пляжа — и так бы всю жизнь! Никого, и мы полуголые. (Голыми ходить боялись. А вот полуголой она не боялась). У меня была «Вилия авто». Спустя годы муж-чиновник раскопал в Танькиных вещах, вон в том комодке или в ящичке трельяжа, фотоальбом с *эротической* фотографией. Фломастером на её оборотной стороне Танька написала: «Люблю фотографа». А осенью мною завладела Машка. И будущий муж Таньки стал мужем настоящим.

Спустя годы (шесть лет назад) я въехал в эту двенадцатиэтажку на Рижской. В дом номер шестьдесят семь, литера «А». В аккурат напротив их пятиэтажки. У меня пятый этаж у них — пятый этаж. *Очень* напротив!

Вероятно, её мужу, привыкшему к квартире и к «порядку» в ней, эта «брежневка» принадлежала ещё с ранних рыночных времён. Купил на комсомольские доллары году этак в девяносто втором. В те годы можно было за триста или пятьсот долларов купить трёхкомнатную «хрущёвку» или «брежневку». Смешно: квартиры в то время стоили как новые «Волги» (и дешевле). Вот молодые и поселились тут. В том, что я ни разу не встретился с Танькой, ничего удивительного нет. Я домосед. Мог бы прожить рядом с Танькой лет двадцать, состариться — и не знать о ней. Впрочем, и Танька могла узнать обо мне недавно. После школьной встречи. Стала втайне от мужа искать мой адрес. Через адресный стол УВЭДэ. И нашла. И стала смотреть в окно. Гипнотизировать меня. Вычислила моё окно и стала смотреть — иногда, когда появлялась возможность. И вот придумала шторы постирать. И оголиться. Сделала всё, чтобы я её заметил. Но я — с моими «квартирными сериалами», с прозвищами, которые я давал моим «персонажам», и с Танькиными часто задёрнутыми шторами, — имевший «Минокс» с августа, засёк Таньку лишь в октябре. Ладно, не на пенсии!.. Ну, что же я за дурак! Я же сам сказал ей на встрече выпускников: «Ну, какие у меня увлечения... Летом грибы собираю. Помнишь, с тобой ходили в лес? Одно время плавал в бассейне, но забросил. Собираюсь бинокль хороший купить». — «И куда же будешь смотреть?» — «Да так, в окна дома напротив». — Не будь я выпивши, я бы не сказал этого. Бывает, скажешь, и неловко потом делается. — А она спросила: «И в какое время будешь смотреть?» — «Хочу видеть то, чего нет в моей жизни. Хочу смотреть, как люди уходят на работу». И всё. И вот это-то и были единственные серьёзные слова, которые мы сказали друг другу на той встрече. И до сегодняшнего утра я и не понимал, насколько они важны и серьёзны.

А в одно прекрасное — то есть гадкое — утро муж, этот ценитель порядка, застукал её. Вернулся нарочно вот так же, в половине девятого, и застукал её у окошка. «Ты что стоишь — голая? И штору почему открыла?» — «Так, солнышка захотелось...» — «Какого солнышка — с северной стороны? Ты, дорогая, не думаешь, что тебя могут видеть?» — «На пятом-то этаже? Кто?» И он запомнил это: *кто*. И мысль у него мелькнула: кто-то с биноклем. Он пошёл в «Охотник», тут рядом, — и купил бинокль. И наблюдал, пока ни Таньки, ни дочери дома не было. Скажем, были они на фитнесе. Воскресным утром. Он отвёз их в клуб — и вернулся на машине к дому. Вынул из футляра бинокль, навёл на двенадцатиэтажку — и засёк меня. Засёк меня, *о Таньке напротив и не подозревавшего*. Вычислил номер квартиры и выяснил по своим «каналам», кто я такой. И портретик раздобыл. Сопоставил мою физиономию с той юной физиономией, что попадает в Танькином фотоальбоме. «Ах, вот оно что!» И он решил поймать жену с поличным. Вернуться внезапно утром, застать её у окна — и устроить ей одну из тех сцен, которых он большой искатель. Дать ей бинокль и заставить признать, что у неё со мною *оконные шурь-муры*. Или не давать ей бинокль, а

дать тычка или пинка. Избить и завалить в постель, и отыметь. Так многие в семьях делают. Поутру. Я-то, с биноклем, знаю. Приступ страстной любви после приступа страстной ненависти. Вот почему жёны с синяками под глазами и вставными зубами всегда выгораживают своих мужей. Чувствуют себя удовлетворёнными. Но Танька, виденная мною на встрече выпускников, не была похожа на удовлетворённую. Она и на довольную жизнью не тянула. *«Иногда, Лёшечкин, так хочется умереть. Завянуть, как растение».*

Между тем Танькин муж, склонившись над голой Танькой, вдувал воздух ей в лёгкие. Повдував, он скрестил ладони на её левой груди и стал массировать ей сердце. Я видел в бинокль его согнутую спину, пиджак, собравшийся складками на поясице, обтянутую чёрными брюками задницу, колыхавшуюся от движений. Убил?... Муж перестал тискать ей грудь, провёл рукой по своему лбу. Пот вытер. Взглянул в окно, словно прося помощи. Я отшатнулся от окуляров — и снова к ним приник. Помощи? От меня? Муж сидел перед Танькой на корточках, словно думал: что же ему делать с трупом. Сидел: в костюме, при галстук. В носках. Я снял трубку телефона, чтобы позвонить в «скорую» — но положил трубку обратно.

Танька зашевелилась. Приподняла голову. Проскребла руками по ковру.

Может, никакого насилия и не было, и муж и не бил её. В обморок она хлопнулась. Не знаю, от чего: то ли лекарства какие-нибудь принимает, то ли муж напугал. Сказал что-то такое, что она рухнула как подкошенная. Мало ли дрянных новостей в нашем подлом русском мире!.. В бинокль я не видел у Таньки ни ссадин, ни царапин, ни кровоподтёков. Ни на лице, ни на теле. А на таком белом теле, как у Таньки (вообще-то я припоминал, что *когда-то* Танька была девушкой смугловатой — а уж после черноморских «югов» становилась и вовсе негритоской), кровоподтёки бросались бы в глаза. В окуляры бы бросались.

И вот только жилки у неё — на висках, на шее, на груди, на сгибах рук — выделялись малиновым. Не синеватым на телесном, как обычно, — а тёмно-малиновым на белом. Может быть, у неё случился инсульт? Но я что-то не заметил, чтобы её муженёк-аккуратист набирал нужный номер на телефоне. Или инсульт — это другое?

Муж, сидевший на корточках, подал ей руку, но она не приняла её. Медленно, очень медленно, Танька встала на ноги. Она подняла руки к вискам — так, будто у неё сильно кружилась голова. Или всё же он ударил её? Ткнул кулаком в грудь или живот — так, что синяка не осталось? Вот же гад какой! Такие-то чинуши-забияки нами и управляют! С добрыми лицами!

Я подумал: «скорую помощь» он не вызвал, чтобы не было для него последствий.

Мне захотелось осатанеть, схватить этого слугу народа и натывать башкой в унитаз. Чтобы захлебнулся, свихнувшийся любитель порядка!

Так я думал, продолжая смотреть в окуляры. На часы я не отвлекался, но думаю, с появления мужа прошло не больше пяти минут.

Муж её встал — и стоял перед нею. Ждал чего-то. Поправил выбившийся галстук.

Оказывается, Танька была выше мужа. Она потопталась на месте, развернулась спиной к «стенке»; я видел её в профиль. И мужа видел в профиль: он встал перед Танькой. Прощения, может, хотел попросить. «Я больше никогда, никогда не буду так делать, дорогая. Не умирай, пожалуйста. Кто мне будет варить суп, если ты умрёшь?»

Она была белая, как чешский фарфор, — и только малиновые жилки виднелись там и сям на белом лице и белом теле. Отчего она упала? Может, и не во мне дело, а просто за

распад в причёске выговорил ей муж, этот канцелярский ревнитель порядка? И этот выговор стал последней каплей — и она, Танька, сошла с ума?

От чего, от какого такого приступа, от какой нервной болезни, появились у неё эти малиновые жилки? Что с ней? Почему она такая белая? Почему я не спросил у неё на встрече выпускников, где она живёт — и не хочет ли она жить со мной? Не зря же она сказала про то, что лет 10 хочет развестись с мужем. Почему я...

Моя школьница, наклонив немного голову, вытянула правую руку. К мужу. Посмотрела на вытянутую руку. Пальчики её дотронулись до кадыка бюрократа. Он отклонился. Он говорил что-то: его рот открывался, губы шевелились.

Танька шагнула к нему — и обхватила пальцами его шею. Взясась за кадык. Взясась так, словно это была дверная ручка. И потянула мужа к себе, так, что его переносица упёрлась ей в рот. А затем...

Затем она откусила мужу (этому аккуратисту, этому злобному бюрократу, от которого женщины падают, как статуи) нос. Открыла рот — и сомкнула зубы на его носу. Нос весь исчез в её рту. Муж повалился на пол, забился на полу (наверное, закричал), закрыл лицо руками, между пальцами его лилась кровь. Вот это поцелуй так поцелуй. Вот, муженёк, свёл жёнушку с ума — и получай.

Муж отнял руки от лица — рожа вся в крови, руки в крови, кровь льёт на костюм, на пол капает, вместо носа — чёрная рваная дыра, — а у Таньки, жующей нос, губы и подбородок испачканы кровью, — и повернулся было к арке, чтобы бежать, — но где там!.. Кровожадная сумасшедшая Танька схватила муженька за волосы и притянула к себе. Толкнула на пол (не слабая девочка. Такая могла бы и не поддаваться на переделку и подавление!) и уселась на него верхом.

И стала его есть. Кушать. Ноги его дёргались. Кровь, бежавшая из шеи, быстро впитывалась в ковёр. Агония.

Снег, фикус, оконные стёкла. И глаза мои устали. Всё это так. Я менял направление «Минокса», но видел я всё то же. Она определённо ела его.

Откусывала по куску от лица, от шеи — и съедала, пачкаясь в крови. Жевала недолго. Глотала. Попыталась откусить руку через рукав. Не получилось. Другую руку. Тоже не получилось. Рванула зубами у плеча, на шве. Рукав остался у неё в зубах.

Она оторвала этот рукав, второй рукав, рукава рубашки, и стала откусывать от рук, объедала кости рук так, будто каждое утро это делала. Потом перевернула мужа, вскрыла ему грудную клетку, буквально взломала её — пальцами! — и стала жрать оттуда. Полтора часа тому назад она откусывала от яблока, а сейчас откусывала от своего мужа.

Поев из груди мужа, Танька оторвалась от него. Словно наелась. Встала, медленными шагами подошла к окну. И опять стала смотреть. Тут я присел. Спрятался за стену. Мне стало страшно. Мне показалось, что она взглянула на меня. Голая женщина, с лицом и грудями, перепачканными кровью и какими-то сгустками. Танька? Я уже сомневался, что это была она. Я во всём сомневался, и в том, что вообще видел *это*.

Я оставил на кухне бинокль и пошёл в ванную, умываться. Душ принять холодный. Я привык его принимать — такой, что аж кожа синееет. Но воды всё не было. Ни горячей, ни холодной. Глянув на кухне в бинокль, увидев голую кроваво-белую Таньку, скребущую ногтями оконное стекло и хищно раскрывавшую рот, я решил позвонить. В комнате я набрал номер «02», а за ним — «03».

«Ждите ответа»... «Ждите ответа»... «Ждите ответа»...

28 октября, понедельник, 7:21. Владимир Анатольевич Таволга

— Нет? Да? — Доктор всё смотрел на белое лицо, прижавшееся к стеклу. Рычащее лицо. Рык было слышно тихонечко. Скорее, его было *видно*.

— У меня перестало болеть, Володя, — сказала Люба.

— Чувствуешь себя помолодевшей?

— Немного иначе. То есть ещё не понимаю, что я чувствую. Нет, опять не то.

— Ты не можешь поверить! — догадался доктор.

Конечно, она ждёт новой боли.

Но боли больше не будет. Боль осталась в прошлом. В прошлом, которое не вернётся. Никто не в силах его вернуть. Никакие миллионы и миллиарды, и ядерные ракеты его не вернут. Двадцать восьмого октября история начала отсчёт с нулевой точки.

*«Будешь упорствовать — жизнь сломает тебя. Будет больно».* — *«Я ломаю жизнь, Клавдия Олеговна».*

Никита стал стучать белыми кулаками в стекло. Потом скрести ногтями. Высунул язык. Тёмно-малиновый.

— Прежде мне казалось, Володя, что я и вправду не хочу *этого*.

— Тебе именно казалось. Инстинкт самосохранения сильнее вздорной морали.

— Так ли уж она вздорна, Владимир Анатольевич? — спросил Максим Алексеевич.

— Вздорна, когда её проповедуют ханжи и фарисеи. И ортодоксы всех конфессий и страт. Вздорна, когда ей поучают лишь для того, чтобы подавить и унижить. Чтобы эксплуатировать и наживаться. Чтобы обманывать — и обманом потешаться. Вздорна, поскольку прикрывает мораль совсем другую — мораль будто бы не общепринятую, но оформившуюся с эволюцией: переживание наиболее приспособленного (Спенсер).

Кстати, — добавил доктор, — люди, обиженные и угнетённые в старой жизни, в новой получают шанс утвердиться. «Будут первые последними, и последние — первыми». Христианская религия в действии, казалось бы. Или коммунизм: «Кто был ничем — тот станет всем». Но у *меня* так, да не так.

— А как у вас, Владимир Анатольевич?

Доктор отключил компьютер. Диск «С» отформатировался на 100 %.

— Вот как: «Будут первые первыми, и последние — первыми». Христианство по своей сути, так же как и коммунизм, строилось и теоретически, и практически на убийстве или искоренении несогласных. «Кто не со Мною — тот против Меня». «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». «Враги народа». «Антисоветчики». И...

— И у тебя так же, — сказала Люба. — Только на съедении несогласных.

Лаборант отошёл от стекла. Наклонил голову. Ударил головою в стекло. «Пуммм!..» Стол завибрировал, монитор качнулся.

Стекло выдержит.

— Люба, но ты-то должна понимать. Это не фальшивое идеологическое противоборство, а натуральная биологическая необходимость. И что значит — «съедение»?

Скорее уж, обкусывание. Объедание. Целиком никого не съедят. Это невозможно: поедаемый будет преобразовываться. Новый человек не ест нового человека. Ему нужна кровь и нужна плоть, но не плазма.

— Вот оно что, — сказал Максим.

Никита снова отошёл. Посмотрел на доктора. На всех, кажется, посмотрел. Вернулся к стеклу. Положил на него ладони. Скользя ладонями по стеклу, повернул голову вправо. Опустил руки. И сделал шаг, и пошёл — медленно — к выходу из отсека.

— Он думает? — спросил труповоз.

— Пока мне трудно судить, — отозвался доктор. — Но, очевидно, да. Он *пробует* думать.

— А могут эти... объединённые... поправляться? — спросил Максим Алексеевич.

— Это смотря до какой степени они объедены. И смотря по тому, будут ли они обеспечены едой.

— Обеспечены... — задумчиво повторил Максим Алексеевич. — Значит, не так, как пс Марксу и Энгельсу: диктатура и класс-могильщик?

— Нет, никаких могильщиков. Никто не умрёт, — сказал доктор. — Вопросы «быть или не быть» самым парадоксальным образом не станут; само понятие «быть» в отношении людей и человеческого общества настолько переменит своё значение, что смешается поначалу с «не быть». Но так будет только поначалу. А потом, спустя десятилетия, «не быть» станут употреблять в новом социуме по отношению к обитателям, как сказал бы Маркс, *предыстории*...

Бум!

Это — в дверь.

— Никита, — сказала Люба.

— Увидел нас через стекло, попробовал выбить стекло, нашёл дверь, пробует её. Неплохо, — сказал доктор.

— А не съест он Свету? — спросил Максим Алексеевич.

— Пока догадается подняться из подвала по лестнице, Светка сама уже захочет есть, — сказала Люба.

Своею бодростью, энергичностью она напомнила Владимиру Анатольевичу ту самую Любу, которую в две тысячи пятом году он встретил в вестибюле медакадемии.

Доктору стало так радостно, так радостно! «Люба, Люба... мы будем бессмертны! И мы рядом — а это значит, мы войдём в новый мир вместе! Если ты обратишься раньше меня — я согласен отдать тебе руку, только бы быть с тобой. Раньше? А почему — раньше? Она не чувствует боли? Но и у меня не болит поясница».

— Я встану, — сказал доктор.

И встал.

— Не болит поясница? — спросила Люба.

— Не болит, — ответил он.

Он снял очки. Небрежно бросил на стол. Вытер слёзы. Через очки уже невозможно было смотреть: резкость невыносимая. Глазные мышцы меняли форму.

Люба сказала, рассматривая ногти:

— Я всегда с трудом делала маникюр. А сейчас вижу каждую трещинку на ногте.

— Это значит... — сказал Максим.

— Оно самое. — Доктор кивнул, снова садясь. — Ни близорукости, ни дальновидности.

Ни болезней, ни смерти, ни горя.

— А у меня голова не болит, — сказал труповоз. — Правду сказать, и не болела.

Доктор посмотрел на него. Максим не побледнел.

— Дайте мне руку.

Нет, не холодная. Даже теплее, чем надо бы. Словно у него повышенная температура.

«А, ясно. Это у меня температура уже понизилась».

— Люба, дай руку.

«И у неё понизилась. У неё рука ни холодная, ни горячая. Как бы нормальная — то есть как у меня. И она побледнела».

— У меня это задерживается? — спросил Максим.

«Физиономия у него — красная».

— В пределах от десяти до ста минут, — сказал Владимир Анатольевич.

— Понятно.

— Может, я не инфицировался?

— Исключено. Абсорбция очень быстрая.

Бум! Бум!

Никита.

— Не головой ли он бьётся?

— Не думаю, Люба. А если и головой, ничего с его головой не случится. Это не обычный человек; это — новый человек.

— Мы тоже будем биться о двери головами?

— Не знаю, что и ответить вам, Максим Алексеевич. Все мы начнём с чистого листа. Перед одним из нас будут двери или окна, или стены, перед другим — улица, перед третьим — река или море. Бытие будет разное, и поведение будет отличаться. Но опыт новой жизни будет не только личным, но о кооперативным, совместным. Новые люди будут заимствовать друг у друга, учиться друг у друга. Нахождение в общественной среде исключает тупиковое изолированное развитие. Тем более в социуме, где невозможны железные занавесы.

— Ложь тоже будет невозможна в новом обществе? — Это Люба. Люба, конечно, должна была это спросить. Но у него на это давно есть ответ. Ещё со школьной парты.

— Ложь не нужна и в старом обществе.

— Ну да, — сказала она. — Ты же вот не солгал ни разу.

— Не солгал.

— Но эволюция — длинная цепь лжи. Маскировка, мимикрия, засада, камуфляж — всё это элементы эволюции, вначале биологической, затем социальной.

— Общность без страстей — без зависти, без жадности, злости, желания власти, без плотских желаний, — совершенно иной мир, Люба. Мир без денег, без капитала, без нужды в капитале, без смерти, без болезней, без стремления к эксплуатации ради частной наживы — пойдёт и по особому эволюционному пути.

— Скучно не будет? — Это Максим Алексеевич.

— Ему и здесь не скучно, Максим Алексеевич. — Это Люба.

— Честно говоря... В последние годы мне было скучновато. Я едва не перестал верить в...

Бум! Бум!.. Бум, бум! Со стола упал диктофон, за ним — очки. Разбились. Доктор лишь улыбнулся. Очки, резинки, натёртая переносица — всё в прошлом!..

— Никита, прекрати! — с весельем в голосе крикнула Люба.

— Он не головой. Корпусом, — сказал Владимир Анатольевич. — Плечом, наверное.

— Сильный, — сказал труповоз. — А что, Владимир Анатольевич, военные или учёные в компании с военными бессильны против светлого будущего? Придумают вакцину. Наденут все ОЗэКа с противогазами. С такими, что защищают от органических газов. С новейшими патронами.

— ОЗэКа? Противогазы? Они, безусловно, помогут. Мы в лаборатории могли бы пользоваться и тем, и другим. Хороший противогаз с патроном ДЭПЭГэ-4 вполне бы защитил от пентаксина. Но скафандры, конечно, надежнее. В лаборатории высокая концентрация газа и вирусов. А в уличных условиях достаточно будет и противогаза, даже без ОЗэКа. Без ОЗэКа — при условии, если человек не поцарапан, не ранен — то есть чтобы вирус через царапину или рану не проник в кровь.

— В таком случае почему же вы считаете...

— Люди не будут знать о периоде распада, Максим Алексеевич. Вернулся с улицы — и снял ОЗэКа и противогаз. И всё!

— Вот как?

Удары в дверь стихли. Никита нашёл, наверное, выход. Пусть погуляет по улице. *Поест.* Или встретится со Светланой.

— На поверхности ОЗэКа накапливаются — с микроскопическими частичками пыли и влаги — вирусы, защищённые пентаксиновыми оболочками. Заражение происходит не только воздушно-капельным, но и воздушно-пылевым путём. Снял противогаз и ОЗэКа — и *готов*. Улицы города — это вам не герметичная лаборатория, где газ распадается за шесть часов в полной изоляции. Пентавирус, переносимый на ОЗэКа, на противогазах, на одежде, быстро распространится по городу в виде небольших воздушных и пылевых «облаков» пентаксина, поднимающихся с поверхностей. Сколько людей инфицирует человек, «защитившийся» ОЗэКа и противогазом, нельзя и представить; а скольких людей инфицируют те, кто заразится от заразившегося!.. Инфекция будет распространяться в геометрической прогрессии. Пандемия! Пока учёные поймут, чем и как защищён нестойкий вирус, пока вычислят период распада газа, то есть то время, которое надо смиренно отсиживать в герметичном помещении, а не ходить по городу, — грянет то, что скудная фантазия академиков и журналистов нарекёт «мировой катастрофой», или апокалипсисом (хотя «апокалипсис» переводится как «откровение»). Пока учёные канителются, а военные ищут способы быстрого уничтожения того, что быстро уничтожает их, — не станет ни учёных, ни военных.

— Так, — сказал Максим Алексеевич.

— Органическая пентаксиновая оболочка не вступает в соединения на атомарном уровне с кислородом и водородом и длительное время сохраняется в атмосферном воздухе. Воздух является ограниченной средой для распространения пентавируса в силу полного распада молекул пентаксина в течение шести часов.

Но если в воздухе газ распадается через шесть часов, то точное время распада газа в воде и разрушения внешней и внутренней вирусных оболочек и вирионов, неизвестно. Теоретически следует иметь в виду пятьсот семьдесят шесть часов. Двадцать четыре дня.

Правда, — сказал доктор, — тут есть одно «но». Важно, чтобы температура воды не поднималась выше сорока пяти градусов. При сорока пяти градусах молекулы растворённого газа начнут распадаться на атомы, а при пятидесяти пяти распадутся полностью, и пентавирусы, оставшись без защиты, инактивируются. Инактивация также произойдёт и при

нагревании плазмы. Если новый человек попадёт в огонь (в принципе огонь его твёрдому телу не страшен), то предположительно минут через двадцать-тридцать нагревания он погибнет от перегрева плазмы. Но в холодной воде или в воде комнатной температуры газ...

Труповоз перебил Владимира Анатольевича:

— То есть, попав в воду, газ...

Доктор поднял руку. (Он чувствовал своё плечо, локоть и предплечье, но почти не ощущал пальцев. «Начинается. А может, и нет. Пальцы немеют от остеохондроза»).

— Осев в воду, скажем, в реку, в виде снега, дождя, талой воды, чьего-нибудь плевка, пентаксин будет сохранять состав и свойства не шесть часов, но *очень долгое время*.

— И нет способа прекратить действие пентаксина в воде? — спросил Максим. — Произвести какую-нибудь реакцию, что-нибудь спустить, допустим, в реку или озеро?

— Чтобы уничтожить пентаксин, потребовалось бы *вскипятить реку*, Максим Алексеевич. Со всеми её притоками. С подземными водами. А чтобы наверняка — взорвать планету Земля.

— Вы, Владимир Анатольевич, и вправду создали будущее. А Никита... как бы это сказать... включил его. Будущее уже здесь. На улице идёт снег. Мокрый снег.

«Снег... Город почти ослеп...»

— Я ввёл термин «пентаксиновое облако». Вода, точнее говоря, влага (водопроводная, речная, морская, ключевая, колодезная вода, дождь, снег, слюна, слёзная жидкость, пот, экссудат, гной, кровь) является идеальной средой для распространения пентавирусов. Попав в Туру — а пентаксиновое облако, полученное из нашего единственного контейнера, неизбежно дойдёт от «института» до Туры, и мокрый снег тому поспособствует, — пентавирусы распространятся с течением по всем притокам реки. Будь тюменский октябрь холоднее, «конец света» затянулся бы, или его пришлось бы отложить до весны. Но изменение климата, глобальное потепление — по вине *старого человека*, — сыграло нам на руку. Возможно, местные водозаборные станции начнут перекрывать водозаборы, обнаружив в них вирусы, однако и считанных минут будет достаточно, чтобы люди, открыв утром воду, чтобы принять душ, почистить зубы, выпить стаканчик воды поутру, инфицировались бы и отправились бы разносить вирус по городу и городам. Хлорирование, не говоря уже о фильтрации, не разрушает пентавирус. Ему нипочём и радиация. Это совершенный вирус, вирус всем вирусам, король вирусов. Лишь наивные вояки, Максим Алексеевич, могут полагать, что с помощью автоматов или пушек, или блокирования зон заражения, или водородных бомб, или разработки вакцины можно положить конец вспыхнувшей эпидемии. Чтобы определить, как переносится и активируется пентавирус, химикам и вирусологам потребуется много времени, но его у них не будет. Достаточно кому-то инфицированному плюнуть, чтобы через 3–4 дня был заражён целый город. Единственная капля слюны, которая выделяется у «обновлённых», создаёт «облако», эффективное в радиусе одного-полутора метров от носителя вируса. У тех же, кто инфицирован, но ещё не «обратился», опасно всё: слюна, слёзы, пот, кашель, дыхание. Таким образом, потенциальным жертвам надо бояться не только укуса, но и дистанционно-воздушного контакта с любым носителем. Пентавирусы, через носителей, через воздух, через реки дойдут до морей, затем переплывут океаны. С водой, в слизи на чешуе рыб, с мокрым песком на пляжах, а затем с укусами «обновлённых» и пентаксиновыми облаками вокруг них вирусы заполонят весь мир. Не спасутся ни Америка, ни Австралия, ни островные государства. Пентавирусы доберутся до Северного полюса и до Антарктиды, и во льдах и в снегу

сохранятся миллионы лет.

«Я чувствую себя отлично. Как мальчишка. Я полон энергии. И восторга. Я никогда не умру!»

— Вирус непобедим, — сказал Владимир Анатольевич. — Вступив в контакт с подходящей живой средой, молекула пентаксина перестраивается, делая возможной абсорбцию пентавируса на клетке и последующее «обновление» инфицированного объекта. Мёртвый объект «восстаёт» лишь в том случае, если его мозг не прекратил информационного существования, не оказался за порогом информационной смерти (до тридцати двух часов с момента клинической смерти). Это не дешёвая сказка ужасов, и мёртвецы с кладбищ и лежалые трупы не восстанут; на волю вырвутся только свеженькие покойники из реанимаций и моргов, чей мозг сохранится полностью или частично. За нормальную эволюцию и поведение девиантных «обновлённых», увы, поручиться нельзя.

Кровь «обновлённых» людей перестраивается в густую пентаксиновую плазму, вены и артерии твердеют, у мышечных тканей увеличивается плотность (новый человек в полтора раза тяжелее по сравнению с ним же старым), сердце и печень останавливаются за ненадобностью и служат очагами деятельности пентавирусов. Движения новых людей сделаются более медленными (как у Никиты), как бы неуверенными, но вместе с тем новые люди приобретают ряд свойств, которые в полной мере компенсируют появившуюся медлительность. Новым людям не нужно дышать, не нужно пить.

И никаких примитивных страстишек! И вредных привычек, уважаемый Максим Алексеевич, — тоже. Ни играть в карты, ни пить, ни курить новые люди не будут. Это, кажется, Грин писал, что настоящий мужчина должен пить, курить и играть в карты? Настоящие мужчины — и настоящие женщины — будут жить вечно, делать научные открытия и летать в космос! Люди перестанут тратить время на сон и болезни. На бессмысленную и ненавидимую «работу», на посещение врачей и чиновников. Люди смогут жить под водой и на Марсе. Не станет квартирного вопроса. Знаете что, Максим Алексеевич? Новые люди не будут какать и писать. А ведь это чертовски удобно, не правда ли?... Нам здесь не нравится туалет на улице — а новым людям туалеты нужны не будут. Ноль испражнений, кишечник не функционирует; пища усваивается целиком, насыщая плазму энергией. Нам холодно? И это для новых людей — не проблема. Их не заморозит и абсолютный ноль.

А сила, Максим Алексеевич?... Вы не задумывались о физической силе? Никита парень и без того не слабый, стал нынче так силен (точнее, *прочен*), что мог головою биться о пуленепробиваемое стекло — и сотрясать весь мой кабинет! Безо всякого вреда для своей головы.

— Но пуля-то?

— Пуля голову пробьёт, Максим Алексеевич. Но и то — с небольшого расстояния. Ткани «обновлённых» очень прочны. Ударить «обновлённого» — всё равно что врезать сосне.

— А когда некого станет есть?

— Когда мы всех съедим, Володя? — Это Люба.

— Без пищи «обновлённые» засыпают. При долгом отсутствии пищи начнутся мутации. Перестройка организма. Привыкание к новым видам пищи. Животной.

— А то и вегетарианской? — Это Максим.

— Мы сами узнаем это. Предсказывать, к чему приведёт эволюция, сложно. Почему бы

и не вегетарианство? Кроманьонцы имели рацион из мяса, но современные люди едят мяса намного меньше, а многие не едят и вовсе: кто по убеждению, кто из бедности, а кто и по диете. В любом случае, все старые люди станут новыми. И, значит, будут найдены альтернативные источники пищи.

— А собаки, кошки, птицы? Как на них подействует вирус?

— Они не инфицируются. Инфицированию на клеточном уровне будут подвержены только особи со структурой человеческой ДЭЭНКа, являющейся основой для «опознания» пентавирусом. Преображение коснётся одного вида: *Homo sapiens*. В человеческой истории стартует новый виток биологической, а затем и социальной эволюции.

«Именно так я и сказал в записке».

— От *Homo sapiens* — к *Homo pentaxinus*, — сказала Люба.

— Искусственной эволюции, — добавил Владимир Анатольевич. — Рукотворной. Запрограммированной человеком. Как писал молодой Маркс: обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства.

*28 октября, понедельник, 7:37. Дина*

Дина слушала разговор мамы и воспитательницы. Взрослых. И почему они называются: взрослые? Зинка говорит: потому, что они выше нас ростом. Но брат Зинки ростом выше мамы Зинки, а взрослым его никто не называет. А Колька Шаламов говорит, что потому, что много знают. И тоже непонятно. Как же они много знают, если мама и Инна Григорьевна не знают ничего? Дина слушала их разговор и понимала: они не взрослые.

— Откуда мне знать, что происходит? — говорила Инна Григорьевна. — Без воды мы не можем работать. Ни сады, ни ясли. Вы представьте только, как без воды... Поэтому и вызываем родителей. Воды нет, и никто точно не знает, когда дадут. Мы уж решили снег топить. Во всей Тюмени воды нет. И ничего не сообщают.

Ну вот, думала Дина, взрослые, а ничего не знают.

— У меня проект горит, — сказала мама Инне Григорьевне, — и мать с отцом, как назло, укатили в Европу к одноклассникам. Вот прямо вчера, представляете. В Германии-то, конечно, вода есть... И что делать, ума не приложу. У меня клиент с ума сойдёт. А шеф меня уволит. Выбросит на помойку. Скажет: «Выбирай: или ребёнок, или работа».

— Не при ребёнке, — тихо сказала Инна Григорьевна. И сверху посмотрела на Дину. Дина улыбнулась ей, подмигнула. И Инна Григорьевна тоже подмигнула Дине.

А мама говорила:

— Не надо было мне с мужем разводиться. Подумаешь, погулял... Сама-то я — тоже хороша... Не знаю.

Вот-вот, думала Дина, ничего-то они не знают. Они ненастоящие взрослые. Дина всё поняла: она ненастоящие взрослые, и ей надо будет рассказать о своём открытии Кольке и Зинке. И её брату тоже. Может, он-то настоящий, а ненастоящие его обманывают.

— А если воды и завтра не будет?

— Позвоните ближе к вечеру, — сказала Инна Григорьевна.

Ничего вы не узнаете, думала Дина. А мы вот с Колькой и Зинкой всё узнаем — и станем самыми настоящими взрослыми. Будем делать сердитые лица, курить, пить из больших бутылок (из рюмок тоже), говорить гадкие слова, какие мама говорила папе, а Зинкин брат говорит Зинке, — и будем носить с собой зонтики, когда нет дождя, и откидывать башлыки, когда идёт снег. И перестанем сидеть на коленях у взрослых, а это они у нас на коленях сидеть будут. Только не Зинкина мама у Зинки: потому что весит тонну.

— Коммунисты говорят, что правительство обанкротилось и уезжает в Канаду. И в стране не будет ни воды, ни света, ни картошки. Это муж на улице слышал, звонил мне.

— Коммунистам — только воду мутить.

— Вы так считаете? — сказала Инна Григорьевна. — Я вот при них в школе и педучилище училась. И работать при них начала. При них-то всё понятно было. Ленин — вождь мирового пролетариата, любитель субботников и создатель общества чистых тарелок, Маркс и Энгельс — великие теоретики. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, и от развитого социализма — к коммунизму. Никакой безработицы, бесплатная медицина, бесплатные квартиры. И ожидание рая. И, между прочим, народная сознательность. Низкая

преступность и высокая рождаемость. И никаких стальных дверей и домофонов. И демонстрации на октябрьские — с портретами Ленина, с транспарантами, флагами. Аж мороз по коже. И люди — верили. А теперь одно ворьё в законе. И никто не верит.

Воспитательница погладила Дину по голове. Инна Григорьевна всё же немного взрослая.

— Сделаете из моего ребёнка коммунистку, — сказала мама.

— Скоро все станут коммунистами, — сказала Инна Григорьевна. — Бытие определяет сознание. Муж тут принёс мне книжку Проханова, так тот советует Ленина перечитать.

— Пусть сам и читает. Нам об этом знать не нужно. И Дине моей тем более. И вы прекращайте со своей агитацией. Не то напишу кому следует. Пойдём, Динка.

— Кому? В эФэСБэ? Президенту? В секретариат «Единой России»?

Дина сказала:

— Ну почему ты тянешь меня за руку, мам?... Инна Григорьевна говорит так интересно.

Мама притворяется взрослой, а вот Инна Григорьевна — взрослая.

— Глулости она говорит. И не для детских ушей.

— А я знаю про коммунизм. У Кольки Шаламова отец — коммунист. Он нам даже билет показывал. Красный.

— Какой ещё красный билет?

— Партийный, — вспомнила Дина. — Он сказал, что при коммунизме у всех будут... потребности и ещё... особенности. То есть возможности. И не будет денег, слышишь, мама? И все будут жить дружно и улыбаться.

— Ага, как сумасшедшие. — Мама стала тянуть её за руку, и Дина, не желая идти, повисла на маминой руке. — Динка, ну идём же быстрее. Меня же уволят. Шеф меня точно раздеться заставит. Ой.

— А зачем — раздеться? Ты идёшь на приём к доктору? Или вы там на работе ходите голые? А шеф твой — мужчина, а ты — женщина. А это неприлично. Ты сама говорила. Ты не знаешь, что говоришь.

Нет, мама не взрослая. Не все, которые выросли, на самом деле взрослые. А взрослые только те, которые всё знают. Вот!

— Говорила. — Мама вздохнула. И вдруг хитро улыбнулась. — Это тренировка такая. Чтобы знать, как будет при коммунизме. При коммунизме жёны и мужья общие. И дети общие. Поэтому все могут ходить голыми.

— И я — общая и голая?

— И ты.

Дина не поверила маме. Ещё чего! Она, Дина, ведь не общая, а мамина. Если б она была общая, то жила бы на улице, как бедная собачка Фрося в их дворе. И мама — не общая. Что она выдумывает!.. Мама ничего не знает. Надо будет спросить у Инны Григорьевны. Инна Григорьевна взрослая. Когда Дина вырастет, то будет как Инна Григорьевна.

— До свиданья, Инна Григорьевна, — сказала Дина.

— До свидания, Диночка.

На улице Дина увидела смешное и удивительное. Смешное — потому что смешное, а удивительное... потому что сбылось то, о чём сказала мама. По улице шли коммунисты. Дина поморгала (вдруг ей мерещится), — но голые люди, которые ходили по улице как-то медленно, так, будто учились ходить, как малышня, не исчезли.

— Мама, смотри! — Она дёрнула мамин рукав. Плащ на маме перекосялся. Это Дину

всегда смешило. Мама делалась будто кукла. Такая пластмассовая кукла, какие стоят в витринах. — Мама, уже коммунизм!

— Где — коммунизм?

— Вон туда посмотри, мама. Скорее, пока они не ушли.

— Мне мерещится, Динка. И тебе.

— Я уже поморгала.

— Ещё поморгай. — Мама вздохнула и что-то сказала, очень тихо и неразборчиво. Дина терпеть не могла, когда мама говорила так. Нельзя было ничего понять. Зачем тогда говорить вслух? Надо просто думать. Нет, мама не взрослая, раз этого не знает. А если мама тихо говорит плохие слова, которые нельзя говорить, то ведь выходит, что мама плохая. Ничего. Дина немного подумает ещё, поговорит с Зинкой, Колькой и Инной Григорьевной — и воспитает из мамы взрослую. Но сперва мама должна понять, что коммунизм уже здесь.

— Нет-нет, коммунизм! — сказала она, останавливаясь и останавливая маму. — И теперь у всех будут партийные билеты. Я попрошу тебе и себе у Колькиного папки.

— Сумасшедший дом, — сказала мама. Дина удивилась, что мама так легко остановилась. Обычно она не слушается и говорит всякое обидное. А тут встала и стоит, и смотрит. Интересно, о чём она думает?

— О чём ты думаешь?

— О том, что все люди сошли с ума. Вон, смотри, видишь эту машину? И человека с телекамерой? Это телевидение. Они приехали снимать голых людей.

— Спрашивать, зачем они голые?

— Да. И не холодно ли им. И чего они хотят.

— А они хотят чего-то?

— Наверное.

— Мама, а я знаю, чего они хотят.

— Чего, Динка? Пойдём уже, и отряхни сапожки. Смотри, сколько снега налипло. Ножки замёрзнут.

— Они хотят кушать. Вон, голая бабушка откусила у дяденьки с камерой. А та тётенька, в красных сапогах, испугалась. Убежала. Вон туда.

— Динка! — Мама так толкнула её, что Дина не удержалась и упала на тротуар, у дерева. Возле мамы прошёл, сильно хромя, объединённый человек. Он говорил такие плохие слова, что Дина перестала сердиться на маму. И удивилась. Оказывается, плохих слов так много!.. А человек с обкусанной ногой и оторванной рукой, человек, из которого, наверное, вытекло много крови, остановился рядом с Диной и всё говорил — и уже не плохие слова, а интересные: «Я депутат, и этого так не оставлю!.. Они говорят, что это новое движение. Экономическое движение. Политическое движение. Против китайской экспансии и против рыночной политики рыночного российского государства. Это внутренняя диверсия. Её делают те, кого Ленин и Сталин справедливо называли бы врагами народа. Кстати. Все считают, будто это Сталин придумал выражение «враги народа». Ничего подобного, олухи! В России его употребление ввёл Ленин. А придумал Робеспьер. С Маратом за компанию. У меня нет руки. Но мне не больно. И ноги почти нет. А мне не больно. Так не бывает. Но мне не больно. И они думают, что если не больно, то не будет и компенсации? На языке юриспруденции этот парадокс называется... называется... О чём я? Чудесная погода. Какая милая девочка. Я помогу ей встать. Её мама кричит и делает страшное лицо, и собирается атаковать меня, но мне всё равно. Я всех их люблю. Компенсация? Да зачем мне две руки и

две ноги? Братство — вот что важно. Все люди — братья. Ленин брат Сталину, а я брат этой девочке и её маме. Не вполне родственно? А речь не о родстве. Речь о любви и братстве, да, девочка?»

Депутат стал говорить с ней, и Дина его нисколько не боялась.

— Поднимись, сними сапожки и вытряхни из них снег, — сказал он, — не то ножки замёрзнут. Что? Мама уже говорила? Коммунизм ли это? Это коммунизм. Ну, мне пора идти. Нужно всё рассказать жене и дочке. У меня такая же умная и красивая девочка, как ты. Как тебя зовут? Дина. Очень хорошо. Теперь всем будет хорошо. Всегда будет праздник. С флагами и дедушкой Лениным?... С флагами и дедушкой Лениным. И Ельциным. И Брежневым. И со мной и с тобой. Все люди — братья. Что? Да, и сёстры тоже братья. Счастье, Дина, это когда не нужны ни руки, ни ноги. Ты и твоя мама скоро поймут это. Прощайте, мама и девочка. Дина.

И он захромал дальше, а мама схватила Дину за руку.

— Ты не думала о том, что он мог тебя съесть?

— Ты что, мама? Ты слышала его? Он же коммунист. А коммунисты все улыбаются, и они добрые. И все сёстры — братья. Так оно сказал. Это значит, что все будут теперь голые, да? И будет неприлично? И значит, коммунисты — неприличные?

Мама и вправду ничего не знает. Ничего не может объяснить. Дина пойдёт в следующем году в школу — и будет учиться сама, и маму научит. И Дина станет взрослой, и мама станет взрослой.

Недалеко, где-то на той стороне улицы, стали стрелять. В коммунистов? Колька Шаламов говорит, что коммунисты все герои, и их убивают враги. Дина потянула мамин рукав. На дороге было очень много машин. Ничего не было видно.

— Мама, подними меня на руках.

— Милиционер стреляет в плохого человека.

— В неприличного? В голого?

— Нет. В одетого. Такого же, как твой... новый знакомый.

— А почему милиционер стреляет?

— Он коммунистов убивает, Динка. Коммунизм запрещён Конституцией.

— А почему папу Кольки не убили?

— Наверное, он засекреченный коммунист.

— Если ты пожалуешься, то и его убьют?

— Убьют.

— Ты злая, мама. Ты хочешь, чтобы всех убили. Ты такая злая, что мне плакать хочется. И укусить тебя.

— Это ты злая, раз собираешься кусаться.

— Я добрая, и буду кусать только злых.

— Выкрутилась.

— А ты злая и глупая, потому что хочешь убить коммунистов, потому что они знают, а ты не знаешь.

— Чего не знаю?

— Ничего. Они герои. — Дине вдруг стало обидно. И она поняла, почему: мама не считает её взрослой, а себя считает. А на самом деле мама и не взрослая вовсе. Почему? Да очень просто! Взрослые и разговаривают по-взрослому. Вот как этот депутат или Инна Григорьевна. Или папа Кольки. Взрослые по-другому не умеют. И никогда не притворяются.

Им не нужно притворяться. Они ведь всё знают. А притворяются те, кто ничего не знает. Вот!

— А ты видела, какое белое было лицо у твоего нового знакомого?

— У депутата? Видела, ну и что? Из тебя бы вытекло столько крови, и ты была бы белая.

— Ты совсем как взрослая, Динка.

«Вот это правда», — довольно подумала Дина.

— Мама, ты так сильно сжимаешь мне руку, что я её не чувствую.

— Прости, пожалуйста. Это всё из-за голых людей, стрельбы и твоего обглоданного друга. Которому не больно. И той ужасной бабушки, что ест оператора. Все сошли с ума. Мне страшно за тебя, и я хочу поскорее домой.

— И на работу не пойдёшь?

— Не пойду.

— Мама, ты боишься коммунизма?

— Я всего боюсь. — Мама остановилась, опустила перед Диной на корточки. — Всего, что может навредить тебе. Моя жизнь — это ты.

— Я руки не чувствую, мама. Наверное, ты передала мне какую-нибудь жилу. И я останусь без руки, как дяденька депутат.

— Да что же это сегодня! — сказала мама, огляделась зачем-то и стала ощупывать руку Дины. — Рука как рука. Тут не больно? А здесь?

— Нигде не больно. Я превращаюсь в дяденьку. Я скоро стану как он. Он же сказал: все сёстры — братья. Я буду братом, и везде будет братство. Это и есть коммунизм. И мне не жалко будет руки и ноги. Меня, наверное, будут есть, а я буду радоваться.

— Дина, у тебя лоб холодный. У тебя шок.

— «Шок» — это шоколадка, мама.

— Шок — это когда боишься, — сказала мама. — Пошли скорее домой. Дома сразу в ванну. И чай с малиновым вареньем.

— У нас нет малинового варенья. Пока ты жила с папой, варенье было, потому что папа варил варенье. А теперь папа живёт на даче, а мы без папы. И я не боюсь. Это ты боишься. Ты злая, и не любишь людей. Папу тоже не любишь. Зря я тебя не укусила. Надо было укусить, когда я была на тебя сердитая, а теперь я стала навсегда добрая. Ты тоже будь доброй, пожалуйста. Дяденьку депутата почему-то боишься, а он добрый. И руку мне сдавила. Я уже и щеки не чувствую. У меня и рука, и голова отпадёт. Если я вся развалюсь, ты меня сшей.

— Ты очень бледная, Динка.

— Все коммунисты бледные. Как дяденька депутат. Это чтоб их заметно было.

— Вот мы и пришли.

— Мама, а кто придумал домофоны: плохие люди или хорошие?

— Хорошие.

— Чтобы плохие не зашли?

— Да.

— А дяденька депутат тоже не сможет зайти? Ты его непустишь?

— Не пушу.

— Значит, домофоны придумали плохие люди. И ты плохая, а тебе надо стать хорошей. Как я. И как дяденька...

— Замолчи, пожалуйста. Опять лифт не работает. Сплошные напасти...

— Ничего, мама. Скоро будет коммунизм.

— Пока поднимемся на тринадцатый этаж на каблуках, точно коммунизм наступит.

— Нет у меня каблуков. Это у тебя. Мам, а почему папа говорил, что нормальным женщинам каблуки не нужны, а нужны только... прости... уткам?

Дина увидела, как мама покраснела. И зачем-то стукнула кулаком по стене.

— От твоего папы ничего, кроме малинового варенья, не дождёшься.

— Но ведь ты хочешь, чтобы папа к тебе вернулся. А зачем ты говоришь Инне Григорьевне, что бросила папу?

— Я запуталась, Динка. Ты права: я нехорошая.

— Ну почему?

— Я везде тороплюсь. Мне всё кажется, я что-то упускаю. Не знаю, как тебе объяснить.

— Я помогу тебе, — сказала Дина. — Мы с тобой обе станем взрослыми. И у нас будут партийные билеты. А сейчас я устала. Я ног не чувствую. У меня остался один рот. Мне надо отдохнуть. Я сяду на ступеньку.

— Она же грязная.

— Мне спать хочется, мама.

— Хочешь, я донесу тебя на руках?

— А каблуки?

Дине было так хорошо, что больше не хотелось говорить. Теперь она будет взрослой, и мама будет взрослой, и они будут дружить с папой Кольки, дяденькой-депутатом и, главное, с папой. Дина всех любит. И мама всех любит.

— Осталось одиннадцать этажей, — сказала мама.

Мама несла её, а потом Дине стало казаться, что она взлетает с маминых рук. Будто мама подбрасывает её. И сначала Дина падала обратно маме на руки, а затем решила не падать и полетела сама собою. Полетела вверх, потом вниз, снова вверх, и могла лететь сквозь лестницы и перила, и была как ведьма в том кино, и всё ей было запросто. Нужно было хотеть, и всё. И она хотела. И вокруг было очень темно, и она не чувствовала себя. Потом она заснула. Она очень устала, и заснула крепко. Во сне она летела вниз сквозь ступени, а потом перестала лететь. Остановилась где-то. На каком-то этаже. Её держало что-то и покачивало. И это что-то было приятным на ощупь и горячим. Еда и должна быть горячей.

Она открыла глаза.

— Динка, ты проснулась? Ты слышишь меня? Тяжёлая какая стала! Наверное, выросла, пока я тебя несла. Мы пришли. Мне ключи надо достать. Слезай уже. Господи, Дина, какая ты белая!.. Дина?

Она видела еду над собой и возле себя. Еда стала ближе.

Она потянулась туда, где еда была ближе всего. Она пошире открыла рот, вцепилась зубами в еду.

— Мерзкая девчонка, ты и правда кусаешься!..

Она быстро-быстро потянула еду на себя. Зажмурилась. Она не знала, зачем надо зажмуриваться, но было надо. В зажмуренные глаза брызнуло что-то очень горячее. Она открыла рот и стала глотать это. Она слышала звуки, но ей было всё равно. Ей было хорошо, и надо было, чтобы это хорошо продолжалось. Еда отталкивала её, но была слишком слабой, чтобы оттолкнуть. Еда была вкусной. Нужно много еды. Что-то перевернулось, потом что-то оторвалось от еды и покатилося вниз.

Она ела, то открывая глаза, то закрывая их. Она стала понимать, когда можно открывать глаза, а когда нужно закрывать.

Есть стало трудно, еда стала холоднее. Еда была во что-то спрятана. Она добыла спрятанную еду, но есть не стала: еда стала совсем холодной и плохой на вкус.

Она встала.

Она знала, что найдёт другую еду.

— Диночка? Что случилось с мамой? Вот говорила я: допрыгаешься ты, девонька, попадётся тебе маньяк. Телевизер-от смотреть надо. А она: то с тем пинжаком, то с этим... Искала всё богатого да любящего. А вместо сказки-от таперича телевизер.

Вот она, другая еда.

28 октября, понедельник, 7:48. Тоня

По пути в школу она встретила Женьку Вертецкого. Он поздоровался, сказал что-то о хорошей погоде. Он не пытался взять её под руку, как нахал Королёв. Если б попытался, легко было бы его отбрить. И идти дальше одной. Тоня вздохнула. Она любила идти в школу одна. Идти и думать о будущем. Как Сева. Будущее всегда представлялось ей лучше настоящего. Таким фантастическим и добрым, как в советской книжке про Алису, «Сто лет тому вперёд». А Женька фантастику не любит, и за литературу-то её не считает; и вообще он хмурый, девчонкам не нравится. И ей, Тоне, тоже. Ей Сева нравится, но Сева молчит. Сева на полтора года старше её. И она шла с Вертецким и думала о своём. Он что-то говорил, ровно и нудно, а она не слушала.

Мечтала о далёких планетах, о счастливой жизни, о том, что не будет ни войн, ни политики, ни оружия, ни тех богатых, что заедают чужую жизнь, ни заеденных бедных. О том, что править миром будет не эгоизм и право сильнейшего, а — она недавно узнала это красивое слово от Севы, — альтруизм.

И такие люди, как её папа, заседающий в военкомате и забирающий людей в армию, будут не нужны.

Она говорила папе о возможной счастливой мирной жизни, но папа не понимал её. Отвечал, что кому-то нужно защищать Родину и что служба в армии — занятие настоящего мужчины. «Но не будь военных, не стало бы и войны», — отвечала ему Тоня. — «Ты не понимаешь, — возражал папа. — Армия для того и существует, чтобы не было войны». — Тут она знала, чем крыть: «Ты хочешь сказать: не будь военных, всюду бы шли войны? Кто же их ведёт, по-твоему? Мирные жители, что ли?» — На это папа не мог ответить. Сердился, уходил. Потом возвращался в её комнату: нет, говорил, ты, Тоня, не права. Без военных и милиции была бы анархия. — «А что, анархия — плохо?» — спрашивала она. — «Плохо, — кивал он. Беспорядки, убийства, грабежи. Мародёрство». — «А вот мы по истории проходили Флоренцию. А про Великий Новгород ты слышал? Не было там ни военных, ни правительства. И неплохо люди жили. Было народное вече. И фантасты вот мечтают о счастливом будущем без войн и без оружия. У Саймака в «Городе» написано, что государства в будущем не будет — отомрёт за ненужностью. Ты, папа, споришь потому, что ты военный — и тебе надо оправдаться».

Уходя из её комнаты, папа останавливался, поворачивался: «Хочешь жить в мире — готовься к войне».

«Как глупо! Это мог сказать только военный. Хочешь жить в мире — не готовься к войне!»

«Девчонка! — средился папа. — Девчонка, школьница, — а уже умеет последнее слово оставить за собой!..»

«Последнее слово, папа, — говорила она ему в спину, — не за мной, а за миром. Только военные думают иначе. У них — то есть у вас — всё наоборот. Для вас каждая война — последняя! И когда-нибудь бешеный дурак у кнопки уничтожит планету!..»

Вертецкий всё говорил и говорил, и она прислушалась. Он как будто сказал что-то

интересное. Этого, конечно, не может быть, но всё же...

— Не понимаю, зачем люди воюют. Когда так просто: любить друг друга. Любить. Зачем отнимать, насиловать, грабить? Нападать и угнетать? Когда можно любить — и быть счастливыми!

Тоня словно она слушала саму себя.

— Женя?

— Что, Тоня? Разве ты не считаешь, что...

— Ты позаимствовал мои мысли!

— Ну что ты, Тоня. О любви люди мечтают столько же, сколько сознают себя. Мы вряд ли поймём, о чём думали в палеолите, но, мне кажется, люди умели любить уже в те времена. Я вот думаю, ненависти люди учились *через силу*, а любили *инстинктивно*. Естественно. Вот как я люблю тебя.

Она остановилась. Сердце её заколотилось так, как никогда прежде не колотилось. Часто и громко — так, что, наверное, и Женька услышал.

Она не знала, что ответить. Как вести себя. И сердце стучало, вот-вот выпрыгнет. И голова закружилась. Как это, оказывается, приятно, когда тебе признаются в любви. Пусть вот так, внезапно, по дороге в школу. Женька смущён, наверное. И неспроста это он к ней пристроился. Он же в другой стороне живёт, на Текстильной. (В одном доме с Севой, кстати). Нарочно высмотрел её?... Дождался, когда она выйдет из дому. И пошёл рядом. Будто случайно. Хотел и раньше ей признаться, но только сегодня решился. Давно, наверное, любит её. И *они двое* так же юны, как Ромео и Джульетта. Нет, тем, кажется, по четырнадцать было. Значит, она и Женька уже староваты!

Лицо у неё запылало. Ох, он всё видит. Её надо что-то ответить, и тогда смущение её пройдёт. Но что? Сказать, что он ей не очень нравится? Что он *серьёзный*? Но кто ей нравится? Ой, сколько вопросов!..

— Ты правда меня любишь? — Она поняла, что сказала как раз то, что нужно. Ведь он признался так неожиданно.

— Разве я похож на лжеца, Тоня? Зачем лгать в мире, где и так много лжи?

Она пошла, и он пошёл рядом. Ей захотелось взять его за руку, просто подержать его ладонь, — и он словно понял её желание и взял её за руку. И через её варежку и его перчатку его рука показалась ей холодной. А лицо его — она глянула на него, стараясь не задерживать взгляд, — очень уж бледным. «Волнуется». Глаза его блестели. «Это от линз».

— Я думала, тебе безразлична тема любви. И войны и мира. Я думала, что вообще эта тема интересует больше женщин, а мужчины все вояки. Как мой отец.

— Я всё понял только сегодня, Тоня. Только сейчас. Идя рядом с тобой. И другое понял. Что любовь — такое большое чувство, что его хватает на целую планету. На всех людей. У одного человека столько в душе любви, что он может любить всех людей. Любовь не кончается. Она неиссякаема. Вот что я понял. Это же так просто. Для любви не нужны горячее. Не нужны автоматы и патроны, танки и ракеты, нефть и атом. Для ненависти столько всего нужно, а любовь потому и чиста, что ей достаточно одной мысли.

Как хорошо Женя говорил!..

Когда они вошли в школу, она уже любила его.

Только очень уж он бледный. Лучше б он покраснел, как она.

Классная сказала, что будет только первый урок. Потом школу закроют. Нет воды, сказала Руфина Равильевна. Когда дадут, неизвестно. Поэтому у них получается прибавка к

осенним каникулам. Но радоваться нечему. Итоговые контрольные за четверть пропали. Придётся уплотнять школьную программу. Не хотите же вы все превратиться в отстающих.

— Хотим, хотим! — дружно закричали в классе.

— Тихо, — стоя у доски, сказала Руфина Равильевна. — Сами не знаете, что говорите. С таким нежеланием будете учиться, не поступите в институты.

— Поступим, — сказал нахал Королёв. — Папки, мамки заплатят, — и поступим. Всё покупается, всё продаётся. Закон рынка.

— Много ты знаешь о рынке, Королёв.

— Побольше вашего, Руфина Равильевна. Вы тут в школе детишек учите, а я...

— Хочешь быть бизнесменом, как твой отец, Королёв? Хорошо. Знаешь, что бизнес делают люди самостоятельные? Умеющие всё сами и дающие работу другим? А ты сидишь с Вертецким специально, чтобы у него списывать. Досписывался уже до сколиоза. Где же твоя самостоятельность?

— А я даю работу другим, Руфина Равильевна. Вертецкий раньше решал один вариант, а теперь решает два.

«Ну и нахал же этот Королёв», — подумала Тоня и повернулась к Жене.

Женя улыбался. Может, он всегда такой — улыбающийся, задорный, когда его задевают. Она прежде не наблюдала за ним. Была к нему безразлична. Это нехорошо. Но сегодня она исправится. И она не станет больше думать, что и как ответить Жене. Она будет говорить, и всё. Лгать — низко. Зачем лгать в мире, где и так много лжи?... Где-то она это слышала.

— Руфина Равильевна. — Женя встал, вышел в проход между рядами парт. — Королёв — хороший человек, и напрасно вы его ругаете. Надо любить людей, Руфина Равильевна.

— Как ты сказал? — Видно было, что классная растерялась. Тоня подумала, что Руфинушка много чего в школьной жизни слышала, но проповедей о любви к ближнему на её памяти, наверное, не было. Тоне решительно нравилось, как вёл себя Вертецкий. «Женя, — думала она, и лицо её горело, — Женя!»

— Надо любить людей, Руфина Равильевна, — повторил Вертецкий.

— Он дело говорит, Руфина Равильевна, — вступил Королёв. — Ругаться и ссориться мы все мастера. А вы попробуйте-ка любить. Кстати, вы педагог. Вот вы все говорите: я нахал. А ведь нахала из меня сделали вы. Да, все вы. — Он насмешливо оглядел класс. И на Тоню посмотрел. Так, будто знал, что она шла сегодня с Вертецким и что до сегодняшнего утра была плохой, а теперь переменялась. И странно: она не ощущала никакого стыда. Она была согласна с Королёвым. И нахалом он ей уже не казался. — Все называете и считаете меня нахалом. И дураком. А я не дурак. Подумаешь, списываю. Я могу мотоцикл или скутер починить, а Вертецкий — нет. Мы с отцом и катер чинили. Я считаю, в школе учат всякой муре, от которой в жизни проку нет, вот и всё. Мой папа тоже так считает. Бизнесу в школе не учат, Руфина Равильевна. И самостоятельности тоже. Так, одна болтовня педагогическая. Жизнь по учебникам. По глупым книжкам. Позвоночник! Вот сидим и портим тут позвоночник и глаза. Вертецкий вон уже испортил, линзы носит. Да, Вертецкий?

— Я люблю тебе, Королёв.

Женька стоял у парты и нежно глядел на своего соседа. Тоня не удивилась — чему удивляться, Женя и на неё с нежностью смотрел, — а вот Королёв разинул рот. «Закрой рот, муха залетит», — обычно говорила классная, но тут и она разинула рот.

— Вот не думал, что ты гомосек, Вертецкий, — громким шёпотом сказал Королёв. — Да и то: другойбы сбежал давно от такого соседа, как я... Сперва пинка под зад, а потом:

«Дай списать!»! Так вот ты какой, Женька Вертецкий. Вот от чего ты мучаешься. Я-то думал, ты одинокий, ни с кем не дружишь... А ты в меня втюрился! И то: я парень что надо, бицепсы, трицепсы, ножная мускулатура, и подтягиваюсь на турнике шестнадцать раз, и бегаю кросс быстрее всех. И если надо, могу за тебя и морду набить. Ты это... Только намеки, кто... Я ему быстро вместо носа второй рот сделаю.

Теперь весь класс сидел с разинутыми ртами.

— Нет, Володя, рот из носа делать не надо. Это была бы не любовь, а вражда. А мы с тобой всех любим. И все нас любят. Они, может быть, и не замечают этого, но любят.

Тоня чувствовала, как переполняется любовью. И к Вертецкому, и к Королёву.

— Что уставились, рты раззявили? — сказал Королёв. — Вертецкий дело говорит: людей надо любить. Гомосеки тоже имеют полное право любить. Всех надо любить, да, Вертецкий? Да, Женя?

— Да, Володя. Знаете, Руфина Равильевна, любить людей — вовсе не труд. Королёв говорит «надо», потому что не все любят. А вообще-то это легко. Ненавидеть — трудно. Ненависть — это же каторжный труд. Приходится каждый день, каждую ночь страдать, мучиться, зубами скрипеть. Невыносимая жизнь, вы не находите, Руфина Равильевна? Каторга, которую человек создаёт сам себе. Сам себя запирает в клетку. Ненависть закрывает мир, любовь открывает его. Чтобы любить, достаточно улыбнуться и сказать: я люблю тебя. Пожать руку. Поцеловаться. Помочь чем-нибудь. Это так просто. Списать? Да пожалуйста. Починить скутер? Да ради Бога. Дать пинка под зад? Ну, давай, Володя, пинай.

— Что-то не хочется, Вертецкий. Сейчас момент торжественный. Но я понял, куда ты клонишь. Это мудро, Женька.

Женька стоял, а Володя сидел. Однако первый выглядел как учитель, второй — как ученик. Тоне нравились они оба. Она любила обоих.

Перед ней словно бы открылось что-то, прежде закрытое. Или не закрытое, но не понятное. Да: дверь не была заперта, но она не была за нею. Она проходила мимо. Она говорила о мире и о любви, — но была ли она миролюбива? И любила ли она? Вот того же Женьку. Она сторонилась его. Смеялась над ним с другими девочками. Какая же тут любовь? Тут что-то похуже ненависти. А Володя Королёв? Она называла его нахалом. Как и все. Так чем же она отличается от всех? Она, говорящая о том, что надо любить и жить в мире? Что это за жизнь в мире и любви, когда одни смеются и издеваются над другими? Нет, Тонечкина, это не мир, а война, и не любовь, а презрение (то, что похуже ненависти). Вот потому люди и воюют: одни разозлятся на других — и начинается. А там, где настоящая любовь (а не слова о ней), там войны нет, там всегда мир. И военных можно любить. Если бы все их любили, они бы перестали воевать. Поняли бы, как страшна война. Поняли бы, как нужен мир всем людям. И что мир не нужно защищать. Потому что мир — не завоевание, а состояние. Где-то она читала об этом. Ах да, это Женя говорил. Женя умный. Он серьёзен там, где и надо быть серьёзным. И умеет любить по-настоящему. Как она счастлива! Ну, вот. Надо любить, и всё. И она любит. Женю, Володю, Руфину Равильевну. Всех. Папу!

Ей надо будет сходить к папе. На работу. Туда, где сидят на стульях военные и пишут свои бумаги. Она знает, что она должна сделать. Знает, что сказать им. Она всё поняла. Наконец-то. Она вошла в ту незапертую дверь. Отворила её. Женя ей отворил. И она идёт там, за дверь. По светлому коридору. Ей много надо пройти. И идти там — счастье.

Она встала.

— Мне нужно к папе, Руфина Равильевна. Отпустите меня, пожалуйста.

— Вы что, все белены объелись? — Классная села за свой стол. Взяла указку, стала вертеть её. Тоня не хотела уходить, пока не получит разрешения. Она ведь любит Руфину Равильевну. Она не будет с ней ссориться. Но ей очень нужно к папе. Хорошо бы, с ней к папе пошли Женя и Володя, но им, как и ей, нужно полюбить очень многих. У них много дел. — С чего ты решила, что тебе посреди урока нужно к папе? Ты что, маленькая девочка, Баранова? И так пол-урока потеряли. И урок-то единственный. После него — домой. А потом — радуйтесь, каникулы. А ты и пол-урока не желаешь отсидеть?

— Зачем вы употребляете эти страшные уголовные глаголы, Руфина Равильевна? — сказал Женя.

— Я люблю вас, Руфина Равильевна, — сказала Тоня.

— Иди, Баранова. С глаз долой. Из сердца вон.

— Спасибо вам, Руфина Равильевна.

— А ты что стоишь, как истукан, Вертецкий? Садись. Или тоже будешь признаваться мне в любви? Тебе, что, плохо, Вертецкий? Ты почему побледнел?... Скажи что-нибудь!

— Я люблю... вас... Руфина... Ра... Ру...

Тоня задержалась в дверях, чтобы посмотреть, как Женя будет любить Руфину Равильевну.

Женя шагнул к Руфине и покачнулся. Так, будто человек-невидимка толкнул его в грудь. Тоня прошла к доске и стала смотреть оттуда. Женя осел на пол. Схватился руками за края парт — и осел, и руки упали. И так и остался сидеть на полу. Он стал белый-белый, и Тоня поняла, что любит белый цвет. И все цвета любит. Она всё любит. Все повставали, из третьего ряда столпились у второго, стали смотреть на Женю.

— Тоня, вызови медичку, — сказала Руфина Равильевна. — Не видишь, Вертецкому плохо?

— Ему не плохо, — ответила Тоня. — Он счастлив. Он просто белый, вот и всё. Никому не бывает плохо. Боли нет. Все всех любят. Это закон жизни. Я люблю вас, Руфина Равильевна.

— О, что же мне делать!.. — Руфинушка выскочила из-за стола, уронила указку. И осталась у доски. Посмотрела (с укором?) на Тоню. Она будто боялась чего-то. А бояться было не нужно.

Королёв перелез на стул Вертецкого и наклонился над Вертецким. Стал гладить его по голове. А Женя, казалось, спал. На боку между партами. Спал с улыбкой. На белых губах. Это было так красиво. Люди, которые любят, умеют спать красиво и умеют видеть красивое. Это ведь Достоевский писал о красоте. Тоня пыталась читать «Преступление и наказание», а потом «Карамазовых». Показалось скучно, осилила только первые 70 страниц «Преступления», где убивается старуха, и первые 50 «Карамазовых». «Карамазовых» было читать трудно. Но теперь-то Тоня поняла, что значит выражение «красота спасёт мир». Достоевский ошибался. Никакая не красота. Потому что не понять, что такое у него красота. Не понять, когда не любишь. Достоевский не любил, а ненавидел людей, издевался над ними в своих романах. Потому и не мог объяснить, что такое красота. А она, Тоня, любит, и поэтому понимает: любовь спасёт мир. Любовь. Через любовь всё видишь красивым.

Женя пошевелил руками. Дёрнул ногами. Королёв подал ему руку. Женя принял её. Как-то тяжело, с опущенной головой, он поднялся. Поднял голову, посмотрел в глаза Руфине Равильевне. Вынув руку из руки Королёва, медленно пошёл к доске. Руки его тянулись к Руфинушке. Он любит её. И её, Тоню, тоже любит. Она улыбнулась ему и пошла из класса.

Ей нужно к папе.

— Ты что, Вертецкий? — сказала классная. Тоня обернулась.

Женя взял руку Руфины Равильевны, погладил, Руфина вырвала у него руку. Тогда Вертецкий взял её другую руку. Руфина хотела вырвать и эту руку, но Женя не дал, потянул руку на себя и стал есть её. Так, словно обгладывал свиное рёбрышко. Руфина закричала, задёргалась, завывалась, Женя — как бы с удивленьем посмотрев на классную, — перестал есть, обхватил Руфинушку за талию, притянул к себе. Женя — сильный. Он стал сильным, потому что научился любить. Он отпустил одну руку классной и взял другую. И объел и её. Выпачкался в крови, и Руфина вся была в крови, и это было красиво.

Руфина уселась под доской. Глаза у неё были стеклянные. Любящие такие глаза. Из объеденных рук текла кровь. Тоня знала: когда любишь, не больно.

Заснул, головою на парте, Володя Королёв.

— До свидания, Руфина Равильевна, — сказала Тоня.

Женя склонился над классной, но потом, видимо, передумал. Повернулся к первым партам. В классе закричали. Кто-то поднял стул. Надька Талалеева залезла под парту. Саша Басманов пробирался вдоль стены к выходу. А Володя Королёв поднимал с парты голову. Белые щёки, белый нос. Тоня перевела взгляд на Женю. Он открыл ей целый мир. Она так благодарна ему!

Женя был красив и в профиль. Какое вдохновенное лицо. Она любит его. Она будет с ним жить. И родит ему шестерых детей. Трёх мальчиков, похожих на него. И трёх девочек, похожих на неё. Она придёт к нему домой и скажет об этом. Они будут счастливы. И Севу она тоже любит. От Севы у неё тоже родятся мальчики и девочки. А сейчас ей нужно к папе. Она и так задержалась. Любовь нельзя откладывать. «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», — учил её папа.

— Я иду к тебе, папа.

28 октября, понедельник, 7:49. Владимир Анатольевич Таволга

Доктор откинулся на спинку кресла. Откинулся до того самого положения, в котором непременно чувствовал резкую боль в пояснице слева. Боли не было. Он поёрзал в кресле. Боли нет. И не будет. Уже никогда.

— Разрешите-ка, — сказал он.

Люба и Максим отошли от кресла. Владимир Анатольевич отодвинул кресло, встал. Наклонился. Коснулся пальцами пола.

— Лет шесть, дорогие мои, я не мог этого сделать.

Пальцев он не чувствовал. На обеих руках. И вообще руки казались ему обрубками: где-то у локтей ощущение рук пропадало. Нет, это не остеохондроз. И не нехватка в организме магния. Это — *это*.

Как сильно он любит Любу и Максима! Как это замечательно, что они здесь, с ним. Как он благодарен им. И как он будет благодарен всем тем, кто примет новый мир, отказавшись от неудобного старого!

Он, доктор Таволга, благодарен и себе. Он любит и себя. Он никогда не думал о себе. О любви к себе. Правда, наука, пентаксин, светлое будущее. Всё это заслоняло его самого. Он постарел, забыв себя. А и себя надо любить. С себя начинается любовь ко всем.

— Володя, я люблю тебя, — сказала Люба.

— Это хорошо, — кивнул доктор. — Это хорошо и просто. Глупо ссориться и выяснять что-то. Нужно любить. И всё. Жизнь прекрасна. Я люблю, ты любишь, он любит, они любят. Все всех любят. Люди давно это знают, но боятся этому довериться. Посмотри, какое у тебя имя, Люба. Любовь. Не знай люди о любви, не желай они любить друг друга, они бы не придумали такое имя.

— Люди всегда искали идеала, а Володя сделал его, — сказала Люба.

— Идеал всегда был, Любовь Михайловна, — сказал Максим Алексеевич. — Не умек объяснить красиво, как философ, но, по-моему, идеал — это то, как мы *не живём*. А Владимир Анатольевич сделал идеал бессмертным.

— Люди всегда искали то, что было у них под носом, — сказал доктор. — Но это нелепо! Зачем искать то, что в тебе, и то, что во всех, — и что нужно только признать как факт?

Владимир Анатольевич хотел протянуть руки к Любе и Максиму Алексеевичу, но рук теперь совсем не чувствовал. Однако протянуть руки он смог. Движения у него выходили медленные, и он не ощутил подъёма рук. Но руки не показались ему тяжёлыми. Интересно, какие ощущения будут у него после обновления?

Максим Алексеевич, внимательно глядя на него, сказал:

— Мне надо идти.

— Почему же, Максим Алексеевич? Нам так хорошо вместе.

«Рук нет, ноги чувствую до колен, от лица остались будто губы и уши. Я как бы исчезаю понемногу». — Он опустил руки. Максим стоял перед ним.

— Мне надо уйти, — сказал труповоз. — Вы, Владимир Анатольевич, кажется, уже *на*

подходе.

— Далёко вы, Максим Алексеевич?

— На улицу. Уйду отсюда. Не хочу, чтобы между нами *что-то вышло*.

— Между нами ничего не может выйти, кроме любви, Максим Алексеевич.

— Так оно и будет, Владимир Анатольевич. До встречи в новом мире. До свидания, Любовь Михайловна.

— Я люблю вас, Максим Алексеевич, — сказала Люба. — Возьмите мою руку и пожмите. Я её не чувствую.

— А ты сама попробуй поднять, — сказал доктор.

— И правда: получается, — сказала она.

Максим Алексеевич пожал ей руку.

Доктор видел, как он проверил под пиджаком слева. И нажал на пульте кнопку. Дверь открылась.

Доктор смотрел на уходящую тёмно-синюю спину.

«В этом костюме он похож на почтальона. Я люблю его. И люблю почтальонов».

— Никита голоден, — сказала Люба.

— Я думаю, на улице он нашёл кого-нибудь. И полюбил.

— Как это прекрасно — есть людей, — сказала Люба. — Это высшая стадия любви. Это выше полового акта. Это предельная, натуральная отдача. Без компромиссов и метафор.

— Подлинно материалистическая любовь, — сказал доктор. — Если бы одни не ели других, если бы кроманьонцы не истребили неандертальцев, не явился бы и человек разумный.

— А не явился человек разумный, не явился бы и Homo pentaxinus.

— Это заключительная, верхняя ветвь эволюции. Точнее, её верхушка.

— Мы с тобой как боги.

— Тут нет противоречия. Человек есть творец. Бог — тоже его творение. Творение его фантазии. Недоразвитой фантазии. Но теперь воображение и ум человека созрели для нового творчества, по сравнению с которым клонирование выглядит детской забавой. И подумать только, Люба, это наши с тобой ум и воображение. Это мы с тобою породили новый дивный мир.

— Новый дивный мир, в котором вместо Моисеевых скрижалей и комментариев к ним Иисуса будет единственная заповедь...

— *Переживание наиболее приспособленного.*

— У меня немеет всё тело, Володя. Меня будто накачали новокаином. И сердце замедляет темп. Я не ощущаю, как оно бьётся. Но во мне рождается какое-то движение: я будто лечу куда-то. Вместе с полом. И с этим домом. Мне кажется, подвал наклоняется. Немного странно: я ощущаю пол, но почти не чувствую ног.

— А ты присядь. — Он подвинул её своё кресло, она села. — А я... постою. Язык... онемел. Как в кабинете... у стоматолога. Не чувствуешь, но говорить можешь. Медленно...

— Расскажи, как... будет... в новом мире, Володя. Как мы будем... любить.

— Все будут любить всех. Я уже... чувствую это. Никто... не будет помнить... что такое ненависть. Все будут богами... и не будет людей. Все будут вечны.

— Так странно помнить... что я возражала тебе.

— Никто не будет помнить... как было прежде. И ты. Толстой в восемьдесят лет... был счастлив, забыв... всю свою прежнюю жизнь. И помнил... только главное: как надо жить. И

мы... То есть все...

Он опустился перед Любой на колени. Кажется, это заняло целую минуту. Так всё медленно совершалось. Он уже не чувствовал ничего в своём теле. Ни коленей, ни рта, ни глаз, ни сердца, ни кожи. И всё же он был. И осознавать это было — чудесно!

— Мы переплывём мор... переплывём океаны, — сказал он, — мы... посеём новую жизнь... в Европе, Америке... Африке. Мы создадим колонии в Антарктиде... на Луне, Венере... Марсе... Нам не нужны воздух... и вода... Поселения в далёком космосе... Земле не грозит более... перенаселение... Ни болезней, ни войн, ни смертей... Люба, ты слышишь... меня... я уже с трудом говорю...

— На Юпитере, на Сатурне... — шептала Люба. — Крепкие новые люди, Володя... Креп... кие...

— Да, милая. Не какие-то... там... Рахметовы.

Он ткнулся лицом ей в колени, её коленей не чувствуя.

Обнял Любу вместе с креслом, но ни Любы, ни кресла, ни рук своих не чувствовал.

Они умерли в один день, один час, одну минуту и одну секунду.

*28 октября, понедельник, 8:05. Обновлённый Владимир Анатольевич Таволга*

И воскресли в один день, один час, одну минуту и одну секунду.

Он открыл глаза, и увидел, как она открывает глаза.

Она была белая, была такая же, как он.

Ему сильно хотелось есть.

Он открыл рот.

Язык его шевельнулся:

— Ктым.

И она приоткрыла рот:

— Аго.

28 октября, понедельник, 8:25. Тоня

По дороге из школы она увидела Владьку Быстрова и Владьку Костенко. Друзей с одинаковыми именами. Они сидели в спортгородке на брусках и курили. Увидев её, прыгнули с брусков и побежали. Побежали, оглядываясь, говоря что-то. Лица у них были испуганные. Костенко, оглянувшись, споткнулся на бегу, упал, вскочил и побежал догонять первого Владьку. Тот даже не стал ждать Быстрова. Друг, называется. Они боятся любви! Ничего. У неё был Женька, и у них кто-то будет. Тот, кто откроет им целый мир. Любовь и красоту. Может, это будет она. А может, Лариса Пошехонова.

Лариса попалась ей навстречу. Проспала, как обычно. Полночи, наверное, «чатилась» в «Инете».

Тоня не любила опаздывающих. Нелюбовь к ним была у неё от папы. И она не стеснялась признать это. Папа, пожалуй, и гордился этим. Она вставала чуть раньше него: в шесть двадцать. И душ холодный принимала. Как и он. Как она могла не любить его? А мама ей говорила: ты в куклы почти не играла, и водой холодной обливаешься, и встаёшь раньше отца. Ваше утро отличается лишь тем, что ты сидишь у зеркала, а отец к зеркалу равнодушен; оно ему только затем, чтобы бриться. «Да, — отвечала Тоня, — зеркало — от тебя. К слову, мужчины не понимают, как много времени у женщины уходит на то, чтобы хорошо выглядеть». — «Какая ты уже взрослая, Антонина». — «Зови меня Тоня. Антониной будет звать меня муж-подкаблучник».

Тоня улыбалась Ларисе. Лариса опаздывает? Ну и что. Нет больше поводов для нелюбви. Для презрения, злости, насмешки. Так легко стало жить!.. Она скажет об этом Ларисе. А Лариса передаст бегунам Владькам. Костенко ведь неравнодушен к Ларисе, правда, Лариса безразлична к нему. Но сегодня Лариса Владьку полюбит.

— Привет, Лариса!

— Привет. Ты что это? Я в школу, ты из школы.

— Уроков не будет. Отключили воду. Руфинушка сказала, первый урок — и по домам.

— Воды нет, это да. Я тоником мордочку протёрла. А ты что такая разговорчивая? И урок ещё, кажется, не кончился. И бледная ты какая!..

— Волнуюсь, наверное. Много всего произошло. И это так хорошо. Ты ничего не чувствуешь? Я люблю тебя, Лариса.

Лариса остановилась. Тоня подумала: «Ей никто не говорил о любви. И мне до сегодняшнего утра никто не говорил. Но сказал Женя — и всё переменялось. Мир стал праздничным. И вот я сказала Ларисе. И она чувствует то же, что и я. И не знает, как себя вести. Но это у неё скоро пройдёт. Она уже краснеет. А потом побледнеет. Как Женя. И я тоже уже бледная, Лариса сказала. Значит, мы все любим. Мы *проникаемся этим*».

— Ты что, Баранова? Ты — лесбиянка? А я-то, дура... Вот почему ты с Королёвым дружить не хочешь — хотя он на тебя давно пялится! А он ведь пацан не робкий. Вот почему у тебя парня нет! Слу-у-ушай... Я думала, ты меня презираешь. А ты, что же, *скрывала*? Ну, до меня дошло-о... Я гуляю с десятиклассником — а ты, Баранова, злишься? Так, да? Злишься, что такая мелюзга, как ты, меня не интересуешь? Девочка милая, да меня лесбиянки

вообще не интересуют. Я их презираю. Уродки. Нет ничего лучше толстого твёрдого члена, поняла? Ненормальная.

— Лариса, я не лесбиянка. Не сердись. Ты поймёшь меня очень скоро.

— Пойму? У тебя не все дома, Баранова. Или ты загрипповала. Или простудилась. Точно: ты вся белая. Ты щёки отморозила. И нос. И лоб. И губы. Целовалась, поди, с какой-нибудь девчонкой из третьего класса на морозе, лесбиянка хренова!.. И где ты мороз-то нашла — в холодильнике? Пивка холодного перепила?... Ты же не пьёшь. Иди-ка домой, ляг в постельку, выпей чаю. Или молока кипячёного. И чего это от тебя Владьки шархнулись? Я всё видела.

— Они тоже не понимают.

— Чего не понимают?

— Что все всех любят.

— Все всех — ненавидят. Факт. А любят — это только на словах. Любят деньги, секс, власть, машины, квартиры и шмотки. А друг друга ненавидят. Называют зайками, целуются, обнимаются — и ненавидят. Все всех ненавидят, поняла? И вот это — нормально.

— Сегодня всё переменялось, Лариса.

— То есть как это — сегодня? Инопланетяне из космоса прилетели и нас всех заразили вирусом любви? Как гриппом?

— Мне Женя Вертецкий сказал — и всё переменялось.

— О чём сказал?

— Что любит меня.

— Ну, у тебя, Барашкина, крышу полностью сорвало. Этот линзонос сумасшедший любит тебя, а ты любишь меня. Вы тут меня своим детским драмтеатром не разыгрывайте. Ой, мне тут сообщение на айфон пришло. — Лариса вжикнула молнией курточки. — Если хочешь ещё потрепаться, подожди. Всё равно уроков нет. Или ты врёшь, чтобы меня в постель затащить?... Сонька фотки прислала. Ну всё: инопланетяне точно всех заразили. Не заразили, а с ума свели. А некоторым вроде меня повезло. И моей подруге повезло. А вот тебе, Баранова, нет. Бедная! Смотри. Всё равно *прикалываетесь* тут все.

На экране айфона Тоня увидела фотографии. Лариса, держа перед нею айфон, листала снимки. На фотографиях было то же, что десять минут назад случилось в классе, и Тоня не удивилась. Скоро так будет всюду. Это новая счастливая жизнь. Наверное, власти утвердят сегодняшнюю дату как праздничную. Как День Любви. Или День Мира. Или День Любви и Мира. И Красоты. Не нужно было писать книги, снимать романтические фильмы и мечтать, а нужно было любить. Как ужасно, что люди поняли это лишь в двадцать первом веке. Но хорошо, что всё же поняли.

— Ты с какого кондоминиума такая задумчивая, Барашкина? Ну прямо как твой новый дружок Вертецкий!

На первой фотографии мальчики и девочки (примерно треть класса) стояли у доски. У многих были открыты рты (говорили что-то).

— Подписано, — сказала Лариса, — было так: «Говорят о любви. Как придурочные. А мы слушаем, как придурочные». Сечёшь, Барашкина? О любви. И ты тоже мне впариваешь с любви. Что за прикол тут, не пойму. Не из-за бабок? Нет, из-за бабок ты бы не стала. А тем более линзонос.

На втором снимке у доски стояли не все, некоторые лежали на полу. У стоявших были белые лица. Настала эра любви. Лариса ещё не понимает этого, но она поймёт. Ей никуда не

даться. Это не принудительно, нет; но не любить там, где все любят, невозможно. К тому же счастье именно в любви. Не считает же Лариса, что счастье — в ненависти.

— Мама родная, — сказала Лариса. — Не нравится мне этот ваш любовный театр.

На третьей фотографии двое с белыми лицами — наверное, из тех, что лежали на полу, — ели девочку с первой парты. «Счастливая», — подумала про съедаемую девочку Тоня. Лица девочки не было видно. Два белолицых мальчика съели её руки и тащили её тело — каждый в свою сторону. А на четвёртой фотографии происходила *сплошная любовь*: мальчики и девочки ели мальчиков и девочек. Девочку с первой парты уже разорвали пополам. Одна половинка её лежала на парте, вторая на полу. Это было на пятой и шестой фотографиях.

— Короче, вы тут заморочились на фильмах ужасов. И решили разыграть кое-кого. Вроде меня, да? Какое-то новое сообщество в Сети, да?... Ты же не знаешь Соньку. Как выжить в условиях всеобщего поедалова? Как не быть съеденным другими и начать есть самому? По-моему, глупо. Кто поверит в ваших монстров-людоедов и хор у доски? Такими вещами в детских садах занимаются, а не в 15 лет. В пятнадцать и шестнадцать, моя милая, девушек должны интересовать совсем другие вещи. Не «Фотошоп». Нормальных девушек, конечно.

— Я нормальная, Лариса.

— Да ну!

— Любить — нормально.

— По-твоему, тут — любовь? Что за прикол-то?

— Никакой не прикол, Лариса. Тут правда.

— Ты мне мозги не запаривай, Баранова.

— Они едят и любят, — сказала Тоня.

— Едят и любят, — задумчиво повторила Лариса. Тоня заметила, что лицо её чуть переменялось. Ну, стало добрее, что ли. Или доверчивее. В общем, это было уже не то лицо, что каждую минуту готово фыркнуть.

Или это было лицо, которое боится. Остерегается.

Остерегается любви.

Лариса молча прочла с экрана письмо своей подружки. И слегка побледнела.

— Сонька убежала, — сказала она. — *Это* было у них и в классе, и во всей школе. — Лариса говорила без усмешки. — Учительница к ним на урок почему-то не явилась. Наверное, съел по дороге кто-то. А в соседний класс училка пришла. И ей не повезло. Вот ещё фотки. Там была медсестра. Вот здесь она хочет поставить взбесившейся девочке успокоительный укол. Девочка только что укусила училку. А на этой фотке девочка откусывает руку медсестре. А тут девочка бешеная ест учительницу. Сидит на ней и отрывает от неё куски. Фотографический бред. Не понимаю, почему я верю в это. Только что не верила.

— Как же не верить в правду?

— Была бы правда, я бы жалела этих обкусанных.

— Ты не жалеешь, а любишь. И почему — жалеть? Они счастливы. Они тоже любят. Твоя Соня тебя любит. И эти девочки тебя любят. И учительница. И медсестра.

— Всё прикалываешься?... А мордочка — такая же серьёзная, как у Вертецкого. Погоди-ка... Вертецкого же никто не любит.

— Любят. И даже Королёв любит.

— Ну ты сказала. Как в лужу... Моя Сонька, — сказала Лариса, убирая айфон и вжикая «молнией», — убежала из школы и позвонила подружкам из других школ. Некоторым не дозвонилась. А те, кому дозвонилась, сказали, что и у них то же. Людоедство. И разговоры о любви. Одна подружка, не знаю, из какой школы, сбросила Соньке на айфон инфу. Директриса, короче, построила всех на улице (прикинь: одеться в куртки не дала!), прочла всем лекцию о любви, а потом упала, полежала, встала, учитель физики подал ей руку — и она перегрызла ему горло. Она давно на физика глаз положила. Это, может, и враньё. Фотки-то нет. Но то, что многие вокруг сдвинулись по фазе, — правда.

Лариса отступила от Тони на шагок. Будто бы ей надо было поправить курточку.

— Что это за разговоры о любви, Тонька?... Или... Нет. Я поняла. Это психопатия такая. Коллективная. Точно. Я у мамы спрошу. Она же психолог. Юнг, кажется, объяснял, что есть коллективное сознательное, а есть коллективное бессознательное. И вот некоторые — у нас же трудный возраст, Тонька, — впали в коллективное несознательное. То есть бессознательное. И живут будто во сне. Делают то, о чём потом забудут. Как лунатики. Бессознательные коллективные лунатики. Только лунатят не по ночам, а по утрам. Ну, всё равно, темно же ещё... И есть бешеные, а есть тихие лунатики. Ты больная тихая, Тоня. Ты же не бросаешься есть меня. А эти, на фото, — бешеные. Как это у психиатров называется? Буйные. И когда это началось? В Интернете ничего не было ночью. Слушай... Ты что, хочешь сказать... У нас в школе?... У нас в классе?

— Я же говорю, это правда. Все всех любят. Женя Вертецкий съел Руфину Равильевну.

— Врёшь!

— Не вру. Когда любят, то и едят. Для любимого человека ничего не жалко.

— Так это что же, по-твоему, на фотках?

— Это любовь, — сказала Тоня.

Лариса разинула рот — как недавно мальчики и девочки в классе, — и попятилась от Тони. В сторону спортгородка.

— Что-то мне не по себе, — сказала она. — Надо в Инете пошариться, по ссылочкам покликать, френд-ленту почитать, на форумах людоедов потусоваться...

— Я люблю тебя, Лариса, — сказала Тоня.

— Сонька в двадцать девятой учится! — крикнула Лариса. — А мы-то — в шестнадцатой. Так это — везде?...

Тоня улыбнулась.

— Любовь не может быть в одном месте. Она повсюду. Везде люди любят людей. И люди едят людей. Любить — есть; есть — любить. Что может быть прекрасней?

Покрутив пальцем у виска, Лариса побежала через спортивный городок — туда же, куда убежали Владьки:

— Я поняла, во что я верю! Я верю, Тонька, ты — чокнутая!

Кричала она голосом очень неуверенным. С такой интонацией, как будто хотела заставить себя поверить. В то, что Тоня «чокнутая».

Тоне надо идти.

Пусть Лариса подумает. Она ещё многого не понимает. Она сильно увязла в своей ненависти. Это у неё скоро пройдёт. Если любишь, откуда взяться ненависти?

Как это просто!

Тоня любит Ларису. И Женю. И Володю. И Руфину Равильевну. И папу. Очень любит. И таким запутавшимся, как Лариса, нужно время, чтобы привыкнуть к этому. И они

привыкнут, и полюбят её. И увидят, как красив мир. И полюбят всё в этом мире.

У Тони столько нерастроченной любви!

Она идёт к папе. Идёт сказать, что очень-очень любит его, и всех военных тоже любит, и что если военные, например, её папа, хотят кого-то убить, то они могут убить её. Ей не будет больно. Ради любви к ним она готова на всё.

## Глава двадцать вторая

28 октября, понедельник, 8:30. Регина

«Ой-ой-ой. Полдевятого. Сейчас забегаяю по квартире. Сейчас начну чертыхаться».

— Проклятье! Чёрт! Гадство! Вот же зараза! Почему так каждое утро? Почему я не слышу будильник? Почему мой дурацкий организм не желает просыпаться всегда, когда ему, сволочи такой, надо просыпаться? Почему мой организм, который я кормлю, пою и намазываю французским кремом, не желает понимать, что меня могут уволить с работы — и тогда ему придётся кормиться самому?... Чёрт, куда я дела полотенце? Вот же проклятье! Нет воды? Я же собиралась с утра вымыть голову!.. Как — нет воды? Почему в кране нет воды? Я звоню в домоуправление. Не могу дозвониться, занято... Да они просто трубку с телефона сняли. Может, позвонить в «Водоканал»? А где у меня телефон «Водоканала»? Сейчас... «Ждите ответа». «Ждите ответа». Ну сколько можно ждать вашего чёртового ответа!.. Я не могу вечность ждать вашего чёртового ответа! «Ваш звонок важен для нас...» «Ваш звонок важен для нас...» Да что я повторяю за этими механическими голосами? Важен — так отвечайте, чёрт вас дери! *Водоканальи!*... Ладно, кладу трубку, иду мыть голову минералкой. Нет, не иду мыть голову, уже полдевятого. Беру гель, фен, расчёску и действую. Нет, не гель, — лак. На завтрак выпью кофе в буфете. Булочка? К чёрту булочку. Салат из капусты. Ну кто же с утра пораньше ест салат из вонючей капустки? Только телезвёзды и телеведущие. Сан Саныч уволит меня, как пить дать. Скажет: опаздываешь, бьёшь все рекорды по опозданиям. Придётся заменить тебя более ответственной ведущей. Отработаешь две недели — и гуляй смело. Так и быть, «по собственному желанию». Испытываете вы все, дорогие творческие люди, моё терпение. Иногда мне кажется, что я бы вместо демократии предпочёл бы диктатуру. Мне непонятно, каким образом при вашей расхлябанности вы ухитряетесь вовремя выходить в эфир? Впрочем, тебя, Регина, это не касается: ты ведь, если не ошибаюсь — а я никогда не ошибаюсь, — трижды задерживала прямой эфир. Ты не помнишь, как нам пришлось дважды прокрутить все рекламные ролики, а потом четыре минуты показывать *зарисовки уральской природы?*... Да пошёл ты в задницу, Александр Александрович Воротыннюк!.. Где у меня ключи и сотовый? Сотовый на шее, ключи в руке. Сумка на плече. Куртку застегнула?... Застегнула. Всё, выхожу. Помаду новую забыла. Плевать. Почему человеку столько всего нужно? Что-то писал на эту тему Лев Толстой. Какое-то «единое на потребу». Про Марфу. Откуда в моей голове Лев Толстой? А, этот тот пятничный профессор. Идеалист. Хвалил Толстого, ругал Ивана Ильина, а потом свернул не на ту дорожку — ой, не на ту! — начал чесать про неэффективность правительства и какого-то древнего англичанина (или американца?) цитировать. Пришлось заткнуть ему рот рекламой, а потом задавать «дежурные» вопросы. Эти умники с таким нахальным видом отвечают на вопросы, будто им ясно, откуда и куда ветер дует. Ну и шёл бы лесом, чего припёрся на телевидение? У меня своя работа — у него своя. Тоже, небось, на своей кафедре приспособливается к обстановке, лапшу на уши вешает студентам. Или замалчивает. И взятки, и коньяк принимает. С милыми оправданиями. Поеду на такси. Добегу до улицы Республики, и — в такси. А перед Сан Санычем возьму да разденусь. Да. У него в кабинете Он начнёт вякать, а я приложу пальчик к губам и скажу: «Тс-с, Сан Саныч, тс-с, ничего,

пожалуйста, не говорите», и начну раздеваться, а дверь на замочек закрою. До студии «Тюмень ТВ»!.. Пробки в городе? Почему пробки? Ну, не пешком же мне идти!.. Опоздала так, что никакими половыми отношениями не исправить... Это я не вам, не надейтесь... Может, в объезд? Вам, конечно, виднее... Ну и ладно.

«Позвонить, что ли, Сан Санычу? Объяснить про пробку? Да не поверит: скажет, что я оправдываюсь как девчонка-школьница, однообразно и без фантазии. Вялое оправдание, которое в городе произносится десять тысяч раз за утро, не годится для профессионалки-журналистки. Он-то за городом живёт, по объездной в студию приезжает: что ему городские пробки в центре... Ладно. И отдамся ему, от меня не убудет. Волосы так залакировала, что как стог сена стоят. Сапоги не забыть только снять, а то если у стола, ногу сломать можно будет. На кой чёрт я эти каблучищи надела? Хотя льда вроде бы нет, и снежок мокрый. Переобуться в туфли — или так к нему заявиться, в сапогах? «Подождите, Александр Александрович, я за туфлями сбегаю, мне в сапогах *это делать* неудобно». Вместо этого скажу ему: «Берите меня, Александр Александрович». Пусть, собака, чёрт старый, вместе статьи в трудовой мне премию выпишет. Я на эту премию ремонт в спальне сделаю. Обои, новая люстра, новый торшер. Давно пора. А ведь у меня, кажется, настроение ничего себе. Дома нет воды, телефон ЖЭУ не отвечает, на работу проспала и волосы не вымыла, — не вот решила отдаться Сан Санычу, и стало хорошо. Свежо как-то стало на душе. А мы Сан Саныча — под каблук!.. А ты хулиганка, Регинка. И всегда ею была. Эх! Потому-то и жаль мне профессоров разных. Интервьюируемых. Хочется похулиганить вместе с ними, развернуться на всю катушку, — а за спиной не то эФэСБэ, не то трясущийся работодатель. Вот бы похулиганить — да за деньги!»

— Дорогой мой, так мы и к вечеру не доедем... Стоп! Нет, это я не вам, поезжайте... Это что за шествие... ню? Говорите, видели уже утром таких? И что, много их? Человек двадцать видели? На Харьковской, у второй горбольницы? Вот дьявол!.. Опоздание? В *позе* у шефа?... Никакого опоздания. И никакой *позы*. Отличный репортаж получится. Если никто не снял первым, первой буду я. Отдача Сан Санычу отменяется. Будет ему обнажёнка и без меня. Да здравствует городская порнография!.. Алло, Коля, слышишь меня? Сигнал у тебя слабый. Давно говорю тебе: смени оператора. Дешевле, дешевле, обсчитывает, не обсчитывает... Лучше бы сам кого научился обсчитывать... Нет, меня не надо... Тоже в пробке? Понятно. Вся Тюмень, похоже, с утра в пробке. Ты на служебной? С камерой? Что ты там делаешь? Молокаев — что? Отказался от съёмок? А, в больницу его увезли?... Вот и чудненько!.. Скажи Сёме, чтобы перестраивался и поворачивал на Мельникайте. Давайте к конторе «эМТээС»! Дом сто «А»! И ко мне — через дорогу!.. Дворами езжайте! Как хотите ДэПээС — купим! Не спрашивай! Приедешь — увидишь. Я выхожу, эй, остановите машину. Сдачи не надо, дорогой мой. Желаю вам жить тридцать шесть лет без пробок. Как — дальше что?... Дальше помрёте. Спасибо говорить не нужно.

«Натопил в машине! Вспотела вся. Не простыть бы. Капюшон накину. В таком-то потном виде да на каблуках (а красные сапоги всё-таки что надо) — и в кабинет к Сан Санычу. В кабинет-то я пойду — но с Колей и с отснятым материалом...»

— Александр Александрович, алло! Доброе утро! Тут у нас с Николаем экстренный репортаж! На Мельникайте. Вы не представляете!.. Здесь такое происходит!.. Не поверите, скажете: не протрезвела девчонка после выходных. Передо мной — и перед камерой, разумеется, Коля уже камеру ставит, Молокаев же в больницу попал, — голые люди. Не шучу. Ничего подобного. Говорила же, не поверите. Не знаю пока, я только приготовилась к

репортажу. Вот одна голая бабуля идёт. Со-вер-шен-но голая. Господи, неужели я в старости стану такой же? Нет, я покончу с собой, выброшусь из окна, яду выпью, в ванне утоплюсь. Слышите меня, Александр Александрович?... Честно говоря, не знаю, как показывать будем. Цветными полосками прикроем. Груды — красным, промежности — белым... Лица в кадре размажем... А почему лица-то размазывать? Эти люди никого не стесняются... Это *общественное движение* какое-то, вон ещё двое активистов!.. Сейчас я начну интервью. Я думаю, Александр Александрович, не позднее двенадцати я буду у вас.

Коля, ну где же ты пропадаешь так долго? Сюжет сам идёт в руки, а ты мне — про пробку! Пробка сюжету не подружка! Дал ли добро Сан Саныч? Дал. Вообще-то тут не Сан Саныч даёт добро. Нет, и не я. А вот они, Коля, они...

28 октября, понедельник, 8:42. Алексей

Дозвонился я только в домоуправление. И что с того? Ничего не знают и привычно глумятся. Некоторые думают, что работнички ЖЭУ не любят, когда им звонят. Эти думающие ошибаются. Работнички эти очень любят отвечать на звонки. Например, наша Елена Самойловна (я всё путаю: техник она или мастер), если возьмёт трубку, на вопрос «Не знаете ли вы, когда дадут воду?», отвечает так: «Не дождётесь». И хохочет. Я перед этим её смехом теряюсь. Кладу трубку. Знаю, если переспросить, она заорёт: «Знала бы — объявление бы по подъездам развесила! И откуда такие идиоты берутся?»

Отключили и отопление. То-то я и думал: что так холодно? Но, видно, отключили недавно. Наверное, вместе с водой. Или чуть позднее. Ночью же я не замёрз. И утром тоже замёрз не сразу, хотя у бинокля торчал в одних трусах.

Конец октября, между прочим. Тут у нас не субтропики, несмотря на повысившуюся в прошлом году на полградуса среднегодовую температуру. Затевают ремонт, когда на улице минус и снег. Всегда у нас так. В России всё ремонтируют зимой: летом мы в отпусках. Или не ремонтируют вообще, предпочитая капвложениям в трубы и задвижки строить бунгало в Испании или пить «Маргариту» на Канарах. Нет, надо срочно переезжать в деревню. Продавать квартиру, пока она ещё что-то стоит, продавать каким-нибудь офис-менеджерам, мало смыслящим в том, куда катится российская жизнь, — и переезжать в деревню. Или сдавать квартиру — если в близкую катастрофу верится пятьдесят на пятьдесят. И жить в деревне. Меня ведь всегда тянуло в деревню. Я и вырос-то в частном секторе, у *деды* и *бабы*. У деды и бабы, которые показывали мне фотографии папки и мамки и учили меня читать по сталинскому букварю. Так что мне к деревне не так трудно привыкнуть, как обычному городскому неженке. Потянуло меня, дурака, из дома в квартиру — поближе к телефону, Интернету, горячей воде из крана и электроплите — короче говоря, к благам цивилизации!..

Я надел рубашку, шорты, носки, поверх них шерстяные носки. Вынул из шкафа и надел жилет, связанный последней моей девушкой, пятнадцать раз с которой растянулись на квартал — такая она была неторопливая, и оказалось, что она встречалась сразу с четверыми парнями и всем вязала жилеты, и расстаться с ней было несложно, несложно, по-моему, всем четверым, потому что она очень уж часто путала имена и номера телефонов, и даже адреса, и даже время свиданий, очень нескучная попалась девушка. Я занёс с лоджии в комнату велосипед. Лоджию закрыл. Включил музыкальный центр (на FM). И ноутбук включил, загрузил «семьдесят два ньос точка дабл ю эс». На кухне включил телевизор; может, скажут про воду и тепло. И — снова к «Миноксу». Что там с Танькой? С Танькой-людоедкой?

Я приник к окулярам в самый подходящий момент. Подойди я к окну минутой позднее, провозись у платяного шкафа или с каналами телевизора, я бы упустил кое-что. Упустил то, почему у Танькиного дома, на тротуаре, стала быстро собираться толпа. Толпа — громко, конечно, сказано: так, компактное собрание прохожих, человек несколько.

И приехала «скорая». Я думал, за Танькой. Нет: двоих вынесли на носилках из военкомата. Носилки были закрыты простынями. Лица тоже были под простынями.

Носилки сунули в жёлтую «скорую», и она уехала. Наверх, на Таньку, санитары и не посмотрели. Голые женщины в окнах — забота вовсе не дежурных врачей.

Устав скользить пальцами, ладонями и вообще руками, и лбом, и щеками, и грудями тоже, по стеклу (она словно царапала его, словно хотела откусить от него, так, как откусывала от мужа), и как бы сообразив что-то, Танька надавила всем телом на стекло. Стекло лопнуло, осколки посыпались с пятого этажа вниз. Звона я не слышал, но прохожие-то слышали. Танька высунула руки в окно и высунула голову. Острые стеклянные зубья — она будто и не заметила этого — пробороздили её кожу на плечах, на предплечьях. Нормальный человек должен бы зареветь от боли; у нормального человека всё тело залила бы кровь. Но на белой коже Таньки — белее оконного пластика, белее падавшего снега, — появились тёмно-малиновые порезы, из которых выступило что-то малиновое, вроде бы и не жидкое, и всё. Ни капли крови.

Танька, казалось, поняла, что ей надо делать. Выдавив стёкла из одной рамы, она принялась за рамы следующие; в окне гостиной их было три. Я и не подозревал, сколько в моей Таньке силищи. Что ж удивляться тому, как она запросто расправилась со своим мужем — хилым бюрократам, ниже её ростом, да и физически не дававшим впечатления атлета? Или это тот психиатрический случай, о котором говорят: у буйного психопата силы удесятятся, он не чувствует боли, не испытывает холода, и способен проломить головой кирпичную стену и ударом кулака пробить грудную клетку? Вероятно, Танька, возненавидевшая мужа настолько, что в её мозгу что-то окончательно и бесповоротно переключилось, свихнулась. То-то и побелела. И не чувствует ни боли, ни холода, и в состоянии пробить грудную клетку. Она и проломила. И пошла дальше: наелась из грудной клетки тем, что там нашла. Неужели психиатры часто такое наблюдают? Почему я не пошёл в психиатры? Что уж такого сложного написали Фрейд и К? Не говоря уж о современных, которые друг друга не понимают и отрицают (для того, чтобы выбрать себе одну узкую «школу» и поменьше читать всякой галиматши). Почему? Не хотел морочить себе и людям голову, вот и не пошёл.

Выдавив и выбив все стёкла — Танька действовала кулаками и головой, наклоняла голову так, как наклоняют разные там драчуны, готовясь ударить противника теменем, — она попыталась пролезть между рамами, но пролезть у неё не выходило. Я впервые заметил, какие у Таньки широкие плечи. Почти атлетические. Ну, и ежедневный фитнес не пропал даром. Её муж перед ней — ничто. Как он сумел её подавить? Вот такие-то комплексующие хлюпики, пробравшиеся во власть, и подавляют!.. Или Таньке самой в юности хотелось, чтобы её кто-то подавил — и стал бы возле неё, подавленной, «настоящим мужчиной»? Вот парень в галстуке, до того, как его обглодали, и был этим подавляющим и настоящим. Танька почему-то лезла прямо, анфас, так сказать, а вылезти боком будто и не догадывалась. Плечи её в рамах застревали. Изрезанные осколками стелка плечи. У психопатов какой-то свой, особенный ум; никаким учёным психиатрам его не понять и не объяснить. Сдаётся мне, скорее я пойму тут причину, чем доктора-психиатры, которые сперва накачают пациента уколами, сведут с ума окончательно, *до диагноза*, а потом занимаются тем, что мурыжат его в клинике наряду с сотнями других обколотых и сочиняют свои бредовые диссертации.

Широкие плечи?... Я примерился к раме: я бы пролез и не поворачиваясь боком. Если, конечно, забыть о торчащих стёклах. Значит, и Танька бы пролезла. Но она лезла как-то странно, я заметил: то левым плечом задевала раму, то правым. И тут я понял: она же стояла

на полу. У неё, похоже, котелок совсем не варит!.. Она не лезет, а как бы *идёт*. Словно пытается пройти через кирпичную стену, доходящую ей до талии. Не догадывается, что можно залезть на подоконник. И открыть створки окна. У неё там пластиковое окно с тремя стёклами. Чтобы разбить такой прочный стеклопакет, надо быть и вправду сумасшедшей. Желая выброситься из окна, я бы вообще не бил стёкла, а открыл бы окно. Прошептал бы что-нибудь неприличное, и прыгнул бы. Только этаж предпочёл бы повыше, чтобы убиться наверняка. Залез бы на крышу двенадцатиэтажки. Там и открывать ничего не надо. Но психованная Танька, как выразился бы товарищ Ульянов-Ленин, пошла другим путём.

Толпа (уже человек двадцать), задрав головы, глядела на то, как голая женщина, высунувшись в зиму, собирается выпасть из окна. Тянет руки вниз и смотрит вниз, будто просит собравшихся зевак ей помочь. Порнографическое самоубийство! В толпе звонили по сотовым — должно быть, как и я: в милицию, в «скорую помощь», в эМЧезС, — и с теми же нулевыми результатами. А кое-кто снимал Таньку на телефонную камеру. Потом наверняка будут показывать «прикольное видео» друзьям, а то и выложат в Сеть. Подпись придумают: «Тюменские женщины кончают с собою в знак протеста против отключения воды». Наша Регина Снежная легко бы придумала.

Собравшиеся под Танькиными окнами качали головами в шапках, показывали друг другу экраны телефонов. Было понятно, что никуда они дозвониться не могут. И воды нет. И Танька, белая и бесстрашная, и съевшая своего мужа, лезет меж острыми стёклами, очевидно, не испытывая боли, — и не может вылезти, потому что не догадывается взобраться на подоконник. Или открыть окно, как умеют открывать его дети лет с пяти. Открыть пластиковое окно много проще, чем старое деревянное окно, сделанное по советскому ГОСТу: у последнего — шпингалеты, заляпанные масляной краской, а у первого достаточно повернуть удобную ручку. (Страшно заводить детей, живя на высоком этаже и имея пластиковые окна. Это мне какая-то из моих девушек сказала).

Вместо того чтобы нормально выпрыгнуть из окошка и избавиться себя от душевных страданий, а общество от неполноценного его члена, Танька (она явно соврала мне насчёт фитнес-клуба. Я уверен: она ходила в «Антей», «Геракл» или ещё какое-нибудь заведение, где с улыбками поднимают штанги, подкидывают гири и культивируют мускулы) взялась обеими руками за раму центральной створки, упёрлась в неё — и одним усилием выдавила оконную конструкцию наружу. На её лице не отобразилось никакого напряжения. Будто в «Геракле» её научили запросто выдавливать окна, сдвигать бетонные плиты, памятники, дома и гаражные кооперативы.

Толпа внизу отхлынула в разные стороны. Пластиковое окно грохнулось на тротуар, разбрызгивая стеклянные осколки. Одному несчастливцу, не успевшему отбежать быстро, кусок стекла вонзился в икру. Он схватился рукой за трубку стального заборчика у проезжей части, а другой рукой выдернул из ноги треугольный осколок. Кое-какие осколки на снегу были малиновыми. Наверное, те, которые Танька задела телом. Треугольный осколок, вынутый из икры, был и малиновым, и окровавленным. В бинокль было видно: обычная алая кровь отличалась от той крови, что была в Таньке (если это кровь). Алая — и тёмно-малиновая. Неужели у психопатов меняется кровь? Например, белые кровяные тельца совершенно исчезают? Мне надо фантастики читать поменьше.

Из военкомата выбежал дежурный лейтенант, рука на кобуре, другая рука на съехавшей на затылок шапке. Он что-то сказал толпе, ему что-то ответили, показали вверх, на оконный проём, из которого лился свет люстры и в котором торчала моя голая Танюшка.

Офицерик задрал голову, придерживая шапку, потом подошёл к окну (оно упало метрах в пяти от военкоматовской двери), отошёл на край тротуара, к стальному ограждению.

По Рижской ехали машины, одна полоса была относительно свободной, а на полосе в сторону центра образовался небольшой затор. Такого на Рижской обычно не увидишь. Значит, где-то дальше, на Мельникайте, большая пробка. Я открыл форточку. С улицы хлынул шум машин. И потянуло бензиновой вонью.

К лейтенанту присоединились два подполковника и майор. И две женщины (тоже из военкомата). Их подполковники отправили обратно в военкомат. Сказали, наверное, что стриптиз тут для мужчин. Шутки военных угадать нетрудно.

А Танька — ей больше не мешали рамы, не мешали стёкла, — перегнулась через широкий подоконник, загребла руками воздух, словно желая полететь, опустила голову к тротуару, к толпе, раззявила рот, и, сантиметр за сантиметром подвигаясь на подоконнике, подтягивая тело, показавшееся мне неповоротливым, свесилась из окна так, что стало ясно: тело её нашло точку баланса, и вот-вот её нарушит. Когда смотришь в бинокль, происходящее кажется немного замедленным. Мелькнув очень белым задом, Танькино тело полетело вниз.

Задница её и широкие бёдра перевесили грудь и голову, тело перевернулось в воздухе, и Танька бухнулась на тротуар в сидячем положении, *уселась*. Туча снежинок поднялась в воздух. Так, будто Танька была вдвое тяжелее, чем была. Шёл снег, и в снегу на тротуаре сидела без движенья голая женщина. Голая, белая. Неестественно белая — так, что чистый снег подле неё казался грязноватым, желтоватым.

Подполковник дал какую-то команду майору, тот повернулся к лейтенанту, лейтенант несмело подошёл к сидящей Таньке, держась за кобуру. Оглянулся на старших офицеров, на толпу, убрал пальцы с кобуры, видимо, считая, что подполковники и гражданские поднимут его на смех. Гражданские снимали на камеры. И я вот что заметил: люди в толпе пускали изо ртов пар, и лейтенант пускал пар, и подполковники с майором, — а вот Танька пар не пускала. Танька умерла. Не было больше подруги моей юности. Она покончила с собою, вывалилась из окна, и неизвестно, как больше виноват в её смерти: Машка-соблазнительница, её муж (злой любитель порядка и семейный тиран по совместительству), или я. Я, не знавший, что она живёт со мною по соседству (не бинокль бы, так никогда бы и не узнал). Я, не предложивший ей свою квартиру и свою постель. Я, циничный, равнодушный тип, умеющий считать до пятнадцати и приспособившийся к холостяцкой жизни, — и делающий (сам перед собою) вид, будто мечтаю об «единомышленнице». Чем Танька не единомышленница? Мы ведь отлично понимали друг дружку в школе, и между нами не было вранья. Я хотел, чтобы Танька была со мной в постели — и она прыгнула ко мне в постель. Я хотел, чтобы мы обменивались дневниками, читали личное друг друга, — и она согласилась. Я хотел, чтобы она не торопилась со свадьбой, чтобы мы проучились хотя бы по паре курсов университета, — она и тут согласилась. Мне были противны её три подружки — Валерия, Владислава и Виктория, всё с мужскими именами, всё на «В», как нарочно, и они разонравились и ей. Нет, она не оставила их; они ей именно разонравились. Я любил, когда она готовила мне ужин — из того, что обнаруживалось в холодильнике и на кухонном столе в квартире её родителей, — и так бывало, когда мы оставались вдвоём, в субботу или воскресенье, когда её отец и мать уезжали на дачу. Единомышленники? Скорее, родственные души. Если мы и влияли друг на друга, то влияние было таким тихим и незаметным, что я не могу поручиться, что она влияла

на меня меньше, чем я на неё. Я, например, бросил курить, потому что в её семье не курили, и она курить никогда не пробовала. Я, восемнадцатилетний студент, стал ездить на велосипеде, как подросток, потому что она изничтожила, вывела во мне имевшееся смущение перед велосипедом («несолидно», «никто же не ездит в университет на велике» и прочая, и прочая), и мы вдвоём ездили на «Салютах» — и в университет, и по городу, и за город. Ездили и глубокой осенью, и пробовали и зимой — в дни, когда было не очень холодно. У «Салюта» шины более-менее подходили для зимней езды, не то, что у «Урала» — стального монстра советского велопрома, вообще для езды, хоть зимой, хоть летом, не подходившего. И по сей день я езжу на велосипеде — на «Старке», не на «Салюте», конечно, — и не задумываюсь, что всякий раз, чувствуя под задом велосипедное седло, я делаю то, к чему подвигла меня Танька и что мы могли бы делать с нею вместе.

И вот *моя* Танька (сейчас из-за спины лейтенанта мне почти её не видно) сидит, мёртвая, на тротуаре. Ничего не видит, ничего не слышит, ни о чём не переживает и не думает обо мне. Ей теперь легко. Ей никто не нужен. У неё нет ни забот, ни тиранящего её мужа. Нет и дочери, которую я не видел. И меня — нет. Нет для Таньки ничего. Для неё нет больше мира — как продолжает он существовать для зевак с телефонами и военных из комиссариата. И продолжает существовать для меня.

Лейтенант вдруг повалился на Таньку. Мне показалось, будто я что-то пропустил, но я не пропустил. Я глядел в окуляры не отрываясь. Разве что моргал. Шапка слетела с головы свалившегося на Таньку лейтенанта, упала ему на спину, на китель, потом скатилась на тротуар, блеснув овальной кокардой. Танька — жива?... Она высунула голову из-за плеча лейтенанта и прокусила ему шею. Видимо, порвала сонную артерию: из шеи лейтенанта хлынула кровь, обагрив снег и окатывая подполковников и приблизившуюся и тут же откатившуюся толпу. Танька заткнула артерию своим ртом — и давить жрать. Словом, началось то же, что было и с её мужем. С той разницей, что мужа она ела дома, а тут ела после того как упала с пятого этажа. Она вцепилась в молодого офицера. Руки того, болтавшиеся вдоль тела, содрогались. Должно быть, он уже был клинически мёртв.

Два подполковника и майор убежали в военкомат. Кое-кто из толпы попятился и стал уходить (с оглядкой), а кое-кто, отойдя на безопасное расстояние, к краю пятиэтажки, принялся снова названивать по сотовым телефонам. Неподалёку от Таньки с лейтенантом остались трое. Продолжая стоять у оконной рамы, они снимали Таньку, евскую лейтенанта, на камеры в своих сотовых.

И был поблизости и четвёртый: он не снимал фото или видео на телефонную камеру, не боялся, видимо, чудовища-Таньки, и не собирался убежать или звонить кому-то. Этот (в полоборота ко мне) стоял спокойно, опёршись спиной на ограждение, его пальто на лопатках съёжилось, а на лице блуждала мирная, как бы детская улыбка. И очень уж бледное было у него лицо. Едва не белое. Белое, как у Таньки — свалившейся с пятого этажа, нисколько, кажется, не пострадавшей, упавшей на задницу — и сидя евшей лейтенанта, чья жизнь бездарно была загублена двумя подполковниками и майором.

У молодого офицера отвалилась голова, и Танька перестала его жрать, но не перестала держать. Она подняла голову. Лицо её, от лба до шеи, было вывожено в кровянице, она напоминала индейца в боевой раскраске, шея и грудь её тоже были в крови. Засохшая и свежая кровь казалась и красной, и чёрной, и коричневой, и тёмно-синей. Танька хищно открыла рот и по-собачьи наклонила голову набок. Трое с телефончиками отпрянули от неё, кинулись прочь. Я оторвался от окуляров, проследил за ними «невооружённым взглядом».

Двое убежали, скрылись за углом пятиэтажки, а третий остановился, стал снимать из-за угла. Собирался, наверное, стать самым популярным «ником» в Сети за сегодняшний день. А может, любопытство не давало покоя.

Из военкомата выбежали два подполковника и майор. Все трое — с пистолетами. Остановились у крыльца. Танька повернула к ним голову, поглядела на них поверх окровавленной шеи лейтенанта, широко раскрыла рот. У подполковников и майора изо ртов шёл пар, а у Таньки — нет. Она хищно разевала рот и смотрела на офицеров. Она была жива, но пар из её рта не шёл. Она была жива, но не дышала. Или дышала, но выдыхала такой холодный воздух, что он не обращался в пар при нуле (мой термометр за окном показывал ноль). Что же она, холоднее снега? Нет, кажется, она не дышала вовсе. Её грудь не поднималась. И потом, она ведь грохнулась с пятого этажа. Получается, она мертва и жива одновременно. Я только что схоронил мысленно подружку Таньку, вспомнил о «Салютах», — и вот она, Танька, сожравшая мужа, сожрала лейтенанта — и плотоядно исподлобья взглядывает на подполковников с майором. Один из подполковников вынул сотовый телефон, приложил к уху, затем сказал что-то другому подполковнику, тот вытянулся, отдал честь и скрылся в военкомате. Спустя минуту он выбежал оттуда с парнем в гражданском пуховике. Пробежались они вдоль пятиэтажки, сели в «УАЗик», стоявший на пятакестояночке у торца дома, и «УАЗик» покатил по тротуару к Тульской. Уехавшего подполковника я знал: он жил в моём доме, на седьмом этаже. Баранов. Оставшийся подполковник и майор подошли поближе к Таньке и безголовому лейтенанту, встали метрах в трёх от спины лейтенанта и от торчавших из-под лейтенанта Танькиных белых ступней. Не знаю, точно ли там было три метра, но знаю одно: до этих пор ближе к Таньке военные не подходили. Подполковник и майор стояли плечом к плечу и заслоняли от меня Таньку. Правые руки их были согнуты. Я напряжённо всматривался. Сейчас подполковник отдаст приказ майору, и тот выстрелит. Или оба — после того, что случилось с их лейтенантом, — выстрелят. Или они говорят что-то Таньке, и она им отвечает? Ведут переговоры, как с террористкой? А по Рижской ехали в час по чайной ложке машины, и никому, казалось, не было дела до происходящего у пятиэтажки. Впрочем, за спинами офицеров водители и пассажиры и не могли ничего увидеть. Всех скорее занимало то, почему на Рижской такой плотный поток машин, и где там дальше пробка, и почему нельзя никуда дозвониться. Кого, кроме несчастных пацанов-призывников, волнует парочка офицеров у военкомата?

Подполковник и майор переглянулись. Майор стал заходить к Таньке с левого фланга, а подполковник отошёл на правый. Тактическое окружение. Танька, видел я, хотела — и не могла — встать. Вполне может быть, переломала ноги. И тазовые кости. Всё-таки падение с пятого этажа не полезно для здоровья.

Я поймал себя на том, что радуюсь за Таньку. Мне не было жаль ни её мужа, ни этого лейтенанта. Лишь бы моя Танька была жива. Я понял: я *болею* за Таньку.

Пусть она останется жива, пусть победит.

Но только я с ней встречаться не буду. Отныне я имею на это полное право: я готов добрыми и печальными словами вспоминать Таньку и любить её в моей памяти, но не желаю, чтобы она отъезла мне голову или обгрызла руки. Пусть она питается другими.

Оттолкнув безголовое тело лейтенанта, так, что оно упало перед нею, моя Танюшка поползла через него, опираясь на руки, поочередно переставляя их. Она направилась было к майору, но потом повернула к подполковнику. Последний находился к ней ближе.

Подполковник выстрелил. До меня донёсся пистолетный хлопок. Не знаю, целился

офицер, или выстрелил от страха, но пуля ползущую Таньку не остановила. Я смотрел на офицера, и не видел, дёрнулась ли от пули Танька. Пулевой дырки в ней я не заметил. Танька вся была в крови. Подполковник снова выстрелил. Я смотрел на него. Из ствола «Макарова» шёл дымок. Подполковник озадаченно заглянул в ствол. Потом вынул обойму, посмотрел на патроны. Подумал, что пистолет заряжен холостыми?... Я навёл бинокль на Таньку. Над левой её грудью зияло пулевое отверстие.

Я направил бинокль на подполковника. Тот вставил обойму обратно в рукоятку. Я посмотрел на Таньку. Выстрел! Тут-то моя Танька и умерла. Окончательно и бесповоротно. Пуля попала ей в лоб. Точно в серединку. От пулевого удара голова Таньки, стоявшей на четвереньках, откинулась слегка назад, и тут же поникла. Руки перестали держать её тело, и она ткнулась лицом в снег. Возле чёрных ботинок подполковника. Тот, глядя на Таньку, не сводя с неё пистолета, отошёл к майору, и они стали говорить о чём-то. А Танька так и лежала: голая, белая, и снег падал на её спину и ноги.

Я перевёл бинокль правее. В военкомат входила девочка. Дочь Баранова. Тоня. Девочка, мне симпатичная. Из тех, что имеют своё мнение — и дорожат им, а не чужим, где-то позаимствованным, подцепленным. Тоня не любила папу — за то, что он военный. Об этом весь дом знал. И весь её класс, наверное. Однажды я разговорился с Тоней. В лифте. Летом. Не было горячей воды, и Тоня сказала мне, что принимает холодный душ. «Вот и я принимаю», — ответил я. — «Вы молодец», — сказала она, я смутился, ответил: «Это вы — молодец». Сколько ей? Пятнадцать? А «вы молодец» в её устах прозвучало так, словно она была взрослая женщина.

Наверное, Тоня к своему папке пришла. С очередной лекцией о том, как это плохо — быть военным. Только вот папка-то на «УАЗе» уехал. Интересно, а почему Тоня не в школе?

Дверь за ней закрылась, и я навёл «Мinox» на человека в пальто. На того, что стоял у ограждения с улыбкой, изображавшей детское счастье. Этот человек сейчас падал к ногам подполковника. Не падал, а словно бы *играл падение*. Осел на коленки, уронил руки в снег, голову на грудь. Наконец уткнулся головой в ботинки подполковника и вытянул ножки. Как минуту назад лежала голова Таньки у ног подполковника, так теперь лежала и голова этого типа. Только в него, в отличие от Таньки, никто не стрелял. Отчего же он упал? Подполковник был такой мазила, что первая пуля досталась ему? И вот он умер — и подполковника арестуют за убийство гражданского лица? И неизвестно, похвалят ли подполковника за расстрел Таньки. По чьему приказу? Почему не вызвали милицию? Это вам не трибунал, скажут подполковнику. Тут не фронт, не военное время, не военные действия. Где доказательства того, что гражданка Велижанина, как это вы утверждаете... съела лейтенанта Иванова и угрожала... э-э... съедением вам и майору Петрову? Где свидетели, кроме вас и майора Петрова? Убежали, и вы не в состоянии найти их? А служащим военкомата вы запретили присутствовать при — назовём вещи своими именами — расправе? Дальнейшую вашу судьбу решит психиатрическая экспертиза, скажут подполковнику. И экспертиза решит её. Отправят подполковника в п. Винзили, в лечебницу, накачают «успокоительным» по самое темечко, и он будет так же счастливо улыбаться, как недавно улыбался человек у ограды. Майора тоже отправят с ним. И какой-нибудь тюменский дока-психиатр возьмёт случай с двумя офицерами в качестве диссертационной темы двойного психоза. «Так-таки и съела? Откусила голову? А пасть и зубки у неё как у акулы? А сначала выпрыгнула из окна? И не убилась? А зачем прыгала? Не для того ли, чтобы полакомиться офицерами российской армии? Самое вкусное мясо с салцом,

поспевшее на военкоматовских креслах... Ах, вы нормальный? Ничего, мы из нормальных здесь сумасшедших делаем. Зачем? Затем, чтоб на хлебушек себе зарабатывать... Шучу? Да я сам не знаю, когда шучу, а когда говорю серьёзно. Я — псих? Ну, такие плоские шутки только военные могут откалывать. Нет-нет, смиренных рубашек с буйных мы не снимаем. Как — не буйный?... Самый что ни на есть буйный. Кто это бросается на мирных гражданских людей с пистолетом? Кто это мучит призывников, а подростков называет презрительно допризывниками? А вы знаете, что стало с моим сыном в армии?... Вот я пропишу вам сейчас пять кубиков...»

Подполковник склонился над человеком, ткнувшемся носом ему в ботинок. Майор — я перевёл на него бинокль — всё смотрел на Таньку, словно сомневался в её окончательной смерти. Наверное, ему подполковник велел смотреть. Танька не шевелилась. Снег помаленьку засыпал, укрывал её — и не таял на ней. В снегу тускло поблескивали Танькины волосы. Она так и не расчесала их. По моим щекам покатались слёзы. Было жаль Таньку. И жаль, что она не успела съесть подполковника. И очень плохо, что я — в свои глупые восемнадцать — изменил ей с Машкой. Не оплошай я, Таньке не пришлось бы мучиться с мужем-тираном, хватать его за кадык, есть его, прыгать из окна и отъедать голову лейтенанту.

# Глава двадцать четвёртая

*28 октября, понедельник, 8:57. Тоня*

Огибая свой дом, Тоня услышала выстрел. И тут же — второй. Или это выхлопы машин? Вон их сколько. Но слишком уж громко для выхлопов.

Переходя Рижскую между очень медленно едущими машинами, она заметила у военкомата военных. Слева от входа был военком, а с ним ещё майор. Последний работал в военкомате недавно, и его имени-отчества Тоня не знала. К военкому ползла на четвереньках, приволакивая ноги, голая женщина. Руки и шея, и лицо её были в крови, а рот раскрыт. Она хотела кушать. Военком и майор (Тоня видела их сбоку) были с пистолетами. Они, значит, расстреливали эту голую женщину. Военком посмотрел в ствол пистолета, будто собирался пустить себе пулю в переносицу. Тоня перешла дорогу. Военком был теперь к ней спиной. Он выстрелил. Спина его подалась немного назад. Тоня поняла: он попал. Голая женщина уронила лицо в снег. В снегу лежал и Александр Петрович, молодой офицер, подчинённый её папы. Голова Александра Петровича. И тело в мундире, придавившее шапку. На голову, на тело в мундире, на голую женщину падал снег.

— Давай быстро, Тоня! — крикнул ей военком. — Тут тебе нельзя. Пережди в эРВэКа! Потом с тобой разберёмся.

«Разберёмся!»

Какие противные у военных глаголы!

Но она не злилась на военкома. Нет, не злилась. И на незнакомого майора тоже.

Она хотела сказать им, что стрелять не нужно, что пистолеты не нужны, но поняла: рано. Военком не хочет её видеть. Он очень зол. Он делает то, ради чего учился на военного: убивает. Тоня позднее обязательно скажет ему. Скажет всё. Она приучит его к любви. Она любит его. Она полна к нему нежности. Никакой злости! Тоня погладит ему руку. И голову, и плечо, — как Володя Королёв Жене Вертецкому. А сейчас ей нужно повидать папу. Папу, которого она любит.

Дверь открыл и за Тоней закрыл хирург. В белом халате. С испуганным лицом. Она называла его «дедушка» (про себя или в разговоре с папой). У «дедушки» тряслись руки.

— Нам приказано, — сказал он от двери. Голос его немного дрожал. Будто ему было холодно. А вот ей, Тоне, не было холодно. — Приказано закрывать. Нам туда нельзя, Тонечка. И тебе.

Тоня торкнулась в заклиненный турникет. Повернула голову. В дежурке, за стеклом, сидела Евгения Владимировна.

— Откройте, пожалуйста, Евгения Владимировна, — попросила она. — Не нужно вредничать. Я вас люблю, а вы меня — нет.

— Как интересно!.. — громко сказала из-за стекла Евгения Владимировна. — Ты слышала: начальство велело никого не пускать. Проходи быстрее, Тоня. Честное слово, Борис Исаевич быстрее тебя ходит. — Евгения Владимировна отомкнула «вертушку», замкнула за Тоней и «дедушкой» и вышла Тоне навстречу. — У нас половина не пришла на службу. И папы твоего нет. Вызвали в областной. Почему ты не в школе? На улице тебе не было страшно?

Как много вопросов. Евгения Владимировна тоже боится. Но любви бояться не надо. Скоро Евгения Владимировна поймёт это. И «дедушка» тоже.

— Не было. Но было неприятно. Жестокость, Евгения Владимировна. Люди должны любить друг друга. Военком застрелил женщину. Голую и красивую. Разве вам всё равно? Разве надо говорить о том, страшно или не страшно?... А уроков в школе нет, потому что нет воды. Вода — пустяки, а когда нет любви, — плохо. Зачем стрелять?

— Что ты такое говоришь, Тоня?... Мы видели в окно, как твоя «голая и красивая» оторвала голову Александру Петровичу. Ты кого-то не того жалеешь, дорогая моя!.. И милиция к нам не едет. Так что ребятам приходится своими силами обороняться... Ладно хоть, до «скорой» дозвонились. У нас тут заболевшие были.

— Любить надо было, а не стрелять. Любить.

— Она бы всех нас съела. И тебя.

— Это пожалуйста.

Какие они ужасные! Евгения Владимировна говорит: страшно — не страшно, но страшное-то — это у них!.. Они никого не любят. Тоня поняла, почему раньше не любила папу. Оказывается, любить непросто! Ларису проще научить любви, чем Евгению Владимировну. Но у Тони получится.

Тёти из военкомата к любви просто не привыкли. Как и папа. Оружие, приказы, команды, свирепый язык: «убывать», «прибывать», «строиться», «равняйся», «смирно». Дежурства и бессонные ночи. В общем, всё, что отучает от любви и приучает к вражде и недоверию. Глупо и ненужно. Но она, Тоня, теперь будет с папой и Евгенией Владимировной рядом. И они, и другие с ними привыкнут к любви. Поймут, что в любви жить лучше. И проще. Тоня даст им любовь. И если тут захотят пострелять, пусть стреляют в неё.

— Мне меня не жалко, — сказала она. — Ради любви...

— Новый грипп ходит, — сказал хирург. Ему было лет девяносто. Или сто. Тоня любила его. Она и раньше любила его, но сейчас любила сильнее, чем раньше. Вот б её любви достало на то, чтоб все тут же научились любить! — Страшно сказать, что с людьми делает. У нас увезли двоих. Клиническая смерть. Да уже поздно, конечно. «Скорую помощь» нашу надо переименовать в «Службу черепах». И за окном — эта сумасшедшая. Из окна выбросилась, Тонечка. Не насмерть. И давай лейтенанта нашего есть. Сидя. Военком нам запретил выходить. Тебе не страшно, а мне, старому, страшно.

Опять у них это «страшно». Любили бы людей — не было бы страшно.

На улице снова раздались выстрелы. «Дедушка» вздохнул. Воют — вместо того чтобы любить. А надо любить — вместо того чтобы воевать.

— Вы боитесь? — сказала Тоня. — Любви не надо бояться. Зачем стрелять, когда можно любить? Почему вы все говорите одно и то же? Как запрограммированные роботы. Я вот люблю вас. Неужели вы не можете просто любить? Без вопросов? Без «запретил». Откуда взяться страху и запретам, когда вокруг любовь?

— Я не знаю, — сказал хирург. — Тебе виднее. Ты девочка, а мужчины все кровожадные. Это природа. Инстинкты охотника. Вот и стреляют. Между прочим, нас с тобой защищают.

— Любовь побеждает все инстинкты. Она самый главный инстинкт.

— Вот Зинаида Фёдоровна тоже в этом роде говорила, — сказал хирург и посмотрел на Евгению Владимировну. Евгения Владимировна была начальником ВЭВэКа. Тонина мама —

тоже начальник ВэВэКа. Только мама в областном, а эта здесь. Тоне захотелось увидеть и маму. Но сначала неплохо бы отдохнуть... — И Зоя Филипповна, — добавил «дедушка».

— Как — говорила? — спросила Тоня, чувствуя, что её язык еле ворочается. Ей вдруг захотелось спать. Она устала. Ни Лариса, ни военком с пистолетом, застреливший прекрасную голую женщину, ни «дедушка», ни начальница ВэВэКа, — никто не желает слушать о любви. Ей надо отдохнуть, а затем она с новыми силами объяснит им, что те, кто любят, забывают о ненависти. О вражде. О злобе. И живут мирно. Без намёков, какие «дедушка» делает Евгении Владимировне, и без пистолетов. Одна любовь. Она, Женя и Володя это знают. И многие знают. И многие будут знать. Не бояться, а любить. Не... Я... хочу спать...

Свой голос она слышала словно со стороны. Как записанный на диктофон. Она взялась за угол «вертушки».

— В «скорую» не дозвониться, — сказала Евгения Владимировна. Она держала у уха мобильный телефон. — По городскому тоже. У меня ноги отекли с утра, а теперь вот прошли. И желчный пузырь не болит.

— Спать, — сказала Тоня. Рука её онемела. Она держалась за турникет, но не чувствовала ни своих пальцев, ни металла турникета.

«Дедушка» внимательно, очень внимательно посмотрел ей в лицо.

— Поспи, Тонечка. Ты очень бледная. Как Зинаида Фёдоровна. Пойдём, приляг на кушетку. А то стоим тут у дверей. Как чужие.

Она пошла с «дедушкой» по коридору, в правый дальний конец.

Тоне показалось, что в военкомате пахнет сладковато-тухло. Как бы газом.

— Газом пахнет, — сказала она.

— В доме газ, — сказала позади Евгения Владимировна. — Тут всегда газом пахнет. Особенно с утра. Люди завтраки готовят, Тоня. Ты умеешь готовить завтраки и обеды?

Тоня не стала отвечать. Она медленно шла с хирургом.

«Дедушка» держал её за руку, вёл, как маленькую девочку. Тоня шла и не чувствовала ни его руки, ни своей. Она поняла, что не чувствует и груди, и шеи. И лба. И это онемение восхитило её. Она хотела сказать об этом «дедушке» — он же врач, ему будет интересно, через это он полюбит её, — но и губ она не ощущала. И нёба, и языка. И ушей. И глаз. Она слышала, видела, передвигала ногами, но ничего не чувствовала. В глазах её замельтешило то-то; она стала видеть будто через щель, через амбразуру (словечко из папиного лексикона). Она была здесь, и её не было. Это было чудо. Да, это было восхитительно. Она не шла, она плыла. Летела. Кто бы ни создал это чудо, Тоня была благодарна ему. Она любила его. Она не ощущала сердца, оно, кажется, не билось, но она любила его всем сердцем.

— Ты так медленно идёшь, Тоня. Утром я что-то озяб, а когда выносили Зину и Зою, согрелся. Кажется, мог бы и на улицу голый выйти. А всегда был мерзляком.

«Дедушка» полюбит её. Он старый и славный. И Евгения Владимировна полюбит её. Они думают, что её надо лечить (от гриппа?), что любовь не нужна в наше время и что дочь подполковника свихнулась. Они думают так же, как Лариса. Но они любят её. И Лариса её полюбит. И Владьки. Все. Скоро не будет в мире ненависти и вражды. И некрасивых намёков. Ни капли лжи, вражды и зависти.

Одна любовь.

*28 октября, понедельник, девять часов утра. Лена*

Стас, заворожённый снегопадом, открыл окно, уселся на подоконник и стал ловить руками и губами снег. Лёжа на кровати, Лена видела Стаса в профиль. Снег таял на его ладонях, и он слизывал его. С ладони капало на подоконник, на босые ступни Стаса.

— Вывалишься. — Она еле выговорила одно слово. В пятницу, когда она ушла на больничный, директор сказал ей: «Два раза в год ты болеешь по десять дней. Чуть не отпуск получается. А в этом году ты идёшь на больничный третий раз. Знаешь, лучше бы у тебя было трое детей». И она думала теперь: нашёл он ей замену — или решил потерпеть до следующего раза. Её директор — не самый решительный человек на свете, любит отложить решение. И всё-таки и у нерешительных директоров есть предел. И Лена подошла к этому пределу вплотную.

— Не вывалюсь. Подумаешь, девятый этаж. А если вывалюсь, так полечу. Мы, поэты, умеем летать. Полечу к реке... Хорошо жить в Заречном. Смотри, Леночка, какой снег. Как красиво. Всё серое и в то же время белое. Я об этом стихотворение напишу. Напишу, поцелую тебя, — и у тебя пройдёт ангина. Снежинки сладковатые. Как сахарная пудра. Как... Как... Надо подобрать метафору.

«Ах, если б Стас работал!.. Всё было бы проще. Или бы вывалился из окна. Что это я такое думаю? Болезнь сделала меня безразличной. Но и он хорош: открыл окно — а у меня ангина. Вообще-то тепло».

— Закрой, — прохрипела она.

— Тебе холодно, Леночка? Я закрою окно, закрою шторы, включу обогреватель, поправлю на тебе одеяло. И вскипячу чай. Заварю чёрный. — Он слез с подоконника, закрыл наглухо окно. — Чай с лимоном. В лимоне — витамин Цэ. — Он прошлёпал босиком на кухню. — А воды-то нет! — крикнул он оттуда. — Ни горячей, ни холодной. И в чайнике пусто. Хоть иди и снег собирай. А от снега сладко во рту. Так не бывает? Может, я ангиной заразился? Наверное. Она ведь заразна. Вирусная, кажется. Надо стих сочинить. Про сладко во рту. Сладко от снега. Сладко, снег. Всё на «с». Это звучно. И поэтично. И символично. И меня зовут на «с». И слово «стих» начинается с «с».

Бормочет и бормочет, и каждое утро электронные тома строфами заполняет!.. Сладко у него на языке!.. У всех у вас, парней, на языке сладко. Словами только нас, девчонок глупых, и кормите. А денег за семь лет заработал семь тысяч: это на двухмесячную квартплату. Зато (его слово: «зато») заработал — поэзией. И как она не заметила, что содержит мужчину уже семь лет? Всё как-то само собою сложилось. Сначала любовь, постель, розы (четыре букета), потом переезд его к ней — от его родителей. А спустя полгода его обещанье: за три года стать знаменитым поэтом. Всероссийского уровня. А через пять лет — всемирного. И богатым поэтом, что ты думаешь, Леночка, богатым. Буду писать стихи, а получать как Стивен Кинг за прозу. Как она могла верить — нет, не то чтобы Стасу, а вообще: верить в то, что в двадцать первом веке могут быть какие-то поэты, особенно — богатые? И вот год, второй, третий, уже и восьмой, — а она, такая же нерешительная, как её директор, всё покупает Стасу сигареты, зажигалки, крем для бритья, джинсы и ароматное розовое мыло

«Сама», от которого его посещает вдохновение. Ноутбук недавно ему новый купила. С белой клавиатурой, чёрная его не вдохновляет. А с белой — цена выше.

«Стас, — хотела она сказать ему, и сказала бы, если б не раздирающая боль в горле, — директор собрался меня уволить. И уволит. Кончилось его терпение. Я слишком много болею». — «И что же будем делать?» — ответил бы он вопросом. — «А ничего особенного, — она бы тихонько улыбнулась, — пойдёшь на работу вместо меня. И я буду болеть дома или болеть не буду, а буду готовить тебе салат из крабовых палочек, а ты начнёшь зарабатывать деньги. Поменяемся ролями». — «Но я ничего не понимаю в запчастях «Комацу», — ответит он. — И я — поэт. Ты хочешь, чтобы я растратил свой дар впустую — и чтобы потом нам обоим было бы мучительно больно за бесцельно прожитые годы?»

— Стас, а почему нет воды? — прохрипела она. Она чувствовала злость. И знала, отчего. Оттого, что в доме мужчина она, а не Стас. «И я — поэт!» Ни денег заработать, ни розетку заменить, ни обед приготовить. Всё она, она, она. Да, и розетку — она. Ох, как бы она кричала на него, не будь она такой мягкотелой, нерешительной!.. Как бы кричала на него, какой бы была мегерой, с каким бы ядовитым характером!.. О, из смиренной подавальщицы тарелок, из тёплой постельной принадлежности она преобразилась бы в... свою мать, фантастически умевшей загнать папу под каблук и держать там! Не будь она... будь она в маму! А то она в папу!.. Будь? Не будь? А Стас?

Если бы стервец Стас не был талантлив! Так ужасно талантлив, что литературные критики — конечно, те, которым удалось узнать о существовании Стаса, и, конечно, те, которые не лгали привычно за привычные московские доллары, — молились на него, делали из него икону. Лена не числила себя в любительницах поэзии — но после знакомства со Стасом она увлеклась и Пушкиным, и Тютчевым, и Анненским, и Есениным, и Заболоцким и особенно Лермонтовым, который виделся ей вершиной ясности и красоты. И Стас был с ними *в одном списке*.

Будь? Не будь?

— Ты что так долго? Что с водой, Стас? — спросила она, когда он вернулся и сел в неё в ногах. Поправил ей одеяло — так, как любил, чтобы поправляли ему: подвернул под ноги.

— Её нет, Леночка.

Она заметила, что он как-то странно смотрит на неё. Не то с нежностью, не то с желаньем *пристать* к ней, а не то вообще находясь в своей поэтической прострации. И говорил он странно: вместе «Леночка» сказал что-то похожее на «Ленотшка». Словно был немцем, и русский язык для него был вторым. А ведь дикция у Стаса была прекрасной. Лена ходила на его выступления в университете, в библиотеках, в Доме писателей — он читал лучше всех. Он мог бы работать на телевидении или на радио. Хотя там нынче все косноязычные, как на подбор.

— Что с тобой, Стас?

— Языка почти не чувствую. И лица тоже. Не чувствую, как моргаю. Не мею, будто мне вкололи что-то. Я трогаю лицо пальцами, кончиками пальцев, но ничего не ощущаю. Будто у меня нет лица. Представляешь?

Она приподняла голову, всмотрелась в его лицо.

— Ты бледный.

— Я смотрелся в зеркало. Сейчас пойду водкой разотрусь. И выпью стаканчик. Это, наверное, от ангины. Я заразился.

— Или тебя продуло. У окна.

— Непременно напишу стихотворение о сладком снеге.

Он ушёл на кухню.

«Что за сладкий снег? Поэтическая фантазия».

Она услышала собственный вздох. Он походил на старушечий.

«Заболеть нам обоим и умереть. Не в этом ли счастье? И от меня на работе толку немного, и его книги издавать никто не желает. Стихи, отвечают ему издатели, публика раскупает только *марочные* — и те малыми тиражами. Мы со Стасом стоим друг друга. Мы нужны лишь друг другу. Директор найдёт мне замену, а издатели обходятся (и будут обходиться) и без Стаса. И дети у нас не получаются. Но я я не пессимистка... Это от болезни. Всё окрашивается в чёрный-пречёрный цвет».

— Ты сказал, что ангина пройдёт... от твоего стихотворения, — сказала она, стараясь говорить погромче, пусть и через боль.

Он вошёл. С улыбкой.

— Ты не стал растираться водкой? И не выпил?

— Мне стало хорошо, Ленотшка. Водка — глупошти. Мне так хорошо никогда ешшо не было. И я понял. Хорошо — потому, что ты рядом со мной. Ты много лет меня любишь, и я много лет люблю тебя. И это так много. Что стихи, когда у нас есть любовь? Когда у нас есть то, о чём другие только метштают? Ангина? Нет ангины, Ленотшка. Любовь как сладкий снег: сколько ни ешь, никогда не наешься, и всегда будет вкусно...

— Неплохо, но не в ритм и не в рифму, кажется...

— Яшык... не шшувствует... не слушшается... мне надо... пошпать. Я путу тут. С топой.

— Залезай ко мне, мой Путу-Мапуту. — Она говорила, говорила, забывая о боли: — Да ты совсем без сил. И тяжёлый-то какой! И холодный. Ты и правда простудился. Погоди-ка, простуженные обычно горячие. Как я. Ну, я тебя сейчас согрею.

Она подвинулась к стене. Подумала: стена теплее Стаса. Да нет, такого быть не может. Это из-за обоев. Обои флизелиновые, плотные. Как могут какие-то обои утеплить кирпичную стену? На стене — обои, на Стасе — одежда. Он в футболке, в трико. И в трусах. Босой, правда. Одежда утепляет Стаса, значит, Стас и стена в одинаковых условиях. Что за чушь лезет мне в голову? В больную голову!.. Лена погладила руку, ногу Стаса. Лежащий бревном Стас был холодный и был как бы твёрже обычного. «От ангины я скоро разум потеряю». Вдруг ей показалось, что она не слышит его дыхания. «Уже потеряла». Лена задержала дыхание. Теперь она не слышала ни своего, ни его дыхания. «Господи, только бы он был жив! Что с ним? Я готова его содержать до пенсии. До глубокой старости. Пока не умру. Завтра же выйду на работу, и скажу шефу: всё, больше болеть не буду. Никогда. Стану незаменимым сотрудником, который никогда не болеет. И плевать, что Стас не работает. И пусть в офисе надо мною все смеются. Вот когда мы оба умрём, далёкие потомки, поклонники его поэзии, скажут и ему, и мне спасибо. Может быть, памятник нам совместный поставят. Есть же «Рабочему и колхознице», почему бы не быть «Поэту и менеджеру»? Вот размечталась, идиотка».

— Стас, — сказала она. — Стас.

Своей руки, которой она только что гладила Стаса, Лена не ощущала. Плечо, локоть чувствовала, а предплечье — нет. И кисть — нет.словно рука по локоть пропала.

— Что же это за ангина такая! — Из глаз её брызнули слёзы. Сама заболела какой-то дрянью, и Стаса заразила!

Она подвинулась выше на подушку, подтянула голову Стаса (очень тяжёлую) себе на грудь и стала гладить его холодные волосы, холодную щёку, холодные губы и холодный нос. Накрыла его голову одеялом, чтобы ему было теплее. Стала гладить одеяло.

— Стас, не умирай, — шептала она, плакала, не чуя на щеках слёз, и думая, что надо встать и позвонить в «скорую», потому что Стас не дышит и Стас холодный, и она так и скажет в телефонную трубку: «По-моему, не дышит, по-моему, холодный». Да ему же надо сделать массаж сердечной мышцы!.. Но она поняла вдруг, что не чувствует левой руки. Совсем. До самого плеча. И шея немеет. И вторая рука тоже едва чувствуется. — Звонить в «скорую»? — сказала она. — Но со Стасом всё в порядке.

Она сказала это — и не ощутила боли в горле. Но и горла не ощутила.

— Стас, — сказала Лена. — Ты где был? — Она говорила с лёгкостью, горло совсем не болело. — Слышишь, мой друг, мой золотой... (она знала, он не любил обращение «мой золотой», оно словно бы напоминало ему о том, *во сколько он ей обходится*. Но вот вырвалось), мой друг, у меня прошла ангина. Как не бывало. Меня врачиха завтра выпишет. Я знаю, ты ушёл в себя. Я поняла: ты почти умер, сочиняя стихотворение. О, как же я люблю тебя!..

И она закричала.

Нет, боль была не в горле.

Боль была в ногах. Стас, развернувшись под одеялом, что-то делал с её ногами. Она кричала, и — о странность! — упивалась этой болью, и чувствовала голову Стаса, возящуюся под одеялом, и ей было так больно, так больно, что она, как ей казалось, вот-вот должна была потерять сознание, багровые калейдоскопические круги вертелись в её глазах, а глаза полыхали жаром, — а рук, шеи, груди она не чувствовала. Она, Лена, начиналась где-то от живота и продолжалась вниз, и ещё у неё было лицо и уши.

А потом боль стихла. Её будто выключили. Повернули регулятор на ноль.

— Я люблю тебя, Стас, — сказала Лена. Говорить ей было трудно, язык отяжелел, но это не имело значения. Важно было, что Стас здесь, что она любит его, и что он любит её, и что он ест её.

Она откинула одеяло, сбросила одеяло с кровати. Кровь. Кровь. Стас уже доедал её ноги. Лена увидела свои белые кости. Действуя онемевшими, как бы чужими, руками, она потянула ночную рубашку, вытащила её из-под локтя Стаса, задрала на груди.

Пусть Стас поест как следует. Она любит его, а он так проголодался!

Но Стас вдруг выпрямился — его окровавленное лицо было красиво, в нём появилось что-то мужественное, героическое, — и больше не ел её.

«Мой счастливый поэт наелся», — подумала она.

Спустя мгновение она полетела куда-то.

28 октября, понедельник, начало десятого. Софья

— Софья, а мы не проспим? Уже светает за окнами, или мне кажется? Батарейка, что ли, в моём телефоне села? Почему будильник не звенел?

— Шур, дай поспать. — Она перевернулась с живота на спину, натянула до шеи одеяло. — Холодно-то как. Батареи, наверное, опять не греют. Надо нам с тобой поменять квартиру, Шурка. Квартиру легче поменять, чем домоуправление. Всё равно трёхкомнатная нужна будет. А будильник ты и не заводил. Сегодня у шефа день рождения. Шторы задёрни, если будешь вставать. Шум какой-то, что ли, на улице. Хочу, чтобы эта ночь не кончалась.

— А, — сказал Шурка. — А мне снилось, что мы долго любили друг друга. В этой вот самой кровати.

— Тебе не снилось. Мы почти до трёх часов изображали животное о двух спинах.

— А. Да. Ага. — Он сел в кровати, протёр глаза. — Мы же делали детей. Мальчика. Нет, близнецов. Всё, вспомнил. Было много страсти. И что-то такое, чего раньше никогда не было. *Желание последствий*. Вот почему я так плохо соображаю. Ну и спал я. Я похож на счастливого человека?

— Похож на плохо соображающего человека. На того, кому надо поспать. Хотя уже девять.

Шурка встал, закрыл портьеры:

— Вроде через наши новые окна ничего не слышно. Ведь «Северпроект», четыре стекла. Да и выходят не на Рижскую, а на спальную сторону. Помнишь, как мы подбирали квартиру? Чтобы и без кредита, и без агентств, и без «долевого участия». И не «убитая». И недалеко от офиса. Мы умные торгаши, никогда не переплатим.

— Надо вставать помаленьку. — Ей хотелось зевать, потягиваться и снова зевать и потягиваться. И спать. — Кое-кому можно и полежать в кроватке, а кое-кому — завтрак готовить. Хотя кое-кто...

— ...обещал кое-кому...

— ...завтрак и кофе в постель.

— И этот Обещалкин за пять минут сделает овсянку «Быстров» с персиковым ароматом и сварит кофе. Что мы предпочитаем сегодня: «Алоис Далмайр» или «Давидофф»?

— Мы предпочитаем сладкий поцелуй мужа и любую бурду, которую он выдаёт за кашу и кофе.

Она дотянулась до пульта на тумбочке и включила панель телевизора. Посмотрела в уголок экрана, на погоду. Ноль и снежинка.

— Тебе нужен телевизор? — крикнула на кухню.

— К чёрту телевизор, — ответил Шурка.

— Правильно, — сказала она. — Правильно.

Сегодня всё должно быть правильно. Зачатие — если оно произошло — тоже произошло сегодня. Они *начали* поздно, в полночь. По гороскопу. Они долго говорили вчера, и разговорами, планами, мечтами о будущем, о счастье, о любви, о ребёнке, о двух детях, о трёх, так возбудили себя, что чуть не сошли с ума. «Шурка, мы так счастливы, что даже

страшно!» Отдаваясь Шурке, Софья вначале будто и не чувствовала его физически, а ощущала сердцем, думала, что всё, связанное с нею и Шуркой, становится счастливым. Она была счастлива с ним все дни, её мама любила его, гендиректор, жутко скупой на похвалы и вообще офисный крикун и деспот, попавший в должность по дальнему родству с собственниками, улыбается ей (нет, не признаётся в любви, для любви у него имеются секретарши, аккуратно меняемые им через полгода с выплатой особых премиальных) и ему, и говорит, что без них фирма бы развалилась, — и то была если не правда, то возможная правда: прибыль фирмы, когда Софья и Шурка стали работать в паре, за три года удвоилась. Для местной торговой сети в пору финансового кризиса это было *счастьем*. Вот и дети, которые у них родятся — а ей казалось, что она уже чувствует в себе новую жизнь, она потрогала, погладила под одеялом свой живот, — будут непременно счастливы. Исключительно счастливы. Счастливы, как их мать и отец. Нет. Счастливее. Дети должны быть счастливее своих родителей. Вот где настоящий прогресс, подумала Софья, откинула одеяло (надо будет постельное в машинку забросить), поёжилась и опустила ноги на ковёр.

— Кровать у нас огромная, — сказала она, стоя у зеркала и слыша запах кофе, плывущий из кухни. — Или я за ночь уменьшилась. «А должна бы увеличиться». Она снова погладила свой живот. Слишком плоский даже для небеременной. А уж для беременной, к тому же уже целых... шесть часов, — тем более. Она посмотрела на лицо в зеркале. Невыспавшееся счастливое лицо. Спустя месяца три... нет, не три, а семь... кто же в таких делах торопится, это же не торговля «молочкой»... она научится *соблюдать дистанцию* перед зеркалом, плитой, перед витринами, перед Шуркой, наконец. Живот у неё будет большой, и она будет беречь его. Беречь тех мальчиков и девочек, что будут там подрастать. Близнецов ни у неё, ни у Шурки в роду не было, но они почему-то надеялись родить близнецов. Шурка объяснил ей, почему они думали о близняшках: очень хотелось наблюдать, как, чем будут отличаться двое очень похожих и очень счастливых людей.

— Конечно, ты уменьшилась, — ответил с кухни Шурка. — Я полночи тебя по кровати искал. Пока не нашёл и не увеличил.

С чувством юмора у Шурки не очень. Зато серьёзно Шурка умеет сказать так, что хочется обнять его и, как он говорит, «затискать».

— А почему так холодно дома, если на улице ноль?

— Мне на кухне не холодно. Если тебе холодно, залезай под одеяло. И немедленно, слышишь? Не морозь моих детей.

А вот это неплохо сказано.

Да, этой ночью они стали ещё счастливее. Куда уж больше!

Она нырнула под одеяло. С кухни тянуло персиковым ароматом и запахом кофе. И ещё немножко подгорелым молоком. Наверное, молоко было не свежее. Она услышала, как Шурка ставит тарелку на серебряный поднос.

С каждым днём они становились всё счастливее. И каждую ночь — вот сегодня пропустила, потому что они делали близнецов, — Софья молила Бога, чтобы их счастье не кончалось. Чтобы каждый следующий день был счастливее предыдущего. Наверное, об этом же молился и Шурка. Наверное, вчера на ночь и он забыл попросить у Бога о продолжении счастья. Что ж, он был очень занят. У Бога ведь так много счастья. И она быстро помолилась: «Господи Боже, прости, что я не обратилась к тебе вчера. Прости, что забыла тебя. Дай нам с Шуркой счастья так же, как давал его все дни. Не оставляй нас в этот день только потому, что я забыла сказать тебе спасибо за счастье, которое ты там давал эти годы,

день за днём. Прости и дай. Может, я выгляжу примитивной торговкой, так молясь, но иначе я не умею. Не умею молиться заученно. Прости и дай. Шурка такой хороший... — И вдруг у неё защемило сердце. Она почувствовала неясную тревогу. Уж очень всё хорошо у них шло!.. Что это она — в прошедшем времени?... Забыла помолиться на ночь. И не помолиться, как молятся религиозные люди, например, Шуркина бабушка, а попросить у Бога продлить их счастье. Всегда просила, и счастье было, а тут забыла, и... И это дурной знак. — Господи, — прошептала Софья, взглянув в потолок, — не оставляй нас. И не оставляй наших будущих детей».

Она услышала Шуркины шаги.

Он поставил поднос на простыню, она убрала одеяло.

— У тебя испуганное лицо, — сказал Шурка. Он залез на кровать, обнял её, поцеловал.

— Осторожно, — сказала она. — Ребёнка придавишь.

— Близнецов, — сказал он.

— Вот рожу детей и придётся перестать ходить голыми по квартире, — сказала она.

— А давайте все ходить голыми, как первобытные.

— Ну-ка стань серьёзен, мой добрый Шурка. И принеси себе кашу и кофе.

— Не хотел быть сегодня серьёзным, но раз ты настаиваешь... Во-первых, в кране нет воды. Ни холодной, ни горячей. Во-вторых, в батареях нет тепла. Так что морозишь моих детей не ты, а домоуправление. Бойлерная. Главному инженеру давно пора... ладно, я обещал не злиться и не говорить матерных слов. Ради наших детей. Или ТЭЦ морозит. Водоканал и ТЭЦ сговорились и подвергли наши слабые тела испытанию.

«Вот тебе и дурной знак».

— А в-третьих?

— Коли ты желаешь, будет и в-третьих. В-третьих, за ночь мы оба пропитались и пропахли любовным потом, и привезём этот запах нашему шефу. Как особенный подарок ко дню его рождения.

Она улыбнулась. Глотнула кофе. Обожглась. Говорено ведь Шурке: всегда выдерживай минутку, потом подавай. Нет, сразу кипяток тащит. Ну, что же это она? Дурной знак?... Да катись этот дурной знак к другим дурным знакам. На свалку дурных знаков. Она ведь помолилась Богу. Бог — это не какой-нибудь мстительный человечиска. Хотя... Нина Алексеевна говорит, что Бог и мститель, и ревнитель, и что-то там ещё, до седьмого или семидесятого колена наказывающий детей провинившихся отцов. «Какая самая страшная вина перед Богом?» — спрашивала у неё Софья. — «Забыть Бога». — Вот Софья и забыла. Нарушила самую страшную заповедь. И нет воды, нет тепла. Осталось ещё Шурке признаться ей, что он полюбил другую. После этой-то ночи?

— Я люблю тебя, Шурка. Почему у тебя такая же порция каши, как у меня? Ты все силы ночью отдал мне. Возьми и мою кашу.

— Это ты мою возьми. Тебя теперь двое. Или трое.

— Ты любишь меня?

— Жить без тебя бы не смог. И никогда, пожалуйста, не спрашивай так. Об этом. А то кажется, будто ты сомневаешься.

— Прости меня. Ушами любят дурочки.

— А ты любишь меня всеми местами.

— Да, всеми. Ой, давай одеваться. А не то появится в твоём списке «в-четвёртых». И подарок шефу не забудь.

Генеральному они купили гладильную доску и утюг. Подарок придумал Шурка. Всё-таки мужчины — союзники друг дружки, что ни думай и как их ни идеализируй. «Понимаешь, Софья, — сказал Шурка, — он опять завёл новую секретаршу. А это значит: опять начнёт бегать по офису, высматривать, у кого чище рубашка, у кого не помяты брюки. Он так уже всем надоел, что все — включая чистюлю и символ нашей офисной опрятности Осю Моталко, — давно уж прекратили гладить штаны и рубашки, и стали пачкать галстуки в кетчупе и оборачивать ими котлеты. И вытирать галстуками туфли. Смотрите, мол, уважаемый шеф, на кого мы похожи. У таких, как мы, просить рубашки и брюки — себе дороже. Мы же не менеджеры, а свиньи породистые. Ты не заметила?» — «Заметила, что ты стал реже гладить свою одежду, а я твою — чаще». — «Ну вот тебе и объяснение. И я предлагаю подарить ему в офис гладильную доску и утюг, и пусть новенькая секретутка утюжит ему помятые брюки. И галстук. Не знаю уж, в какой позе может помяться галстук». И они купили директору утюг и доску. Софья смеялась. Подарок из тех, про который не скажешь: ненужный. И опять шеф будет их хвалить. Думая об этом, Софья заулыбалась. Ладно. Нет никаких «во-первых», «во-вторых» и так далее. А есть их счастье. Остальное — облачка на небе. Облачка разойдутся, а солнце останется.

Спасибо, Бог, сказала она мысленно, и допила остывший кофе. Каши она съела немного; отодвинула тарелку на край подноса. Она начала капризничать. А это значит, что она беременна.

28 октября, понедельник, 9:07. Регина

Их было четверо.

Гольшей.

С почти белыми телами и очень бледными лицами. Замороженными.

Они шли по той, чётной стороне Мельникайте. Они шли (она была сказала: *двигались*), — медленно. Но ещё медленнее Коля устанавливал камеру. Коля вообще парень медлительный. Ему бы, чёрт дери, курсы ускорения окончить!..

— Коль, ты дашь мне микрофон, или нет?

Она поправила капюшон, достала из сумки зеркальце. Ничего, с пивом потянет. Кто нынче без пива телевизор-то смотрит? Убрала зеркальце. Сумка!.. Она сняла её с плеча, положила под штатив Колиной камеры.

Коля так копошится, словно сейчас попросит этих четверых белокожих, этих морозных деятелей, от которых шарахаются нормальные одетые прохожие, повторить шествие с начала. Или достанет из заднего кармана джинсов пульт и *поставит сюжет на паузу*. Как в американском фильме... как его... Город замрёт, пока Коля готовится. А когда установит камеру и даст мне микрофон (слава те, Господи, дал!), нажмёт на «Пуск».

— Тише едешь, дальше будешь, — сказал Коля.

— Ты это водилам на Мельникайте скажи!

А что водилам, подумала она. Спешить и впрямь нужды нет. Гольши движутся так странно, так замедленно, словно замёрзли. Заледенели. Скованы льдом. Или будто их ход и вправду с волшебного пульта замедлили. И всё же какая-то сила и уверенность были в их движениях! Будто бы так, как они шли, надо идти всем!

От «эМТээС» подмороженные товарищи повернули. Попёрли переходить дорогу через автомобильную пробку. Своим голым видом они, видимо, распугали всех встречных-поперечных на той стороне, которым хотели проповедовать свои радикальные взгляды, и поэтому решили перейти улицу. Здесь прохожие шли как ни в чём не бывало. И только косились на бледных гольшей, идущих посереде автопробки, — как косятся на придурков. А, может, гольши заметили оператора с камерой и обрадовались случаю сделать своему движению телерекламу.

Они делали по шагу, по два, останавливались у плотно стоявших машин, стояли, глазели, наклоняли головы и приседали, пытаясь в машины заглянуть. Гольши не то попрошайничали, не то зазывали в своё движение. Они трогали руками стёкла и прикладывали к стёклам лица. Ревели клаксоны. Ничего; рёв хорошо озвучит картинку. Коля сейчас даст предваряющую панораму. Уже даёт. Хороший фон для утра понедельника.

Регина знала, что будет говорить, как поведёт репортаж. Увидев *голытьбу* из такси, вполуха слушая, что отвечает таксист, она уже строила репортаж. Три-четыре политических намёка, два-три экономических. И всё — в юмористическом ключе.

После приветствия телезрителей она перейдёт к короткому вступительному слову. Не дольше полминуты. Она выдвинет предположения — которые в интервью расширит и которые в ходе репортажа начнут одно за другим *подтверждаться*. Тут её ждёт, как всегда,

восхищение телезрителей. Она немало писем получала: и приходящих по старинке, обычной почтой, в конвертах, и через форум «Тюмени ТВ». Её называли и экстрасенсом, и человеком, видящим будущее, и магической телеведущей, ей завидовали и у неё хотели учиться — те, кто собирался поступать на журфак, или студенты, мечтающие о карьере на телевидении. Писем от *критиков* она не получала. По известной причине: те, кому она не по нраву, или те, кто редко включает телевизор, оснований для критики не имели. Им не нужна была Регина Снежная.

И они не были нужны ей.

— Внимание, Регина! — сказал Коля. — Пять, четыре, три, два, один, снимаю.

— Добрый день, уважаемые телезрители. Перед вами Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ» со специальным репортажем с улицы Мельникайте. Сейчас вы видите голых людей — абсолютно голых, без одежды, без обуви, — переходящих не спеша проезжую часть. В плотной автомобильной пробке. Что нужно этим людям? Что здесь за демонстрация? Протест это — или желание оздоровиться путём закаливания? Очевидно одно: мы имеем дело с общественным движением. По словам очевидцев, аналогичное шествие было замечено по улице Свердлова.

Когда голые люди подойдут поближе, мы сможем взять интервью у участников нового «голового движения». Пока же я обращусь к тем прохожим, что любезно согласились ответить на вопросы нашего телеканала и высказать своё мнение по поводу происходящего.

Она говорила в камеру, а Коля показывал ей оттопыренный большой палец. Коля славный. Она могла бы с ним провести вечерок. Плавно переходящий в утро. В очень позднее утро.

«Чёрт меня дери, это будет сногшибательное интервью. На «Регионе ТэВэ» Лёнька и Катька от злости лопнут. Я буду, как всегда, первая. А всё почему? Потому что опоздала на работу. И потому что попала в пробку. Спать с шефом? Ха, пусть спит с уборщицей!..»

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ». Представьтесь, пожалуйста. Хотелось бы узнать ваше мнение о шествии обнажённых людей на улице. Не находите ли вы, что публичное обнажение связано с глобальным потеплением? Или оздоровительным движением «моржей»? Нет ли здесь политического аспекта?

— Леонид Каменев, менеджер компании «Памбитрон». Мы производим...

— Простите, этого вам нельзя говорить.

— Ну и идите вы со своими дурацкими вопросами. Устроят нарочно спектакль на улице, а потом дают под видом интервью.

— Спасибо.

(Разумеется, господин Каменев на монтаже будет вырезан).

— Вот вам пятьсот рублей. Не отказывайтесь. Теперь мы всем платим, это нормально. Вы же тратите своё время. Я прошу вас высказаться на тему голых людей. Вот этих. Что это? Зачем? Каких эффектов пытаются достичь эти голые люди? Представьтесь и скажете так (не перебивайте, пожалуйста): «Я считаю, что тут имеет место новое общественное движение. Посудите сами. Гольшом достигается сразу несколько выгодных эффектов: 1) оздоровление благодаря закаливанию и пребыванию на свежем воздухе; 2) экономия финансовых ресурсов: сокращение расходов домашнего бюджета на одежду, обувь и головные уборы; 3) общественная консолидация». И я скажу вам спасибо за интервью.

(Денежное вступление монтажёр вырежет).

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ»... Представьтесь, пожалуйста...

— Александр Фомичёв. Я считаю, тут имеет место новое общественное движение. Посудите сами. Гольшом достигается сразу несколько выгодных эффектов...

— Спасибо Александру Фомичёву за его мнение.

Вы смотрите экстренный выпуск новостей компании «Тюмень ТэВэ».

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ»... Представьтесь, пожалуйста...

(Она протянула мужчине пятьсот рублей. Подсказала, что говорить. Деньги и подсказка, будут, понятно, вырезаны. А вот было бы классно, если б *самое лучшее* не резали, а оставляли бы!)

— Любимов, грузчик холодильной компании. Я слышал, что в городе появилось новое движение. Или партия. «Голая Россия».

— А что нужно членам этой партии?

— Они собираются объявить новую сибирскую экономику. Независимую.

— А их политические требования?

— Об этом я не слышал. По-моему, они люди мирные.

— Спасибо грузчику Любимову.

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ»... Представьтесь, пожалуйста...

(Она протянула девушке пятьсот рублей. Шепнула ей, что говорить. Фантазии у Регины хватит на всех).

— Анна Скураева, продавец-консультант в салоне бытовой техники. Да, я своими глазами вижу этих голых людей. Какие они белые!.. Я себе это так представляю. Если это общественное движение голых, которые ходят по снегу, то им бы подошёл лозунг: «Морозоустойчивая Россия, отныне не нуждающаяся в турецких штанах и китайских куртках».

— Вы считаете, тут налицо экономическая платформа?

— По-моему, это очевидно. Ведь речь давно идёт о китайской торговой экспансии. И турецкой. Будь эти люди одеты, они были бы одеты в турецкое или китайское. Другого-то у нас нет.

— Спасибо, Анна.

— Это вам спасибо. Когда будут эти новости — со мной?...

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ»... Представьтесь, пожалуйста...

(Она протянула мужчине в засаленной зимней кепке пятьсот рублей. Но этот тип руку с деньгами оттолкнул. «Ну, дорогой мой, от денег отказываются или дураки, или богачи. И зачем так грубо с красивой женщиной?»)

— Алёхин, коммунист. Безработный. Довели людей, одеться не во что, а потом спрашивают: ваше мнение... Да какое мнение! Расстрелять вас всех, буржуев. Вот вам мнение коммуниста и безработного. А потом — счастливую жизнь построить. Чтобы остались в стране одни коммунисты. Мы работаем, а вы...

— А давно вы безработный?

— Два года.

— Почему же вы говорите: мы работаем?

— А иди ты к матери, сука из телевизора!

(Будет «запикано»).

— Здравствуйте, Регина Снежная, «Тюмень ТэВэ»... Представьтесь, пожалуйста...

(Этому денег она не дала. Для разнообразия).

— Пётр, живу в Ишиме. Приехал вот, а тут... Тут у вас нудисты. Осенне-зимнего типа.

Думаю, что они из малоимущих слоёв. Протестуют против повышения цен на услуги ЖЭКэХа. Сегодня отключили воду. И тепло. Говорят, во всём городе. Говорят, что тарифы переменят задним числом с начала этого года и заставят всех заплатить. Задним числом, как у нас любят. И за тепло, и за воду. И пока все не заплатят, воды и тепла не будет.

— Что вы делаете?...

Пётр из Ишима начал раздеваться.

— Хочу примкнуть к ним. Я не революционер, но уже накипело. Сниму куртку, штаны и пройду с ними. Я и лозунг придумал: «Да здравствует сибирская голытьба!»

— Спасибо.

— Что — спасибо? Вставай и ты с нами, сапоги снимай...

(Про сапоги придётся вырезать).

«Отлично. Идёт снег. Тающие снежинки на моих волосах весьма эффектны. На то я и Снежная. Чёрт! Я же в капюшоне».

Сказала:

— Коля, бери её крупным планом.

Голая бабуле оставалось до камеры метров пять, не больше.

— Её возьмёшь, потом меня дай сбоку.

Она сунет старушенции микрофон и спросит: «Вы представитель партии «Голая Россия», да? Не могли бы вы кратко изложить вашу программу?»

«Да что же она такая медленная? Вот ведь замороженная!»

— Идите сюда! Не туда, а к камере!.. Коля, снимай пока меня! Старушенция — как черепаха!

Коля повернул камеру.

«Ну, старушенция, давай же, чёрт возьми, шевели ходилками, тебя интервьюирует Регина Снежная! Ты хочешь рекламу своему движению — или не хочешь, карга старая?»

— Вы против правительства? Вы боретесь за повышение благосостояния малоимущих слоёв? Раздевшись, вы обнажаете тот факт, что вам не на что приобрести одежду и обувь? Выйдя на улицы двадцать восьмого октября, вы голосуете против реформы ЖЭКэХа и заявляете, что у вас нет средств оплачивать высокие тарифы — и что скоро вам негде будет жить? Почему вы молчите? Я спрашиваю от чистого сердца!

И она протянула было микрофон к бабуленции, приглашая её подойти. Бабуленция, однако, сильно заинтересовалась не то камерой, не то Колей, и к Регине подходить не собиралась. Пока старуха, открыв рот, пялилась на Колю, Регина рассмотрела её. Голая и противная. Ужасно белая. Только малиновые прожилки на лице, на шее и по телу. Натурально — замороженная. И с номерком на ноге. Регина посмотрела на того парня, что топал следом за ней, шёл к Коле. Как бы двигался след в след за старушкой. У голого парня на ноге тоже имелся номерок. Ещё двое — Регина назвала их «муж и жена» — отправились, перейдя дорогу, в сторону, и Регина не видела, были ли у них номерки.

Она бывала в морге. Где только не приходится бывать журналисту. И номерки не то чтобы похожи на морговские... а они явно оттуда. И чересчур медленные движения, и эта замороженность, и молчание, молчание... Кто эти *белые*? Что, чёрт дери, за живые трупы с номерками? Что тут за спектакль, в чём его соль?

«Ладно, гримза замороженная!.. Посмотрим, кто кого. Ты у меня дашь интервью как миленькая».

Регина переступила ногами, поскользнулась — будто кто-то схватил её за каблук, — и

упала. Но никто не схватил, а всё эти чёртовы каблуки. Репортаж на каблуках, чёрт возьми!

Она подобрала микрофон. Поднялась. Стала отряхиваться.

А откуда в её мыслях это «схватил», не от *номерков* ли? Вот сейчас её разыграют по полной программе! Стоит неподалёку тип со скрытой камерой, подсланный ко мне Катькой и Лёньюкой, — и улыбается, и снимает из-под пальтишка. Из-под пуговики.

И в вечерних новостях по «Регион ТэВэ» покажут запоминающийся эпизодик с участием знаменитой тюменской телезвезды Регины Снежной. Покажут, как Регина делает репортажи... Наняли четверых актёров, и заgrimировали.

Но — голышом по снегу? В Тюмени есть такие закалённые актёры? Актёры-моржи? Сколько же им заплатили, чтобы они шуровали без трусов по городским улицам? Актёры драмтеатра — отнюдь не трущобная беднота. Разве что актрисы-пенсионерки вроде этой строптивой бабульки...

Регина закончила отряхиваться. Хорошо, что снег мокрый. Почти не видно. Причёска, наверное, сбилась набок. Она накинула свалившийся капюшон. Надо у Коли спросить.

— Коль?

Пока она думала о причёске, каблуках, мокром снеге, Катьке с Лёньюкой и актёрах, произошло то, что она... о чём она... уже представила... уже подумала. Но это её представление было так, мимолётной картинкой — в какую она не верила. Регина и сейчас, когда картинка складывалась на её глазах, в неё не верила.

Голая старуха с белым лицом обошла камеру (Регина поймала его извинительный взгляд: он как бы извинялся за то, что старуха не желала сниматься), взялась за Колю этак по-матерински, потом встала на цыпочки, разинула рот пошире — и укусила Колю за шею. И отхватила от Колиной шеи кусок мяса. Регина выронила микрофон, откочила. И опять упала, наступив на микрофон. Она не стала подниматься, а отползла. Ей надо вон туда. Коля закричал. Он упал и бился на снегу. Весь в крови. Лицо, пуховик. Из прокушенной шеи била кровь. Снег вокруг Коли быстро краснел. К нему шёл голый парень. Регина отползла ещё дальше. Позади была арка. Коля отбивался лёжа — уже от двоих, — но в руках его не было силы. Шею ему так разорвали, что там виднелось что-то белое. Регина ещё отползла. За ней не было никого. Коля вдруг вскочил, весь залитый кровью, встал перед объективом камеры, и камера снимала его, а голый парень и голая старуха разодрали на нём пуховик — парень с одного конца, бабка с другого, — а потом рванули пуловер, рубашку — откуда в бабке эта дьявольская мощь? — и прикикли к Колиной спине. А камера всё снимала. Голая бабка и голый парень жрали Колю со спины, держали его руками, не давая ему упасть. Регина огляделась. Люди разбежались. Никого поблизости. Она, едящие голыши, Коля. И камера снимала поникшую голову Коли...

Регина поднялась, откинула назад сбившийся капюшон, достала из-под куртки мобильник. Включила камеру. И стала снимать. Снимала Колю, бабку, перепачкавшуюся в крови (оттого её тело казалось ещё белее, чем было), снимала, как бабка жуёт куски Коли. Снимала парня, оторвавшего что-то от Колиной спины и начавшего оторванное есть.

Никто не помог Коле, никто не остановил голышей-людоедов. Регина поняла, почему по ту сторону улицы люди разбежались. Им было ясно, с кем они имеют дело. Кто-то из голых кого-то съел. У всех на виду. А на этой стороне улицы кем-то съеденным стал Коля. Славный Коля.

Старуха и парень перестали держать его. Коля упал. Старуха и парень опустили на четвереньки и стали есть Колю на снегу. Регина фотографировала. Надо забрать диск из

камеры, подумала она. «Они жрут Колю, а на меня — ноль внимания. Может, я смогу. Это будет хоть что-то. Я должна. Я заберу. Я смогу. Вот голый парень взглянул на меня — словно внутрь меня — и дальше ест».

Заливалась где-то автосигнализация. Кто-то кричал. Крик был похож на Колин. Так отчаянно кричат, когда знают, что умрут... Кричали где-то недалеко. Наверное, там ели кого-то «муж и жена». На той стороне улицы стали стрелять. Ещё, подряд: хлоп, хлоп. Она нашла глазами. Милиция. Дэпээсники. Они стояли у здания «эМТээС», но ближе к Республике, чем то место, где перешли дорогу голыши. Регина поставила камеру на предельный zoom и сняла и милицию. Дрянь, конечно, все эти телефонные камеры. Но она не уверена, что сможет достать диск. Сейчас старуха и парень встанут — и пойдут на неё.

Регина отбежала в арку между двумя пятиэтажками. Старуха и парень поднялись. Осмотрелись. Медленно так. Она вжалась в стену арки. Нет, её они не заметили. И направились к улице Республики. Все в крови. Голые. Как могло быть то, что было? Если бы они увидела убийство, ограбление, — она поверила бы. Ограбление она видела дважды... Но — людоедство? И голых людей, идущих по снегу?... Какой-то толстенький мужчина, как бы подпрыгивая на ходу и подбрасывая портфельчик, быстрым шагом прошёл мимо неё. Шёл туда, где были старуха и парень.

— Не ходите туда, — сказала Регина.

— Ты больна, что ли?...

И он потопал прямо за старушенцией-людоедкой и за парнем-людоедом. Регина смотрела из арки. «Вот же debil. Идиот. Сейчас они его...»

Толстячок шёл и смеялся над голышами, и те остановились, медленно обернулись и зацапали его — когда он поравнялся с ними.

«Диск!»

Чувствуя, как в спину её легонько подталкивает сквознячок из арки, она бросилась к камере и вытащила оптический диск. Подняла свою сумку. Убрала туда диск.

28 октября, понедельник, 9:10. Тоня (Рмя)

«Дедушка» открыл дверь с номером «15». Кушетка, застеленная белой простыней. Дедушка был в белом халате, а брюки его были плохо поглажены. Неаккуратно — не то что у её папы. Но гладить брюки — не главное. Главное — любить.

У «дедушки» были старые руки с очень длинными худыми пальцами. Эти пальцы снимали с Тони куртку и сапожки. Тоня осталась в блузке, кофточке и брючках.

— Какая ты стала тяжёлая, Тоня.

Амбразура в глазах Тони пропала, сократилась до узкой, с лезвие, щели, и потом совсем исчезла. Видела ли Тоня? Она не знала. Что-то — видела. Какую-то далёую и глубокую пропасть, нет, не пропасть, — космос. Она была там, и космос был в ней. Двигалась ли она? Да, она летела. Или колыхалась. Она *была*. Тоня осознавала себя как нечто существующее, слышащее (тиканье часов на стене, частое дыхание «дедушки» (испуган ли он?), шум машин на улице, скрип кушетки, когда на неё сел хирург), но не чувствовала ничего. Она лежала на кушетке, — и была там, где была — в тёмном колыхающемся космосе. Она была — и её не было. Никто больше не умирает. Умирают от пуль, но в мире любви пуль не станет. Они будут отменены. Она была благодарна. Кому? Она не знала, кому, но это не имело значения. Новый мир весь наполнен любовью и благодарностью. Кто-то же создал его. Любить создателя — то же, что любить Женю или Володю, или Ларису. Или папу — которого нет здесь, но с которым она встретится.

— Тоня, ты спишь? — У неё не было сил ответить. «Дедушка» хрипло вздохнул. — Ты, Тоня, станешь как они. И я стану как они. Вызывать «скорую»? Зачем? Мы все станем как они. Они — это мы. Евгения не понимает. Женщина, выпавшая из окна, — она тоже белая. Это не от холода. Тут вирус. Грипп? Грипп, наверное, выдумка. Не знаю. Десятый час... Часы будто стоят. Кажется, с утра прошёл год. Я расскажу тебе сказку, Тонечка. Твои руки уже не кажутся мне холодными. Это потому, что я не чувствую своих рук. А ты, должно быть... Ну, ладно. Я обещал рассказать сказку.

Она не видела его, не видела себя, не видела ничего. И не чувствовала ничего. Она колыхалась. Тёмные, чёрные с серым, волны убаюкивали её. Спать. Никуда не торопиться. Любовь, всюду любовь.

— Это простая сказка. Я сам её сочинил. Потому-то она и простая. Вообще-то все хорошие сказки простые. Прости, Тонечка, я говорю глупости. И вовсе это не сказка. Это кусочек моей жизни. Сказки я не мастер сочинять. В детстве я любил Андерсена, но только две сказки: про платье короля и про девочку со спичками. Это хмурые сказки. Ханс Кристиан был сердит, когда их сочинял. Отсюда, от сердитости, и начинается мой кусочек.

Я был очень сердитый человек. Уже шестьдесят пять лет я сердитый. Злой. Нехороший. Думаю, неприятный для многих людей. С утра сегодня я тоже был сердитый. Трудно сказать, отчего я такой. Мама любила меня, и папа любил. В школе я не дрался, не был забиякой. В мединституте учился хорошо, правда, лучшим не был. И вот что я открыл давным-давно: у меня не было ни друзей, ни подруг. Я всегда был один. Я всегда сердился на людей. И на маму с папой тоже. Они любили меня, а я на них сердился. Они были такие замечательные,

что умели любить меня через мою сердитость. Они называли меня «милым сердитым мальчиком», и это злило меня, и я сердился ещё больше. И ходил всегда надутый, не понимая, что выгляжу смешно. В институте я сердился на преподавателей, на однокурсников, на авторов учебников. На лаборантов и на техничку тётю Шуру. И на факультетского декана и на ректора. И на Мечникова, чей портрет почему-то висел в моей комнате. В общежитии. Соседей по комнате — их было трое — я не любил. Тоже почему-то сердился на них. То они поздно спать ложатся, то радио слушают, то пластинку на патефоне заведут ту, которую я слушать не желаю. И не помню, Тонечка, ни дня, чтобы я любил кого-то. Ни дня. Помню только свою сердитость. Постоянную. Она стала мне словно жена. Я никогда не был женат — вряд ли такой сердитый человек, как я, может найти себе подругу жизни. Только моя работа утешала меня. Работа меня не сердила. Я лечил людей, и люди говорили мне спасибо, дарили конфеты, грузинское вино, армянский коньяк, даже костюм однажды привезли из-за границы, — но я мог так посмотреть на них, любящих меня, благодарных мне и одаривающих меня, что у них слова во рту застревали, и они старались побыстрее меня покинуть. И так я дожил до сегодняшнего утра, Тонечка. Ты слышишь меня? Если я слышу себя, то и ты, наверное, слышишь меня. Сегодня утром я был сердит, как и обычно, но вот потом, когда Зина и Зоя сначала стали говорить о любви — как и ты только что, и я лишь усмеялся, старый дурак, — а потом стали такими же белыми (как и ты), и их температура снизилась до 22 градусов, и приехала «скорая», и санитары унесли Зою и Зину, я задумался о том, как же долго я был сердитым. А потом я перестал зябнуть. Я всегда зяб, сердитые люди постоянно зябнут, а когда пришла ты, я понял, что могу снять и халат, и жилет, и рубашку, и мне не будет холодно. Откуда-то я знаю и то, что могу спокойно выйти на улицу. В октябрь. Ноябрь. Декабрь. Голым. Как та женщина. И не замёрзну. И я знаю, что и ты можешь. Ты встанешь, Тоня. Обязательно встанешь. Вот, я плачу. Словно ты умерла. У тебя не бьётся сердце, ты не дышишь, но ты не мертва. Вот та женщина с белым лицом и белым телом не была мертва. Её и пулями-то убили не сразу. Ты не мертва. Я так люблю тебя, Тонечка. И женщину эту люблю, пусть теперь она мертва. Эти люди в военной форме не ведают, что творят. И я не понимал, как жил. Пока не настало сегодня. Утро, когда я прозрел. Это не сказка, Тоня. Что? Ты встаёшь? Это так радостно. Я знал, что это случится. Глупо было плакать. Но бывшему сердитому человеку можно пустить слезу. Рук я уже не чувствую. Подожди, я сниму халат. И жилет. И рубашку. Не торопись. Вот так. Ешь спину. Боли больше нет. Не нужна анестезия. Ты не говоришь? И правильно, слова могут и рассердить. Лучше молчать. Моя спина не очень вкусная? Я старый пень, Тонечка. Но тут есть ещё другие... Я закрыл дверь, и не могу её открыть, потому что мои ноги онемели... и руки онемели... Или могу? Старый... новый... пень... что я говорю... Нужно поспать. Сердитый человек — больше не сердитый...

Она оторвалась от него. Он был уже не тот. Не годился. Его нельзя было есть. Он перестал быть едой. Он упал на неё. Она оттолкнула его. Нужно было искать еду. Она найдёт.

Она огляделась.

Темнее, светлее, выше, ниже. Она встала, выпрямилась. Что-то издавало звуки. Тик-так. Тик-так. Это там. Она шагнула к этому. Услышала, как идёт. То, что тикало, было перед ней. В её руке это сломалось, и она бросила его.

Тот, за ней, произнёс что-то.

Она попробовала ответить.

— Рмя, — получилось у неё. Она повторила: — Рмя.

— Тоня, Борис Исаевич, что там у вас? — услышала она. Это шло оттуда. Там еда. Много еды. Она повернулась туда, откуда шёл звук. Пошла. Остановилась. Пройти было нельзя. Что-то мешало. Она отошла назад и попробовала пройти снова. Нет, не получается. Она попробует ещё. И ещё. Нужно делать сильно, — и она может делать сильно.

— У вас сломался замок?

Она увидела, как что-то поворачивается, и как открывается новое пространство. Понемногу. Там показалась еда. Она схватила её. Подтащила её к себе, надавила на неё сверху.

Еда опустилась вниз.

— Тоня, ты...

— Рмя.

Она зажмурилась, рванула еду, набила полный рот.

Еда сказала:

— Это так хорошо, Тоня... У меня больше нигде не болит, и я всех люблю. И мне нравится, что ты со мной делаешь. Помнишь, ты выговаривала мне: «Евгения Владимировна, почему у вас такое строгое лицо? Вы пугаете людей. Вы же врач. В детстве я думала, что врачи все добрые. Как на картинках из книжек». Кусай вот здесь, Тоня. Скоро я буду с тобой. Борис Исаевич?... Вы уже проснулись? Вы не говорите? Ну, ничего. Слышите меня? Вы очень проголодались? Тут у меня хватит на двоих. Ешь, ешь, милая. Я так соскучилась по любви. Давайте, Борис Исаевич. Не стесняйтесь. Я женщина, но любовь не знает кабинот для переодевания. Будь у вас тут скальпель, я бы отрезала вам лакомый кусочек.

*28 октября, понедельник, 9:10. Константин Мальцев*

— Добрый день, инспектор шестого батальона дорожно-патрульной службы младший сержант милиции Мальцев. Предъявите документы.

Он сказал это через полуопущенное стекло. Им. Этим странным двоим. Ехали себе в «Жигулях» — и нате-здрасьте, встали. «Матиз» сзади чуть не поцеловался с их задком. Ладно, пробка, машинки тащатся еле-еле, — но аварийная ситуация есть аварийная ситуация. И движение на полосе «Жигули» перекрыли. Есть повод потребовать права.

Но водитель в машине сидит себе да молчит. И пассажир его молчит. Сидят оба — истуканами. Вообще не шевелятся. Как одеревенелые. Как глухонемые. И слепые, блин. Это что, опять в Интернете новую фишку против ДэПээС придумали? Лицензировать надс пользование Интернетом. Интернет же в Пентагоне придумали. Военные. Вот и разрешали бы пользоваться им только военным и милиции. И эФэСБэ. Коммерческим организациям и частным лицам — по лицензиям. Очень дорогим. Чтоб не лезли в Интернет приколисты всякие. И в бюджете денег побольше стало бы. Демократия? Какая может быть демократия, коли есть правительство?

И долго они там будут его терпение испытывать? Костя постучал по стеклу.

— Ваши документы, пожалуйста.

«Что за ненормальный день? То мать с утра звонит, жалуется, что тело у неё вдруг стало неметь, а потом сказала, что лучше себя никогда не чувствовала, и даже артрит прошёл, будто его и не было никогда, то вон те голыши на улицах — ну точно, психи какие-то или нудисты-модернисты. Зимнего типа. Сибирского. (И не известно, что с ними делать. Никакого приказа. Да и не по нашей этой части. ПэДэДэ эти товарищи не нарушают). То вол два идиота в «Жигулях». Словно не слышат и не видят меня. И бледные какие-то. Как смерть. Обкурились с утра? Так вроде бы им лет-то не меньше шестидесяти. Старые уж. Такие старые травку обычно не курят. Не слышат, не видят. Будто ехали — и умерли. Что делать, не знаю. Надо у Кулёмыча спросить. Но что-то он очень занят там, у «Вольво»... По пояс в багажник погрузился. Криминал?... Мешок с кокаином, замаскированный под цемент? Да нет, Кулёмыч бы на помощь позвал. Шутка ли: три аварии на одной улице за полчаса. И эти двое в придачу. Нет, точно: что-то происходит. Но что?... Да ничего, иначе б по радиации сообщили. Нет никакого криминала. Не верю в него. Изобретение, сочинение романистов-журналистов!.. Нет никаких лихих бандюков с «калашами» и «глоками», ловких грабителей Сбербанка, героиновой мафии, кровожадных террористов кавказских национальностей и деревенских хакеров, покушающихся стащить валютные резервы России. Чернуха российской жизни! Тут кино виновато. Всякие там режиссёры, сценаристы и даже актёры. И ещё ведущие телевизионных новостей. Всякие крашенные залакированные девчонки, слишком много тараторящие, слишком много зарабатывающие и слишком мало потому думающие. Думает только тот, кто мало зарабатывает. Мало — вот и приходится думать. А кто много — тот думать уже закончил. Так что никакой мафии нет, а есть обыкновенный русский понедельник. Вот что происходит. Происходит понедельник. Страна разгильдяев после разгильдяйской пьянки в разгильдяйском похмелье».

В конце концов, он же милиционер. Классический, в тысяче анекдотов присутствующий и юмористами столичными на эстрадах поминаемый мент — «с палкой полосатой». А где ещё встретишь столько разгильдяйства, как не в милиции? Кто знает о разгильдиях всё, что знать нужно и можно? Доблестная российская милиция. Вот затем-то мы и поставлены, чтобы разгильдяйства было поменьше. Что нам положено, то другим — *заморожено*. Тьфу ты, срифмовал!.. И когда избавлюсь от этой дурацкой привычки? Катя бы опять расхохоталась. Глупые, сказала бы, у тебя рифмы. Рифмы ради рифмы, а не ради смысла и красоты образа. Образа!.. Поглядела бы на этих образин!

— Товарищ водитель! — крикнул Костя. Там, за стеклом, и вправду, видно, решили испытать его терпение. У него *мягкое лицо*. Над таким лицом хочется посмеяться. Так говорит ему Катя. А у неё лицо — насмешливое. Видя насмешку на её лице, Костя сердился. Отчего, уверяла его Катя, делался ещё мягче. Надувал губки, как насупившийся ребёнок. Это хорошо, думал Костя, что на службе мы не видим своих лиц. А то служить было бы невозможно. Хотя вот *брат* с мягким лицом — удобнее. Водитель скорее *предложит* мягкому, чем свирепому. Катя этого не понимает. Психологи мало что понимают в практической жизни. — Вы что там, слепые? Или глухие? Или умственно отсталые? Выходите из машины, и руки на капот, живо! — Его рука нащупала кобуру с «Макаровым». Кобура была глянцевитая и немного липкая. «Это от снега», — подумал Костя. — Выходите, кому говорю! Устроили аварийную ситуацию — и на требование сотрудника не реагируете! Вы что там, умерли? — Косте стало одновременно смешно и почему-то жутко.

И тут двое в машине, будто обрели слух, повернули к младшему сержанту Мальцеву головы.

— Ой, бляха медная, не умерли. — Костя облизнул губы. У понедельника был нехороший привкус. Потный, солёный, тревожный привкус. И усталый. В восемь Костя заступил на дежурство, а в начале десятого уже ощущает себя вымотанным. «Это не из-за понедельника. Я ж уснул в четыре. Катька не дала мне спать. Спать не дала, а дала что-то другое». И Костя облизнулся снова, уже довольно. «Я хорош в постели. Что бы она ни говорила, как бы ни подтрунивала, а её ко мне тянет. И зачем ей рестораны? Готовит она прямо как повариха. А что ещё нужно для счастливой жизни? Немного денег? Так я добуду их этой самой палкой полосатой, да, дяденька усатый?... Опять срифмовал».

В машине двое делали что-то непонятное. «Производят, бляха медная, движения», — милицейским протокольным стилем подумал младший сержант Мальцев.

Пассажир — с бледным лицом, худой, — как бы искал ручку на двери «Жигулей»: открыл боковое стекло, потом закрыл, опять открыл, но почему-то наполовину, вытянул руку в полуоткрытое окно — словно просил Костю о помощи, словно водитель машины взял его в заложники. Обнажившаяся рука высунулась из задравшегося рукава куртки-«аляски», из рукава свитера, и была покрыта белыми седыми волосками. Сама рука была тоже странно белой, и ногти на пальцах будто покрыты извёсткой. Костя, пятясь от выпроставшейся руки, вынимая неосознанным движеньем «ПМ», снова ощущая, что кобура мокрая, скользкая, подумал, что имеет дело с террористами-кавказцами, совсем не похожими ни на чеченцев, ни на азербайджанцев, ни на калмыков, нет, кажется, калмыки — с Крыма, а Крым украинский, а Азербайджан — там, где Баку, и что сейчас всё взорвётся, но что он, может быть, в последние секунды успеет совершить подвиг, закрыть телом город от взрыва или спасти Кулёмыча, или хотя бы убить двоих или одного в «Жигулях», но взрыв всё равно прогремит, и его разнесёт на кусочки, а Катька ныла вчера после объятий, говорила, что, кажется, беременна, а он спросил, что значит «кажется», а она ответила, что пока не уверена, но в прошлый раз день был *не подходящий*, и у неё задержка, правда, всего два дня, а она сказал: ну сделай какой-нибудь тест, а если беременна — то и хорошо, родишь сына, надо будет подумать о свадьбе, чтоб всё как у людей, я же лицо официальное, представитель исполнительной власти, а в органах нравственность на высоте, да и люблю я тебя, и она вдруг успокоилась и положила голову ему на грудь, — в общем, Костя должен успеть совершить подвиг в последние секунды, но ведь это значит, что он живёт последние секунды, и на его похоронах (с пальбой в небо холостыми патронами) беременная Катя будет горько плакать, потому как любит его в постели да и без постели тоже любит — иначе бы не подсмеивалась над ним, так ему мама недавно объяснила, рассказала о некоторых тайнах женского характера, и маленький его рост покажется ей в тесном гробу большим, — и мама тоже будет плакать, мама, у которой неожиданно исчез артрит, и...» Костя ещё что-то подумал, но забыл что: он упал, споткнувшись о высокий гранитный бордюр. Шапка его слетела с головы, упала в снег.

— Ах ты, бляха медная!.. — Почему-то его очень рассердило то, что слетела шапка. Шапка делала его немного выше. Он и летом носил всякие такие кепки нарочно, чтобы с

Катериной выглядеть повыше. Да что шапка!.. Костя лежал, упиравшись локтями в тротуар, и смотрел — смотрел на того, с белой рукой, белыми ногтями. В руке у Кости был зажат пистолет.

Тот уже высился, наклонялся над ним, сбоку. И угловым каким-то зреньем Костя увидел, что и второй тип из «Жигулей», водитель, вылезает следом за этим белолицым-белоруким — не через свою дверь, а ползёт через открытую пассажирскую.

— Стрелять буду! — крикнул Костя и не узнал своего голоса. Что-то дикое, пронзительное, военное появилось в его голосе. И страх — проявился в крике страх, тот страх, который единственно и даёт настоящий приказ стрелять. Применять огнестрельное оружие, не дожидаясь команды. И Костя, чувствуя *холод* от наклонившегося над ним белого лица с распахнутым ртом, от белых рук, снял пистолет с предохранителя, передёрнул затвор и с тем накопившимся желанием, словно дожидался разрешения на стрельбу в человека с самого детства, выстрелил.

В человека Костя стрелял впервые. До этого он упражнялся только в милицейском тире и на стрельбищах. Кулёмин (ему было не то тридцать пять, не то сорок три, человек с морщинистым лицом, с уставшим лицом, устанешь в звании старлея на сержантской должности; Кулёмыч вспоминал, что вроде бы совсем недавно инспектора были лейтенантами и старлеями, а нынче либо покупаешь должность, если выгодная подвернётся, либо торчишь-унижаешься на сержантской, и чувствуешь себя половиной человека) объяснял, что стрелять в человека — не так-то просто, что к этому надо быть готовым психически и психологически. Это звучало очень умно, казалось философией и, понятно, суровой правдой милицейской жизни. «А вот ни хрена», — думал сейчас Костя.

Пулю белолицему он влепил в колено. Тот упал. Косте стало страшно. Он нашарил в снегу шапку, надел. Отполз. Упавший человек, с пулей в ноге, поднялся, и, волоча простреленную ногу, шагнул к Косте. И второй из «Жигулей», водитель, тоже пошёл к Косте. Каждый шаг обоим — и простреленному, и непростреленному, — давался будто с великим трудом. Они шли как каменные. Как памятники какие-то.

— Я убью вас, — прошептал он. И понял: и вправду убьёт. — Кто вы такие? Что вам надо? — Он направил на них «ПМ». Кажется, тот, кому он прострелил ногу, и не пискнул от боли. Такого не могло быть, но такое было. Или он не слышал вскрика? Он оглох? Он всё видел, но ничего не слышал. Это всё страх. Лицо у него, наверное, красное, потное, зрачки расширились, и меньше всего он похож на того, кто совершает подвиг во имя Родины.

— Вам хана, — сказал Костя, когда страшный молчаливый тип, подойдя опять сбоку, обеими белыми руками взял Костино лицо и стал тянуть к себе и одновременно наклоняться. «Почему я лежу?... А этот белый — сильный какой, сволочь!..» Потный Костин палец задрожал на спусковом крючке. Костя вырвал из рук нападавшего лицо (шапка слетела с головы), левой рукой, раскрытой ладонью, что было сил толкнул белую морду, ощутив под перчаткой холодные зубы и холодные, плотные, как бы резиновые губы, но противник ухватился за толкнувшую руку и повалился с нею, видимо, не устояв не простреленной ногой, и поволок за собою Костю. И тут Костя почувствовал сильную боль в левой руке, где-то возле запястья, там, где кончалась перчатка и начинался рукав бушлата. Ему показалось, что от бушлата отрывают рукав, а больно руке.

Костя закричал, чувствуя, как тело его приподнимается на земле, закричал, уже не слыша ничего в мире, кроме собственного крика, а за криком не слыша и выстрелов. Он ткнул ствол пистолета куда-то в худое тело, в куртку-«аляску», и дважды надавил на

спусковой крючок.

Худого человека с белым лицом и белыми руками отбросило к дереву на тротуаре. Мальцев видел, как белолицый ударился головой. И слышал стук головы о ствол. Мир понемногу проявлялся. Константин слышал чьи-то вскрики неподалёку, отрывистую короткую команду (Кулёмыч) и три гулких хлопка, очень похожих на «макаровские». Значит, не один он обороняет тут Родину. Значит, он всё правильно делает, он не одинокий вооружённый сумасшедший из милиции, а боец общего героического фронта, и ему надо продолжать борьбу с белыми кавказцами, совсем не похожими на кавказцев — и на террористов с автоматами и взрывчаткой не похожими тоже.

Шофёр «Жигулей», возникший подле Кости, тоже был худой, и лицо его тоже было белое.

— Вот напасть белая!.. Из какого дурдома? Эй, скажи что-нибудь... Ты, гнида!.. — Константин говорил сквозь зубы: искусанная рука болела и горела; он не решался глянуть на неё. Мальцев скрывал от всех, что боялся вида крови. Как-то в школе, сдавая в медпункте кровь из пальца, он потерял сознание, и медичка дала ему понюхать нашатыря. В армии, в медицине и в милиции нельзя бояться крови. Пусть ты и с «палкой полосатой».

А что — с «палкой»?! Рядом хлопнули ещё два выстрела. Кулёмыч отстреливался. Из «Вольво» вылезло целых пятеро, все белые, и двое из них лежали неподвижно, а трое наседали на старлея. И лежал на снегу дружище-капралище Поволяйкин. Лежал в такой позе, в какой лежат только мёртвые.

Константин вскочил. Рука его горела так, будто к ней привязали раскалённую сковороду. Голова кружилась. «А у меня кровь течёт... сильно».

— Вам хана, белолицые гады! А тебе, дылда, хана первому!..

Белолицый водила хотел было куснуть его за горло, но Костя вставил ему пистолет между зубами, отвернулся и выстрелил.

Что-то холодное, мокрое облепило его щёку. Он отдёргнулся, как от прикосновенья чужой неласковой руки. Но ничьей руки не было, а была чужая кровь, он смазал её перчаткой, кровь попала и на руку. Кровь, цветом напоминавшая свекольный сок, какой пила его мама, говорившая, что со *стулом* у неё всегда был и будет полный порядок.

«Не такая кровь, как у меня», — подумал Костя и увидел небо. Оно кружилось низко, над самыми его глазами, и наклонялось, под разными углами, словно было стеклянной плоскостью. Это было серое, уже зимнее небо с тусклым, размытым белёсым солнечным диском. Костя лежал. С неба в Костины глаза сыпался снег. «Где моя шапка?...» Костя понял, что вот-вот потеряет сознание — от вида крови. Левая рука онемела до самого плеча. Онемение пробралось и в грудь, к сердцу. Это было приятное онемение, с бегущими крупными мурашками по коже и тоже и под кожей, где-то в сухожилиях, в жилах; глубокое, какое-то новокаиновое онемение, убирающее из руки боль, убирающее само понятие боли и воспоминание о ней.

— Женюсь на Кате. Поступлю заочно в институт ЭмВэДэ, — пробормотал Костя. — Закончу. Получу лейтенантские погоны. Деньжат поднакоплю, куплю капитанскую или майорскую должность. Ещё поднакоплю. Куплю подполковничью. Не годится отцу семейства ходить в капралах. И сын никогда не спросит, почему у мамки есть высшее образование, а у папки — нет. Будто папка глуп. А папка не глуп. Это хорошо. Всё хорошо. Никто не глуп. А теперь мне ещё лучше. Всем хорошо, все хорошие.

Он услышал, как кто-то скрипнул по снегу подошвами. Это был первый белолицый,

пассажир «Жигулей», поднявшийся у дерева и направившийся к Косте. Он приволакивал простреленную ногу, но всё же ступал на неё, — и нисколько, казалось, не волновался о лёгком, пробитом двумя пулями. «Молодец! — подумал Костя. — А вот я поступил нехорошо: выстрелил в него. Больше я так не буду».

— Вы тоже хороший, — сказал Костя. — Если все люди любят друг друга, то нет ни споров, ни конфликтов. И милиция не нужна. И законы. Это так просто, а я и не догадывался. И боли нет. Давайте-ка поближе, вот так. Устраивайтесь поудобнее. Я вас люблю. И простите меня, пожалуйста. Я больше не буду...

Пассажир «Жигулей» улёгся на младшего сержанта Мальцева, рванул зубами его кадык и стал быстро есть горло; потом, выжрав горло и облившись кровью, стал хватать зубами милицейский бушлат, отвлекаясь и выплёвывая клочья синтепона; потом стал разрывать бушлат там, где были пуговицы, стаскивать с тела бушлат и впиваться зубами в обнажившуюся грудь.

Внезапно он бросил пожирать милицейское тело.

28 октября, понедельник, 9:17. Алексей

Минут пятнадцать у военкомата ничего особенного не происходило.

За это время я успел послушать радио, посмотреть телевизор, проверить местные сайты в Интернете (отвлекаясь на поглядыванье в окуляры «Минокса»: подполковник пощупал пульс у человека в пальто — тот, похоже, не дышал, — достал телефон и начал звонить, потом позвонил майора, посоветовался с ним, потом снова звонил по сотовому, помахивая «ПээМом»).

По радио и телевизору — ничего. Музыкальный центр я настроил на местную волну, но в колонках полоскалась одна дешёвая музычка. (Всё-то у нас дешёвое, *временное*. И выражение появилось: «китайская экономика»). Телефоны эМЧезС, милиции и «скорой» по-прежнему заняты: «Ждите ответа... Ждите ответа...» Без телефона и телевизора городской человек — пустое место. Ничего не знает, ничего не умеет, ничего не хочет. Вечером надо будет зайти к Снежной, если раньше ничего не выяснится. С нашими «властями» может и до завтрашнего вечера ничего не выясниться. Банально, но факт: у «властей» иные цели и занятия, не те, которые ради рекламы они декларируют с праздничными лицами, помещёнными в центр телекадра.

В Интернете — ничего *из ряда вон выходящего*. Про воду и тепло — тоже ноль.

И у меня — от этого *ничего*, от *нуля*, — появилось такое ощущение, что сегодня произойдёт что-то значительное, крупное. Что вот-вот какой-нибудь политик вылезет в телевизор, скажет с ядовитой улыбкой что-то грубое и нехорошее, и начнётся война. Муж Таньки, областной чиновник, неспроста вернулся домой утром. Всех заберут в армию. И у меня будет возможность пострелять из «ПМ» и умереть на поле боя. А почему бы и не умереть? Что мне терять? Той большой жизни, о какой мечтал когда-то Костик, нет и у меня. А всё же: терять вроде бы и нечего, но я хочу иметь право распоряжаться своей жизнью сам. Чиновник с ядовитой ухмылкой — мне не указ. Уж военным-то фарисеям, с фальшивыми минами на скуластых мордах пекущимся о «благе Родины» или о «защите интересов демократии», я свою жизнь не доверю. Поберегитесь выдавать мне «ПМ», господа рыночные офицеры!

Я вернулся к биноклю. Было девять часов семнадцать минут.

Не исключено, что подполковник куда-то дозвонился. Он убрал телефон и вернулся к человеку у ограды, а майор остался возле Таньки.

Лежавший (и не дышавший) человек, словно он только и дожидался, когда к нему подойдут, открыл глаза, протянул руку и схватил подполковника за щиколотку. Подполковник пошатнулся, видимо, испугавшись и желая освободиться, — и человек в пальто взял его второй рукой за вторую щиколотку. И потянул подполковника на себя. Тот взмахнул руками, выронил пистолет и упал на спину. Человек в пальто — на лице его явственно проступили малиновые прожилки — приблизил лицо к ногам подполковника, взял одну ногу, поднял, согнул в колене и рванул зубами икру повыше носка, там, где задралась штанина. Он стал есть ногу подполковника, держа её как шашлык на шампуре. Подполковник, крича и пытаясь высвободить ногу, стал шарить по снегу в поисках

пистолета, — но пистолет лежал далеко, ему не дотянуться. Снег покраснел. Подполковник наконец вырвал ногу из зубов едока, ударил целой ногой людоеда в зубы, тот проехался по снежку, ударился затылком о заборчик, но тут же стал подниматься. Подполковник (одна нога его с оголённой костью походила на протез) доковылял до пистолета, поднял его, злобно, дико посмотрел куда-то — на парня, что от угла пятиэтажки снимал на камеру мобильного, — и повернулся к человеку в пальто.

А что делал майор? О, я пожалел, что у меня не четыре глаза и не два бинокля. И не две головы, разумеется.

В оконном проёме Танькиной гостиной — видимо, в то время, пока подполковник звонил по телефону и совещался с майором, — показался... Танькин муж.

Над отливом торчала его голова — с взъерошенными, как у дикого панка, волосами, ничего общего не имеющими с прилизанной причёской уважаемого (то есть уважающего себя) чиновника (кстати говоря: на фоне этого волосяного раздвоя Танька с её непричёсанными волосами выглядела высокооплачиваемой голливудской актрисой, только что покинувшей гримёрную), — с белым лбом, белыми щеками, дыркой от носа и окровавленным подбородком. Под которым кожа обрывалась — и являлся взору обнажённый позвоночный столб. Опутанный малиновыми венами и артериями. Голова чиновника, этого любителя порядка, угнетателя моей милой Таньки, поднималась в окно этакой змеёю с человеческой башкой. Картинка из комиксов-ужастиков. Позвоночник тяжело, словно бы с напряжением, изгибался, и я подумал, что у господина бюрократа шейный остеохондроз. Или Танька, в приступе не то сумасшедшей ненависти, не то необыкновенного голода, выкусила мужу пару позвонков или выволокла зубами связку мышц и сухожилий.

Но самое впечатляющее было не это, не голова, высунувшаяся из окошка на позвоночнике и неспешно поворачивающаяся — так, будто за окном спрятался кукловод, дергающий за ниточки. Не это. Самым впечатляющим было то, что от рук аккуратиста-тирана-бюрократа мало что осталось: голые кости, кое-где жалкие остатки мышц, огибаемые уцелевшими тёмно-малиновыми венами и артериями, тоже частью пропоротыми, прокушенными, оборванными и потому свисавшими на отлив и на подоконник. И вот эти открытые кости, которые муж Таньки как-то сумел выволочь и высунуть из окна, кончались целёхонькими, державшимися за подоконник кистями: с холеными пальцами, с кожей, с морщинками на сгибах. На запястьях кожа обрывалась, и выступали тонкие белые кости. Господин чиновник будто надел перчатки!

С позвоночника свисал красный в белый горошек галстук, концом провалившийся под рёбра грудной клетки. Белая рубашка чиновника была разорвана по плечам и до живота, рукавов и пуговиц не было. Думаю, милиция или бригада из дурдома обнаружит в гостиной Танькиной квартиры разодранный пиджак. Если, конечно, милиция или «пятая бригада» заинтересуется случаем с Танькой и её попорченным мужем — вовсе не мёртвым, как оказалось. Умирать, как я смотрю, люди нынче не спешат. Ни до милиции, ни до «скорой» дозвониться нельзя, и это наводит меня на мысль, что случай с Танькой — в городе не единственный.

Что-то происходит. Людоедство. Прыжки с пятого этажа. Стрельба. Человек в пальто, набросившийся на подполковника. Нельзя никуда дозвониться. В новостях — ничего. Отключена вода. И тепло. Может, террористы отравили чем-то воду? Как они могли отравить её? Отравили Туру? Абсурд. И на водозаборах вода проходит всякие там стадии

очистки и дезинфекции. Танька ела яблоко. Красное. Она съела его — и с нею началось *это*. Замерла у окна, — а потом было то, что было. Может, муж и не бил её. Не толкал. Тут диверсия яблочная. Яблочные террористы завалили Тюмень (или страну) отравленными зелёными яблоками. Нет, не отравленными, а с каким-нибудь химическим веществом, делающим из человека хищного побелевшего людоеда. Яблоки, возможно, способствуют какой-то очень быстрой мутации, превращающей человека в совершенно новое существо, могущее жить без сердца и без дыхания. В существо со здоровым аппетитом. Умеющее спрыгнуть с пятого этажа и сохранить здоровый аппетит.

И кто же будет передавать эти людоедско-яблочные новости? Понятно, отчего ни слова по ТЭВэ и по радио не передают. Власти решают, как бы так сообщить, чтобы сохранился *порядок*. Или как бы *не сообщить*. Власти, как всегда, либо боятся паники среди населения, либо не знают, как себя вести, либо ждут указаний более высоких властей, либо всё вместе. Либо случилось что-то такое жуткое (почему-то Танька, засыпаемая снежком, и её обглоданный муж кажутся мне не жуткими, а трагикомическими персонажами; потому, должно быть, что я всё ещё не верю в увиденное, как не верю в хоррор-кино), о чём власти сообщать вообще не хотят, пока не предпримут «надлежащие меры». Подтягивают какой-нибудь спецназ для «зачистки»... Или подвернувшихся солдатиков срочной службы — из какого-нибудь стройбата или желдорбата... Ага, а потом комендантский час «в связи с бактериологической опасностью», проверка паспортного режима, — и диктатура вынырнувшего из тени тюменского удельного князька, с ума сошедшего от нефтяных и газовых барышей, тяготеющего к мировой власти и готовящегося для начала низложить российского президента, не умеющего правильно распределять нефтяные доходы и делать газовую политику. А может, власти и не верят в то, что происходит. Думают, какие-то идиоты балуются, звонят по телефонам. Вот кто поверит в то, что жена съела мужа, спрыгнула из окна и съела ещё одного человека, пытавшегося ей помочь? «Алло, вас слушают. Ясно. Канныбализм на Рижской. Прыжки с пятого этажа. Обычное дело. Теперь все едят и прыгают. Сейчас вышлем спецназ, «скорую», бойцов ОМОН и наблюдателей из ООН. И водопроводчика». И общей городской реакции нет. Есть, допустим, реакция частная — тех же врачей «скорой помощи», у которых, можно предположить, все машины на вызовах, и телефоны, что называется, оборваны, и реакция милиционеров, до которых тоже нельзя дозвониться, потому что звонящих намного больше, чем отвечающих.

Я приник к окулярам. За пару минут ничего в Танькином окне не изменилось. Свет в комнате всё горел. И на кухне. Муж, как и Танюшка, оказался *существом* медлительным.

За рёбрами обглоданного аккуратиста свисали переплётшиеся малиновые жилы, кое-где болталось не доеденное Танькой мясо. Сердца в левой части груди у муженька не было. Я всмотрелся: не было. Через дыру на месте сердца просматривалась освещённая гостиная. Но человек без сердца жил, шевелился, вертел головой, вытягивался на позвоночнике в оконный проём. Вот он посмотрел вниз, на майора, на обкусанного подполковника и на человека в пальто...

Тут-то майор внизу и заметил высунувшегося из окна бюрократа в галстук. Наверное, Танькин муж крикнул что-то или прорычал, и майор услышал его. И поднял голову. И пока его начальник, подполковник, стрелял в человека в пальто — я слышал хлопки выстрелов, злой обкусанный подполковник, обречённый уйти на пенсию по инвалидности, кажется, опустошил всю обойму «Макарова», но в это время я смотрел на позвоночного монстра, не могу же я на всех сразу смотреть, да, мне бы три головы, шесть глаз и три бинокля, впрочем,

похоже, наступают такие интересные времена, когда всё будет возможно: и жизнь без сердца, и восстание из мёртвых, и пожирание ненавистных мужей, и три головы на одних плечах, — майор грозил пистолетом Танькиному мужу. Майор открывал рот, пускал пар, выкрикивал что-то, глядя на пятый этаж. А персонаж на пятом этаже пар не пускал. Откуда бы взяться пару — коли ни лёгких в тебе, ни сердца?

Я оторвался от окуляров, потёр слезящиеся глаза, подумал: надо пойти в ванную и умыться-освежиться, но вспомнил, что воды нет, и снова приткнулся к биноклю. Так вода всему причиной — или не вода?... Или Танька съела не то яблоко? И заразила мужа? И все в городе понаелись этих зелёных яблок — завезённых в Тюмень *врагами народа*, — и начали заражать тех, кому яблок не досталось? Угу, врагами народа. Объединившимися диверсантами-коммерсантами из Китая, Венгрии и Молдавии. Вечером обязательно схожу к Регине. А не позвонить ли мне на ТЭВэ?... Ну-ну, трубочку снимет дежурная по телестудии: «Ваше имя, отчество, фамилия. Прописка тюменская? Утверждаете, что на Рижской люди прыгают из окна и едят друг дружку, и что уже наполовину съеден личный состав Ленинского военкомата? Это очень интересно. Высылаем репортёров и оператора. Никуда не уходите. Ждите дома. Репортёры будут одеты в синие халаты, оператор — в белый. На шапочке у оператора будет красный крест — это логотип нашего телеканала. Спасибо за внимание к нашему каналу».

Муж Танькин выпрыгнул из окна, когда подполковник отстрелялся. Майору было не до того, чтобы помогать своему начальнику. Танькин муж оказался проворнее Таньки — и словно бы сообразительнее. Он не пополз, как Танька, по подоконнику (не потому ли, что руки у него не очень-то работали? И не потому ли, что помех-рам и помех-стёкол перед ним не было?), а, покрутив головой и будто бы выбрав точку приземления, сгруппировался, поджался как-то, и, оттолкнувшись мощно ногами, вылетел из оконного проёма: ноги в брюках подогнуты к грудной клетке, «перчатки» на коленных чашечках. Приземлился он на ступни, обтянутые носочками. Рядышком с майором. Майор отскочил от него — и вовремя. Несмотря на то, что из обеих коленей у бюрократа, повалившегося на бок, вылезли берцовые кости, прорвав брюки, и одна коленная чашечка выскочила, отлетела в сторону, к телу Таньки, — он, перебирая остатками рук и ёрзая остатками туловища, ползком, подняв головёнку и открыв рот, двинулся к майору. Пистолет майора, нацеленный монстру в глаза, того нимало не беспокоил. Он словно и не знал, что это такое. Майор выстрелил, и первая пуля ушла куда-то в бездну грудной клетки Танькиного мужа. С тем же успехом майор мог бы палить в небо. Подняв пистолет повыше, офицер снова выстрелил. Но ползущий чинуша сделал какое-то движение рукой — и пуля вошла ему не в голову, а перебила лучевую кость и слегка царапнула череп, снесла клоч волос над ухом. Уцелевшая рука человека-позвоночника потянулась к голени майора, тот отпрыгнул, стреляя почти в упор. Из шести выпущенных пуль две попали в глаза Танькиного мужа. Куда попали четыре другие пули, я не заметил. Наверное, пролетели мимо. Майор запаниковал и промазал. Тут запаникуешь: ползёт этакая дрянь на тебя — башка крутится на позвоночнике, в груди нет ни сердца, ни лёгких, и вообще мало что осталось, — и угрожающе щёлкает зубами. Танькин муж уронил лицо, разбросал кости-руки по снегу. Из рта убитого вытекла белого цвета пузырящаяся слюна. Майор, оглядываясь на того, кого следовало бы назвать дважды трупом, направился к подполковнику. И я перевёл «Minox» правее.

А тот — я глазам своим не поверил — сидел в снегу по-турецки, выставив обглоданную ногу, и блаженно улыбался. Рот до ушей, хоть завязочки пришей, как любила говорить мне

моя школьная литераторша. Только тут не школа, и не урок литературы, и лыблюсь глупо не я. Пистолет выпал из пальцев подполковника. Майор подобрал его, сунул в открытую кобуру на португее у своего начальника, стал что-то говорить ему. Тот отвечал, всё блаженно улыбаясь. И говорил он много в ответ, и всё улыбался. Никогда не видел, чтобы человек говорил с улыбкой.

Речь сидящего в снегу подполковника майора, кажется, озадачила. Он почесал стволом пистолета за ухом, переменял в рукоятке обойму. Сказал что-то подполковнику. Вытянулся, отдал ему честь. Подполковник всё улыбался, но уже как-то слабо. И тут я увидел, как он завалился набок и словно бы заснул. Человек в пальто, припомнил я, тоже свалился у забора: вроде как уснул. А потом... На подполковника падал снег, и майор стоял рядом с начальником и не знал, что делать. Он сунул свой перезаряженный «Макаров» в кобуру, опустил на корточки возле заснувшего, попробовал его поднять, посадить снова по-турецки. Майор был мужчина здоровенный. Усадить подполковника у него получилось. Но глаза подполковника были закрыты, и, как мне показалось, в лице не осталось ни кровинки. Похоже, настало время майору проститься со своим боевым товарищем и командиром. Подполковник умер не то от болевого шока (вам бы полноги отгрызли!), не то от какого-то заражения. Но от какого? Чем был болен человек в пальто — обыкновенный зевака, полчаса назад топавший куда-то по Рижской?

И тут я вспомнил про осколок, вытасченный человеком в пальто из ноги. Осколок стекла, перепачканный тёмно-малиновым. Перепачканный тем, что было у Таньки в жилах. Малиновой кровью — быть может, позволяющей не дышать, жить без лёгких, без сердца и половины груди. Не говоря о таких мелочишках, как откушенный нос. Короче говоря, дающей организму какие-то сверхчеловеческие возможности, доселе неизвестные. А что? Гипотеза вполне удовлетворительная. Да, с фантастическим элементом, с одним «иксом». Но «икс» этот рано или поздно будет открыт, — и лучше бы рано, чем поздно.

Допустим, человек в пальто инфицировался «иксом» — и преобразился в подобие Таньки («играка»). И её мужа («зет», вторичное преображение). И тоже захотел есть. И не только захотел, но и стал есть. Еда ведь обреталась поблизости. Голодный поел, но еда повела себя агрессивно: стала пулять из «ПМ» и снесла человеку в пальто голову: на снегу было набрызгано зелёного и малинового, и, как черепки от разбитого горшка, лежали остатки лба и затылка.

Откуда же явилась зараза *изначально*? Неужели яблоки? Может, и не только яблоки, а груши, виноград, грейпфруты, апельсины — а то и хлеб, и картошка, и молоко? Кто знает, каким способом распылили свою химию таинственные террористы? Прошлись вчера вечером по гипермаркетам... И почему Танькин муженёк, административный чиновник, припёрся домой в половине девятого утра? Почему по радио передают дурацкие песенки, сочинённые «композиторами» быстрее, чем эти песенки длятся в эфире? Где новости? Где информация о том, что на улице Рижской люди едят людей — и стреляют? Я попереключал каналы телевизора. Ничего *такого*. И все передачи — по программе. На некоторых каналах крутили рекламу. Но уж рекламу-то на случай экстренного выпуска прервали бы! Или нынче и экстренные выпуски перебивают рекламой пива, чипсов, прокладок, томатного кетчупа и модернистских спектаклей в драмтеатре?

Я посмотрел в окно (без бинокля). Затоп на Рижской рассосался. Когда, я не знал. Я не знал, бы ли затоп, когда палили из пистолетов подполковник и майор, или его уже не было. Шума машин вроде бы не было уже тогда, когда стрелял майор. Я ведь на машины не

смотрел. Теперь по Рижской проезжали редкие легковушки — и всё к Пермякова. К Мельникайте машины не ехали. Наверное, там пробка, из-за неё.

Я закрыл форточку. Окоченеть можно.

Почему никто не вышел из машин, когда у военкомата стреляли? Откуда мне знать. Может, и выходил кто — да быстренько залез обратно. Водители, стоящие в пробке, думают только о том, как бы продвинуть капот на несколько метров. Что им до майора и подполковника, обороняющихся от побелевших трупов! Учёба, наверное, какая-то. Показательный бой с живыми мертвецами в современных городских условиях. Приехал проверяющий генерал из Москвы, нарезался вчера коньяка — вот и занесло его с похмелья. А что водители? Вот если б перед колёсами разверзлась пропасть или если бы машина, ехавшая сзади, «поцеловала» бы их багажник, они остановились и вышли бы. А майор, подполковник, люди без груди (это из Ницше), стрельба, гиперинфляция, отмена бюджета, замораживание внешнего и внутреннего госдолга, объявление «Единой России» оффшорной партией и миграция правительства на Мальдивы их не интересуют. Вот доехать бы до офиса на Советской или до писчебумажной конторы на 50 лет Октября — это да. А с гибелью страны подождите попозже.

Зевак с сотовыми телефонами-камерами тоже не было. Когда слинял парнишка, снимавший на углу, я не заметил. На Рижской вообще никого. И машин, считай, нет.

Было около десяти. Телефон милиции — я снова попробовал звонить, теперь-то уж настоящий бой случился на улице, стрельба из двух пистолетов, коллективная оборона, а о подобных из ряда вон выходящих случаях (то есть о таких, когда не просто хулиганы бьют кого-то, отнимают кошелёк или «отжимают» у «лохов» сотовый телефон, айпод или айфон, или когда наркоман вырывает у старушки, прижав её к дверям аптеки, коробочку элениума, — на это наши современные дежурные милицейские тётеньки отвечают: «Перезвоните по вашему району», или, для разнообразия: «На данный момент нет машин в наличии»), мы, сознательные демократические граждане, обязаны информировать кого положено, — всё занято. И «скорая» занята. И «09» пробовал: бесполезно. И воды всё нет. У меня есть три пятилитровые бутылки с питьевой водой, припасённые на случай непредсказуемых «отключений», «ремонтных», «перебоев», «аварий на магистрали» и «плановых профилактик», так что в ближайшие 3–4 дня я продержусь и без воды в кране. Но дальше... Что будет дальше — будет ясно дальше. Нет новостей? Что ж, у меня есть бинокль и есть умная голова. И я могу поговорить с соседями. Я домосед, но соседей не чураюсь. Здороваюсь со всеми. Врагов у меня в подъезде нет. (Нет и друзей). Вечером зайду к Регине, скажу ей что-нибудь приятное, но *с направлением*, например, что она сегодня, как вчера и позавчера, и всегда, выглядит красивой, но очень взволнованной. «Не случилось ли чего, Регина? Нет ли каких из ряда вон выходящих событий в мире, в России, а точнее, в славном граде Тюмени? Не объявился ли здесь новый диктатор — приторговывающий отравленными фруктами-яблоками?»

Так много всего случилось за короткое утро!.. Кажется, будто Танька умерла лет двадцать назад. А наш выпускной юбилейный вечер был тому назад лет триста. А мне, старику с «Миноксом», лет пятьсот.

Нет, меня не тошнит от увиденного. (Я опять уставился в окуляры). Может, потому не тошнит, что я не очень-то в происшедшее верю. Смотрю в бинокль как в экран телевизора или в компьютерный монитор. Хотя вот оно: вышибленное окно на пятом этаже (снег, падая напротив освещённой комнаты, выглядит грязно-жёлтым), присыпанная снегом Танька на

тротуаре, заснеженная голова лейтенанта, безголовый лейтенант в мундире и португесе, человек в пальто (тоже без головы), мёртвый подполковник с обглоданной ногой — о, он уже поднимается, похоже, нынче никто не умирает до тех пор, пока в него не всадят несколько пуль из «Макарова», — и майор, истребитель мёртвых чиновников, на которого так плотоядно взглядывает поднимающийся из небытия подполковник...

## Глава тридцать вторая

28 октября, понедельник, половина десятого утра. Подполковник Баранов

Пришлось позвонить в звонок. Открыл ему ефрейтор в бушлате. И в противогазе. Открыл лишь после того, как Баранов через дверь представился.

— Извините, товарищ подполковник, — загудел ефрейтор из-под противогаза. Чёрный противогаз. ВП-2Г. С говорилкой. Ефрейтор поправил брезентовую сумку на боку. — Тут такое творилось!.. Товарищ полковник ждёт вас.

Рядом с ефрейтором стоял дежурный капитан. Тоже в ВП. Отдал Баранову честь. Ни слова не сказал. Чтобы капитан промолчал при виде подполковника? А где же: «Здравия желаю, товарищ подполковник»?... Видно, дела тут так плохи, что лучше помалкивать. (Пусть облвоенком скажет). Не у него ли, Баранова, дела плохи? Почему его, а не райвоенкома, вызвал областной? И на кой ляд — ВЭПэ? Что — химическая война?...

Баранов прыжками, как бы летя над ступеньками, поднялся на второй этаж.

— Разрешите, товарищ полковник?

— Давай, заходи, Руслан Евгеньевич. Можешь неофициально...

— Так точно, товарищ полковник.

— Садись.

Облвоенком, как ефрейтор и капитан, тоже был в чёрном ВЭПэ с говорилкой.

А Баранову противогаз надеть они не посоветовали. И не выдали.

Но почему — противогазы?

Не связано ли это всё с той голой бабой, выпавшей из окна — и отломившей голову Сашке Фролову?

Но при чём тут голая сумасшедшая баба — и областной военкомат? Не прикажут ли ему оторвать задницу от стула и отправиться в точку? Куда? В Чечню? А почему нет? Там ведь новая буча о независимости. Новый воинствующий президент. Не оттуда ли и ветер дует? Вместе с газом. Ветер химической войны...

Баранову сделалось страшно.

Он вдруг осознал: он не хочет в Чечню. Он хочет тихо дослужить до пенсии — и выйти на пенсию. А дальше? Плевать, что дальше. Тоня? Ну, что Тоня... Тоня всё знает про него. Наши дети всегда всё знают про нас. Знают больше, чем знаем мы сами.

Или Лысов собирается отправить его...

Полковник тебе всё скажет, товарищ Баранов. Для того тебя сюда и позвали. Сиди и слушай. Областной, кстати, не дал тебе разрешения садиться.

— Разрешите сесть, товарищ полковник?

— Ну я же сказал: неофициально... Что ты как мальчишка, Баранов?

— Виноват, товарищ полковник.

— Дочка-то твоя, наверное, общего языка с тобой не находит. С таким дисциплинированным воякой... Шучу. Язык без костей...

«Пошутил бы ты, если б был капитаном, — подумал Баранов, садясь. — Уже бы со стула летел, пузан в противогазе».

— Не бойся, в Чечню не поедешь, — сказал Лысов.

«А с чего ты взял, областная крыса, что я боюсь?»

Он разозлился. На всё, что происходит. На то, что он ни фигя не знает. На ту нелепую, дикую сцену у эРВэКа. На Лысова, который будто и не военный, а баба. Не умеет говорить прямо и по делу. Или не хочет.

О да, Баранов боялся.

Смерти?

Нет. Тоски. Жизни без Раи и Тони. Как-то он почти год прожил без них. К чёртовой матери!

Тут он вспомнил слова Тони: «Папа, а тебе не жалко парней, которых вы там отправляете в армию? Или на какие-нибудь военные сборы? Парни любят девушек, и пап с мамами, — а вы обрекаете их на разлуку? Не жалко?» — «*Жалко у пчёлки*, — ответил он (со смехом, который в эту минуту показался ему дурным), — а с маменькиными сынками у нас разговор короткий».

«Маменькин сынок, — с тоской подумал Баранов. — Хочешь Раиных пирожков, мальчишка...»

За длинным столом, приставленным к столу военкома, Баранов сидел во второй раз. И второй раз ему не нравилось сидеть тут в одиночестве. Если бы совещание, то ничего. На столе у Лысова стоял графин с водой. Почти пустой. Военком налил воду в стакан. Поднёс к противогазу, расплескал воду, облил бумаги с гербами. Выматерился. Но снимать противогаз не стал. Отставил стакан с водой. Надо было ему выписать себе противогаз с поилкой. Пососал бы сейчас из фляги. В кителе, в зелёной рубашке и в противогазе облвоенком походил на антивоенную карикатуру. Из тех, что показывала Баранову Тоня. В Интернете есть целые антивоенные журналы. И не просто против войны, а против военных. Баранов почувствовал, что смог бы *найти общий язык* с Тоней. Она и он — против Лысова.

Позвал его — и тянет резину.

И сидит в противогазе. И те двое у входа — в противогазе. Точно от него, Баранова, исходит какое-то нездоровое излучение.

«Вот положу рапорт ему на стол! Достану ручку, попрошу у него же лист бумаги — и напишу рапорт. Об увольнении из рядов Вооружённых Сил. Дембель! А, свин в противогазе?»

И Тоня одобрит. Первый антивоенный шаг, скажет ему.

А потом они вместе придут к этому жирному дуриле в противогазе и сделают шаг номер два.

Сфотографируют его — и отправят «Портрет со стаканом воды» в антивоенный журнал. Пусть люди повеселятся.

А третьим шагом...

Он ведь не слушает Лысова.

Но кто бы стал слушать этого борова?

Лысов рассказывал ему о своей вчерашней пьянке. Сколько таких рассказов выслушал Баранов!.. «Водка — стержень российской армии». Это Тоня извлекла из какого-то журнала. Его Тоня могла бы в первые годы Ельцина сделать неплохую карьеру как пацифистка. Или в последние годы Горбачёва. Но теперь в армию идут одни лоботрясы. Раньше призывники «косили», а нынче, наоборот, все психи и больные желают, чтобы их взяли служить. И многие, говорят, рвутся остаться на сверхсрочную. Приспособятся там — и остаются. На гражданке безработица, да и к кадрам требования ужесточились из-за кризиса, и из-за того,

что образование нынешнее ни к чёрту не годится, — а тут и работать не надо, покрикивай себе на срочников, и вокруг тебя такие же как ты, друг дружку понимающие и одобряющие.

В общем, нынче пацифизм в моде, да не в той. Числом пацифизм ослабел. Ну, так зато для критики есть простор: не только дедовщина с кумовщиной да землячеством...

И что это он так разошёлся? Откуда в нём этот приступ самокритики? Тоня, Тоня, Тоня. И Рая. Ему хочется повидаться с ними. Просто вернуться с домой, убедиться, что с ними всё в порядке, вернуться сюда, к этому жиртресту в противогазе, и подать ему рапорт. Дослужить, сколько Родина заставит (полгода, год), — и уволиться.

— ...Проснулся, — рассказывал облвоенком, — я поздно. Шутка ли: глаза открыть не мог. Думал уж, что и нет у меня глаз. Выбили вчера. Драка была там какая-то, кто-то бил кого-то, а я то ли смотрел, то ли тоже бил... Взял за ресницу, открыл один глаз. Потом второй. Пока второй открывал, первый закрылся. Ну, думаю, одним глазом на часы посмотрю. Посмотрел. Ну всю службу проспал! А мне ещё ехать от губернатора. Ещё марафет наводить.

Ладно, подполковник, — сказал областной, — вижу, тебе это скучно. Согласен. И мне скучно. Всё равно не помню ни хрена.

«А где Рая? — подумал Баранов. — Никого нет. Почему здесь никого нет?»

У него заныло сердце.

«Из-за чего противогазы? Что с Раей? Почему Лысов морочит мне голову? Зачем рассказал мне о пьянке? Об опоздании? При чём тут губернатор и мэр? Надоело. Хочу забрать отсюда мою жену и уехать. Пусть Родине служат другие. Вот эти, с графинами и в противогазах».

— Я знаю, о чём ты хочешь спросить, но выслушай. Иначе не поймёшь. Я бы на твоём месте не поверил. Пока ты добирался сюда через пробки, многое переменялось. Да и раньше... И так переменялось, подполковник, что и... В общем, слушай. Я начну с того, что ты знаешь. Так тебе будет проще воспринимать.

Областной почесал противогаз на щеке.

Проще воспринимать — что? Баранов вдруг вспомнил, что районный говорил ему про областного: любит вызывать к себе, чтобы сообщить печальные вести. О смерти. Хобби у него такое, страсть такая, сказал районный. Это было, когда Баранов, в то время майор, был назначен на должность начальника отделения в Ленинском РВК.

— Инфекция, — сказал Лысов. — Эпидемия. Никто не знает, откуда она пошла, никто не знает, что за вирус. Один омоновец мне сказал: будет зачистка. Другой сказал: тут единичные случаи, это дело врачей и милиции. Третий, их главный, майор, сказал, что ничего не скажет, что тут милицейская тайна. Я одно усвоил: в городе распространяется какая-то новая болезнь. Передаётся вроде как грипп. Хотя на грипп она не похожа. Ты уже знаешь, на что она похожа. То, что ты видел у Ленинского, и есть её проявление.

Баранов кивнул. Голая баба. Откусившая Сашке Фролову голову. А прежде сиганувшая с пятого этажа.

— С вашим эРВэКа уже нет связи, — продолжал областной. — Думаю, там все инфицированы. В ближайшее время предполагается направить туда наряд ОМОН для зачистки, но пока у омоновцев все заняты. И связи с ними уже нет. Твой военком докладывал, что будет вести самооборону. А потом замолчал. Я и на сотовые звонил. И в дежурке не отвечают. Дозвонился только в твой моботдел: там мне начали вешать лапшу на уши о любви... Эта, как её, Тамара Петровна: я, говорит, вас люблю, и всех люблю... Тоже

вчера на стакане посидела, наверное. Бабы быстрее мужиков спиваются... А потом и этот телефон перестал отвечать. И с Калининским, и с Центральным эРВэКа нет связи. Мне и послать-то туда некого. У меня никого и нет, кроме водителя и капитана с ефрейтором. И меня самого. И вот тебя. Да и нельзя посылать-то.

Баранов подумал, что областной пытается выставить дело так, будто он, областной, есть спаситель Баранова.

«Вот ты скажи, в чём дело, и я решу, кем тебя считать, толстый дружок».

— У вас вирус пошёл от той бабы, что выпала из окошка, — сказал Лысов. — И ваши там начали заражаться, пока ты добирался до меня. Баба ведь белая была? Ну вот, всё совпадает. Здесь тоже все побелели. Я вот не побелел, потому что опоздал. И мой водила со мной. Эти, у входа, почему не побелели, не знаю. Вовремя, может, натянули противогазы?... Есть сведения, что заражение пошло от воды. Потому её и перекрыли. Но на «Водоканале» отрицают. Говорят, у них плановая профилактика. Какая, говорю, у вас плановая, если вы не предупредили заранее? Граждане обязаны сами узнавать. Ты понял, подполковник? Мы обязаны... Я вот обяжу их детишек в стройбате Родине послужить, в ЗабВО где-нибудь... С кем разговаривают-то?... В общем, я себе спасибо сказал за то, что водочки натрескался и проспал. И мэру с губернатором спасибо сказал. Не они бы, так я бы не натрескался и не проспал.

— Что с моей женой, товарищ полковник?

— Говорю же тебе, давай неофициально... Жена твоя, Раиса Александровна Баранова, начальник ВэВэКа, была, к сожалению, инфицирована.

Областной помолчал.

— Я-то не видел, Руслан Евгеньевич. Я же опоздал. Но омоневцы видели. Один помоложе, рассказал мне. А я видел уже, когда всё увозили. То есть всех. Ну, и Раису, значит, Александровну, Баранову...

Баранов отодвинулся со стулом, потом снова придвинулся к столу.

— Тут, Руслан Евгеньевич, нельзя было действовать иначе. Вот у вас та голая женщина съела дежурного, а твоя жена съела двух начальников отделений. Сангинов пришёл спасать Филатова — она и Сангинову плечо перекусила. Кость пополам. Зубами. Силищи в челюстях, менты мне сказали, у неё было как у бультерьера. Тут вирус, Руслан Евгеньевич. И ещё было четверо заражённых. Тут началась такая свалка... Но твоя жена была первой. Была вроде нормальной, когда приехала — так сказал мой Лупаев ментам, — а у дверей как давай признаваться ему в любви, он аж оторопел, — и потеряла сознание, а из врачей, кроме неё, никого, и Лупаев у крыльца давай делать ей массаж сердечной мышцы, понимаешь, как вдруг она как давай лопать Лупаева, он едва вырвался, а она за ним, а навстречу ему Петряев, и она ткнула и Петряева... Это всё на улице было, перед ОВэКа... Дежурный мой не пустил никого. Потом подъехали ещё четверо из моих, все «готовенькие», и устроили перед военкоматом пир горой, без водки... Дежурный вызвал «скорую», «скорая» приехала. И санитаров, и врача тоже съели. Слово еда приехала! И тут — омоневцы. Милиция открыла огонь. Из АКаэС. Лупаева и Петряева тоже убили; сначала-то они вроде ничего были, а потом тоже... обратились. Побелели, понимаешь?... Что было делать? В общем, твоя жена и ещё ряд сотрудников, тоже с белыми лицами... из тех, что ели человеческую плоть... были уничтожены. Мне очень жаль, Руслан Евгеньевич. Но милиция не могла допустить, чтобы белолицые съели кого-нибудь ещё. Например, её, милицию. Я приехал, и омоневцы рассказали мне всё, что могли. Кроме того, что утаили. Общее число жертв инфекции у нас

составило двадцать три человека. В городе, подполковник, происходит что-то жуткое. Я отправил кодограмму в округ — вон у меня ефрейтор старший кодировщик, — но ответа пока нет. Как действовать, не знаю. С вашим эРВэКа связи нет. Думаю, там уж нет никого... из красных. Телефоны молчат. И кодоточка не отзывается. Мои соболезнования, Руслан Евгеньевич.

Того, что погибла Рая, Баранов не осознал ещё. Не почувствовал ещё, что её нет. Что её тело прострелили какие-то омовцы, не думавшие, в кого стреляют. Чьи семьи разбивают. Людоедство? Его жена — такая же, как та баба из окна?

Нет, он не принял ещё смерти Раи. Или не верит в это. Онне видел убитую Раю. Дадут ли ему увидеть?... Что он будет чувствовать, когда увидит?... А потом пойдёт день за днём, и он будет видеть в комнатах её вещи, а её в комнатах не будет. Лучше ему пока об этом не думать. У него есть Тоня. Он должен держаться — и помогать держаться дочери. Вдвоём им будет легче.

Чёртовы милицейские стреляки. Убийцы. Чёртово оружие. «Прощай, оружие!» — вспомнил он Хемингуэя. Даже вот Хемингуэй, столько провоевавший, и любивший охоту, сафари всякие, написал: прощай, оружие...

И чёртов вирус.

Ему, Баранову, прежде чем сложить оружие, надо разобраться. Не то со стреляками засекреченными, не то с теми, кто распространяет в городе вирус.

Хорошо бы, Лысов отдал ему приказ. Он же позвал его... Но Лысов не отдавал ему приказа. Позвал из-за своего жуткого хобби?... Лысов переключал каналы телевизора.

— Почему, Руслан, ничего не передают? Может, позвонить на телецентр? Или мэру? Нет, мэру звонить глупо. Вчера, когда я уже отключился, мэр ещё отдыхал душой и телом. Наверное, не спал всю ночь. Правду говорят: понедельник у Египетского — законный четвёртый выходной.

— А третий какой? — спокойно спросил Баранов.

— Пятница.

А потом говорят, подумал Баранов, что анархизм — беда современной молодёжи. А вот сидит похмельный толстяк в противогазе с подпотевшими стёклами и рассказывает о четырёх выходных мэра.

И статью-то в УКа — о неуважении к власти — придумали, чтобы защитить четыре законных выходных.

Он бы нашёл сейчас общий язык с Тоней. Только бы с ней было всё в порядке. Он сумеет уберечь её от новой заразы.

Хорошо, что у него заряженный «ПМ».

А Лысов пересказывал ему всё с начала:

— ОМОН вызвал дежурный. Он же решил и не пускать никого. В смысле, наших... Дс прибытия военкома. Так он решил. Молодец капитан. А как иначе?... И до меня парень дозвонился, предупредил, чтоб я взял противогаз. Он и кодировщик — единственные люди, которые были тут ночью и утром. Ты на них, подполковник, не вали!.. Они не стреляли и не участвовали. Они бы твою жену не защитили. И других тоже. Их и нельзя было защитить... Это других от них надо было защищать... Ну, и соответствующие действия были предприняты... Был ещё помдеж, но он вышел на улицу по приказу дежурного — и заразился... Ты не ищи тут виновных в смерти жены. И в милиции не ищи. Не надо, подполковник. Иногда думаешь, что лучше быть пьяным, чем трезвым. Не поедь я вчера... на

рыбалку, и не встань поздно, я бы тоже «побелел». Может, болезнь не сразу, а через час или два проявляется. У ОМОНа тайны вот завелись... У меня есть приятель в эФэСБэ, но трубку зараза, не берёт... Оно и точно: зараза. Ты вот, кажется, здоров — и хорошо. Думай о том, что никого не заразил. И я здоров. Мы не «белые», а «красные». Ты на чём приехал, на «УАЗике»? Лицо шофёра видел? Не белое? Нос тебе откусить не пытался? В селе живёт, в Перевалово? Вода из колодца?... Счастливый деревенщина!.. И откуда эта дрянь к нам пришла? Из Туры? Водоканальщики говорят, что нет. Врут. Зачем перекрыли водозаборы? И почему молчит телевидение? И радио? А если из Туры, от откуда в Туру? От *кого*?

— Не знаю, — ответил Баранов.

— Вот и я не знаю, подполковник.

— Что делать, товарищ полковник?

— Чернышевского читать, — ответил военком. — Ладно, я тебе мозги компостировать не буду. Что делать — не знаю. Кого положено, я спросил. Или попытался спросить. Но тот, кому положено, не отвечает. И в районы мне передавать нечего. То есть некому. Я вот вызвал тебя, а теперь каюсь, что не вызвал всех, кого можно считать здоровыми. Тут, подполковник, непонятно. Одни вроде бы заражаются, другие — нет. Ты вот умывался водопроводной водой? Ну, вот видишь. Ты не белый, значит, тебя зараза не затронула. Или тебя не берёт? А может, вирус ещё не попал в воду, когда ты умывался? Ты раньше или позднее жены умывался? Ну, всё равно... Тебя, Руслан Евгеньевич, зараза не берёт. И что это за инфекция? Химия? Терроризм? Необъявленная война? Чеченцы? Почему в Тюмени-то, не в Москве? Чёрт, много вопросов, ноль ответов. И все молчат! Ни слова о вирусе. И о воде. Как этой самой воды в рот набрали...

— Товарищ полковник, они всегда молчат.

— А ты прав, подполковник! Нет, они, конечно, чешут языками, и много, и бодро, но, собаки, никогда не скажут главного.

— Никогда не скажут того, чего ждём мы.

— На что это ты намекаешь, подполковник?...

— Я думаю, что настало время вам отдать приказ.

— Приказ?

— Нужно организовать тех, кто ещё...

— Ну, валяй, договаривай.

— Нужно вызвать повестками, по телефонам запасников. Организовать прочёсывание города. Расставить блокпосты. Наладить связь с милицией. Информировать население.

— Ну спасибо тебе, подполковник, за советы. Я понимаю: тебе тяжело, ты потерял жену.

— Вероятно, и дочь. Она тоже умывалась утром.

— Не драматизируй. Думаю, жива твоя дочь. Ты-то жив. Ты ведь тоже умывался? Или ты как старец в пустыне живёшь? Ну, видишь: не все заражаются. А может, жена твоя заразу по дороге подцепила? Вцепился кто, откусил немножко... Или поцеловал — тоже вот после признания в любви... Не смотри на меня зверем лютым, я пытаюсь это самое, понять объективно, а ты волка из себя строишь... Уволить меня хочешь? Да я хоть сейчас, Баранов, садись на моё место и воюй, только в округе нас не поймут... Хорошо. Больше не будем на эту тему. Я объясню тебе: окружное начальство не желает отдавать мне приказов. Секретных кодограмм нет ни из округа, ни из Москвы. Будто ничего не происходит. Я так считаю: пусть этим делом с белыми больными занимается милиция. И врачи. И учёные какие-нибудь.

Бактериологи. Вирусологи. Астрономы, чёрт их задери!.. Почему глупый полковник из военкомата должен ломать голову над проблемой инфекции?... Пусть вирусами занимается кто угодно, но не мы с тобой. Для перевода города на военное положение нужно основание. И нужен приказ вышестоящего начальства. У нас нет приказа, хотя есть вроде бы основание. Но мы не уверены, что ситуация с инфицированными имеет место по всему городу. Да, до милиции уже не дозвониться, да, больницы перегружены поступившими в это утро, да, ходят разные слухи. И всё же мы ничего не знаем. Я Бога молю, чтобы в округе меня не приняли за психа. Ты представляешь, как я им буду излагать *основание*? И что мне ответят на моё заявление? «Заигрались в компьютерные игры», вот что нам с тобой ответят. И добавят: «Этих давно пора отправить служить в Забайкалье, а на их место назначить ребят, действительно заслуживших отдых». А ты говоришь — основание... Но вдруг *основание* пройдёт само собой? Зуб сгниёт, и нерв перестанет болеть? И нашей с тобой проблемы как не бывало. А была проблема милиции. Прокуратуры. Санэпидстанции. Комитета по защите прав потребителей. Какого-нибудь завода, выпустившего в Туру отходы с радиацией. Еду какую-нибудь просроченную вывалил в реку гипермаркет. Откуда мне знать? Это вне моей компетенции. Что, подполковник, жалко людей? Погибнет тысяча или две? Или десять, двадцать? Но при чём тут военкоматы? Есть милиция, есть ОМОН. Для чрезвычайных ситуаций есть эМЧэС. И больницы. И эФэСБэ. И я тебе, Руслан, не начальник гарнизона чтобы патрулировать город и блокпосты расставлять. Ты бы ещё баррикадами приказал улицы перегородить и объявить продолжение развитого социализма. Ладно, не нервничай, Руслан Евгеньевич. Не порть ни мне, ни себе карьеру. Ты временно назначен исполняющим обязанности начальника Ленинского эРВэКа. Вот письменный приказ. Сам на компьютере напечатал. А ты думаешь, я с техникой на «вы»?... Но вот что я тебе скажу: не суй носа в Ленинский хотя бы до завтра. Не то подхватишь заразу. До завтра пусть медики и учёные разбираются... А мне такие люди, как ты, очень дороги. Ты понял меня?

— Так точно, товарищ полковник.

*«Твоя жена и ещё ряд сотрудников...»*

Он вздрогнул.

«Рапорт об увольнении подождёт».

Он встал.

— Разрешите идти, товарищ полковник?

Ему хотелось убивать. Очищать от заразы город. И Родину. Кто знает, не угрожает ли вирус Родине? Не время для рапортов. Поняла бы его Тоня? Он спросит у неё. Он только что думал так же, как она, — и не значит ли это, что и она могла бы думать, как он?

— Да, и вот ещё что, — сказал Лысов. — Получи там внизу ВэПэ. Возьми штук шесть или десять. Может, с кем из наших соединишься... Не знаю, что будем делать дальше... Комплектами возьми, с зиповскими патронами, я позвоню сейчас дежурному. А в свой эРВэКа не суйся. Понял, подполковник? И последнее. Убивать этих больных надо в голову. Я не видел, как милиция расходовала патроны, но майор мне сказал: убить нельзя, если не попасть в лоб. Бейте в лоб. Или в висок. Тогда им конец. А в сердце, в живот — не умирают. Это вирусные психопаты какие-то. Говорят, они живут и ходят с пулей в сердце. Это не я сказал, это я передаю тебе слова мента. Майор вряд ли врёт: говорит, видел, как один белолицый, с вырванным желудком, натурально ходил и ел, хотя жратва вываливалась ему под ноги. Ну кто поверит, подполковник?... Вот потому-то и не хочется мне тревожить окружных повторной кодограммой. Скажут: ладно, полкан с утра не соображает, это

бывает, но к обеду-то должен протрезвиться.

Езжай домой, Баранов. Не ездь по больницам и по моргам. Где твоя жена, всё равно не узнаешь. ОМОН свозит трупы «белых» куда-то в засекреченное место и там сжигает. Стоят в противогазах и жгут. Это я выбил из них. А то майор вообще не хотел говорить. Езжай домой. Приедешь домой — а там и дочь. Как её зовут-то, Надей?... Тоней?... Антонина Руслановна, что ли? Неудобно как-то выговаривать... Мои-то дома, я же в Решетниково живу. Мне тюменская ядовитая вода не страшна. Сын мой загулял вчера — и проспал университет, так и не пошёл на лекции. Хотел отругать его с утра, да плюнул. Хорош бы был воспитатель: сам на службу проспал... А тут позвонил ему, сказал: не вздумай носа высовывать из коттеджа. Сиди там с матерью и двери никому не открывай. Приеду — расскажу, в чём дело. За мать отвечаешь. Он у меня, когда надо, быстро соображает. Мы их ругаем, а они ребята и девчонки что надо... Да, Руслан, никогда не знаешь, что лучше — жить трезвым и здоровым, и принимать с утра холодный душ, или быть пьяным и грязнулей...

«Я-то принял душ, — подумал Баранов. — В шесть тридцать. Холодный».

— Ну что ты стоишь, подполковник, душу выматываешь? Налить тебе полста фронтových?

— Разрешите идти, товарищ полковник?

— Иди, иди, мой дорогой Руслан Евгеньевич. У тебя сегодня выходной. Противогазы не забудь получить. И не болей. Разрешаю болеть только с похмелья.

28 октября, понедельник, 9:33. Регина

В телецентр она пойдёт пешком. Через Киевскую, Котовского, Холодильную.

Перейдя дорогу между стоявшими в пробке машинами, Регина прошла недалеко от милиционеров-дэпээсников. Нет, близко к ним нельзя подходить. Она сделает несколько кадров на расстоянии. А потом — в переулочек. Вот так... щёлк, щёлк. Боже, а этот дэпээсник — на нём же живого места нет — встаёт!.. И какое белое у него лицо! Много крови потерял? ... Господи, да что же тут за обжираловка людоедская?!

По переулочку, ведущему к Киевской, в котором приткнул служебную «Газель» Сёма, Регина шагала широченными мужскими шагами. Она бы побежала, да на каблуках не побежишь. Оглядываясь. За ней никто не гнался. Точнее говоря, не шёл медленно. Как те двое: белая старуха и белый парень. Она шла, шла. На лицо её падал снег. Волосы намочило снегом, они свалились набок, по щекам текло. Под этим мокрым снегом можно мыть голову.

Дверцы «Газели» были закрыты. Сёмы не было видно. Ни крови, ни следов борьбы. Регина нашла в адресной книге телефона Сёму. Длинные гудки. Она дала отбой.

Страшно ли ей?

Она не могла этого понять. Она лишь думала о страхе. О том (вперёд, быстрее, в студию, к Сан Санычу; даже что-то родное, тёплое почувствовала она при воспоминании о шефе), что на неё могут напасть, как на Колю, как на человека с портфельчиком (на Сёму тоже, наверное, напали, пока он покуривал возле машины. «Надеюсь, успел удрать»), — но больше всего о том, что ей нужно попасть на телецентр. К Сан Санычу. Шефу. Что у неё последний Колин репортаж. И что это никакая не «Голая Россия» — а уж если из этого получится *голая Россия*...

Она шла — и не верила в случившееся. Да, фотографии на телефоне, да, Колин XDCAM в сумке. Да, подпрыгивающий толстяк с портфелем, смеявшийся над *двоими*. Всё так. И всё не так. Это было — и этого будто не было. Она, Регина, идёт по Киевской, поворачивает на Котовского, — и на её пути нет голышей, нет мяса, нет крови. Люди навстречу ей попадаются хмурые, немного потерянные, — но ведь русские люди всегда хмурые, всегда потерянные.

Регина шептала, потом думала, потом снова шептала:

— Это правда? Этой правды мне не хочется. Не желаю, чтобы *это* было правдой. Не желаю, чтобы это было.

Она то замедляла шаг, то, наоборот, ускоряла. А то останавливалась и оглядывалась, будто желая увидеть отсюда Мельникайте. И Колю. И всё, что там произошло. Вернуться бы — и убедиться, что ничего там не было. Что Коля застрял в пробке на 50 лет Октября — и не приехал к ней. И вообще она всё выдумала. У неё ж богатая фантазия. Она трепалась обо всяких глупостях с таксистом, который подыграл ей, — а потом шла пешком, как она любит ходить, когда не опаздывает, и додумывала то, что придумала вместе с таксистом. И звонок Коле, и звонок шефу она тоже выдумала. Сочинила. И всё из-за опоздания. У неё фантазия и богатая, и больная. И вообще ей нужно аспирин или парацетамол выпить, и улечься не под шефа, а под одеяло. Ватное. В квартире утром было как-то холодно. И она не выспалась. И

зачем надо было вчера сочинять про рыбалку? Могла бы и на работе сделать этот муровый репортажик.

Боже, нет, она ничего не придумала.

У неё телефон, а там снимки.

Нет, она не станет их сейчас смотреть, листать.

И диск в сумке.

Она вышла на Холодильную. Быстро, как только могла на каблуках, понеслась к Пятидесяти лет Октября.

Она придёт к шефу, запустит оптический диск — и сама убедится в том, было всё это, или не было. Она будет смотреть на это глазами шефа — то есть будто впервые.

Бред. Она бредит. Вот и шеф скажет, что она бредит.

Нет, он не скажет. Он же журналист. Пусть и редко практикуется. Разве что интервьюирует заезжих знаменитостей. Купается в лучах чужой славы.

Он не скажет: она покажет ему запись.

А на диске — Коля.

И старуха голая, испачканная в Колиной крови, и парень голый, тоже вывозившийся в Колиной крови, — и дэпээсники (не голые), стреляющие в людей, вполне прилично одетых... но таких же бледных, как парень и старуха, и как «муж с женой». И тоже едящих. И перепачканных в крови. Едящих милиционера. Она сняла это.

Белые. Все белые. Такие бледные, что побледневшими их не назовёшь. И те, кто ел дэпээсников, и те, кто ел Колю, — белые. Ужасно белые. С малиновыми прожилками на лицах. Общее у них — не одежда. И не номерки. *Белизна!*

*Наняли четверых актёров, и загримировали...*

Натурально сыграли актёры!

28 октября, понедельник, 10:13. Регина

— Регина, ты на себя не похожа, — сказал шеф.

Она расстегнула куртку, повесила её на стул. Потрогала мобильник на груди. Села на диван. Сумочку положила рядом. Огромный кожаный диван. Дурацкий диван. Шеф нарочно его поставил в кабинет, чтобы у всех баб задирались ноги. Она всегда ловила его взгляд на себе. На ногах преимущественно. *Спать с шефом? Ха, пусть спит с уборщицей!...*

— Колю съели, Александр Александрович.

— Какого Колю?

— Баталова.

— Что ты сказала?

— Баталова.

— Нет, до того.

— Съели.

— Ты больна, — сказал шеф.

Вышел из-за стола, подошёл к ней. Коснулся её лба. Очень долго держал руку на её лбу. Она видела его жилет, вспучивавшийся на животе, и брюки — там, где ширинка, — и ей хотелось оттолкнуть *всё это*.

— У тебя, по-моему, температура. Ты и меня заразишь. Журналистка, а не знаешь, что в стране эпидемия иностранного гриппа. Не смотрела новости в полночь? Филиппинский грипп: температура низкая, 33–34, а кто-то утверждает, что 22–24, скачет давление. Сильная вирулентность. Человеку так плохо, что хочется умереть. Есть случаи комы. Отправляйся-ка домой. Новости выдаст Ксения. И почему ты не смотришь полночные новости? Сколько можно тебе...

— Они съели его. Это есть на диске, — сказала Регина.

Она вынула из сумки диск. Сан Саныч взял его. Положил на стол. Повернулся. Скрестил руки на груди. Он, наверное, никогда и не думал, что руки у него скрещиваются не на груди, а на *животе*.

Грипп? Температура то 34, то 22? Температуры в 22 и на градусниках-то нет. Давление скачет... Какую только чушь не выдумают журналисты, чтобы повысить рейтинг!

Или он говорит про грипп из *вежливости*. Интеллигентно так намекает.

Одно время Регина пила. Не то чтобы на всю катушку и во всю Ивановскую... но пила. И пару-тройку новостей в нетрезвом виде сделала. Шеф вначале не замечал, а потом ему нашептали. Или сам заметил. Она точно не знала. Она перестала пить. Любой, кому нравится его работа и деньги, которые за неё платят, быстро умеет выбрать между водкой и работой. Тут и выбора-то нет! О выборе думает тот, кому водка дороже. Это уже конченный человек.

Сан Саныч, ясное дело, подумал: у неё новый запой. Классика: понедельник, утро. Потому-то она и опоздала. А может, она и не бросала пить. Пила себе потихонечку, как умеют пить женщины. Им не так много надо, как алкоголикам-мужчинам. Пила — и с утра всегда опаздывала. Ну, или почти всегда. Сан Саныч думает, он раскрыл её. Грипп, говорит,

у тебя. Филиппинский. А у него тоже есть фантазия. Только убогонькая. Тридцать четыре, двадцать два. Фантазия на тему имён числительных.

Всё, что она скажет Сан Санычу, тот примет за оправдания. За пьяную сказку с людоедах в городе. Колю съели. На улице Мельникайте. Да, милиция была там, когда Колю ели, была через дорогу, но сделать ничего не могла. По очень простой и понятной причине: её, то есть милицию, тоже съели. С потрохами.

Примет за оправдания. Велит ей выпить аспирина или «Алка-Зельцер» и идти проспать. А потом, скажет, как проспаться, уладим наши деловые отношения. В смысле, кое-кому давно пора написать заявление об увольнении. И безо всякой фантазии.

Или, может, речь у них пойдёт не об увольнении. А о том, что там у него, шефа, болтается в штанах. За ширинкой. (По слухам, кроха размером с детскую соску).

И поэтому она не будет ему ничего рассказывать. Пусть посмотрит. А она будет молчать.

Только чуть-чуть она скажет, чтобы убедить его. Убедить запустить XDCAM.

— Сан Саныч, всё переменялось, — сказала она. — Сегодня утром... Я словно не та.

— Конечно, не та. На твоей причёске лака вдвое больше, чем обычно. И ты сегодня не Снежная, а Водяная. Капает с тебя.

Шутит. Регина подумала: он, стоящий у стола с улыбочкой, плохо маскировавшей раздражение, сейчас в красках и со звуком представляет, как она куролесила вчера с Колей Баталовым, а, может, и ещё с кем-то, как пропустила по пьянке полночные новости, которые ей велено смотреть под страхом смертным, и как обнималась с неизвестным третьим, или как Коля обнимался с неизвестным третьим, пусть будет третьей, и как они, насмотревшись вместо новостей малобюджеток-хорроров, стали изображать голодных африканских людоедов, бороться друг с дружкой на кровати, и Коля был жертвой, а третий, то есть третья, — людоедкой, а она, Регина, снимала их борьбу на Колину камеру, и теперь, с похмелья, притащила диск с записью в кабинет директору, чтобы оправдаться за опоздание. И что они вдвоём — она и он, — закрыв кабинет на ключик, займутся примерно тем же, что записано на диске, но без алкоголя. Они начнут изображать борьбу людоеда и жертвы, а потом она разденется, и он овладеет ею, и будет иметь её и покусывать её.

Проклятая фантазия!.. Житья не даёт. Вернее, как раз даёт: она, фантазия, умение представлять сюжеты там, где другой не видит ничего, кроме скуки и банальщины, и делает из обыкновенного автора школьных сочинений и университетских «эссе» журналиста. Такого, которого и Сан Саныч не спешит уволить. Да. Фантазия, а вовсе не длинные ноги, грудь третьего размера и красные итальянские сапоги.

— Сан Саныч, — сказала Регина. — У них такие особенные глаза.

— У кого — у них?

— Эти глаза смотрят не на вас.

— Мимо?

— Нет, и не мимо. Они смотрят в вас. В глубину.

— В какую ещё глубину?

— В ваше мясо.

28 октября, понедельник, 10:23. Регина

— Регина, ты не больна гриппом. Ты сошла с ума. И вот что я думаю. Если на диске Колю не съедят, — ты уволена. Отработаешь две недели, и...

— Дальше мне известно. И найду замену. Такую замену, чтобы раздевалась по щелчку ваших пальцев. И по следующему щелчку принимала у стола нужную позу. Раньше я считала, что с возрастом у мужчин потенция убывает, но на вашем примере вижу: прибывает. Вот как мы договоримся: если бедного Колю в записи — и не только в записи, — не съедают, вы увольняете меня по статье, и я безропотно вам подчиняюсь, — но, если Колю съедают, я увольняюсь сама, а вы выписываете мне премию. И тому, что его съели, подтверждением будет не только диск, но и мёртвое тело. Поиграем мёртвым Колей, а, Александр Александрович?

— Мёртвое тело Коли, говоришь?

— Объединенное тело Коли, — уточнила Регина. — Наверное, будет и медицинское заключение.

— И куда же ты подашься, когда уволишься?

Он не верит, не верит. Она и сама не верит. Когда сама не веришь — как убедишь другого?

У неё есть запись.

— А может, вам настало время увольняться, Александр Александрович? Вы, похоже, уже не чувствуете ни правды, ни настоящего сюжета.

— И тебя — в красных сапогах, с невытой головой, — на моё место.

Регина нашла глазами деку. Встала с дивана.

— Хватит трепаться. Мы с вами, Сан Саныч, как две бабы. Немытые волосы? В городе нет воды, вы знаете?

— Отключены все водозаборы. Проводится плановая дезинфекция, и к вечеру всё будет устранено. Как это я — и не знаю? Я директор телецентра.

— А что, «Водоканал» проводит дезинфекции? Плановые? Без предварительного оповещения населения? Вам передали это сегодня, а не неделей раньше, не так ли?

— Ты хочешь сказать, что между отключением воды и тем, что ты хочешь показать мне на диске, есть какая-то связь?

— Какая ещё... связь? — Она чуть не сказала: половая. — Я ничего не хочу сказать, Сан Саныч. Я про волосы невытые говорила. Просто сегодня первый день, когда я чувствую себя настоящей журналисткой. Я пыталась вам сказать, что переменилась, но вы мне не верите. Да и трудно поверить... И потому, что это я, и потому, что это — вы... Я не пью, Сан Саныч. Не надо *так* смотреть на меня. Но с сегодняшнего страшного утра я чувствую себя настоящей журналисткой. А не журналюшкой в красных сапогах — продающейся не за съёмку новостей, а за *делание* их. Где, наконец, ваш пульт?... И дело не в том, что вы директор, а я не директор. У нас речь не о сюжете на шестьдесят секунд для вечернего выпуска, а об экстренных новостях. Мы уже так долго треплемся, что с сюжетом нас вот-вот опередят конкуренты. И тогда вам будет неудобно встречаться со мной в коридорах.

— Да ну? Сядь.

Она, кажется, заинтриговала его. Может быть, тем, что назвала себя журналюшкой в красных сапогах.

Или тем, что назвала себя настоящей журналисткой?

Нет, ему не интересно ни первое, ни второе. К тому же второго — настоящей журналистики, настоящего писательства, настоящего кино, вообще настоящего искусства — давно уж нет, и о нём и упоминать-то неприлично. Упоминание о нём смех вызывает. Или раздражение: что, мол, с глупостями вяжешься? Делай, что велено, и премию получишь. Делай, что велено, лучше чем другие, и быстрее, чем другие, — и большую премию получишь.

Директор вставил диск в деку, взял пульт.

Она села, пока он стоял к ней спиной.

— Сделайте погромче, Сан Саныч.

— Избавься от этой своей фамильярности. Настоящий журналист отличается... от той, которая в красных сапогах... умением быть вежливой и уважением к начальству. Или ты по понедельникам не все буквы алфавита выговариваешь, и тебя к логопеду отправить?... Ты вот с этой причёской собралась новости делать? Ты фильм с Пьером Ришаром смотрела, тот, где у него парик под колёса машины попал?... Вас, похмельных, всех бы в советское время, пропесочить бы на собрании коллектива... А это что за бледные поганки?

— Смотрите, Сан... Александрович.

— Уже лучше. К вечеру, глядишь, и буквы вспомнишь.

— Я не пью.

*Всех бы в советское время.*

Какая разница, какое время? Советское, демократическое, царское, пещерное? Во все времена находились дураки, которые не слушают и не видят, а упорно, словно назло и нарочно, думают о своём. Это их *своё* будто бы и есть то единственное, из чего состоит жизнь. А другого — нет. Нет — потому что они о нём не подумали. Как-то эти люди в философии называются... сателлиты, сатанисты, садомазохисты, содомиты, сталинисты... нет, — солипсисты. То, чего они не видят и не слышат, — нет. Удобно, жуки, устроились. Но не понимают: для того, чтобы быть солипсистом, надо быть начальником. Попробовал бы не начальник побыть солипсистом — хоть денёк!

Нет, они понимают, конечно. Сан Саныч-то точно понимает. Иначе бы не читал нотаций на тему вежливости и уважения.

— Не пьёшь... Не пьёшь. А кто пьёт? Это что же она, ест его? Регина, кто тебя надоумил это смонтировать? Да тут и не монтаж. Актёры, что ли? У тебя протеже завёлся?

«Он и о других думает так же, как о себе. Тоже считает их солипсистами. Кто надоумил!.. Будто это сделала я. Задумала и сделала так, что Колю съели. И меня чуть не съели. И съели милицию. Я хотела, чтобы так было и чтобы Колина камера сняла это, — и вот оно произошло».

— Сан... Александрович, это было на улице Мельникайте. *Так было*, вы понимаете?

Шеф больше не сказал ничего. Смотрел материал молча. И отвлекаясь. Взглядывая на неё. Она ловила на себе то недоверчивый, то осуждающий его взгляд. Шефу нужна была её реакция. Какая? Улыбка — мол, улыбаешься, я тебя раскусил, устроили тут с Николаем киношные забавы!.. Слёзы? Но сейчас её — она чувствовала это, — занимала судьба репортажа, а не погибший Коля. Коле уже не поможешь. А когда Сан Саныч досматривал

запись, Регина поняла: он думает вовсе не о том, правда или «утка» эти жуткие кровавые кадры.

«Зарежет!..» И сердце её застучало часто-часто.

Солипсизм? Зарежет? А ведь с точки зрения солипсиста шеф *правильно делает*, резая сюжеты. То, чего нет по телевидению, будто *нет и на самом деле*. Вот возьми и запрети Сан Саныч мой и Колин репортаж — и того, что произошло на Мельникайте, *не станет*. И Коля Баталов будет жить. И понятия не будет иметь, что его могли бы съесть заживо, не вмешайся в его судьбу великий и могучий Сан Саныч.

Сейчас он вступление к зарезанию выдаст.

Ой, ну и дура же она!

— Не будь в кадре тебя и Коли, — сказал шеф, — я бы подумал, что смотрю местный фильм ужасов. Провинциальный малобюджетный «трэш». Помнишь, на «Регион-семьдесят два» хотели снять хоррор-сериал и выпустили пару серий? Забавно было видеть улицы родного города, по которым шляются кровожадные вампиры. Только вот рейтинг был курам на смех: кто же в Тюмени поверит в тюменских вампиров? Московские или английские оборотни — иное дело. Там среда чужая. Ты её не знаешь — ну, и немножко, да веришь. А свои улицы — нет. Вурдалаки...

Он говорил, а она слушала вполуха.

Сан Саныч, похоже, не верил в страшную смерть Коли — даже видя её в записи. Шеф скорее поверил бы в его смерть, будь она от сердечного приступа или рака, в больничную смерть, с сиреной «скорой», с врачами в белом, с реанимацией, с плачущими мамой и папой Коли, с выделением материальной помощи на похороны сотрудника, — нежели в смерть от зубов тех, кого он называл в разговоре то вурдалаками, то психопатами, всякий раз перед именованием делая паузу. Он делал вид, что верил в то, что записано на диск, — для того, чтобы успокоить её, Регину. И она — не ненормальная же она, в самом деле, — возьмёт и вправду успокоится, и признается в розыгрыше, и поплачется ему *в жилетку*, и он обнимет её нежно, снова подержит руку на её лбу, желая подержать руку на чём-нибудь другом и давая понять своё желание, и простит ей опоздание — «в последний раз», — и тут она должна будет испытать одновременно два чувства: благодарности и облегчения.

Ну, и та самая цензура, которой не существует — так же, как, говорят, *не существовало* её в советское время (в царское всё было иначе; в царское цензоры работали открыто. Кажется, не то Тютчев, не то Гончаров работали цензорами. Или оба). Сан Санычу, прежде чем выпускать в эфир «вурдалаков», следовало у несуществующих цензоров спросить, *верить ли* ему в увиденное и услышанное. Создавать ему новую действительность, или не создавать. Цепочка солипсистов! И тем крупнее солипсист, чем выше он среди начальствующих. Она могла бы и подумать об этом. Вообще не надо было идти к Сан Санычу. В «необычных» случаях по осторожной привычке руководителя, но не журналиста (был же он когда-то, чёрт его дери, журналистом, и, говорят, не самым худшим!) шеф сомневался и клал диски (раньше — кассеты) в сейф: дожидался подтверждения или отрицания свыше. Быть — или не быть?... Советская осторожность? А нет никакой особенной советской осторожности! В минуты откровенности Сан Саныч говорил, что существенной разницы между рыночным настоящим и советским прошлым нет. КПСС — «Единая Россия», президент после отмены порога выборов в 2012 году, по сути, усаживается в кресло верховной власти так же, как генсек, и вместо коммунистического идеала всеобщего благоденствия — капиталистический рай, где каждый теоретически может стать

Прохоровым или Абрамовичем. Всё по логике одно, и даже скрытая цензура сработана по единому типу. При Николаях и Александрах ставили линии из сплошных точек на страницах книг — там, где было цензорами удалено, «закрещено» (цензура открытая), — а при генсеках автору рекомендовали переписать там, где на полях пометил партийный редактор (цензура скрытая). И нынче, при президентах, можешь сколько угодно (у кого она это выражение встречала: сколько угодно?...) писать или снимать о колдунах, воскресителе за деньги Грабовом, о новейших средствах против рака и СПИДа, на разные мистические сюжеты, копаться в грязном белье Сталина или Ленина, или, скажем, Хрущёва, Брежнева, — но неуважительно, как-нибудь *сатирически* отзываться о президенте или губернаторе, или, скажем, показывать, как на улицах родного города происходит то, что выходит за *рамки* (ты понимаешь, Регина, о каких рамках я говорю?), не рекомендуется. Не потому, что неправдоподобно, страшно или скандально, — но потому, что подрывает авторитет власти, не то породившей проблему, не то не умеющей с ней справиться.

— Мне, Регина, должны дать разрешение на трансляцию твоего материала. Верю я, не верю — вопрос сто одиннадцатый. А вот разрешение... И, я знаю, его мне не дадут. Выйди из кабинета, мне нужно позвонить.

— Мы не покажем, Александр Александрович, так покажут другие. Мне хочется реветь, топтать ногами и душить вас.

— Ты просто глупая девчонка. Тебе надо выспаться.

— Иногда проще сделать вид, будто ничего не было?

— Тебя ли, Регина, учить делать вид?

— И делать мир таким, каким он не бывает?

— Лучше не знать, Регина, каким он бывает. Спать будешь спокойнее.

Сан Саныч склонился над сейфом. Спрятал диск. Нет, вряд ли он думал, что она бросится на него и вырвет ему спину, как те двое Коле.

Она не бросилась и не вырвала.

Регина думала уже не о шефе. И не о диске. И, понятно, не о том, как закрыться от правды, как *отменить* правду, — но о том, как открыть её. Гольши с белыми лицами могут съесть и других людей — так же, как Колю и того человека с портфелем. Они и едят. Ходят по городу, едят, и милиция им, белолицым, с номерками морга на ногах, очень малая помеха... Конечно, морга: трупы гуляли по Мельникайте и по Харьковской именно потому, что вышли из морга второй городской.

Регина поднялась с дивана.

— А где камера? — спросил Сан Саныч. — Вы что, бросили камеру на Мельникайте? Зарплата, что ли, позволяет камерами бросаться? Похмелье у вас, не похмелье, — а вы у меня до суда допляшетесь.

Ну кто, как не она, должен был предугадать, что шеф отправит *этот* материал в сейф? Но в ней будто что-то переключилось и переменялось — и она ждала такой же перемены от других. От всех. И от Сан Саныча. Но он остался Александром Александровичем, А. А. Воротыннюком, генеральным директором телестудии «Тюмень ТВ». Она переменялась, он не переменялся.

А в ней воскресло что-то и зашевелилось от той глупенькой 17-летней студенточки, верившей в то, что журналисты... что журналисты... Она не помнила, что думала в семнадцать. Нет, кое-что помнила: журналисты — не наёмники, не *платные кропальщики*, как говорил её одноклассник Влад Баринов, а они те же писатели. Только у них не романы и

повести, а фельетоны, очерки, статьи и репортажи. Но журналисты такие же, как писатели, инженеры душ человеческих. Нет, не душ, а сердец. (Или всё же душ?) А вот *уэтих* сердец, наверное, нет. И у Сан Саныча — нет.

Коли не стало, а он — про «разрешение на трансляцию».

И ни капельки его не волнует, что сюжет *эсклюзивный*. Что конкуренты... а что конкуренты? А что — *эсклюзивный*? Директору «Региона ТэВэ» тоже потребовалось бы «разрешение на трансляцию».

— Я могу понять тебя как автора репортажа, — сказал Сан Саныч. — Но и ты пойми меня как директора. С меня шкуру с живого снимут, если я пушу твой материал без разрешения. И я без шкуры стану как эти твои... плотоядные голыши.

«Дерьмовый образ».

— Конкуренты?... — продолжал Сан Саныч. — «Регионщикам» тоже потребуется разрешение, так что нечего бояться опережения. Будто ты не знаешь. Ты что, хочешь, чтобы администрация обвинила нас? Скажут (и справедливо скажут), что мы устроили панику на весь город. Вовек не отмоешься, Регина. О работе на телевидении и думать тогда забудь. А я отправлюсь на пенсию — грядки вскапывать.

Он улыбнулся. Посмотрел на неё *отечески*.

— Это у каждого бывает. Раз в несколько лет. Я всё ждал, когда же у тебя начнётся. А то как-то гладко ты всё работала. Даже не верилось. Ну вот, и у тебя прорвалось... Пройдёт. У всех проходит. А власть не надо обвинять. Мы, простые смертные, мало смыслим в том, что делает власть.

Шеф снова улыбнулся.

— Не надо думать на манер анархистов, что цель власти — подавлять и наживаться. Среди тех, кто не у власти, есть куда большие подавители и наживатели... Мы, критикуя власть, давно уже упускаем из виду, что не мы, а именно она следит за порядком и при нужде приходит к нам на помощь. Настоящий журналист и сознательный гражданин сотрудничают с властью, а не перечат ей ради пустых скандалов. Скандалов, кстати говоря, без развязки для власти, но с развязкой для их устроителей... Сегодня ты популярен, а завтра займёшь место в больнице или на бирже труда. Надо чувствовать, кто твой хозяин, Регина. И нечего этого стыдиться. Так всегда было и на Руси, и на Западе тоже. И дальше так будет. Прежде всего мы обязаны информировать власть. Это занятие власти — обобщать материалы, поступающие на тему... — он пожевал губами, подбирая слова, — ...пожирателей милиции. Скорее всего, если ты *принесла правду*, материалы засекретят, а нам попозже прикажут пустить что-то про группу невменяемых лиц, совершивших побег из психиатрической лечебницы. И ты, Регина, эту версию и *отрабатываешь*. Иногда приходится наступить на горло своей песне.

— Вы хотели сказать: *всегда* приходится, Сан Саныч.

— Ну сколько можно твердить одно и то же? Что за кабинетное панибратство? Называй меня Александр Александрович. Ты ведущая новостей, а не пациентка логопеда. Сделаешь, когда будет нужно, репортаж, — и премию я тебе выпишу. А теперь езжай домой и отдохни три-четыре часа. Купи воды и вымой голову. Приготовься к вечерним новостям. И свяжись с Феоктистовым. Не знаю, что за смертельный ужас на диске, но если *Николая нет*, его заменит Саша Феоктистов. Я позвоню тебе.

— Скажете, что писать? — Она взяла со стула куртку, надела. Коснулась телефона. Застегнула куртку. Набросила на плечо сумочку.

— Скажу направление. А «что» — ты придумаешь сама. По части придумывать тебе нет равных. Премии ты получаешь не за споры с директором и уж точно не за опоздания на работу.

*28 октября, понедельник, половина одиннадцатого утра. Софья*

— Шурка, у военкомата кого-то скручивают, — сказала она. — Смотри-ка. Дело, кажется, серьёзное.

— Военного какого-то. А руки ему выворачивает милиция. Омоновцы. И «Газель» закрытая стоит.

— В новостях часто передают про военных или милиционеров, взбесившихся с оружием в руках, — заметила она.

— Цветы вместо винтовок! — твёрдо сказал Шурка, отворачиваясь от военного, на которого набросилось сразу четверо омоновцев, и сел в машину. — Садись, Софья. Не смотри туда. Ты теперь не одна, а тебя двое. И думай о двоих. О третьем и об остальном мире буду думать я. — Он включил радио: «На улице Мельникайте серьёзная задержка в движении...» — Всё-то сегодня серьёзно. Поедем по объездной.

— А мне нравится слово «задержка», — сказала она.

«Тойота» была хорошо прогрета. Вырулив на Парфёнова, Шурка переключил радиостанцию. Пела Анна Герман. Очень грустно пела. Софья нажала на панели магнитолы семёрку. «Радио «Счастливая жизнь». Вот. Бит-квартет «Секрет». И Софья и Шурка пропели дуэтом: «Признайся, твой папа был прав!»

Софье нравилось, как Шурка водил. Мягко, строго по правилам. Права получил только четыре года назад — но зато выучился на первый класс. Машину пошёл выбирать вместе с ней, с Софьей, но настоял, чтобы купили именно эту — «Тойоту Бленду». Сначала хотели покупать «Ниссан» или «Мицубиши», потому что ценовая политика «Тойоты» им не подходила: слишком дорого за то же японское качество, считали они, но в этом году «Тойота» сдалась. Приоритет у многих компаний сменился с процветания (то есть максимизации прибыли) на выживание (минимум прибыли); в кризис, конца-края которому не было видно, хозяева корпораций стали осознавать, что истинное мерило коммерции — не *максимальное, адостаточное*. И Софья с Шуркой купили подешевевшую «Тойоту» бизнес-класса, обойдясь без банковского кредита, без займов у родных и друзей и без рассрочки.

Они выехали на объездную дорогу, снежок таял на лобовом стекле, усыпляюще работали дворники. Доехали без приключений, лишь на Червишевском тракте Шурка замедлил ход, и Софья увидела в окно аварию. Да и не аварию: милиция будто вытаскивала кого-то из «Мицубиши Паджеро V». Из «Паджеро», в который никто не влипился. Два милиционера в синих бушлатах «ДПС», на боках автоматы, наполовину скрылись в салоне «Паджеро». Шурка пристроился в хвост старой «Волге», ехал медленно, и Софья разглядела всё в подробностях: дэпээсники действительно вытаскивали из джипа людей. Трёх. Того, что был за рулём, того, что сидел рядом, и того, что сидел сзади. Все трое были мужчины, и все трое, как решила Софья (ей стало страшно на мгновение, а потом стало жаль погибших), были мертвы. Очень бледные, белые лица с отчётливо выделившимися малиновыми прожилками, закрытые глаза. Второй машины или столба, или препятствия, в которое бы врезался «Паджеро», не было. Джип не был помят. И стёкла целы. «Не понимаю. Скорей бы Шурка доехал до офиса». Она оглянулась: милиция уложила тела на снег и, видимо, вызвала

«скорую помощь». Или кого-то из морга. Почему милиционеры не оставили тела в «Паджеро», Софья не поняла.

— Что это за авария, Шурка? — спросила она.

— Я не знаю, Софья.

И вдруг она припомнила: лицо у того военного, на Рижской, было таким же неестественно белым, как у мертвецов из джипа. Или ей показалось?... Наверное, эти погибшие люди не дают ей покоя, и из-за них все вокруг начнут казаться ей белыми и мёртвыми. Господи, это всё из-за... Она теперь всего на свете боится. Вдвое больше, чем раньше. У неё будет ребёнок, или двойня, и ей страшно. Это-то как раз естественно. Надо будет поговорить с Ниной Алексеевной. Спросить, как Бог любит людей. Это очень важный вопрос. То, что он любит их, Нина Алексеевна говорила. Но вот как любит? В чём выражается его любовь? Почему раньше в голову Софье не приходил этот вопрос? Потому, что Софья не была беременна и потому что с сегодняшнего дня она отвечает не за одну себя, но и за того, кто начал расти внутри неё.

А может, они и не погибли, сказала себе Софья. Шок у них. Потеряли сознание. Ведь люди, теряющие сознание, и резко бледнеют, и закрывают глаза. Допустим, «Паджеро» занесло, он перевернулся, а потом встал на колёса. Крышу-то она не видела. И люди не пострадали, но им стало так страшно, что они потеряли сознание. И вот сейчас милиционеры или врачи дадут им понюхать нашатыря или нашлёпают по щекам. Точно. А потом отругают. И штраф выпишут. Или права на полгода отнимут. Скажут: как можно гонять с такой скоростью. Это верно. Это нельзя. Ведь подвергаешь опасности свою жизнь и жизнь своей семьи. Или друзей. Надо ездить, как Шурка. Ответственно. Вот. Ответственно. Ей понравилось это слово. Чувству юмора на проезжей части не место. Шурка — водитель первого класса. Все должны быть водителями первого класса.

— А тебе не показалось, что у того военного лицо было очень бледное? — спросила она, когда они приехали к офису и вышли из машины.

— Вообще-то должно быть красное, раз его на землю валили, — сказал Шурка. — Я ж там особенно не разглядывал, да и не видно за милицией было. Зато ты у меня что-то побледнела.

«Ладно, — сказала себе Софья, — хватит о белолицых и о милиции. Займёмся днём рождения шефа. И повеселее, дорогая: ночью у тебя был такой праздник!»

Она улыбнулась, и Шурка улыбнулся ей.

Они поднялись по ступеням крыльца: она с утюгом, Шурка с гладильной доской.

## Глава тридцать седьмая

*28 октября, понедельник, без пятнадцати одиннадцать. Софья*

Шестнадцать человек, не считая шефа и секретарши, варившей тут же кофе и заваривавшей чай (у чайника стояли три торта в открытых розовых коробках), сидело в приёмной. Софья и Шурка вошли последними. Выключая сотовый телефон, Софья заметила время: без пятнадцати одиннадцать. Они пришли последними (сняли пальто в своих кабинетах — и сразу сюда), но не опоздали. Шеф не любил опозданий, хотя сам точного распорядка не придерживался. У стены, на полу, на стульях, на подоконниках стояли, лежали подарки. Перед всеми (кроме нас, подумала Софья) на столе лежали открытки. С отпечатанными в типографиях текстами поздравлений. Софья предпочитала поздравлять сама, от души. Обычно она говорила от себя и от Шурки. Читать чужое сочинение, искренне веря в то, что ты желаешь того же, что и какой-нибудь дежурный редактор-сочинитель, выдающий конвейерным способом по сотне «поздравлялок» в рабочий день? Софья не думала, что гендиректор — её идеал управляющего, но врать по открытке не хотела. Лучше уж она соврёт от души. А то и скажет правду. Они с Шуркой умели, когда было нужно, говорить шефу правду.

А шефу в его сегодняшнем настроении, похоже, кроме правды — как на суде, — ничего и не нужно было.

Сначала, когда шеф произнёс первые предложения, Софья решила, что гендиректор пьян (успел уже принять на грудь), но потом передумала. Нет, он не пьян и не покурив травки. Не то выражение лица. Выражение у него счастливое и трезвое. С утра в понедельник никогда оно у него таким не было. «Два выходных с женой, — говорил он, — это кошмар. И когда только я разведусь?» И лицо шефа в понедельник утром было обычно хмурым и каким-то больным.

Но ведь сегодня понедельник. Шеф решил начать новую жизнь? Кто? Наш директор? А что? Многие люди начинают новую жизнь. Шурка рассказывал ей, что Лев Толстой огромные суммы проигрывал в карты. Чуть Ясную Поляну не проиграл. И другие грешки за ним водились. А потом сел за стол и «Исповедь» написал. И переменялся. Вот и Павел Леонидович. Нет, тут что-то не то. Павел Леонидович — не Лев Толстой. Тот был писателем и философом, а наш — торгаш. Торгаш и умирать будет со словом «маржа».

— Вот вы принесли подарки, — говорил генеральный. — Это хорошо. Это говорит о вашей любви ко мне. Но мой день рожденья — ничто. Есть много людей, не имеющих и сотой доли того, что имею я. А это несправедливо.

Он кашлянул и продолжил:

— Сегодня в городе много пробок. И в одной такой пробке, на перекрёстке у моста по Мельникайте, я увидел инвалида. Человека в коляске, просящего денег. Знаете, что хуже всего? Вы думаете, я никогда ему не давал? Ошибаетесь. Я не так примитивен. Я куда более жесток, чем вы думаете. Я хуже, чем кажусь вам. Много хуже. Я всегда давал ему, когда ездил по мосту и видел его. Всегда давал. — Он выдержал короткую паузу. Оратором он всегда был хорошим. — Давал ему по рублю, по два рубля. По пятьдесят копеек. По десять копеек. Или без счёта, горсть мелочи. Мелочи, которая накапливалась в моём кошельке как

мусор. Я мусорил в протянутые руки, я издевался. И мне доставляло удовольствие смотреть, как инвалид материт меня — какими-то гримасами, дрожью на худом лице, а вслух заставляет себя говорить: «Помоги вам Господь. Спаси вас Господь».

Сегодня этот нищий в коляске так устал, что у него не было сил просить. Он устал, замёрз. Промок, наверное, под снегопадом. Склонил голову на грудь. Снег сыпался на его плешивую голову, и шапка вот-вот, казалось, упадёт с коленок. И в шапке — я открыл стекло и полюбопытствовал — было несколько жалких монеток и десятка. А стоять мне было ещё долго. Только что зажёгся красный свет, и до светофора было метров тридцать. Значит, следующий красный тоже будет мой, подумал я. И я надумал бросить попрошайке свои монетки. Я набрал что-то около трёх рублей, накидал — по одной монетке, чтобы не промахнуться, — в его шапку. Он всё дремал. Лицо его было белое как полотно. На светофоре зажёгся зелёный, я собрался тронуться с места, — и колясочник поднял голову. И я поразился тому, какой он бледный и худой. Лицо его было почти белое. Белее снега, как мне показалось. И он впервые ничего не сказал мне, а только глянул на меня — так, будто собирался съесть меня. Будто так ненавидел меня, что решил меня уничтожить. Я подумал, что сию секунду он достанет из кармана пистолет и прикончит меня. Но я уже ехал... А те, что позади меня, не обращали на инвалида внимания. Он царапался в стёкла... Уже подъезжая к офису, думая о своём дне рождения, я понял: сегодня нищий не притворялся. И я понял ещё кое-что: я тоже не стану притворяться. И никто из вас не будет больше притворяться.

Мы все станем служить людям. Мы поймём, как хорошо быть добрыми и отзывчивыми. И мы станем счастливыми. Вы не верите мне? Я вижу: нет. Что ж, я заслужил ваше недоверие. Но я знаю, как недоверие победить. Нужно только раздать всё, что имеешь. Это так просто. Это ведь все знают, и вы знаете. Не можете не знать. Не два рубля или три рубля, а все рубли и все доллары. И все вещи. Всё. Нет исключения. Галстуки. Брюки. Утюги. — Директор коротко посмотрел Софье в глаза. Ласково посмотрел. В Софье шевельнулось какое-то и страшное, и любовное чувство. Будто директор был киношным дьяволом и каким-то дьявольским способом охмурял её. — Квартиры. Гипермаркеты.

Если наш шеф замечательный оратор, то сегодня он превзошёл сам себя, подумала она. И взглянула на Шурку. Тот сидел и смотрел шефу в лицо. Тербил салфетку под блюдечком. Перед Шуркой на столе дымилась чашка зелёного чая, который он не любил и который подала ему новенькая секретарша, верно, по ошибке. На блюдечке лежали два кусочка рафинада. Прежняя секретарша постоянно рассыпала сахар-песок по столешнице. Рассыпание сахара и стало поводом для её увольнения. А эту шеф уволит за зелёный чай Шурке. Нет, теперь директор, сменивший 20 секретарш, всех любит.

— Я уже раздаю, — сказал директор. — Марина, вот мой кошелёк. Возьми всё, что там есть, и выложи на стол. На края стола, на середину. Пусть никто не тянет рук, и пусть все смогут спокойно взять. И ты возьми. И пусть никто не жадничает. Нет смысла: любовь только там, где ты отдаёшь. Где ты берёшь, там вражда и зависть. Если берёте, то раздавайте.

Софья наклонилась к Шурке:

— Шур, что ты думаешь?

— Игра, — шепнул он. — Или новая офисная тактика. Того, кто первый к деньгам потянется, — вон с трудовой книжкой. Под ядовитый смех остальных. Может, первого зама хочет со скандалом за дверь выставить?... А про инвалида он сильно сказал.

— А я поверила ему.

— Так и я поверил. Но вот верю — и не верю.

— Ладно, поглядим, что будет.

— Берите деньги, — сказал шеф. — Я знаю, о чём вы шушукаетесь: вы мне по-прежнему не верите. Ну возьмите хотя бы ради дня рожденья. Я прошу вас. Гоша, ну хоть ты начни.

Рука первого зама — с неё не сводила глаз Софья — легла на пачку банкнот. Вышло так, что возле него секретарша положила самые крупные купюры. Десятитысячные. Впрочем, он сидел ближе всех к шефу.

— Я отдам потом, — сказал тонким голосом первый зам, ни на кого не глядя.

— Берите и раздавайте, — повторил шеф.

Деньги стали брать. Софья подвинула пачку купюр к Шурке. Тот передвинул к Осе Мочалко: «Я раздаю вам, Осип Исаакович». Ося кивнул без улыбки, деньги взял, но передал дальше: «Я раздаю вам...» И кончилось тем, что деньги, шедшие по той стороне стола, где были Софья, Шура и Ося, остановились у первого зама, и он с дрожащей улыбкой убрал их все в свой кошелёк, вместе с десятитысячными.

И вправду, что ли, этот спектакль из-за «первого»? Этаким подарком себе на день рожденья: искоренение из фирмы ненавистного брата ненавистной жены. Путём проповеди о любви. Шурка бы назвал это иезуитством.

— Кому карту «Виза»? — спросил директор. И вынул из кармана пиджака «Визу классик». — Двести десять тысяч долларов. Что молчите, будто воды в рот набрали? Кстати, никто не знает, почему в городе нет воды? Ничего, людей надо уметь любить и без воды. С водой любить всякий сможет. А ты попробуй полюбить тех, кто отключил воду. Так что с картой? Кто ею займётся?

— Я, Павел Леонидович, — тоненько пискнул первый заместитель. Он говорил фальцетом, и Софья знала, что он ненавидел свой голос, считал, что из-за тонкого голоса все смеются над ним и не принимают его как настоящего сердитого начальника — а он считал себя таковым. Но смеялись-то над ним как раз тогда, когда он изображал из себя начальника. — Только я ведь не знаю... — Первый зам посмотрел куда-то возле Софьи. Она смотрела на него, а он смотрел между ней и Шуркой. Будто разглядывал там истину. Софья подумала: я устала. Что за день рожденья? И как шефу подарить подарок? Они и приехали-то последние. Им можно, говорили про них тихонечко, их шеф любит. А нас недолюбливает — потому что если одних любят, то других не любят. И поэтому нам надо первыми, с подарочками, лебезить и заискивать. Ронять достоинство и унижаться.

Не любят тех, кого любит начальство. Тем завидуют. Ей и Шурке завидуют. Люди на дух не переносят чужого счастья. Счастье, деньги, талант, вещи, умение ладить с начальством, умение работать — всему люди завидуют. Завидуют — вместо того, чтобы добиться счастья, денег, успеха. А они с Шуркой никогда не заискивали и перед начальством не лебезили. Да, она просила за Шурку — но Шурка принёс фирме прибыль. А бизнес есть бизнес, и тут любовь — не самое важное понятие. Пусть подчинённый тебе не по нраву, ты миришься с его присутствием потому, что он умеет работать лучше других, побывавших на его месте. И всё. Бизнес. И потом, Шурку любили и его подчинённые, а не один директор. И она, конечно.

Зависть. И этому завидующему, глядящему *мимо*, гендиректор дарит свою «Визу». Вот уж где любовь на сто один процент. Внезапно вспыхнувшая любовь к брату своей жены, которую, кстати, шеф никогда не любил. Всегда говорил цинично в офисе: «На кой пёс я на

этой сучке женился? Из-за длинных ног? Да у моей самой страшной секретарши ноги были в два раза длиннее».

— Запишите коды, — сказал заму директор. И продиктовал из записной книжки цифры. — Только не забудьте раздать всё, когда обналичите.

— Что вы, Павел Леонидович, я тут же и раздам.

— Вот эту прямоу и ценю в тебе, Гоша. Отличный вариант: раздать деньги на месте. У банка. Так и сделай. Людей там много. Многие измучены кредитами, не имеют средств на проценты. А тут и ты.

— Да, Павел Леонидович. Тут и я.

— Продолжим, — сказал генеральный.

— А вопрос с ООО «Продуктфруктстройкрой», Павел Леонидович? — спросила Софья. — Они ведь так и не поставили нам ни фрукты, ни овощи. Деньги мы им перевели в размере сорока процентов...

— Это не имеет значения, Софья. Надо любить людей и прощать людям. Это главное. А потом, я не исключаю возможность того, что «Продуктфруктстройкрой» уже раздал свои фрукты и овощи. Разве я один додумался до любви к людям? Этого не может быть. О любви говорили тысячи лет назад. «Продуктфруктстройкрой» тоже любит людей, а мы любим «Продуктфруктстройкрой».

— Как же договор о поставке? Ответственность сторон? — Да, она любит слово «ответственность». И Шурка её ответственен. А вот шеф и ребята из «Продуктфруктстройкроя», похоже, чувство ответственности утратили. — Штрафные санкции?

— Какие могут быть штрафные санкции и юридическая ответственность для тех, кто любит людей? Одно должно быть: признательность. Неужели вы проклинали бы тех, кто отдал бы вам яблоки и бананы? Не понимаю, как мы могли до сих пор так поступать с людьми: подготавливать мерзкие договоры, придумывать юридические западни, изобретать совершенно невыносимые условия деятельности: когда вместо добра поставщик вынужден был творить зло!

— Кажется, вы одобряли и подписывали эти договоры, Павел Леонидович. — Софье почему-то не было страшно спорить с шефом.

— Был мерзавцем, — коротко ответил директор. — Софья, почему вы с Шуркой... простите, с Александром, так далеко от меня сели?

— Места были заняты, Павел Леонидович... Нам здесь вполне комфортно. Мы не жалуемся.

— Вы отделились от меня, потому что ненавидите меня? Потому что я был мерзавцем? Это справедливо. И всё же надо любить людей. И таких плохих, как я. Тем более что я встал на путь исправления.

Софья промолчала. Шурка тоже молчал. Первый зам — Софья и Шурка никогда не называли его по имени или имени-отчеству, словно отреклись от него, — сидел и глупо улыбался.

— Идём дальше, — сказал шеф. — То есть раздаём. Я не оговорился. Рубашки. Утюги. Квартиры. И гипермаркеты. Квартиру я отдам Марине. Я люблю Марину. А загородный коттедж — жене. Я люблю жену. А в «Камелиях» сегодня же объявим день бесплатной раздачи продуктов. Надежда Валентиновна, вам, как главному маркетологу, я поручаю организацию раздачи. А вас, Софья и Шурка... то есть Александр, прошу обзвонить или

собрать всех поставщиков. Нужно заполнить склады — так, чтобы раздача могла продолжаться и завтра, и послезавтра. И на той неделе. И всегда. Сегодня начнётся то, что давным-давно должно было начаться. Не война всех против всех, а любовь всех ко всем. Люди давно об этом знали, но всё боялись начать.

— Почему же вы сегодня не боитесь? — спросила Софья. В напряжённой тишине вопрос её прозвучал слишком уж громко, ну и пусть. Пусть злорадствует первый зам. Она почувствовала на своей руке руку Шурки.

— Как можно бояться любить людей?

Выходит, люди боялись начать, потому что больше ненавидели, чем любили, подумала Софья и сжала руку Шурки. И тот, кто пришёл к любви, уже чужд злобы и зависти, — и он не видит злобы и зависти в других людях и потому не знает, чего ему бояться. Это либо вера, либо совершенное сумасшествие.

— Помнишь, — шепнула Софья Шурке, — шеф в пятницу сказал, ну, когда говорил, чтобы все пришли на работу не в девять, а в одиннадцать: «Хочу чувствовать себя именинником, а не эксплуататором». Может, он всё это ещё в пятницу затеял?

— Кто же его знает...

— Но чем мы будем рассчитываться с поставщиками, Павел Леонидович? — спросила она у генерального. — При бесплатной раздаче не следует ожидать коммерческой выгоды.

«Или он думает, что нам начнут бросать монеты в шапку? Как тому дорожному нищему... с белым лицом?»

— Я всё объясню поставщикам, — сказал директор. — Они тоже должны участвовать в том, что мы здесь начали. Всеобщая любовь подразумевает не только нашу любовь к поставщикам, но включает и любовь поставщиков к нам и ко всем людям в городе. В стране. На планете. Любовь — всеобща и деятельна. Все будут раздавать всем, и оттого все будут сыты, одеты и счастливы. И будут любить. И удивляться, как раньше не любили. Разве это так сложно понять? Я удивляюсь, как вы, Софья, и вы, Шурка... простите, Александр, при вашем уме и прозорливости, этого не поняли. Ладно я, старый ловелас и плут, фарцовщик советский. Но вы-то? А, я догадался. Вы всё давно поняли и всё давно хотели сделать, но без меня не могли начать и спланировать. Ах вы, мои молодцы. Ну теперь-то вместе мы горы свернём. И для начала мы уберём в торговых залах ценники. Белые ценники, жёлтые ценники, мелкооптовые и розничные. И уберём весы. Пусть люди берут в залах сколько хотят. И кассовые терминалы уберём. И противокражные системы. Боже мой, сколько гадостей мы делали людям. Наживались, обманывали, продавали несвежее, с химическими добавками, грубили. И как плохо думали о людях. Но у нас есть шанс исправиться. И надо повесить транспарант у входа в торговый зал: «Гипермаркет без цен. Всё — бесплатно». Надежда Валентиновна, займитесь этим. А вы, Софья, не откладываете ваши звонки поставщикам. Шурка, то есть Александр, пусть договаривается о поставках, а вы организуйте встречу на высшем уровне. Пусть поставщики соберутся сегодня же. Объясните им нашу новую политику, в соответствии с которой любовь к людям важнее любви к рублям и долларам. Ничего сложного; они все обрадуются. Никакой маржи, никаких бонусов, никаких дополнительно-вымогательских оптовых скидок. Щедрость вместо жадности; любовь вместо вражды. Вот главная тема совещания. Попозже подойду и я. Мне нужно сказать о любви моей Марине. У неё такие добрые сияющие глаза. Она любит меня. Я хочу что-то сказать ей, и она хочет что-то сказать мне. А потом я вернусь, и мы обратим поставщиков в нашу веру. Во всепланетную единственную веру. Интернациональную. Господи, и почему люди

понимают всё простое в самую последнюю очередь? Или вообще упрямо отказываются понимать?

— А ведь это христианство, — сказал Шурка, когда шеф наотрез отказался от подарков, велел их забрать из приёмной и раздать тем, кто в них больше нуждается. — Шеф начал раздавать имение.

Софья вышла из кабинета первой, за ней Шурка, за ним через приёмную потянулись остальные. Последним — Софья обернулась — вышел первый зам и пошёл не в кабинет к себе, а к лестнице. Он не глядел ни на кого, а любовался картой «Виза», которую держал в руке, и едва не упал с верхней ступеньки. С любовью к «Визе» не ошибёшься, подумала Софья. Первая крыса побежала с тонущего корабля. Выражение лица у первого зама было довольно странное. Необычное для него. Какое-то счастливо-безмятежное. Ну, конечно: двести десять тысяч долларов в одно мгновение. Что-то скажут шефу собственники? Обвинят в растрате — как минимум. Его арестуют. Скрутит, как того провинившегося в чём-то военного. Софья представила шефа, говорящего о любви к людям, в наручниках.

«Верю ли я в Бога? — подумала Софья. — Если тут тот Бог, в которого я верю, то я должна бы поддержать директора — и раздать своё имение? Отменяя платежи поставщикам и отменяя собственно торговлю, то есть розницу за наличные, шеф, помимо своего, начал раздавать и моё, и Шуркино имение. И первого зама, и собственников, и всех-всех, от продавцов до техничек. Откуда взяться зарплате, если зарплата состоит из денег, а денег в гипермаркетах «Камелия» больше не будет?»

— Дурной знак, — вслух сказала Софья.

Шурка, похоже, не услышал.

Шурка сказал:

— Шеф, отдающий даром все товары и призывающий к тому поставщиков — это тебе не Лев Толстой, приживалка Софьи Андреевны.

От своего имени и отчества, совпадавшими с именем-отчеством жены Толстого, Софья вздрогнула. Обняла себя руками. В кабинете шефа было холодно. Тоже нет отопления.

— Дурной знак, — повторила она. — Я забыла на ночь помолиться. Я не говорила тебе. Я молюсь каждую ночь. Перед тем, как заснуть. Прошу Бога о продолжении нашего с тобою счастья. Больше ничего. Только это. Но — каждую ночь. А вот вчера забыла. Не до того было. И Бог обиделся на меня. Ревнитель и мститель. Так Нина Алексеевна мне объяснила.

— Моя бабушка... — начал Шурка, но она показала ему рукой: молчи.

— Бог, оказывается, страшный. Он проклял меня. Нет воды, нет тепла, генеральный сошёл с ума, нет зарплаты, а нам растить ребёнка. Или близнецов. Это или проклятье, или испытание. Проклятье. Не помню, до какого колена. Седьмого или семьдесят седьмого.

— Софья, моя бабушка верует и в Бога, и гадалкам, и в карты Таро. Я помню, как в перестройку она усаживала меня у телевизора и велела слушать Кашпиrowsкого. А потом, по другому каналу, Чумака. В снежного человека она тоже верит. Я не знаю того, во что бы она не верила. Это хорошо, что ты любишь мою бабушку. Но любовь вовсе не одно и то же, что вера.

— Какой ты серьёзный, Шурка. И милый. И всё равно это испытание.

— Конечно. Нет воды — уже испытание. И шеф...

— И милиционеры, скручивающие у военкомата военного... Всё это странно.

— Особенно шеф странен. Никогда ничего не любивший, кроме валовой и чистой прибыли... Переменился, как Савл. Из Савла в Павла. И в историю. В первоверховных

апостолы. Я не верю в перерождение Савла в Павла. Павел — это же классический пример успешного дельца, делающего деньги из воздуха.

— Ты хочешь сказать, что шеф...

— ...что-то темнит и в чём-то хитрит. Возможно, провернул какую-то аферу с поставками или укрыл огромную сумму от налогов — и сегодня утром это всё вскрылось. И он перед банкротством решил стать народным любимцем. Чтобы народ выгацил его из суда, разгромив здание суда. Или устроил ему побег из тюрьмы.

— Что-то это сомнительно. Сплошная уголовная романтика.

— Ну, не знаю, что сказать, Софья. Может, генеральный затеял под шумок эмигрировать в Латинскую Америку. Проповедовать там истинное христианство.

— Тебе, Шурка, надо повести приключенческие сочинять.

— Чувства юмора не хватает, Софья.

— Юмора добавлю я.

— Значит, соавторы?

— Соавторы.

— Тогда будь повеселей. А то мрачным юмором отпугнёшь читательниц. Говорят, читательниц нынче больше, чем читателей.

28 октября, понедельник, 10:48. Регина

*Премии!...*

Она спустилась на первый этаж, в веб-мастерскую.

— Привет, Дима.

— Привет, Регина. Видок у тебя не очень.

— Хорошо хоть не врешь.

— Я думал, ты другое скажешь.

— Другое бы сказала другая.

Она расстегнула куртку, разомкнула карабинчик, протянула Диме мобильник.

— Скачай фотографии. Шнура с собой у меня нет, через инфракрасный. Здесь последний Колин репортаж. Сан Саныч отобрал у меня XDCAM.

— Репортаж? XDCAM? Коля?

— Не спрашивай, а смотри.

— А где Коля?

— Дима, послушай меня, пожалуйста... Коли больше нет. Пожалуйста, смотри фотографии.

— Я смотрю... Регина? Где ты взяла это? Что за голая бабка? Она... ест его? Мы с Колей дружили с пятого класса. Нет, ты подожди... Ты приходишь, даёшь мобильник — и говоришь, что Колю съела голая бабка?

— Я, Дима, ничего не говорила. Если б я не вызвала Колю на Мельникайте снимать гольшей, он был бы жив. И если б я не была такой трусихой, я бы оттолкнула бабку, и... И вообще не нужно было никакого репортажа... и этой «Голой России»!

— Какой ещё «Голой России»?

«Не надо плакать, Регина. Не надо. *Видок у тебя не очень.* А почему не надо? Надо уходить отсюда, пока Сан Саныч тебя тут не застукал».

— И что, много таких бродит по улицам?

— Я не знаю. Я хочу сделать репортаж.

— Ты же сказал, Сан Саныч отобрал...

— Я сделаю сетевой репортаж. Из этих фотографий. Нужна твоя помощь.

— Ты что, на компьютере работать не умеешь?

— Не злись. Умею. К счастью, хоть это я умею по-настоящему. Я сделаю сайт на хостинге народ точка ру. И сброшу тебе ссылку. Без тебя о моём сайте никто не узнает. Ты выведешь ссылку на «Тюмени ТВ». И Сан Саныч тебя повесит.

— Четвертует.

— На кол посадит. Часа на два выведь ссылку. Потом можешь заявить о взломе корпоративной сети, о вирусном проникновении, о хакерской атаке, о чём хочешь. О шпионаже «регионщиков». Фантазируй направо. Можешь сказать, что я просила тебя о ссылке, но ты, человек исключительной порядочности, сотрудник, до корней волос преданный директору, мне наотрез отказал. А раз просила Снежная, скажешь шефу, то и виновника взлома надо искать в направлении бунтарки Снежной. Сидит, мол, дома, и гадит.

У неё же дружок есть, с которым она время от времени спит, — Влад Макеев, мальчишка 16-ти лет, хакер. У него судимость, и срок условный. За удалённое проникновение в золотохранилище Центробанка. Сделай удивлённые глаза и скажи шефу: вы что, об этом не знали, Сан Саныч?

— Ты всерьёз?

— Отдай мне телефон. Теперь всё всерьёз, Дима. Теперь если и выдумываешь, так для того, чтобы серьёзное не казалось фарсом.

— Ты и вправду стала какая-то другая, Регина.

— Эта другая нравится тебе больше или меньше?

— Больше.

— Ну и хорошо. Подумай о том, что сказал бы тебе Коля.

Она поцеловала Диму — ну что за дурацкая мода у мужчин: по три дня не брить щёки, — и выбежала из веб-мастерской.

28 октября, понедельник, 11:01. Регина

На проходной она услышала по радио: «По улицам Пятидесяти лет Октября, Профсоюзной, Мельникайте — автомобильные пробки. ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными. Идёт мокрый снег. При низкой видимости повышается риск столкновений на дорогах. На десять ноль-ноль в Тюмени зафиксировано двадцать четыре автомобильных аварии. Остаться дома рекомендуется пожилым водителям и тем, кто боится не справиться с управлением. Слушайте радио «Девять». Гипермаркеты «Камелия» предлагают фарш «Домашний» со скидкой...»

На Свердлова было тихо. То есть было как обычно в этом районе — словно не желаям расстаться со статусом «спального», несмотря на открытие здесь три года назад их телестудии, два года назад торгово-развлекательного центра «Рубин», а год назад — очередного гипермаркета «Камелия». Было как обычно — будто ничего и не произошло страшного в этот день. Навстречу Регине попадались самые заурядные, самые обыкновенные прохожие. Вот какой-то школьник с радостным лицом промчался мимо неё. Крикнул зачем-то ей: «Ура, у нас уроки отменили!» Да, она бы на его месте тоже радовалась. Школу она не любила. Сидеть в классе — только фигуру портить. Потом никаким фитнесом не выправишь.

Она накинула капюшон. А почему тут должно быть *необычно*? Необычное произошло на Мельникайте (и на Харьковской, если верить таксисту; и таксист не сказал, что там *ели*), а не здесь. Она прошла пешком от Мельникайте до Свердлова — и нигде ничего ужасного не заметила. Так уж мы устроены, думала она: нам кажется, что всё, что произошло с нами, происходит везде. Что все озабочены тем же, что мы. Плачут от того же, что и мы. Когда нам очень-очень до чего-то есть дело, мы забываем, что до нас никому нет дела.

Она дошла до Quality hotel «Тюмень».

Несколько иностранцев, среди них два негра — в белых пальто, в белых перчатках, с чёрно-бронзовыми лицами, очень приятными Регине после мертвенно-бледных рож пожирателей, — стояли возле такси, а отельные мальчики в униформе полушагом, полубегом выносили из гостиницы их чемоданы. «Мы никогда нэ вернэмс в эти прокляти страну», — сказал один негр мальчику, положившему в багажник «Волги» последний чемодан. — «Потому чаевий тьебье нэ обяыатьельен», — сказал второй. — «Сволочи!» — чётко выкрикнул мальчик. Негр плаксиво улыбнулся толстыми губами и неожиданно пнул мальчика в пах. Тот упал и стал корчиться на снегу, закрыв пах руками. Негр стал материться по-русски. А второй негр крикнул Регине:

— Э, красивая рюсски сука, иди, покажу настояшший половий чльен!

Регине захотелось подбежать и пнуть его острым носком сапога куда следует, и выбить ему глаза каблуками, а ещё захотелось пожалеть восемнадцатилетнего мальчишку, всё лежавшего на снегу, — но мальчику не привыкать получать пинки в отеле, так же, как и чаевые, а ей не привыкать выслушивать непристойности от туповатого мужского племени, — но у неё дело много важнее горя побитого мальчишки и дурного настроения негра, собравшегося свалить из России. «Мы никогда нэ вернэмс в эти прокляти страну».

Свалить из России? Не из-за того ли самого важного её дела, не из-за того ли, что увидел что-то такое на улицах, что ему показалось хуже самых диких историй про колдовство вуду и шатающихся островных зомби?

Рядом с неграми в другие три «Волги» грузили свои чемоданы белокожие иностранцы. Говорили по-английски. Она услышала: food, dead, food. Даже отчего-то fast food. Эти, похоже, соображают быстрее Сан Саныча. И быстрее её. Мы тут бегаем с камерами и дисками, а они покидают *проклятую страну*.

Те, что говорили по-английски, американцы или англичане, или кто там они, сторонились гостиничных лакеев, отказывались жестами от помощи. Один из англичан прямо-таки отпрыгнул от назойливого мальчишки — так, будто не хотел допустить, чтобы тот к нему прикоснулся. «Будто заразы боится». Англичане-американцы шарахнулись и от неё, а самый близкий к ней, как бы не зная, что ему делать, закрылся чемоданом, когда она проходила мимо.

Уходя от гостиницы, она услышала другие английские слова: и oil, и gas, и потом имена собственные: Тшернобил, Тшелябинск, Тэтча, и после этих имён — радиэйшен. Не надс быть переводчиком, чтобы уяснить: американцы-англичане говорили об экологической катастрофе, постигшей русских. И о том, что им надо удирать из России, чтобы не разделить с русскими их незавидную участь. Американский бизнес в Раше кончился. Чернобыль всё же в Украине, подумала Регина. И от Сибири довольно далеко. Плохо знают господа иностранцы географию.

А вот до паники в городе, кажется, недалеко. Интересно, что иностранцы паникуют *оперативнее* наших. Или нет, не то. Наши медленнее соображают. У нас всегда дефицит информации. Искусственный дефицит. А американские парнишки наш искусственный дефицит чувят за версту, то есть за милю, и используют его как намёк на информацию. Как сигнал к отступлению. А наши дурачки ждут, что им всё скажут по радио и покажут по телевизору. Ждите, Сан Саныч вам покажет и расскажет: и про то, какие ровные дороги построили чиновники в Тюменской области (своими руками), и про новые проекты молодёжных посёлков («Каждой молодой семье — дом и корову к Новому году!»), и про строительство мусороперерабатывающих заводов, на которых по немецкой технологии из пластика будут делать финскую бумагу, и про стопроцентное трудоустройство выпускников нефтегазового университета и кстати про плановые дезинфекционные работы «Водоканала».

Выйдя на странно малолюдную Орджоникидзе, Регина решила затем идти по Республики. На центральной улице любой беспорядок заметен издали, особенно когда деревья голые. Пока она шла, по Орджоникидзе проехали две или три машины. Должно было проехать двести-триста машин. Она словно перенеслась в прошлое. Так мало машин проезжало по тюменским дорогам, наверное, лет 13–14 тому назад, когда Регина училась в старших классах. Возможно, она ошибается: и после той густой пробки на Мельникайте ей всюду будет казаться мало машин. К тому же она давно не обращает внимание на машины.

Личной машине — а с её доходами она могла бы купить, обойдясь без банковского драконовского кредита и выпрашивания денег у знакомых, «Ладу» 16 модели, — она предпочитала такси и автобусы. И маршрутки. И ходила пешком. (Вот как сегодня. Впрочем, на улице Республики она сядет в автобус). Ещё не хватало прикармливать всяких придорожных паразитов в форме! А гараж, стоянка, парковка, бензоколонки, ежегодный налог на транспортные средства, ежегодно повышаемый, потом «КАСКО», «ОСАГО» аптечка, ремни безопасности, техосмотры и прочее автомобильное дерьмо? Она не желала,

чтобы её руки воняли бензином, а ногти были обломаны о ниппели на колёсах. Она не хотела, чтобы её обманывали неквалифицированные работники автосервисов, в основном иммигрировавшие (по новой программе переселения) таджики и туркмены, плохо понимающие по-русски. Она не такая дура, чтобы искусственно создавать себе проблемы. Всю Тюмень можно пешком пройти за два часа. А если нужно торопиться — *тише едешь, дальше будешь*, — то имеются служебные машины или такси. Монтажёрша Наташка Коновалова, владелица «Лады-16», вечно жалуется ей на свою водительскую жизнь. А до того, как купила «Ладу», жаловалась на то, что плохо ей жить без машины. Иностранцы говорят, что им не понять русских. Мы, русские, сами себя не понимаем. Тютчев и Фет об этом что-то писали.

Лицо Регины было мокро от снега. Она шла так быстро, как могла, и было у неё желание отломить у сапог каблук — или вовсе снять обувь. Как сняли её те голыши.

Но они не снимали обувь. Номерок на ноге у голой старушки — не знак принадлежности к партии «Голая Россия», а бирка из городского морга.

Она остановилась. Из морга. Иностранцы.

*Dead, dead, fast food!*

И ещё что-то о живых они говорили. Говорили с испуганными лицами. Living dead. Вот чего они боялись. Living dead. Живые мертвецы!

Для них, западных людей, воспитанных на фильмах Джорджа Ромера и Зака Снайдера, это обыкновенно. Живые мертвецы появились на улицах города — значит, надо покидать город. Вполне будничное действие, ничего экстраординарного. Чемоданы, такси, аэропорт или жэдэ вокзал. Гуд бай, Тьюмэн, гуд бай, Раша. Ещё одна русская загадка? Тшелябинск? Свалки ядерных отходов? Пусть русские сами отгадывают свои проклятые загадки. «Поживёшь в России недолго — останешься иностранцем, — говорил ей Том Питчер, вашингтонский журналист, побывавший в Тюмени в прошлом году. — Поживёшь в России долго — станешь русским».

Living dead. Номерки. И те, одетые, в машинах. Людоедство. Откуда это? Почему? Почему не в Москве, не в Вашингтоне, а в Тюмени — столице деревень? Нефть, газ, как любят повторять иностранцы? Или и вправду какая-то радиация? Но откуда взяться в Тюмени радиации? Тут вам не Чернобыль, господа. А что, в Чернобыле оживали и разгуливали мертвецы из морга? Или в Хиросиме и Нагасаки наблюдалось явление жадных до человеческой плоти living dead с белыми лицами?

Американцы не желают разбираться в русской жизни, чтобы не заразиться русским духом, но ей, русской, опасность стать русской не грозит. Ей уже терять нечего. Кстати, Том Питчер говорил ещё вот что: «Немец или пакистанец, которые живут в Америке долго, становятся американцами. Русский, который живёт в Америке долго, остаётся русским». — «Быть русским, по-вашему, — хроническая болезнь?» — спросила у него Регина. — «Это как проклятие, — ответил Том. — Это как чёрная метка. Вы всё время стоите на грани смерти. Вы не умеете жить. Думаю, вы и не хотите».

И вот — living dead. Метка, правда, скорее белая, чем чёрная. Но о грани смерти замечено очень точно. Уж куда точнее. Со стороны всегда виднее, учила Регину мама. Вот Том Питчер и другие иностранцы и *видят*. И сейчас увидели. А мы, русские, — диск в сейф. Страусовая политика. Солипсизм. «Вы сами себя губите и уничтожаете, — говорил Питчер. — Не умеете жить. Другие сильные народы подавляют и уничтожают не себя, а вы — себя. Другие умные народы делают себе в прибыль, а вы — себе в убыток. Когда-нибудь

вы поймёте, что едите сами себя, но будет поздно».

*Едите сами себя. Когда-нибудь вы поймёте...*

Если она, Регина, будет молчать — как Сан Саныч, то *никогда не поймёт*. Среди журналистов много женщин именно потому, что женщиной руководит страсть по имени Любопытство, а мужчиной всего лишь страсть к писанию и славе.

Но на университетских журфаках гасят стремление творить, а в телестудиях уничтожают на корню журналистское любопытство. И остаётся одна фантазия — у тех, у кого она есть от матушки-природы. Нет, женское любопытство учёбой не вытравишь...

Через показ репортажа можно было бы провести опрос среди населения: кто и где видел в городе подобное. Можно было бы подключить милицию. Тем более что в милиции есть пострадавшие. Но — диск в сейф, а голову в песок. В России общественности нет, а есть электорат. Телеэлекторат! — смеются весёлые политологи. Жить весело, жить легко, — она и сама любила это повторять.

Она опубликует материал в Интернете — пусть это будут не самые лучшие фотографии с малопиксельной телефонной камеры, она дополнит их текстом, она обратится к людям, которые больше похожи на людей, чем на телеэлекторат, — и она не только даст людям информацию, но и получит возможность узнать что-то. Обратная связь. Быть может, посетители пришлют ей фотографии, комментарии, дадут ссылки. Вместе они выяснят, почему в Тюмени объявились белые мертвецы, рассматривающие живых людей как *fastfood*. Вместе они начнут избавляться от чёрной (белой) метки, от хронической болезни русскости... Вот о чём должен бы мечтать журналист! *Премии!*..

С чем мы столкнулись? Радиация? Или прав Сан Саныч, и по улицам разгуливают психопаты-людоеды? Или есть какая-то связь с «филиппинским гриппом»? И эта странная дезинфекция — «плановая», — о которой упомянул Сан Саныч...

Она поищет информацию в «Google» и «Яндексе». Она не «чайник», она введёт в поле запросов: «Living dead in Tyumen». А также: «вирус в Тюмени», «заражение в Тюмени», «людоедство в Тюмени», «перекрытие тюменских водозаборов»...

Она ускорила шаг. Правая нога в лодыжке побаливала, а у левой ныла пятка, там, где был каблук, и почему-то болела шея и кололо под левой лопаткой. Наверное, это из-за того, что она полдня провела на ногах да ещё на каблуках. Нет, её никто не кусал. Господи, это ещё не хватало воображать!..

У Мориса Тореза она перешла улицу Республики. Сказала себе: «Хватит этой каблучной пытки. Поедешь на автобусе. И быстрее выйдет. Нет у тебя времени. Может быть, его нет уже у всего города. На грани смерти... Кто знает, что случится дальше?... И, может быть, в автобусе узнаешь свежие новости. Люди на улицах и автобусные пассажиры — вот лучший источник городских новостей. Не того, что выдуманно такими, как ты, и оплачено пиарщиками, а того, что происходит на улицах и в квартирах. Надо маме позвонить». Регина достала из-под куртки мобильник. Снегопад редел.

— Мамульчик, ты слышишь меня? Да, я тебя слышу хорошо. — Регина откинула капюшон. Оглянулась. Никто её не преследовал, никто не притаился справа, у подвального пивного бара, и никаких голых или белолицых поблизости видно не было. — У тебя всё в порядке? Да, у меня всё в порядке. Мой голос? Голос такой потому, что иду с жуткого репортажа. Нет, со мной ничего не случилось. Ты же знаешь, мамульчик, со мной никогда ничего не случается. Случается только с хорошими девочками, а я плохая, и потому буду жить до ста лет. — Ей надо было сразу позвонить маме. Голос у мамы всегда такой

уверенный, такой бодрый. Такой молодой. Когда они жили вместе, её бой-френды путали маму с ней. И мама, бывало, притворялась *ею*. И соглашалась на свидание. А потом они вдвоём хохотали над бой-френдом, которому приходилось отсидеть в ресторане в обществе мамы.

Люди на остановке выглядели вполне обыкновенно. Буднично. Господи, мама говорит с ней, а она её не слушает.

— Мам, я прослушала всё, что ты сказала. Репортаж не выходит из головы. Почему была на Орджоникидзе, иду домой отдыхать, а к тебе не зашла? Я не совсем отдыхать иду... у меня задание сделать репортаж. Быть может, самое главное в жизни задание... Кто дал задание? Я сама его себе дала, мама... Я знаю, что я на себя не похожа. Наверное, я делаюсь хорошей, и не судьба мне прожить сто лет, а только девяносто... Мам, я перезвоню тебе позднее, из дома. Ближе к вечеру, хорошо? Подожди, не клади трубку. Давай-ка с тобой договоримся: не выходи сегодня никуда из дому и никому — никому, включая твою Женю Михайловну, — не открывай дверь. Почему? Слишком у меня мало времени и мало информации, чтобы объяснить. В городе произошло несколько ужасных преступлений, и преступники не пойманы. Какие-то психопаты. Маньяки. Такие страшные, что мой Сан Саныч репортаж зарубил. Чтобы публику не пугать. Я видела их, а Коля снял их. Да, они и есть герои моего репортажа. Коля, наш оператор, убит. Мамульчик, не выходи никуда и запишись на оба замка, я тебя умоляю. Вечером я тебе позвоню — и скажу, что нового. Я уверена, их поймают. По радио и по телевидению вряд ли что передадут. Ты же знаешь: у нас передают только тогда, когда *ловят*. Тогда начинается реклама властей. Но ты слушай радио и включи телевизор. Только не наш канал. Диск с моим материалом у Сан Саныча. Я дура. Не надо было ему диск отдавать. Надо было взять и пустить репортаж в Сеть. Ну, в Интернет. А я поехала в телецентр. Дура, и дура. А он — диск в сейф. Иди, говорит, домой отдохни часика три-четыре. Помнишь, я только-только устроилась на «Тюмень ТЭВЭ», и вернулась вечером домой, и возмущалась той журналистской аксиомой, которую в первый же день стал внушать мне Сан Саныч?... «Русский человек думает: если что-то случается, но это не показывают по телевизору и об этом не пишут в газетах, то, значит, это происходит только с ним». А потом мы удивляемся, почему в России нет гражданского общества!.. Да, мама, я теперь другая. А когда ехала с утра на работу, не была ещё другой. Неужели должен был умереть человек, чтобы я переменилась? У меня такое чувство, что до сегодняшнего утра я не жила, а просто была. Помнишь Марию Ачкасову? Психологиню, у которой я брала интервью? Мы потом одно время болтали по телефону. Она: люди не меняются, меняется отношение, а я: сегодня отношение у меня хорошее к тому, кто платит, а завтра плохое, потому что он не платит или платит мало. В общем, она мне из теории, а я ей из практики. А сегодня Коли не стало. И меня *не стало* — той, прежней. Я будто проснулась. И я поняла, что это эти разговоры о «не меняющемся человеке» — словесный мусор, психологический вздор, и что человек, если уж с ним что-то сильное произошло, может так перемениться, что окружающие, будь они учёными с психологическими степенями, его и не узнают. Я, пожалуй, и внешне переменилась... Я уверена, у меня не только слова и интонации другие, но уже и взгляд не тот. И походка не та... Сапоги эти чёртовы... Мам? Преступники-психопаты? Пока не знаю, что за помешательство. Видела троих, идущих по улице голышом. Совсем без одежды. Да какие тут шуточки. Да, я теперь совершенно серьёзна. Нет, не без чувства юмора, но с чувством... правды. Раньше я много чего говорила. Наверное, я состарилась. За один день. За один час. Или поумнела. Они голые. Без пальто, без курток.

Без сапог. Без трусов и лифчиков. И купальных костюмов. Нет, это не нудисты. Я ни слова от них не добила, но ведь нудисты на европейских пляжах загорают, а не по Сибири разгуливают. К тому же в конце октября. Зимой, можно сказать. Люди с больной психикой, кажется, без вреда для здоровья могут переносить сильную жару или сильный мороз. Вот и эти... И лица, и тела у них белые. Будто замерзают на ходу. Только жилки под кожей малиновые. Страшные люди. Может, вкололи себе какой-то синтетический наркотик. На моих глазах эти белолицые закусали до смерти двух милиционеров. Зубами, чем же ещё. Загрызли, как волки. Не очень похоже на людоедство, а похоже на безумие. И убить их трудно. Один милиционер стрелял из пистолета, но, кажется, бесполезно. Не выдумываю. Всё, мама, я сажусь в автобус, мне срочно надо ехать и заниматься репортажем. Нет диска? Как хорошо ты всё запомнила, мамульчик. Да, я вся в тебя. Надеюсь, ты помнишь и то, что тебе нельзя выходить на улицу. У меня есть ещё снимки на мобильном телефоне. О которых Сан Саныч не знает и, надеюсь, не догадывается. Впрочем, он плывёт по течению, и догадываться — не его призвание. Целую, мамульчик. Вечером обязательно позвоню.

«Двадцать пятый автобус. Поеду на нём до Тульской».

Двери за ней с шипеньем закрылись.

*28 октября, понедельник, начало двенадцатого. Мэр*

Темно, но это была не та темнота, что секунду назад его окружала. Где он? Почему всё поменялось? Только что было это светлое, как бы светящееся платье, полупрозрачное, а под ним... И кругом темнота, такая хорошая, чудесная такая темнота, не чёрная, нет, синяя темнота. Густая. Какая-то дымная, шевелящаяся. В которой он видел свои желтоватые волосатые руки. И это платье. Полупрозрачное. К которому и тянул руки. Вот-вот бы дотянулся, пощупал!

Мэр оторвал голову от подушки.

— Это сон, — сказал Пафнутий Аркадьевич. — Сон, мать в бога душу, скамейкой по коромыслу. Голова! — простонал он. — Нельзя отрывать голову от подушки. Нельзя шевелиться. Нельзя говорить.

Он опустил голову обратно на подушку и перестал шевелиться. Говорить тоже перестал. Стал думать. Думать тоже было трудно. Это несправедливо, подумал он. Почему за удовольствия всегда нужно расплачиваться? Он что, не имеет права на отдых? Почему те, кто придумал алкоголь, не усовершенствовали его? Почему у них всё псевдоновации? Нужно не очищение молоком или табаком, или чем там они водку чистят, а кардинально новое решение. И пусть на это потребуются бюджетные ассигнования. Ассигнования будут. Разве депутаты не проголосуют за изменения в расходной части? Составят ещё одно секретное приложение к закону о бюджете, и всё. Что тут мудрить? А вот помудрить с совершенствованием водки, коньяка и пива надо бы. Не будь похмелья — сколько всего полезного можно было бы сделать! Надо так делать кир, чтобы не было мучительно больно отрывать головы от подушки. А иначе что за двадцать первый век? Что за высокие технологии? Почему они не там, где нужно? Мы вот ещё разберёмся, высокие они или низкие! Где прогресс и научные открытия? Мало денег на науку? А потому что не та у вас, господа учёные, наука. Вот вы бросите ваши коллайдеры конструировать и начнёте в полезном направлении работать — думцы вам все акцизы в распоряжение передадут. А мы потом американцам и европейцам лицензии продавать станем, озолотимся сказочно. И почему никто раньше меня до этого не додумался? Наверное, мало в жизни у них головы болели!

— Вот бизнес-то будет! — прошептал мэр. — И если государство, то есть я хотел сказать, подходящие люди, за него возьмутся, то тут ведь мировыми масштабами пахнет. Что там нефть! Газ! А уголь, руда? А патентованная очистка воды? Пустяки. Из семи миллиардов на планете пять миллиардов алкоголиков. То есть, я хотел сказать, пьющих. Выпивающих. Умеренно и неумеренно. Тут если с умом да смёткой подойти, то всю планету в карман положить можно.

Кому бы это идею так подкинуть, чтобы, значит, её не скоммуниздили? Вот вопрос всех времён и народов! Лабораторию какую-то сделать — да на свой счёт финансировать? Нет, кто же теперь делает на свой счёт, когда бюджет под рукой... Но тут без сообщников... я хотел сказать, собутыльников... то есть подельников... фу ты... компаньонов, — не обойдёшься. Брать одному из бюджета — себе дороже. Бюджет — дело коллективное.

Народное, так сказать. И о каком бюджете речь? Если о федеральном — там правительство и думцы всё отнимут, и трёх процентов не оставят. Об областном? Серёга себе половину потребует. Рэкетир. Бандит. А зачем с ним связываться? Зачем так много денег-то тебе, а, Пафнутий Аркадьич? Привык к размаху русскому? Не хватит местного бюджета, что ли? Двое-трое учёных, настоящих таких учёных: из тех, что мыкаются и не умеют брать взятки, лаборатория в подвальчике, мебель попроще, б/у, у меня вон в сарае гниёт, пусть забирают, и продажу в бюджет оформим, — и что там ещё? Десяток реактивов, пробирки, микроскоп и ящик водки? Холодильник ещё. Без холодильника нельзя. Мы не любим потных женщин и горячую водку. С учёными такой контракт сделаем, что всё, что будет создано ими в служебное время, будет принадлежать фирме. А фирму оформим на мою жену. И оформлять не нужно: у неё же есть фирма. Вот и славненько. А зачем мне местный бюджет при таких маленьких расходах? Что, зарплату большую подвальным академикам платить? Я их на полуголодный паёк посажу. Они в своих дохлых институтах на голодном сидят, а я им предложу полуголодный. Они ещё меня отцом родным звать будут. И в ножки будут кланяться. Это обязательно: по закону власть требует уважения.

Да вот опять вопрос! Жена моя хоть и дура, но вдруг догадается? Что я дело крупное затеял — а не какой-то там детский бордель или игровые автоматы в подвале! Что тут *земным шаром* пахнет! А фирма-то — её. Мне ж нельзя по закону фирму-то иметь. И когда эти чёртовы ограничения отменят? Говорят, отменят вместе с порогом голосования на президентских выборах. Ну, значит, скоро. Но пока это «скоро» сбывается, какой-нибудь ушлый выпивоха без меня сообразит, как можно планету выдоить. Проснётся в одно прекрасное утро... и сообразит.

И запатентует идею. В компаньонах с женой президента. Губернатор наш, например. Серёга ведь говорил мне вчера что-то на эту тему. Не от него ли я и взял?... Что-то о том, чтобы... чтобы пить много, то лучше пить... Нет, это он о водке. Что-то там о пшеничной, ржаной и той, в которую мёд кладут. А она что, не пшеничная? Из древесного спирта, что ли? Серёга как в школе в водке не смыслил, так и теперь не смыслит. Или придуривается. Умно так придуривается, лет сорок уже придуривается. Профессиональный придурок. Шёл бы в актёры или эти, как их... журналюги.

Как же мне быть? Пойти к Серёге, сказать: давай, Сергей Сергеич, по-компанейски это дело решим. А он в ответ: да ты опоздал, как всегда, Аркадьич. Ты и в школе-то всегда на уроки опаздывал.

Серёга ведь, прохиндей, в глазах как в книге читает. Можно, конечно, тёмные очки надеть. Но ведь октябрь на дворе, раскусит, сволочь.

Если я вчера ему наболтал что-то о водке, то он уж, наверное, подвал для лаборатории ищет. И химиков безработных. Неужели говорил? Не помню. Да я ничегошеньки не помню.

А какой вчера день был? Воскресенье. День рыбалки! Плавно переходящий в ночь. Гостиница «Окунь», девчонки. А потом этот красивый сон: про синюю темноту и полупрозрачное платье. А что было между двадцатой рюмкой и сном, не помню. Да, это несправедливо. Вместо удовольствия — думаешь о том, что не помнишь удовольствия. Надо положить этому конец. Конец похмелью.

Вот что, Пафнутий Аркадьич. Тебе надо заняться этим вопросом сегодня. Серёга вряд ли ещё оклемался. С похмелья он сильно болеет. Не то что я. Ты это... не шевелись. Главное — не шевелиться. Вот не буду шевелиться часок, потом пошевелюсь, пивка холодного литра три плотно — и к завтрашнему дню у меня будет и подвал, и водка, и учёные, вкалывающие

по контракту по 25 часов в сутки без перерывов на обед и выходные.

А Серёга мой Сергеич в понедельник не работник. Это кто не знает, тот верит, что у губернатора нет выходных. А пусть подумают, лопухи, почему он по телевизору всё в вечернее время выступает. И только со вторника по четверг. Пусть подумают. Только мало кто у нас в стране думает. Думать — скучно, думают в народе. Потому-то мы над народом и поставлены: делать скучную работу. Да вот беда: коли нам скучно, нас тянет развлекаться... В общем, мы люди простые, из народа. Из самой народной гущи.

И потому Сергеич сегодня пролетает. Пока у Серёги суть да дело, рассол да красная икра, у меня уж подвал, академики — и патент на суперводку. Со всеми правильными круглыми печатями и прямоугольными штампами, подписями, регистрационными номерами и банкетками на бюджетный счёт. Беспохмельными банкетками!

И стану я этим... как назвать-то? Нефтяные там короли, алмазные, персиковые, нет, ананасовые... А я буду похмельный король. Беспохмельный.

Куплю себе Новую Зеландию и буду оттуда править миром.

Жена? Ну что — жена... Будет ворчать и мани качать — запрю её в том подвале навечно. Вместе с этим её... Пусиком-Мусиком. И с крысами учёными, с очкастыми академиками. Вот к вечеру оклемаюсь — и надо будет в срочном порядке подыскать подвальчик. Сам подыщу. Никому не доверю. Вот бы такой ещё подвальчик откопать, где бы уже гнездились учёные. Сэкономил бы и деньги, и время.

*28 октября, понедельник, четверть двенадцатого. Софья*

У её кабинета Софью и Шурку нагнал возбуждённый Ося Мочалко. Он забежал вперёд. Он словно не пускал их дальше.

— Ну? — сказал ему Шурка.

Софья подумала, что Ося не похож на себя. Интересно, какое выражение лица у неё? У неё, несущей под мышкой утюг в коробке? Она посмотрела на Шурку. У него было волевое некрасивое лицо. Худое, с тоненькими длинными бледными губками, с серыми глазами, глядящими очень строго на Осю.

— Думаю, будет много претензий, — начал Ося, поглядывая на Софью и на Шурку. — Нет, не от покупателей, как вы, мои умницы, уже догадались. От поставщиков. Я как начальник претензионного отдела не могу принять те нормы... э-э... коммерческого поведения, которые задал нам с утра Павел Леонидович. Юридически выражаясь, мы все тут готовимся совершить противоправные действия. Мы выступаем против нами же составленных договоров о поставках. Мы собираемся нарушить все основные пункты раздела «Ответственность сторон». Тут речь идёт уже не о претензиях, а о крупных исках. О таких крупных, что... Проще говоря, мы, то есть, я хотел сказать, — он оглянулся и стал говорить тише, — генеральный директор, — собирается поставить фирму в тяжёлое положение. В неустойчивое положение. А ещё проще говоря, сделать из неё банкрота. Зачем? Зачем? Зачем? Павел Леонидович прямо нарушает Устав общества с ограниченной ответственностью, в котором чёрным по белому прописана главная цель существования фирмы: получение прибыли. Н-да. А вовсе не раздача товаров населению. Бесплатная. Коммунистическая, — сказал он тише. — Естественно, коммунистическая. Тут ведь кое-кто посягает на собственность, н-да, и не столько на свою, сколько на чужую... Революционно-бескровно, так сказать, экспроприрует и перераспределяет... Вот вопрос, с которым я к вам пришёл — и который явился у меня с первой же фразы уважаемого Павла Леонидовича... э-э... на коммунистическую тему. К тому же душевное здоровье как Павла Леонидовича, так и его первого зама, внушает мне серьёзное опасение. Вы как наиболее близкие к генеральному директору сотрудники... разумеется, после Георгия Георгиевича... Совсем просто скажу: грядёт катастрофа. Можем ли мы её предупредить? Или избежать в ней участия? Ведь мы же себя под монастырь подводим, дорогие мои и умные. Директор и его зам — сумасшедшие, а нам — отвечать. Это я вам как юрист говорю. Я не сумасшедший, и мне не нужны деньги директора. Клянусь. Вы, как я заметил, тоже умственно здоровы. Поэтому прошу держаться друг друга и помогать друг другу.

Он протянул руку Шурке, и Шурка пожал её.

— Мы можем обсудить тактику действий, — сказал Шурка. — Временных.

— Разумеется, временных. Пока всё не нормализуется, — подхватил Ося. — Есть же, в конце концов, собственники. Разумеется, коммерческий директор, — Софья поймала его взгляд где-то на своей шее, — позвонит кому следует. Мы не имеем права оставлять собственников в неведении. Павел Леонидович — топ-менеджер, однако фигура наёмная, и его трудовой контракт тоже содержит кое-какие юридически значимые пункты об

ответственности.

— А что первый зам? — спросила Софья. — Вы говорили с ним, Осип Исаакович? — Почему Ося обратился к ним, минуя первого? Только ли потому, что тот взял деньги и кредитную карту? Или и потому, что зам был [братом жены] шефа, и тут, на родственной почве, мог прорасти какой-то странный, нелепый на первый взгляд сговор, имеющий внешней целью потопить зама, а внутренней, настоящей — отвести некие подозрения от махинирующего шефа, каким-то образом сделать виноватыми кого угодно, только не его? Генеральный обвёл бы всех вокруг пальца, сымитировал бы шизофреника и затем купил бы у врачей диагноз, его объявили бы невменяемым, уложили бы в клинику на 3–4 месяца, избавив тем самым себя от любой ответственности за распад фирмы? И в одну палату с ним уложили бы и первого зама — пойманного на раздаче денег на паперти у банка... Может быть, шефа купили конкуренты? Кто? «Юнилэнд»? «Элемент-Трейд»? «Камелия» — мелочь для таких торговых гигантов. Нет разумного объяснения, вот и приходят в голову объяснения *неразумные*. Словно позаимствованные из дурных, на скорую руку состряпанных детективов.

— А вы и не знаете, Софья Андреевна? Георгия Георгиевича сию минуту унесли в медпункт. Охранники. Забрали у входа. Он сидел на крыльце. На мраморных ступенях. И улыбался. Говорил, что чувствует себя прекрасно, но немного устал. «Визу» он отдал охраннику. Тот записал коды, — сказал Ося. — Георгий Георгиевич сказал: «До банка мне не дойти. Я устал сегодня». А ты, сказал охраннику, дойди. Ты тоже любишь всех людей. Сними деньги и сделай то, что велел Павел Леонидович. Охранник спрашивает у него: «А что он велел?» — «Раздать всё». — «А сколько это — всё?» — «Двести десять тысяч долларов». — «А кому раздать, он не говорил?» — «Людям». — И знаете, что сказал охранник? Сказал то, что должен бы сказать любой разумный человек на его месте. На месте того, кому дарят мешок с деньгами. На месте хорошего семьянина, разумеется. И находчивого человека. Он сказал: «Моя семья и есть люди. И я их люблю».

— А что ответил зам? — спросила Софья.

— Что-то неразборчивое. Невнятно как-то говорил.

— Уволится, наверное, охранник, — сказал Шурка.

— И зама взяли и понесли? — спросила Софья.

— Охрана унесла его в медпункт. Побледнел сильно. И не мог говорить.

— Побледнел?

— Уснул. Я думаю, Софья Андреевна, у него что-то в голове повредилось. Не надо было Павлу Леонидовичу отдавать ему карту. Болезнь такая нервная есть: денежный шок. Болезнь двадцать первого века, знаете ли.

— Шеф и не отдавал ему, — сказал Шурка. — Шеф сказал: кому? И тот ответил: мне.

— А ведь верно, верно... Софья Андреевна, так вы позвоните собственникам? — И Ося жалко как-то заглянув ей в глаза, поспешил куда-то. Софья подумала, что он сам сейчас начнёт звонить собственникам. Выказывать свою лояльность. В такой ситуации, когда вокруг сумасшедшие, каждый сам за себя. Каждый несумасшедший. Каждый, кто боится, что его размеренная торговая жизнь, в какой-то день, в утро, развалится, распадётся, в лучшем случае до безработицы, в худшем — до суда. И те, кто думает о детях, должны бы бояться вдвое больше холостого Оси Мочалко.

— Что будем делать? — Она посмотрела в Шуркины глаза. Шурка показался ей растерянным. Словно это был *тот* Шурка, из прошлого, — выставяющий на полки «молочку».

— Неужели это обычный рабочий день? — сказал он.

— Не обычный. День рождения шефа, — напомнила ему Софья. — И что я скажу поставщикам? Везите на склады товары бесплатно? Или про «бесплатно» надо утаить?

— Ничего этого нельзя делать. Тебя посадят. Ты хочешь, чтобы я штурмовал здание суда? Или тюрьму? Или продал нашу квартиру и купил прокурора и судью? Это тебе не приключенческая повесть. Не звони никому. И не приглашай. Я думаю, всё вот-вот выяснится.

И «всё» стало выясняться!

Софья думала потом — когда бежала с Шуркой к машине, — что, не задержи их Ося и закрой шеф дверь в приёмную, она и Шурка засели бы по своим кабинетам и стали звонить собственникам: составили бы список, поделили бы список (собственников было четырнадцать) пополам, а вначале она бы предупредила Осю, чтобы не проявлял излишней самостоятельности, раз уж она, если списать со счетов *раздающего* генерального и уснувшего в медпункте первого зама, теперь за главного, так вот, закрой шеф дверь в приёмную, они бы за глухими сосновыми дверями, за телефонными разговорами не услышали бы крика секретарши. Той самой новенькой Марины, в любви к которой шеф признался публично. И которой пообещал свою квартиру.

И *шеф*, а следом и *Марина*, а там и *кто угодно*, например, первый зам, «заснувший» в медпункте, вошли бы к ней в кабинет и в кабинет к Шурке — и ни она, ни Шурка поодиночке не смогли бы в кабинетной тесноте одолеть этих «сумасшедших», и не ехали бы сейчас на «Бленде» с такой скоростью, с какой Шурка никогда даже по объездной не ездил, не удирали бы от того, что не только нельзя объяснить, но во что нельзя и поверить.

Стоя в коридоре, они услышали взволнованный голос секретарши: «Павел Леонидович, но нельзя же с самого утра! Давайте вечером, как обычно! Какой вы странно нетерпеливый! Дайте я хотя бы дверь закрою!»

Дверь в приёмную была приоткрыта. С места, где стояла Софья, не было видно, что там происходит.

— А от утюга и гладильной доски — отказался, — сказал Шурка.

— Что-то у них, кажется, не того. — Софья взяла коробку с утюгом в другую руку.

— У всех его секретуток поначалу не того. Стесняется девочка. Хочешь, чтобы я вмешался? Почитал генеральному мораль?

— Не знаю, что и сказать. Не чересчур — при открытых дверях? Всеобщая любовь? Или ему всё позволено — из-за того, что он отдаёт ей квартиру?

Однако дверь Марина не закрыла. И снова раздался её взволнованный голос: «Вам плохо, Павел Леонидович? Вы совсем белый! Вам плохо? Почему вы не отвечаете мне? Тяжёлый какой... как каменный... холодный... Вот навалился же! Эй!.. Вы же порвали мне блузку! Я только вчера её купила! Это же настоящий Moschino!.. Ты отгрыз мне сосок, урод офисный!»

Они бросились было к приёмной, но замерли. Софье показалось, что она оглохла.

Крик.

Крик был такой, что поднимал волосы дыбом. От этого женского крика забывалось всё: поставщики, собственники, беспокойный Ося Мочалко, то заглядывающий в глаза, то не решающийся в них посмотреть, внезапное христианство директора, бывшего прежде образцом буржуазной меркантильности и список собственников, с которыми надо было как-то вежливо и очень деликатно поговорить на тему, должную их взбесить. Оставался лишь

Маринин крик и то, что стояло за ним, за громким смертным криком, перешедшим в хрип и бульканье.

Её кто-то крепко схватил за руку, и она куда-то послушно пробежала. Потом остановилась.

Первой мыслью Софьи, после того, как она пришла в себя, и вспомнила в какое-то мгновение всё, что сегодня произошло, начиная с пробуждения, было: «Где Шурка?» Тут же она поняла, что Шурка рядом, вот он, с этой дурацкой коробкой, с гладильной доской, а она — на пороге своего кабинета, в замке кабинета ключ, а под мышкой у неё дурацкая коробка с утюгом, и Шурка ставит доску у стены и берёт у неё утюг и что-то отрывисто говорит ей, даёт какую-то команду, он высокий и напряженный, и это не начальник отдела по работе с поставщиками, это боец, солдат, расчехляющий, или как это там в армии называется, своё оружие, а оружие его — утюг, он распаковывает его, нет, это не его оружие, а её, он возвращает ей утюг, чтоб она защищалась им в случае чего, она кивает, она понимает уже, что тут опасно и что они собираются покинуть опасное место, потому что охрана с газовыми пистолетами тут не поможет, а в милицию они позвонят со стоянки или отъехав подальше.

Шурка открывает её кабинет и приказывает ей стоять у кабинета, никуда не уходить, если что, запирайтесь изнутри, ты не в себе, говорит он, но ручку повернуть сумеешь, это нетрудно и недолго, — и собирается пойти туда, откуда вырвался страшный долгий крик. К приёмной. Она, Софья, туда не может смотреть. И поэтому смотрит на спину Шурки. Кажется, Шурка закроет от неё весь мир, и так и будет закрывать, пока всё дурное — начавшееся с дурного знака, с того, что она забыла, проснувшись, попросить Бога о продлении им счастья, а Бог ревнив и мстителен, — не кончится, не окажется сном, и Шурка разбудит её и скажет: «Софья, ты долго спала, и ты прогуляла день рожденья шефа. Но он не очень сердит на тебя: отнимает не всю премию, а лишь половину».

Она видит, как Шурка берёт коробку с гладильной доской, неся её наперевес, как пулемёт, и идёт к приёмной. Криков больше нет. Доносятся какие-то чавкающие звуки. Невыносимо громкие. Коридор пуст, но вот из кабинета Надежды Валентиновны возле приёмной выползает Ося. Выползает и остаётся лежать, глаза его тускнеют. Спина идущего Шурки закрывает Осю от Софьи. Она успевает увидеть только, что у Оси почти нет ног, по линолеуму волочатся голые кости, обутые в туфли. Внизу, на первом этаже, раздаются выстрелы. Охрана, думает Софья. И думает почему-то, что ничего у охраны не получится. Вслед за Осей из кабинета выходит Надежда Валентиновна (с трудом переступая порог, как-то мешкая, словно раздумывая; Надежда — вообще-то дамочка бойкая и любимое её выражение: «Рожай уже быстрее!») — с ужасно белым лицом, в малиновых прожилках, точно таким же, как лица у трупов, которые милиционеры вытаскивали из «Паджеро» на Червишевском, — но перепачканным в крови. Крови Оси? Костюм Надежды Валентиновны тоже в крови. С рук её капает кровь. И губы её, и зубы — вот она оскалилась, — тоже в крови. А язык во рту тёмно-малиновый и по-звериному свешивается с нижних зубов. Шурка, отступив назад, с короткого разбега бьёт Надежду Валентиновну в грудь длинной коробкой с гладильной доской. Бьёт так, что маркетологиня падает на пороге. Софья слышит, как Надежда Валентиновна ударяется о пол головой. Звук такой, будто на пол падает гиря. Шурка убил её, наверное. Или сотряс ей мозг. Теперь Шурку будут допрашивать, думает Софья. Всякие там глупые следователи. «Вы уверены, что Надежда Валентиновна ела Осипа Исааковича? Что она съела его ноги? Как же после этого вы можете утверждать, что это была самооборона? Самооборона была бы, если бы самооборонялся Осип Исаакович. А ваше

поведение, Александр Игнатьевич, квалифицируется как...»

Чтобы Шурке не было у следователя одиноко, Софья тоже вступит в бой. У неё есть утюг. Правда, Шурка велел ей оставаться и ждать у кабинета. Но ведь безопаснее всего у него за спиной. И в случае чего она отгонит тех... людоедов, что объявятся сзади. Выйдут из тех кабинетов, из которых почему-то пока никто не выходит. То ли не слышали крика, то ли все там уснули. Как первый зам. Устали.

Шурка отступает. Она говорит ему шёпотом: «Я здесь, за твоей спиной», он вздрагивает, говорит: «А?» и становится к ней боком. И Софья видит всё, что происходит впереди неё в широком коридоре. Надежда Валентиновна поднимается (очень медленно), взглядывает в глаза Софье и делает шаг. И поскользывается на костях Оси Мочалко, и падает. Ударяется лицом о пол. Хруст. Наверное, Надежда Валентиновна сломала нос. Самое страшное — в приёмной. Теперь Софья и Шурка стоят так, что им видно происходящее там. В приоткрытую дверь виден стол секретарши. На столе, свесив ноги, положив голову на спину шефа, сидит Марина, а в её живот по самую шею погружена голова директора. Оттуда доносится ужасное чавканье. Шеф ест. На плечах Марины — обрывки блузки. Длинные волосы Марины укрывают спину шефа до самой задницы. Генеральный всё ест. Софья понимает, почему Шурка отступил. Борьба бессмысленна. Надежда Валентиновна вновь поднимается. Нос её приплюснут в пяточок. Шурка ударяет её в разбитый сплюснутый нос своей коробкой, и та снова падает — но не от удара, а опять поскользывается. Из-под маркетологини выбирается Ося Мочалко, пытается встать на свои косточки, но косточки разъезжаются, а на одной ноге переламываются. Ося, не обращая внимание на перелом и на то, что у него, можно сказать, нет ног, ползёт. Ползёт он к Софье, поглядывая куда-то на её ноги и открывая рот. Софья берёт Шурку за плечо: «Уходим», она видит лицо Шурки, его короткие волосики, поднявшиеся дыбом, как шерсть у кота. «Смотри», — говорит ей Шурка. Она оборачивается. По лестнице поднимаются трое: два охранника, Паша и Гриша, и следом первый зам. Первый зам страшно белый, в малиновых прожилках. Паша ковыляет на одной ноге, вместо второй у него голые кости, торчащие из оборванной камуфляжной штанины. Гриша вполне цел. Лица и руки у них очень белые. Шурка швыряет гладильную доску в лицо подползающему Осе, и Софья ведёт его к себе в кабинет. Закрывает дверь. «Вот так», — говорит она.

А дальше всё пошло очень быстро.

— Окно, — сказал Шурка. И скомандовал: — Утюг.

Она понимала всё, о чём он говорил ей, с первого звука. Он мог бы сказать: «О. У.», и она бы знала, что делать. Он мог бы вообще не говорить. Она передала ему утюг, вынула из сейфа ключи от оконной решётки, открыла замок на створках, открыла их и распахнула окно.

В дверь ломились. Не как люди: не стучали кулаками, не пинали дверь ногами, не кричали. А, как поняла Софья, давили на дверь телами или руками.

И так давили, что трещала коробка. Дверь открывается наружу, но...

— Они сломают её, — сказал Шурка. — Будем...

— ...прыгать, — докончила она.

— Я прыгну первым. Ты — за мной. И не бойся. Я поймаю тебя. Это только второй этаж.

Платяной шкаф был у двери. Она не будет брать пальто.

— Я прыгаю, Софья.

Он бросил вниз утюг. Прыгнул.

— Всё в порядке! — крикнул он снизу. — Здесь нет никого. Прыгай.

Она посмотрела на сотрясаемую дверь, на шевельнувшуюся опанелку коробки, на пыльные дымки из-под опанелки, посмотрела туда, где стоял Шурка, забралась на подоконник, свесила ноги наружу, скрестила руки на груди и поёжилась от холода, — она вдруг успокоилась и с гордостью подумала, что она не из тех истеричек-паникёрш, что отравляют жизнь мужьям, — и тут дверь, выбитая вместе с коробкой, подняв пыль из шпукатурки, упала в кабинет. Воздушная волна подтолкнула Софью.

— Прыгай!! — крикнул снизу Шурка.

И она, глянув на вторгнувшуюся в её кабинет компанию из кровавой Надежды Валентиновны с носом-пяточком, двух охранников, первого зама и вползавшего Оси, прыгнула в Шуркины объятия, в секунду прыжка почувствовав, как воздух, проникая под брюки, обволакивает и холодит её ноги.

Длиннорукий Шурка поймал её так ловко, как будто готовился тайно к офисному побегу несколько лет. Тренировался по утрам, пока она спала. А *кого* же он ловил — пока она спала?... Ей стало весело. Она столько пережила с утра, что хватит с неё «дурных знаков»! Они с Шуркой спаслись, может быть, единственные со второго этажа — это главное.

— Это хорошо, что моё окно выходит на стоянку, — сказала она.

— Да, — сказал он.

Садясь в «Гойоту», она увидела в окне своего кабинета белые рожи. Показала им фигу.

— По объездной?

— По объездной.

У фасада Софья увидела медсестру. Ксению из медпункта. Та сидела на мраморных ступенях крыльца. В неестественной позе: голова просунута между разъехавшимися коленями. Белый халат со спины выпачкан кровью. Рукава халата оторваны. Рукава кофточки тоже оторваны. А рук у Ксении нет.

Шурка повернул, и Софья посмотрела в заднее стекло.

Словно почувствовав её взгляд, Ксения медленно подняла голову.

*28 октября, понедельник, позднее утро. Москва. Саша Таволга*

— Ты знаешь, Женька, — сказала Саша, отворачиваясь от монитора, — я тут такое письмо получила... — Она увидела своё лицо в трюмо — и прогнала из глаз, согнала со щёк, лба и подбородка (с ямочкой) удивление. Татьяна Леонардовна учила её: нужно беречь эмоции дома и на улице, чтобы затем щедро тратить их на сцене. Да, это может кому-то показаться жестоким и бесчеловечным по отношению к близким, но не будем забывать, что мы будущие артисты — и что нам верят и нас любят многие люди. А не только одна семья. Мы принадлежим всему миру. В конце концов, писатели, обнародовавшие интимную жизнь своих знакомых и родных, использовавшие как сюжеты то трепетное, что должно бы у этих *инженеров человеческих душ* навсегда остаться тайной, поступают куда более жестоко. Мы же только дарим людям искусство, своим талантом заставляя верить в то, что сегодня один из нас Гамлет, а завтра — инвалид из «Рогатки» Коляды.

— Ну, так что, сестричка, за письмо?

— Не будь такой вульгарной. Теперь никто в Москве не говорит «сестричка», — сказала Саша. — Уж не знаю, дорогая моя, чему вас там учат в ЭМГЭУ.

— Дерьму всякому, — сказала Женька, лежавшая на Сашиной кровати и листавшая «Космополитэн». Чихнула, высморкалась в платок. — У тебя организм сильнее, Сашка, у тебя грипп уже кончился. Когда нам к врачу? В среду?... Скажи, сестричка, почему в журналах и по телику всё время рекламируют прокладки? Остались ещё такие женщины, которые о них не знают?

— Ты учишься на пиар-менеджера, ты и отвечай на вопросы о рекламе.

— А что отвечать? Наша Майя Семёновна говорит всякую ерундистику про интенсивность и частоту рекламных обращений, охват рекламной аудитории, коэффициент эффективности рекламной кампании и тому подобную дребедень. Будто всё это можно высчитать. Какой гений может знать, сколько прокладок куплено потому, что на женщин подействовала какая-то телереклама? Никто ни фига не знает, но все изображают из себя умных и учёных. Наук напридумывали. Частота рекламных обращений... Коэффициент эффективности... Все врём друг дружке, а потом это враньё систематизируем и называем наукой. Пиар-менеджментом, рекламным делом или статистикой. Я уж и жалею, что пошла в ЭМГЭУ. Надо было как ты, в «Щуку». Вместе стали бы актрисами. Вот уж кто врёт честно.

— Это как?

— Ну, со сцены. Притворяясь то тем, то этим. Персонажами всяких пьес.

— Ты же никогда не любила театр. У тебя и таланта нет.

— Так и у тебя нет. Есть мамины деньги, мамины связи, мамины любовники.

— Спасибо, ты очень любезна.

— А про письмо ты мне расскажешь?

— Не следовало бы.

— Между прочим, письмо удивило тебя. И ты своё удивление, как не старалась, скрыть не смогла. И учёба в «Щуке» не помогает. Таланта-то нет!

— Вот же сволота ты московская, Женька. Не будь ты моей глупой сестрой...

— ...я бы из тебя дурь-то выбила. Слыхали мы это уже тысячу раз, для актрисы у тебя маловато воображения и бедноват лексикон. И вообще это из какого-то колхозного стиля. Где подцепила? А, поняла. На колхозном языке учит вас ваша Татьяна Леонардовна. Ну, читай уже письмо.

— А тебе не любопытно, от кого?

— От кого?

— Даю тебе три попытки.

— От Димули твоего.

— Холодно, как в Антарктиде.

— Хм... Значит, не от хахалей твоих. Вижу, вижу по мордочке твоей, что и не от Вадьки на пижонском «Лексусе». Ну, тогда от деда. От деда давно ничего не было. Вернулся, что ли, из Штатов? Да ну?

— Ещё холоднее. Как на Меркурии.

— Ты что, спятила, сестричка? От Меркурия прикуривать можно. Холодно — это на Плутоне.

— Третья попытка.

— От... от... — Женька отбросила журнал и подпрыгнула на коленках. — От отца!

— Что ты сказала? — делая хитрое, хитрое лицо, спросила Александра, видя в трюмо, что не хитрое, а глупое, улыбающееся лицо у неё получается. Да, ей надо было вместе с Женькой в эМГэУ. Хотя нет. Карьера на телевидении — это то, что сделает её богатой и знаменитой. И, как это говорят, бросит к её ногам тысячи мужчин. А эМГэУ... Женьке права: она Меркурий путает с Плутоном, и не помнит, в каком веке воевал Наполеон, и служил или не служил в его армии Робеспьер. А тут ещё эти Носовский с Фоменко, вновь ставшие популярными. Да и в их семье наука никогда не занимала почётное место. Потому-то папа и удрал от них. Бросил их, как говорит мама. И чтобы не мучиться совестью всю жизнь, оставил им эту квартиру. Неплохой откуп, надо сказать. Большая, видимо, у папы совесть. А может быть, *большая новая квартира*, так что эту терять не было жалко. Вдруг он Нобелевку хапнул. И живёт припеваючи в Швеции. А вовсе не в Сибири с медведями. И этими, как их, белыми бенгальскими тиграми. А мы и не знаем. Стоп. Я ж письмо от него получила. Только строчку прочла — уже Женьку кричу. Да, Татьяна Леонардовна права: эмоции свои я разбазариваю. Я в папу, а не в маму. Ну, и в маму тоже.

— Угадала, угадала!

— Я плохая актриса. Не умею играть. Меня тут же разоблачают.

— Не расстраивайся ты. Хочешь, утешу? Ты нормальная средняя актриса. Таких, как ты, на телевидении и в театре ещё поискать. У нас ведь правят бал те, что ниже плинтуса. А ты — средняя. Вот и задумайся. Относительно «ниже плинтуса» ты просто королева сцены. Вернее, будешь ей.

— А как же насчёт большого таланта, призвания?

— Ты имеешь в виду актёров, которые *от природы*, без «Щуки» и маминых-папиных банковских счетов? Это, может, в советском прошлом было (и то не факт). А нынче на сцене *кошельки*: поющие, пляшущие и изображающие Гамлетов и Дон Кихотов. Рынок есть рынок. И ты подумай, сестричка: это же прикольно. Обхохочешься, глядя, как поют разные там «фабрикантки» или дочери политиков. Или кинозвёзды. А эта Ланицкая? Она лучше тебя, что ли, играет? Тоже мне, киноактриса!.. Она же бракованная. У неё и рот кривой, и пальцев на правой руке не то шесть, не то семь. А ноги и вовсе срослись. Но вот папаша-то её банкир, а

у неё с детства мечта была в кино сниматься. Ну и снимается; мечта дурочки сбылась. А мы смотрим сериал с ней, потому что смешно. На сценарий нам плевать, мы на неё смотрим и покатываемся. И что, думаешь, режиссёр этого не понимает? Он понимает, они же все рейтинги засекают. Смотри вон, сколько у Ланицкой рекламы: 50 минут серия, 100 минут роликов прокладок, помады и зубной пасты «Гремучий зоб», всего 150 минут. Понять не могу, кстати, что за название: «Гремучий зоб». Сейчас талант и смысл не нужен, сейчас приколы подавай. А юмористы эти, Задорнов там престарелый, уже оскомину набили. В моде естественный прикол: кошельковый. Поэтому талантливые люди не нужны. Рынок есть рынок. Маркетинг есть маркетинг. Не по учебникам, а по жизни. Делается и продаётся не то, что покупается, а то, что навязывается. Сначала папкины деньги, а потом привычка зрителей. Усекла, сестричка?

— Письмо-то читать?

— Правда, что ли, от отца? Из Сибири?

— Не знаю, из Сибири или нет, но в строке «От кого» папины имя, отчество и фамилия. Я хоть и чайница, как ты говоришь, но читать с экрана умею. Не однофамилец же.

— Ага. И не одноимёнец-одноотчествовец.

— Всегда завидовала твоей дикции.

— Да и тебе вроде к логопеду не нужно.

— Ну, нас заставляют произносить всякие там сложные слова вроде «синхрофазотрон» и скороговорки читать: «Клара у Карла украла кораллы. Карл у Клары украл кларнет».

— Вот бы у нашей мамы попробовал бы кто что украсть.

— К чему это я про скороговорки?

— К тому, что плевать на дикцию. На сцене полно беззубых и шепелявых. И косоглазых. Говорят, слепые и глухие стали сниматься. Будь ты немой, за тебя другие наговорят. Поют же другие за актёров. Всё делают другие. И поют, и говорят, и книги пишут, и дипломы с диссертациями. Надо же людям на хлеб зарабатывать.

— Пафоса-то сколько.

— Так что там пишет папа, сестричка? Я бы подсела к тебе, да боюсь тебя снова заразить.

— Не бойся, у меня же иммунитет. После гриппа две недели нельзя заболеть этим же гриппом.

— Здорово, а я и не знала. Значит, буду целоваться со Славкой Кутеповым, он тоже гриппом заболел и дома теперь сидит. Надеюсь, у него этот же грипп. Да я на кровати полежу, мне повалиться охота. Я же больная, в конце концов. У меня ещё нет иммунитета, мне доболеть надо.

— Папа пишет, что создал какой-то вирус. Особенный. От него — бессмертие.

— Чего-чего?

— Сама не поняла. Он тут ссылается на какую-то свою записку. Он прислал её.

— Подожди ты с запиской. Там, поди, всё в таких научных терминах, что мы с тобой, даже если к нам придёт отличник Кутепов, будущий не то ботаник, не то археолог, до Нового года не переведём. Письмо давай читай. Какое ещё бессмертие?

— Ну, слушай. «Здравствуйте, Саша и Женя. Времени извиняться или спрашивать, как дела, у меня нет. Потому пишу коротко (подробности в моей «предсмертной записке», которая на самом деле не предсмертная, потому что смерти в привычном смысле больше нет). Мои секретные работы последних лет были направлены на исследование возможностей

пентавируса, полученного мною в 1992 году».

— Нас в то время не свете не было.

— Даже в планах не было.

— Могло бы и не быть.

— А ты довольна тем, что ты есть?

— А ты?

— «...в 1992 году. После долгих неудач мне удалось получить то, к чему я стремился. К сожалению, сегодня рано утром пентавирус из-за неосторожности сотрудника покинул пределы лаборатории. Это значит, что мир в его прежнем виде перестанет существовать. Явится совершенно новый мир. Без болезней, без смерти, без боли и горя. Девочки, это не смешно».

— Саш, а что ты помнишь об отце?

— Помню, как обиделась на него. Он не пришёл на какой-то мой театральный праздник. Эта статья в старом журнале, в «Московском театральном вестнике»... Я долго ею хвасталась. Журнал в школу носила. После этого и вбила себе в голову, что буду великой актрисой. Мне семи не было. А папа на тот праздник не пришёл. Всё из-за его науки: так сказала мама. Мама была очень недовольна. А вообще-то лица отца я почти не помню. Сейчас бы не узнала его. Да и постарел он, наверное.

— И ты, сестричка, с тех пор постарела.

— Как это он написал: «Девочки, это не смешно». Словно видит, что мы смеёмся над ним.

— А что-то не очень смешно, — сказала Женя. — Дальше-то что пишет?

— Дальше: «Не будет ни старости, ни государств, ни прежних географических названий, ни денег».

— Ну, насчёт денег-то папка загнул. Деньги всегда будут.

— Дальше: «В ближайшие дни мир станет меняться на ваших глазах. Не верьте ничему, кроме моего письма и файла-вложения («предсмертной записки»). И не думайте...»

— Ну да, предсмертной записки человека, который открыл бессмертие. Логично, ничего не скажешь!.. И почему все мужчины твердят о женской логике? Вот налицо мужская. Да ещё научная.

— «...И не думайте, что я сумасшедший».

— Вот уж с точностью до наоборот. Нам психологиня объясняла, что все психи говорят, что они не сумасшедшие. Что там дальше?

— Дальше ничего.

— Жаль. Было интересно.

Обе вздохнули.

— Пошарь-ка, сестричка, в Интернете, — сказала Женька, — не объявлен ли в розыск сумасшедший Таволга... как там его...

— Владимир Анатольевич. Я уже поискала. О нём ни слова. Но вот записка его в Сети есть. В «Живом Журнале». Я скопировала пару строчек из файла и вставила в поисковик. «Гугль» нашёл одну страницу на livejournal.com. Журнал какого-то ника, а в нём единственный post: «Предсмертная записка доктора Таволги». С подзаголовком: «Старый мир кончился сегодня утром. И сегодня утром начался новый. Вы встретитесь с ним на улицах. Пугайтесь его — и не бойтесь его. Прочитав эту записку, вы поймёте, как быть».

— Ещё один теоретик конца света. Библию пишет. Впал в старческий маразм. Сколько

ему, Саш?

— Под шестьдесят.

— Ой, столько не живут. Я посмотрела тут в Рунете: по новейшим данным, средняя продолжительность жизни мужчины в России — 53 года. А ему — под 60. Нет, столько не живут. Это же что-то дремучее. Лесное.

— Ты думаешь, он неудачник? Всё из-за того, что бросил нас?

— Таких славных, милых и успешных, как мы и наша мама, не бросают. Запомни это, сестричка. В будущем пригодится. Тем более, если будем жить вечно.

**Больше книг на сайте - [Knigoed.net](http://Knigoed.net)**

---

---

**notes**



Время указывает на начало действия в главе. Время везде местное.